

ФЕДОР КУБАНСКИЙ

НА
ПРИВОЛЬНЫХ
СТЕПЯХ
КУБАНСКИХ



ФЕДОР КУБАНСКИЙ

НА ПРИВОЛЬНЫХ СТЕПЯХ КУБАНСКИХ

П О В Е С Т Ь

Все права сохраняются
за автором.

ИЗДАНИЕ АВТОРА

PATERSON, NEW JERSEY, U. S. A.

1955

THEODOR KUBANSKY

**ON THE FREE STEPPES
OF KUBAN**



ФЕДОР КУБАНСКИЙ
(Ф. И. ГОРЬ)

ОТ АВТОРА.

Как прекрасна цветущая Кубанская равнина! Очаровывающий незабвенный край! Любимая Мать-Кубань! Кто из твоих сынов может, кто смеет забыть тебя?! Кто не любовался твоими роскошными садами и виноградниками, покрывавшими зеленым душистым ковром станицы Полтавскую, Славянскую, Пашковскую... всю Тебя, моя родная Кубань?

Кто не восхищался твоими необозримыми полями, этим слегка волнующимся от летнего ветра морем пшеницы и ячменя, вперемежку с широкими полосами желтеющего своими шляпками подсолнуха, обращенного к солнцу и поднимающегося вверх стройными рядами, словно молодой лес?

Кто не поражался обилием благодатных даров природы, выращиваемых на плодороднейшем в мире черноземе, лежащем вдаль и вширь, от станицы Куцевской до станицы Крымской и от побережья Азовского моря до Кавказских горных исполинов?!

Кубань! Кто в России и за ее пределами не знает твоих лихих наездников-джигитов?!

Кто не заслушивался веселыми переливами звонких песен, распеваемых жизнерадостной гурьбой парубков и чернобровых девчат на каждой улице, с вечера до полуночи, во все времена года?!

Кто не засматривался на шумную ораву детей-казачат, после весеннего дождя высыпавших со дворов на улицы босиком, в соломенных „брилях” (шляпах), с закаченными до колен халошами штанишек и бежавших по дождевым лужам так стремительно, что вода и грязь

разлетались брызгами во все стороны?! Или как шестисемилетние казачата мчались по степи галопом на лошади, на охляп, без уздечки, лишь придерживаясь руками за гриву!

А особого склада веселые многодневные свадьбы, торжественно-возвышенное почитание праздников, июньские ночи в широкой степи и шепот влюбленных у стен высокой пшеницы под переключку перепелов, зимние вечеринки на „досвітках” станичной молодежи?!

Вспомним, Кубанцы, сами и расскажем другим о минувших днях, о традиции наших отцов и дедов, о наших обычаях и укладе общественной и семейной жизни, которая у нас на Кубани во многом отличалась не только от жизни в других местах России, но особо выделялась и среди других казачьих войск.

Между тем, и по сей день в литературе отсутствует сколько-нибудь значительное произведение, правдиво рисующее жизнь Кубанских казаков-хлеборобов. И я решился, в меру своих сил, заполнить этот пробел, описав в повести „НА ПРИВОЛЬНЫХ СТЕПЯХ КУБАНСКИХ” простой быт и нравы мирной казачьей среды в последнее „мирное” десятилетие перед Мировой войной 1914 года.

Насколько мне удалось выполнить этот долг перед земляками и перед родимой Кубанью, пусть судит читатель...

Ф. К.

КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ КУБАНИ И КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА.

Кубанская область занимает юго-западную часть Северного Кавказа, простираясь от 46° 50' до 43° 10' северной широты и от 37° до 43° восточной долготы (от Гринвича). Самая северная точка ее лежит у Ейского лимана на Азовском море, а самая южная — на главном Кавказском хребте, недалеко от горы Эльбрус.

Площадь Кубанской области равна 88.000 квадратных километров. По своей территории область в два раза больше Швейцарии (41.298 кв. км.), почти равна Португалии и больше Голландии и Бельгии, вместе взятых.

Климат в гористой части влажный, с теплой зимой и нежарким летом; в северной - - континентальный.

Все зерновые, огородные и бахчевые культуры, фруктовые деревья и виноградники прекрасно выращиваются на плодороднейшем Кубанском черноземе, для которого никогда не требовалось никакого удобрения.

На Кубани человек обитал с незапамятных времен. Изобилуя прекрасными пастбищами и пресной водой, край привлекал к себе внимание кочевых народов: скифов, гуннов, хозар и др. В четвертом веке до Рождества Христова, культурнейшим по тому времени народом -- греками -- там было образовано Босфорское Царство.

Но протекали столетия, тысячелетия, народы появлялись и исчезали, их города разрушались, и при заселении Кубанской равнины нашими предками одни лишь развалины напоминали о былой жизни в Крае.

Русские поселились там впервые в 965 году, когда

князь Святослав, победив яссов и кассогов, овладел Таманским полуостровом. Но владеть им пришлось недолго. Вскоре они сами были побеждены, и остатки русских поселенцев на Кубани оказались под владычеством различных, сменявшихся завоевателей.

Связи России с Кубанью возобновились при Иоанне Грозном, женившемся на дочери Кабардинского князя Темрюка.

Начиная же с царствования Петра Великого проникновение русских в Кубанский Край приобретает более определенный и постоянный характер. После долгих войн с могущественной тогда еще Турцией, по Кучук-Кайнарджийскому миру 1783 года, когда Крым был присоединен к России, река Кубань стала пограничным рубежом между Россией и закубанскими горами, находившимися под протекторатом Турции.

Для укрепления южных рубежей страны, Русскому правительству нужны были смелые колонисты. Таковыми оказались казаки.

Во второй половине XVII века на реке Хопре образовалась вольная дружина казаков, выходцев с Запорожья, Дона и соседних русских воеводств. Эти Хоперские казаки в 1696 году вместе с Донскими принимали участие в войне с Турцией и во взятии крепости Азов 18-го июня того же года. Это событие считается началом службы и временем старшинства Хоперского полка.

Разогнанные в 1711 году за участие в восстании атамана Булавина Хоперские казаки были вновь собраны в 1717 году в виде отдельных команд и несли сторожевую и конвойную службу.

В 1778 году хоперцы, вместе с семьями и имуществом, были переселены на Северный Кавказ в район нынешнего Ставрополя. В 1825 году их снова переселили в верховья Кубани, где они основали станицы: Баталпашинскую, Беломечетскую, Невинномысскую, Барсуковскую, Бекешевскую и Карантинную (Суворовскую), а затем и Воровсколесскую.

Это был самый опасный и глухой участок Кавказской Кордонной Линии, образованной в 1777 и 1778 годах. Она шла от Черкаска через Ставрополь на Моздок. В то же время была протянута и Черноморская Линия от Черкаска, берегом Азовского моря до Тамани и далее вверх по Кубани выше Копыла (станции Славянской). А генерал Суворов, прибывший на Кубань в 1778 году, протянул эту линию до укрепления Царицынского (станции Кавказской).

Эти „линии” представляли собой цепь редутов и укреплений, имевших гарнизоны.

В 1794 году на среднее течение Кубани переселились с семьями донские казаки в составе одного пятисотенного конного полка. В 1803 году на Кавказскую линию переселились Екатеринославские казаки и образовали Кавказский полк.

Из всех этих полков и казаков Волжских, Гребенских и других, находившихся на Кавказской линии, было учреждено Кавказское Линейное Войско.

К северу от него, с 1792 года поселилось Черноморское Войско, составившее главное ядро образованного позднее Кубанского Казачьего Войска. Так как в повести речь идет, главным образом, о жизни в станицах бывшего Черноморского Войска, то на его истории остановимся более подробно.

—

Примерно с конца XV века на Днепровском острове Хортица обосновалась буйная казацкая вольница — Запорожская Сечь и создала там свой укрепленный стан, являвшийся центром всего Запорожья, которое простиралось на низовья Днепра, а на востоке граничило с Донским Войском.

Запорожские земли лежали на пути устремлений Российского государства к берегам Черного моря, а запорожцы считали себя свободными и от России независимыми, что и послужило причиной разгрома Запорожской Сечи.

По распоряжению Екатерины II, в ночь на 5 июня

1775 года, 66.000 человек пехоты, конницы и донских казаков генерала Теккели окружили Сечь. Одновременно 20.000 конницы под командой князя Прозоровского заняли правобережные Запорожские „даланки”.

В самой Сечи в этот момент находилось всего 8.000 запорожцев во главе с Атаманом Кальнишевским. Остальные жили мирно по хуторам, охотились и рыбачили в низовьях Днепра и по лиманам.

Казаки взялись было за оружие, но Сечевой архимандрит и часть старшины призывали казаков не проливать крови и сдаться. Однако большинство казаков сдаваться не хотело.

Ночью, незаметно для войск генерала Теккели, пять тысяч запорожцев вышли в приднепровские плавни, выбрали себе Кошевым Атаманом Андрея Ляха, ушли в Турцию и основали там Сечь Задунайскую.

„Ой хоть гаразд не гаразд,
Нічого робити,
Буде добре козаченькам
І під турком жити...”

так пели казаки за Дунаем, оставив родное Запорожье.

Казаки Задунайской Сечи, пользуясь особым покровительством султана, жили свободно, с прежним укладом личной и общественной жизни. Правда, впоследствии им часто приходилось менять место расположения своего Коша. Через несколько лет число казаков в Турции удвоилось. К ним бежали запорожцы с Днепра, услышав о привольной жизни старых сечевиков.

Но в 1828 году несколько сот казаков, вместе с Кошевым Иосифом Гладким (Бондарем) бежали в Измаил и передались там русскому коменданту крепости. Оставшиеся в Турции были лишены прежних привилегий разгневанным Султаном. Однако репрессии продолжались недолго.... После отказа казаков восстановить свое Войско, при условии поселиться за Салониками на берегу Эгейского моря, султан разрешил им жить, где они хотят. Большинство вернулось в устья Дуная, а оттуда многие ушли на Днепр и на Кубань. Из казаков,

бежавших с Гладким в Измаил, был сформирован Дунайский Казачий полк, затем переведенный в район Мариуполя и там пополненный местными крестьянами. Так возникло Азовское Казачье Войско, существовавшее до 1864 года. Часть его вошла в состав Кубанского Войска, остальные превратились в мещан и крестьян Екатеринославской губернии.

Оставшиеся в Сечи с Кошевым Атаманом Петром Кальнишевским три тысячи запорожцев сдались, были обезоружены, а сама Сечь со своими укреплениями разрушена до основания.

Запорожские земли были розданы помещикам. „Покровитель” казаков князь Потемкин, числившийся по Куцескому куреню под именем „Грицка Нечоса”, получил триста тысяч десятин запорожской земли. Кошевой Атаман Кальнишевский, Войсковой писарь Глоба и Войсковой судья Головатый были отправлены в Петербург, а оттуда сосланы в отдаленные монастыри.

31-го октября 1803 года в Соловецком монастыре, на 102 году жизни умер последний Кошевой Атаман Запорожской Сечи Петр Кальнишевский. Он пробыл в заточении 25 лет и только за два года до смерти был „помилован” императором Александром I, но, вследствие глубокой старости, не мог уже воспользоваться свободой.

Казаки разбрелись по всей обширной степи. Но недолго свободолюбивое казачество оставалось на положении бесправного крестьянства.

1-го июля 1783 года князь Потемкин обратился с особой прокламацией к бывшим старшинам запорожским: Головатому, Чепиге, Тимковскому и Легкоступу, призывая охотников из бывших запорожцев, проживавших в Азовской губернии, Славянской и Елизаветинской провинциях, „к служению в казачьем звании под его, Потемкина, водительством”...

Вокруг Головатого, Чепиги и Легкоступа, при деятельном участии Сидора Белого, стали собираться бывшие сечевики. 23-го января 1788 года эти бывшие за-

порожцы были восстановлены в казачьих правах и названы „Войском Верных Казаков”, в отличие от тех, которые ушли в Турцию. Войску было велено держать Кош на Забурьевской стороне в Василькове. Полковник Сидор Белый был избран казаками Кошевым Атаманом Войска Верных Казаков и утвержден Потемкиным.

7-го июня 1788 года Войско Верных Казаков в морском сражении с турками под Кинбурном разбило турецкий флот. 16-го июня в сражении под Очаковым Кошевой Сидор Белый был смертельно ранен и на следующий день умер. Войско избрало Кошевым Атаманом Захария Чепигу.

В том же 1788 году, за отличия в боях на Черном море, Войско Верных Казаков было переименовано в Войско Черноморское.

В 1790 году Потемкин поставил Черноморцев в известность, что он просил Екатерину II о послении Войска между Бугом и Днестром. Затем последовало от него новое сообщение, что, кроме указанной земли, для Черноморцев отводятся земли на Кинбурнской стороне, за исключением земель помещичьих, и Еникальский округ с Таманью, которые он дарит им от себя. Черноморцы стали селиться между Бугом и основали там Кош в Слободзее.

Подаренные Потемкиным земли не были закреплены за Войском документами, и после смерти князя в 1791 году Черноморцам стоило многих хлопот эту землю получить.

В феврале 1792 года Черноморская Рада послала в Петербург депутацию во главе с Антоном Головатым с просьбой о пожаловании Войску Черноморскому земли на Кубани.

30-го июня 1792 года Войсковой судья Головатый получил царскую грамоту, в которой сказано: „...Желая воздать заслугам Войска Черноморского утверждением всегдашнего его благосостояния и доставления способов к благополучному пребыванию, всемиловитейше пожаловали оному в вечное владение состоящий

в области Таврической остров Фанагорию со всею землею, лежащей по правой стороне реки Кубани от устья ее к Усть-Лабинскому реду так, чтобы с одной стороны река Кубань, с другой же Азовское море до Ейского городка служили границу Войсковой земли..."

—

Черноморцы с радостью приняли эту грамоту. Немедленно же началось переселение Черноморцев на Кубань, и уже 25-го августа 1792-го года первая партия их, под командой полковника Саввы Белого, высадилась на Таманском полуострове в числе 3847 казаков, прибывших туда на 50 лодках.*)

Вслед за Саввой Белым выступил сухопутьем через Крым полковник Кордовский с двумя пешими полками и частью семейств. По прибытии на Тамань он остановился в старом Темрюке, установил посты и построил на зиму курени.

2-го сентября того же 1792-го года с Днестра на Кубань выступил сам Кошевой Атаман Чепига с конницей, пехотою, войсковыми регалиями, церковью и войсковым обозом. Он шел тоже сухопутьем, огибая Азовское море, 24-го октября подошел к реке Ея и зазимовал на Ейской косе, у Ханской крепости. Оттуда, 10-го мая 1793-го года Атаман Чепига со своею колонною выступил к Усть-Лабинскому укреплению. Там он получил от командующего Кавказским корпусом генерал-аншефа Гудовича указание для занятия Кордонной линии на Кубани.

Распределив часть казаков по кордонам, Чепига вместе с остальными остановился на правом берегу реки Кубани, в Карасунском Куту. На этом месте в следующем году был заложен Екатеринодар, столица Черноморского Войска, а впоследствии и всей Кубанской Области.

*) На обложке книги изображен памятник Запорожцу, воздвигнутый на этом месте в ст. Таманской в 1911 году, в честь высадки первой партии черноморцев на Кубани.

Весной 1793 года с Днестра двинулся с частью казаков полковник Тиховский, а за ним с казачьими семействами майор Шульга и капитан Григорьевский

В течение весны и лета 1793 года Черноморцы переселялись на Кубань двадцатью партиями. Последним выступил из Слободзеи на Кубань 15-го июля 1793 года Войсковой судья Головатый с остальными казаками и всем войсковым имуществом.

Потом подошло еще несколько мелких групп казаков, отставших по различным причинам; среди них самой значительной была группа есаула Черненко, добравшаяся до Кубани летом 1794 года. На этом переселение Черноморцев на Кубань закончилось. Всего переселилось двадцать тысяч, из которых мужчин было 12.500 человек.

—

Правобережная Кубань, где поселялись Черноморцы, представляла собой огромную равнину, постепенно понижающуюся к Азовскому морю. Дорог не было. Равнину прорезало много болотистых рек с зарослями камыша (плавни), а в сухих местах рос терновник. Все это пространство было пустынно и безлюдно. Лишь на Таманском полуострове и по берегу Азовского моря попадались небольшие рыбацьи поселки.

Заняв эту местность, Черноморцы основали 38 куреней с теми же наименованиями, что и в бывшей Запорожской Сечи:

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Пашковский | 13. Незамаевский |
| 2. Кущевский | 14. Иркиевский |
| 3. Кисляковский | 15. Щербиновский |
| 4. Ивановский | 16. Титаровский |
| 5. Канеловский | 17. Шкуринский |
| 6. Сергиевский | 18. Кореновский |
| 7. Динский | 19. Рогивский |
| 8. Крыловский | 20. Корсуновский |
| 9. Каневский | 21. Уманский |
| 10. Батурицкий | 22. Калниболотский |
| 11. Поповичевский | 23. Деревянковский |
| 12. Васюринский | 24. Нижнестеблиевский |

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 25. Вышестеблиевский | 32. Величковский |
| 26. Джерелиевский | 33. Леушковский |
| 27. Переясловский | 34. Пластуновский |
| 28. Полтавский | 35. Дядькивский |
| 29. Мышастовский | 36. Брюховецкий |
| 30. Минский | 37. Медведивский |
| 31. Тимошевский | 38. Платнировский |

Сверх того было организовано еще два куреня: Екатерининский и Березанский. Таким образом, Черноморцами на Кубани было создано сейчас же после переселения 40 куреней. Они назывались просто: „Становище” (или „поселение”) такого-то куреня; например, „Становище Минскаго Куреня”. Впоследствии эти становища стали называться „станциями”.

Но на Черноморцах заселение Кубани не остановилось. В 1821-25 гг. из Полтавской и Черниговской губерний переселено было 8623 семейства (25627 душ мужского пола и 22765 женского). Из них были созданы новые курени: Петровский, Павловский, Нововеличковский, Новолеушковский, Новоминской, Новодеревянковский и Новоцербиновский. После этого к названию некоторых поселений и прежних куреней дана приставка — „Старо”. Так, например, курень Минской стал называться Староминской, Щербиновский — Старощербиновский и т. д. Такое же название остается до сих пор почти у всех, разросшихся из прежних небольших поселений Черноморских куреней, Кубанских станиц, зачастую насчитывавших в начале XX века по тридцать, сорок и больше тысяч жителей...

Переселялось еще много и других организованных групп, в основном из Украины.

В 1797 году в Екатеринодаре умер Кошевой Атаман Чепига. В управление Войском вступил Войсковой писарь Тимофей Котляревский, хотя Кошевым после смерти Чепиги был избран Головатый, но он в это время находился в Персии. Головатому так и не пришлось вернуться на Кубань Кошевым Атаманом: 29 января того же года, будучи еще в Персии, он умер. Однако, хотя Головатый и не принял управления Войском, его счи-

тают последним Кошевым Атаманом Черноморцев, так как 27 июля того же 1797 года, по указу Павла Первого, заменивший Головатого Котляревский получил титул Войскового Атамана. Такое звание сохранялось до 1827 года, когда Войсковой Атаман был переименован в Наказного. Первым Наказным Атаманом Черноморского Войска был Бескровный.

Кубанское Казачье Войско было образовано в 1860 году. В состав его вошли: Черноморское Войско целиком и шесть бригад Кавказского Линейного Войска — Хоперская, Ставропольская, Кубанская, Кавказская, Урупская и Лабинская. Казаки станиц, основанных этими шестью бригадами, и по сей день именуются „линейцами”. Остальные части Кавказского Линейного Войска вошли в Терское Казачье Войско.

По положению, составленному комиссией генерала Евдокимова и утвержденному императором Александром II в 1862 году, границы территории, включаемой дополнительно в Кубанскую область и назначенной для заселения казаками, определялись: с юга и запада — гребнем Кавказского хребта от верховьев реки Малой Лабы до истоков реки Пшиша; далее — берегом Черного моря от устья реки Мокупсе до устья Кубани; на севере — низовьями Кубани и Адагума, далее — по прямой линии от Адагумского укрепления до укрепления Дмитриевского, затем — до реки Лабы против станицы Родниковской; а на востоке — Большой и Малой Лабой.

Это пространство еще не все было завоевано в момент включения его в территорию Кубанского Войска. Однако одновременно с ходом военных операций шло и заселение новых приобретенных с боями земель. В течение шести лет намечено было переселить 17.000 семейств: из Кубанского Войска 12.562, из Азовского 808, из Донского 1.200, из государственных крестьян 2.000 и нижних чинов Кавказской армии — 600 семейств.

Переселение в Закубанье и на Черноморское побережье продолжалось четыре года, и за это время было переселено около одиннадцати с половиною тысяч

семейств (в среднем, по 4 души на семейство), которые положили там начало новым станицам.

Когда покорение Кавказа закончилось, русское правительство хотело совершенно упразднить казачество, приравняв его к остальному населению Империи. Но это оказалось невозможным. Тогда стало проводиться ограничение казачьих привилегий и отобрание части ранее пожалованных земель. Кубанское Войско первым почувствовало эти меры. Награждали его знаменами и грамотами, а лучшую часть земли, обещанной Кубанцам, когда она еще не была завоевана, и за приобретение которой пролилось немало казачьей крови — Черноморское побережье, у него отняли. В 1861 году землю пожаловали; в 1864 году она было завоевана; в 1866 году ее выделили в отдельный округ, остававшийся в составе Кубанской Области; а в 1869 году она была отобрана. Поселившимся уже на ней казакам было предложено перейти в крестьянское сословие, а нежелающим — выселиться обратно на Кубань. Двенадцать станиц были обращены в села. В том же году на востоке Кубанской области 12 станиц были переименованы в села и включены в состав Ставропольской губернии.

Вскоре возник новый роковой для казачества вопрос — об „иностранцах”. Александр II планомерно проводил политику заселения казачьих земель неказачьим элементом. Ко времени вступления его на престол не казаков на земле Кубанского Войска жило всего 3.142 человека, а к концу его царствования стало 180.140 человек. Иностранцами или „городовиками” были заселены целые села. Они приобретали недвижимость, не спрашивая на то согласия ни Войскового Управления, ни городского или станичного общества.

В 1869 году было издано общее для всех казачьих войск „Положение о поземельном устройстве станиц”. До того времени земля не была распределена, и каждый казак распахивал столько, сколько хотел и сколько мог. Теперь казакам были нарезаны „паи”.

Офицеры и чиновники получили большие земельные участки в собственность (вместо пенсии), и большинст-

во продало их за бесценок. Покупателями явились иногородние, приобретшие таким образом сразу большое количество земли по всей Области.

В 1889 году, приняв во внимание стесненное положение Кубанских казаков в земельном отношении, — в воздаяние трудов и лишений, понесенных во время завоевания Закубанья, и постоянную доблесть Войска, император Александр III особой грамотой закрепил за Кубанским Войском в вечную собственность земли, занятые им на основании Положения 1862 года и находившиеся в его пользовании. Грамота эта, как и грамота Екатерины Второй Черноморскому Войску, являются главными документами Кубанского Казачества на право владения землею.

В начале нашего столетия на душу приходилось в Кубанском Войске, по данным 1906 года, по 8 десятин земли.

**
*

Заканчивая этот краткий исторический очерк, следует заметить, что основную часть Кубанского Казачества составляют потомки тех запорожцев, которые после погрома Сечи вошли в Войско Верных Казаков, а затем в Черноморское Войско. Под именем Черноморцев они переселились на Кубань и такими оставались до 1860 года. В связи с этим старшинство Кубанского Войска следовало бы считать с момента основания Запорожской Сечи, то-есть приблизительно с 1500 года, но несмотря на преобладание в Кубанском Войске потомков запорожцев, старшинство Войска было установлено с 1696 года, то-есть по старшинству Хоперского полка.

В годовщину двухсотлетия Кубанского Казачества в Екатеринодаре были сооружены два памятника: один с высоким шпилем, на котором выгравированы цифры „1696 - 1896”, и другой прекрасный памятник императрице Екатерине Великой, служивший лучшим украшением города.

У Кубанцев, потомков Черноморцев, прочно сохранились предания, традиции и бытовая культура Запо-

рожских казаков. Украинский язык, песни, музыка, домашние обычаи являются преобладающими. Но благодаря соседству с кавказцами, кубанцы переняли у них их одежду: черкеску с газырями, баранью шапку, башлыки, кавказский пояс с множеством металлических украшений, на котором спереди прикреплен кинжал. Переняли они у горцев также некоторые обычаи и танцы. Женщины-казачки, в станицах бывшего Черноморского Войска, носили одежду, сходную с одеждой украинских женщин.

Порядки самого широкого демократического самоуправления в казачьих станицах Кубанской области свято сохранялись все время. Станичной жизнью управлял Станичный сбор, во главе с атаманом, избираемым на три года, в возрасте не моложе 33 лет, двумя помощниками Атамана, избираемыми тоже на три года, в возрасте не моложе 25 лет, и доверенные (гласные). Станичные судьи и присяжные заседатели в окружной суд также избирались сбором. В выборах последних участвовали не только казаки, достигшие 25-тилетнего возраста, но и иногородние, постоянно проживающие в станице и имеющие недвижимую собственность.

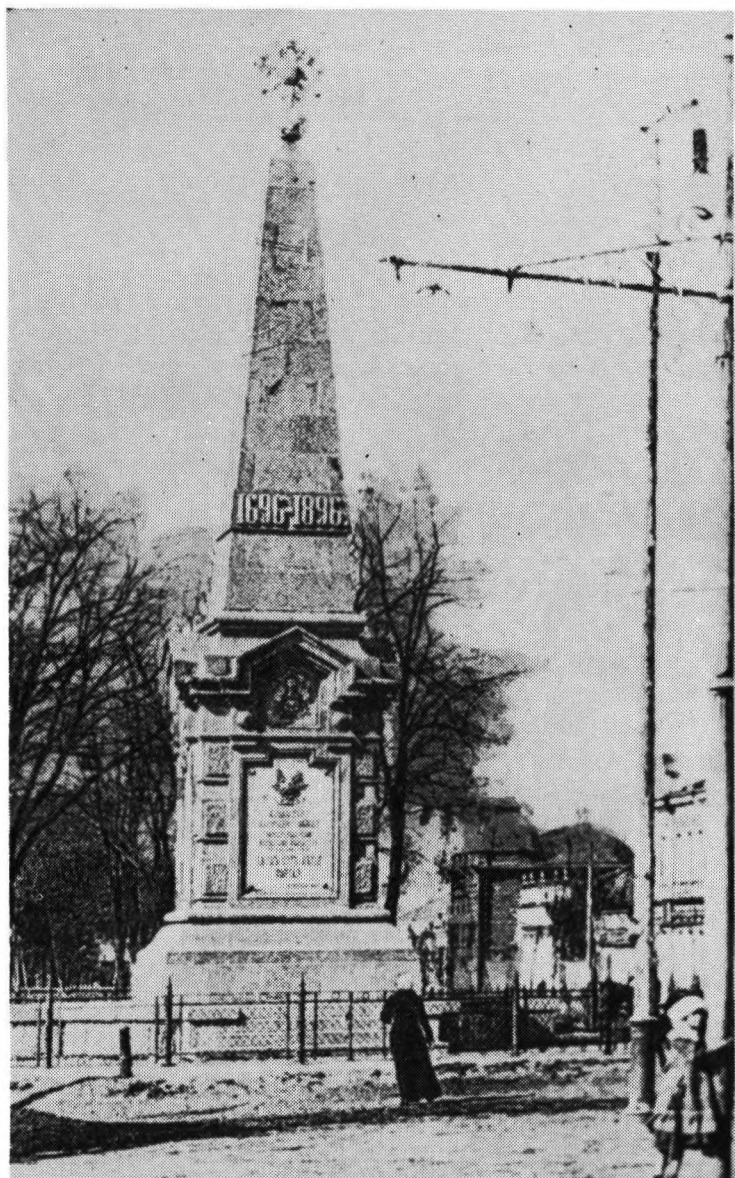
Порядок в станице поддерживался самими казаками в возрасте от 25 до 40 лет, которые назначались в порядке общественной повинности на тыжневую службу — „одынарну”. Назначением ведал один из помощников атамана. За исключением одного полицейского урядника на всю станицу никаких платных полицейских кадров не было. Казаки несли поочередно „тыжневую” службу бесплатно, охраняя общественный порядок, кассу и казенное имущество...

**
*

Прошло немногим больше ста лет после переселения черноморцев на Кубань, а как все изменилось! Прежде почти безлюдный край покрылся множеством станиц, и все пространство плодороднейшей земли полностью стало обрабатываться трудолюбивыми казаками-хлеборобами.

И в 1905 году — дата, с которой начинается повесть „НА ПРИВОЛЬНЫХ СТЕПЯХ КУБАНСКИХ”, как увидит читатель, в мирном кубанском хлеборобе уже трудно узнать потомка былых неукротимых запорожцев с днепровского острова Хортицы. „Лыцари” Запорожской Сечи знали только саблю, пищаль, непрерывные военные походы, легендарные подвиги, жертвенную храбрость во имя казачьего братства. Из них почти никто не умирал своей смертью. Присутствия женщин в Сечи запорожцы остерегались больше чем басурман. Сечевым законом карали вплоть до смертной казни тех запорожцев, которые вздумали опозорить себя связью с женщиной... Все это ушло безвозвратно, и далекое прошлое осталось только в исторических преданиях и пересказах старых черноморцев, как романтическое воспоминание минувших дней **казачьей старины...**

Ф. К.



Екатеринодар. Памятник Двухсотлетия Кубанского Казачьего Войска.
(1696-1896)

ЧАСТЬ I.

ГЛАВА 1.

— Ты, сынку, добре храни это благословение! Твоя покойная мать давала его и Тарасу, и Ивану, и оба, с честью отбыв войсковую службу, благополучно вернулись до дому, — и 66-летний казак Кияшко, Охрим Пантелеевич, надел на шею своему младшему сыну Андрею шнурок с маленьким серебряным образком Св. Николая Чудотворца.

Андрей перекрестился, поцеловал отцовское благословение, но поправляя его у себя на шее, неловко дернул и разорвал шнурок.

-- Ич, басурман, перервал, — с некоторой тревогой в голосе пробурчал Охрим Пантелеевич, видя в этом недобрую примету, и покачал головою. Андрей спокойно связал шнурок и спрятал иконку под черкеску.

Простившись с родными, Андрей крепко приторочил походные сумы, сел на высокого, гнедой масти, коня и в последний раз широким взглядом окинул родимое подворье.

Его статная фигура ловко держалась на новом кавказском седле. Прямой нос и черный цвет волос делали его похожим на горца. Он слегка улыбался, обнажая два ряда больших белых зубов, но в темных слегка прищуренных глазах отражалась грусть и растерянность.

Охрим Пантелеевич был в полной парадной форме. Он сам взял коня за повод и повел через настезь отворенные ворота к станичному правлению, где в этот день собирались конники для отправки на сборный пункт в станицу Уманскую, а потом дальше для прохождения четырехлетней действительной военной службы.

Андрею уже исполнился 21 год, но вопреки местному обычаю, он не был еще женат и на службу отправлялся холостяком, что было большой редкостью в станице.

Старшие братья Андрея, Тарас и Иван, также шли рядом с конем, а сзади, в больших валенках и колушке, бежал девятилетний племянник его Петька, сын Тараса Охримовича.

Во дворе Староминского станичного правления атаман Дмитренко, Сергей Климович, его помощники, писарь и прибывший из Уманской за молодыми казаками хорунжий еще раз проверяли и любовались исправным снаряжением молодых кавалеристов. Их было шестнадцать человек. Вокруг толпились провожающие, родственники и знакомые.

После осмотра все пошли к Христо-Рождественской церкви.

На площади, у главных ворот церковной ограды, стоял большой квадратный стол с иконой Покрова Пресвятой Богородицы. Под открытым небом был отслужен молебен. Всем шестнадцати молодым казакам, когда они подходили к кресту, священник окропил чело святой водой.

Вернувшись во двор правления, казаки сразу же построились к походному маршу по команде прибывшего за ними офицера.

— Ну, сынок, прощай! — сказал Охрим Пантелеевич, подойдя к Андрею.

— Прощайте, батя, — наклонившись с седла, ответил Андрей взволнованным голосом и три раза поцеловался с отцом. — Не беспокойтесь, через год, может, приеду в отпуск, а то и вы*) сами навестите меня!

— Добре, побачу. А ты смотри, коня бережи, як самого себя! — стараясь придать суровость голосу и выражению лица, сказал Охрим Пантелеевич.

Тарас и Иван тоже подошли и простились с братом.

*) В станицах Черноморского Войска, дети, и малые и взрослые, никогда не говорили родителям „ты”, а всегда „вы”: вы, батя; вы — дядя, тетя; вы, дедушка и т. д.

— А я, дядя! — запищал где-то сбоку Петька, обидевшись, что на него не обращают внимания.

Тарас Охримович приподнял Петьку в уровень седла, и Андрей, крепко обняв его, поцеловал, сказав слегка улыбнувшись:

— Когда вернусь со службы, ты вырастешь уже настоящим казаком и на коне будешь скакать не хуже меня.

Петя хихикнул, вытер рукавом нос и, довольный замечанием дяди Андрея, отошел в сторону, придерживая рукой слабо державшиеся штаны.

Проводы происходили на „Голодну Кутю“ (Крещенский сочельник), 5-го января 1905 года. Улицы и деревья белели под снежным покровом, но мороз не был сильным; поэтому провожавших собралось много. Хотя в Крещенский сочельник никому до освящения воды не разрешалось ни пить, ни есть, не мало казаков было навеселе. Некоторые всю ночь гуляли с отъезжавшими казаками, а утром, вероятно, опохмелялись.

Атаман станицы Дмитренко сказал краткую назидательную речь, и молодые конники выехали со двора правления, сразу же затянув походную песню:

„Засвистали козаченьки
В поход з полуночи,
Заплакала Марусенька
Свої ясні очи...”

На тротуаре у заборов улицы Красной, по которой ехали казаки, группами стояли парубки и дивчата, восторженно выкрикивали имена знакомых конников, махали разноцветными платочками и шапками и высказывали им вслед самые наилучшие пожелания.

Круглолицая девушка, в черном пальто с длинными полами и в сером платке, из под которого на спину сбегали две длинные русые косы, отделилась от подруг и, поравнявшись с проезжавшим мимо Кияшко Андреем, бросила прямо в него красный бумажный цветок. Андрей схватил его налету и, повернув голову в сторону своей „коханной дівчини”, еще громче запел:

„Не плач, не плач, Марусенька,
Не плач, не журися,

А за своего миленького
Богу помолился...”

От таких трогательных слов прощальной песни, девушка не удержалась от слез и, приложив к глазам платочек, скрылась в толпе. Стоявшая не следующем углу улицы компания парубков в свою очередь запела:

„Ой гук, мати, гук,
Де козаки йдуть.
Ой щасливая та доріженька,
Де вони ідуть...”

Охрим Пантелеевич и его сыновья долго стояли посреди дороги и смотрели вслед отъехавшим молодым станичникам. В пристальном взгляде старого казака сквозили и гордость и грусть. Гордился Охрим Пантелеевич тем, что всех своих троих сыновей сумел образцово снарядить на действительную службу, выпестовав из них хороших наездников и подготовив им отличных строевых коней. Печалился же оттого, что как раз шла война с Японией, и, чего доброго, могли и Андрея направить на Дальний Восток. Но вспомнив свои удалые подвиги в Турецкую кампанию 1877-78 года, Охриму Пантелеевичу вдруг захотелось, чтобы и Андрея направили на „живое дело”, а то его Тарас и Иван так и не нюхали вражеского пороха.

Когда всадники скрылись вдаль, отец и братья Андрея, с озявшим Петькой, молча пошли домой.

**
*

Выехав за станицу, казаки замолчали и тоскливо поглядывали по сторонам на знакомые, покрытые снегом поля. Верст через пять-шесть, на переезде через греблю „Дурноцапку”, до них донесся первый удар большого колокола старой Христо-Рождественской церкви. Все сняли шапки и перекрестились. Церковный звон означал, что скоро в ограде будут святить воду.

Что-то заскребло в груди. Андрей, а за ним и остальные оглянулись на станицу. Она как-будто опустилась в громадную яму, только крылья многочисленных вет-

ряных мельниц, да купола церквей, с блесевшими от лучей вынырнувшего из-за облаков низкого солнца крестами, виднелись за бугром.

Неясно виден был северный край станицы, так называемая, „Довгаливка”, и все... Потом и Довгаливка скрылась в „яме”. Остались только самые высокие строения, которые тоже постепенно опускались все ниже и ниже. Наконец, и крыльев ветряков не стало видно. Старо-Минская, с ее буйным весельем юных лет, с зажиточной, привольной жизнью, спокойным и мирным домашним уютом — осталась позади...

Многолюдная, широко-раскинувшаяся станица Старо-Минская выросла из малого поселения Минского куреня, начало которому было положено весной 1793 года казаками, пришедшими с главными силами Черноморского Войска, под водительством Кошевого Атамана Чепиги. Расположена она на самом севере Кубанской области, на границе Донского Войска.

На восточном краю станицы протекает небольшая, поросшая у берегов камышем и куширом река Сосыка. В северной части станицы, возле Довгаливки, Сосыка впадает в широкую, местами покрытую во всю ширину зарослями камыша и рогоза реку Ея, которая отделяет Кубанскую область от Донской и впадает в Ейский лиман Азовского моря.

Обе речки богаты рыбой и раками. Караси, лини, окуни, карпы (называемые еще „шаранами” или „коропами”), щуки и другая речная рыба водились в несчетном количестве. Раков было столько, что редко кто, отправившись на любительскую ловлю, приносил домой их меньше мешка.

Всякий, кто хотел и когда хотел, совершенно свободно мог пользоваться этими дарами природы, обитающими в речках.

Среди камыша и зарослей рогозу („куги”), застилавших берега рек, обитало также много всякой дичи: утки, гуси, нырки, лебеди, кулики и т. д.

В Старо-Минском юрте, в личном и бесплатном поль-

зовании казаков, было 56 тысяч десятин прекраснейшего чернозема, не требующего никогда никакого удобрения. Кроме того, у станичного общества имелась еще земля под Ейском — 2900 десятин и в Нагорной полосе 6661 десятина. Земля эта в „паевой надсел” казаков не входила, а сдавалась в аренду; выручка же за нее шла в станичную казну. В Старо-Минском юрте, на каждого достигавшего 17 лет казака, давался пай земли в 12 десятин.

С каждым шагом коня все эти, такие близкие сердцу каждого из ехавших в Уманскую казаков, уголки родной земли оставались позади. Впереди начиналась четырехлетняя служба в полку, боевая выучка и жизнь в чужих местах. Казаки ехали молча, изредка перебрасываясь короткими фразами. Андрей, опустив голову, задумался о „дівчине Марусе”, бросившей ему на прощанье цветок. „Значит, любит”, думал он, „надо было бы жениться на ней, девушка хорошая... А теперь, разве она будет ждать меня четыре года? Конечно, нет!” И он с досадой хлестнул плеткой своего гнедого.

Показался хутор Западный Сосык. Казаки, чтобы показать свою удаль перед знакомыми хуторянами, гикнули на коней и во весь дух промчались через небольшой поселок.

**

В Уманской, у здания Управления Атамана Ейского Отдела, прибывших встретил помощник Атамана, ответственный за очередной сбор казаков Уманского полкового Округа. Был уже поздний вечер. Некоторые разместились у знакомых, другие прямо в здании Отдела, поставив коней в большую общественную конюшню.

Но задержались староминчане в Уманской недолго. Через несколько дней, когда собрались молодые казаки и из других станиц, приписанных к Уманскому полку, рано утром все они построились перед зданием Управления Отдела и после краткого напутствия Атамана двинулись дальше походным порядком.

Первый Уманский полк, в котором предстояло старо-

минчанам проходить военную службу, в мирное время имел постоянное пребывание в городе Карс, но в 1905 году его перебросили на Дальний Восток, для военных действий против Японии. Одна только сотня полка временно задержалась в городе Темир-Хан-Шура и несла там гарнизонную службу. Командир полка полковник Авилов прислал в Уманский полковой округ распоряжение направить молодых казаков в Темир-Хан-Шура и там ждать приказа о присоединении к полку. Адъютант полка подъесаул Лопата прислал затем выписку из приказа Главного Командования на Дальнем Востоке...

В станице Атаманской казаки остановились на обед, покормили лошадей и опять в поход. Вечером, проехав без привала станицу Павловскую, прибыли к станции Сосыка Владикавказской железной дороги. Там казаков с лошадьми погрузили в вагоны воинского эшелона, и поезд повез их на юго-восток. Из полуоткрытых дверей вагонов грустным взглядом прощались молодые казаки с полями родимой Кубани.

На второй день подъехали к станции Порт Петровск. Слева открылась необозримая гладь Каспийского моря, справа - небольшой городок с плоскими крышами домов. Дальше за городом виднелись горы Дагестана. Выгрузились из вагонов, построились и тронулись рысью на запад. Сделав переход верст в пятьдесят, вошли в Темир-Хан-Шура.

Несмотря на январь, там не было ни снега, ни морозов. Во всем Дагестане стояла теплая погода, какая на Кубани бывает только в марте. Горцы уже сажали кукурузу и картофель на своих крохотных полях. Пшеницу и ячмень в Дагестане сеять было негде; для возделывания хлебов слишком мало земли пригодной. Обычно горцы обрабатывали почву вручную, лопатой и мотыгой, но встречалось и нечто вроде „тамбовской” сохи, с железным лемехом, которую тянула пара мулов. Почти каждый горец имел ишаков, на которых перевозились всякие грузы. У более богатых были и лошади. В Темир-Хан-Шура жило несколько русских землепашцев, которые обрабатывали свои более обширные поля настоя-

шим плугом, с четверкой лошадей в запряжке, как и на Кубани.

В горах и окрестностях города бродили большие отары овец. Овцеводство и садоводство — главные занятия дагестанцев. Отары почти круглый год находились на горных пастбищах. Свиной ни в одном дворе не было. Все дагестанцы — мусульмане, а свинья для последователей Ислама была строго запрещенной тварью. Даже в нескольких десятках русских семейств, проживавших в Темир-Хан-Шура, чтобы не оскорблять религиозных чувств горцев, тоже свиной не держали.

Месяц прошел в муштровке и ожидании приказа об отправке в полк. Но тут-то, в конце февраля, с Кияшко Андреем случилось большое несчастье.

Однажды он спокойно возвращался в свою казарму от коменданта города, которому возил какой-то пакет от командира сотни. На окраине города, у лавки какого-то торговца стояли две русские девушки. Их он как-то видел раньше возле казармы в обществе офицеров сотни. Запомнить их было легко; во всем городе нашлось бы всего четыре-пять русских девушек; местные же горянки совсем не показывались на глаза мужчинам, тем более „урусам”. Если же когда и появлялись на улице, то обязательно в чадре.

Андрей вздумал блеснуть перед красавицами своей удачью джигита, стеганул коня и во весь дух полетел вдоль улицы, не глядя перед собой и повернув голову в сторону девушек. Гнедой разгорячился и с разгону налетел на плуг, положенный на бок, после работы в поле, который шагом тянули по дороге четыре лошади одного русского поселенца. Испуганные лошади рванулись вперед. Гнедой застрял в „колешне” и упал грудью прямо на „чересло” — торчащий впереди лемеха широкий толстый нож. Выдернув из стремян ноги, но не успев соскочить на землю, Андрей не удержался в седле и через голову коня упал сажень в двух сбоку.

Девушки звонко захохотали, крикнули что-то язвительное по адресу Андрея и скрылись за углом. Андрею теперь было не до них.

Вскочив на ноги, он кинулся к Гнедому. Работник-татарин, с трудом остановивший своих бившихся в страхе лошадей, почти одновременно с ним подбежал к раненному коню. Оба взглянули и ужаснулись.

Чуть повыше груди шея Гнедого была разворочена череслом, и из раны ручьем лилась кровь. Конь поднялся на ноги, отчего кровь хлынула еще сильнее. Андрей стоял несколько секунд, не зная что делать. Потом, сдернув с себя одежду, бешметом закрыл рану, завязал на холке рукава и быстро повел коня к своему ветеринару. Пройдя шагов двадцать, конь вдруг зашатался, хотел заржать, но вместо этого ржания у него вырвался только кровавой хрип, и через две-три секунды он грохнулся на землю. Андрей быстро снял седло и в тупом оцепенении смотрел на умирающего четвероногого друга.

Гнедой судорожно стал дергать задними ногами, потом вытянул шею и затих.

— Что же я наделал? — в ужасе закричал Андрей, не обращаясь ни к кому. --- Что же теперь скажет батько? Как же это случилось? Как же батя, перед отпайкой, просили беречь коня! Уберег!?

Он готов был избить тех девушек, из-за которых погнал коня бешеным аллюром, но их и след простыл. Тогда он в припадке злобы догнал дагестанского татарина, на плуг которого налетел Гнедой, и схватил его за горло. Татарин перепугался до смерти, умолял отпустить его, лепеча, что он тут не виновен. Он ехал спокойно по дороге и совсем не заметил откуда выскочил пулей всадник и наскочил прямо на бок сунувшийся его плуг. Андрей ничего не хотел слышать. К ним приблизились несколько горцев.

— Зачем твоя давишь? — грозно сказал один седой аварец.

Андрей хотел-было броситься и на него, но, вспомнив рассказы казаков, как косо смотрят на русских горцы и жестоко расправляются с „урусами“ за всякую обиду, оставил татарина и пошел к коню. Он и сам теперь видел, что виноват во всем только он один.

Не придумав себе никакого оправдания, Андрей взял под руку окровавленный бешмет, снял с Гнедого еще и уздечку, взвалил седло на плечи, пошел пешком в казарму и подробно доложил обо всем командиру сотни есаулу Панченко.

Есаул огрел Андрея раза три плеткой, потом приказал нескольким казакам вместе с убитым горем преступником ехать к месту происшествия. Казаки стволкли Гнедого за город, сняли шкуру, закопали труп и вернулись в казармы. Есаул посадил Кияшко Андрея под арест до решения суда, а в Старо-Минскую написал два письма: Охриму Пантелеевичу и Атаману.

Вскоре Андрей получил от отца грозное послание, в котором Охрим Пантелеевич писал, что и видеть не хочет такого „дурня-розбышаку“, чтоб и на очи он ему больше не показывался. Андрей покорно принял гнев отца. Куда обиднее было другое. Через несколько дней, по приговору военного суда, он исключался из конной казачьей части и на все время действительной службы переводился в „пластуны“ — пехоту, с назначением в 5-й Кубанский Пластунский батальон, который в то время стоял в городе Ардаган.

Так прервалась для Кияшко Андрея начатая почетная служба, а это было большим позором для казака. На второй день после приговора, получив соответствующие бумаги, Андрей уехал в далекое и незнакомое ему Закавказье.

Когда он прибыл туда, оказалось, что 5-й Пластунский батальон перевели из Ардагана в Кутаис. Андрею пришлось в тот же день опять садиться на поезд и через Тифлис догонять свой батальон.

ГЛАВА II.

„Пей, друзья, покуда пьется,
Горе жизни забывай!
На Кавказе так ведется:
Пей — ума не пропивай!“

Главный город древней Колхиды, Кутанс, утопал в море фруктовых садов и виноградников. Многоводная

река Рион как бы прорезала сплошную, слегка колеблющуюся от ветра, зеленую стену садов Колхидской низменности. Вся окрестность была покрыта разнообразнейшими сортами фруктовых деревьев. Тут прекрасно выращивались яблоки, груши, сливы, персики, мандарины, гранаты, айва, апельсины, лимоны... Ветки гнулись, а иногда и обламывались под тяжестью висевших на ширококронных деревьях плодов. Особенно славился Кутаис виноградным вином, вырабатываемым местными крестьянами.

В этот город весной 1905 года и прибыл Андрей Охримович Кияшко, явившись к адъютанту расквартированного здесь 5-го Кубанского Пластунского батальона, сотнику Михаилу Леус. К своей радости, он встретил там несколько одностаничников и с первых же дней своей службы подружился с Кузьменко Григорием, которого знал еще как соседа в своей станице. Это был невысокий, смуглый казак, с черными курчавыми волосами и небольшим вздернутым носом. Кузьменко находился на действительной службе уже второй год, знал все ходы и выходы и пользовался уважением среди казаков батальона.

Однажды Кияшко Андрей и Кузьменко Григорий, возвращаясь в казармы после выполнения какого-то служебного задания, проходили мимо пригородной деревни. Хотя солнце клонилось уже к западу, жара стояла невыносимая, и обоих стала мучить жажда. Андрей подошел к забору одного двора, позвал стоявшего у дома мальчика и, подавая ему свой котелок, попросил воды. Мальчик взял котелок и ушел в дом. Через несколько минут из дома вышла молодая черноволосая грузинка и вернула казакам наполовину налитый котелок — не водой, а вином. Андрей, не посмотрев, сразу же приложился и без отрыва сделал несколько глотков. Потом облизнулся, мигнул грузинке правой бровью, отчего та смущенно убежала в дом, и передал котелок Кузьменку:

— Добра, добра вода здесь! Если такой „водой” тут

принято поить нашего брата, то мы частенько будем сюда заглядывать.

— „Тільки й світа що в вікні, за вікном ще більше”, — равнодушно заметил Кузьменко, допивая остаток вина. — За таким питьем здесь дело не станет. Эти черно-волосые крали продают тут везде прекрасное вино и всего лишь по пять копеек за полный котелок. Так что же думаешь, мы его покупаем? Чорта с два! Мы частенько и так достаем, без денег, да еще какое вино! Жить и умирать не надо!

— Неужели так и дают бесплатно, или вы, может, научились красть вино у крестьян? — спросил Андрей.

— Ну, что ты! Красть ведь грешно! Красть, это значит, надо залезать в окно или ломать двери, вязать хозяев и так далее. Нет, нет! Мы этим не занимаемся, а просто, по своей хватке, всегда достаем.

— Ну, если достаете честно, по добром, то ты и меня научи этому делу...

— Ясно, по честному, никого не трогаем! Вот пойдешь с нами в эту ночь и наверняка выпьешь добрячего вина, сколько хочешь...

Ночью, когда другие уже спали, девять казаков из Второй сотни, в том числе и Кузьменко с Андреем, захватив пару лопат и глиняные кружки, тайно выбрались из расположения батальона и скрылись в ночном мраке за город.

Приближаясь к задворкам какой-то деревни, стали идти тихо, на цыпочках. Потом остановились. Кузьменко отошел в сторону, пригнулся к земле и начал принюхиваться.

Иногда он, стоя на коленях, припадал к самой земле, нюхал и опять полз дальше. Остальные шли сзади. В одном месте, у самой изгороди сзади небольшого домика, Кузьменко остановился дольше, прижался к самой земле, три раза усердно обнюхал почву, затем вскочил, топнул ногой и радостно шепнул:

— Здесь есть! Копайте!

Несколько казаков сейчас же начали рыть землю,

передавая поочередно друг другу лопаты. Андрей стоял в стороне и ничего не понимал.

— Точно есть! — загомонили копавшие. Ну и молодец же, Гриша. Без него никогда бы не нашли такого клада и, наверное, скоро бы в монахов превратились!

Три казака с трудом извлекли на поверхность большой овечий бурдюк.

У крестьян Закавказья существовал обычай, если в семье родится мальчик, закапывать в землю один или несколько бурдюков или больших глиняных сосудов с молодым вином. Открывали же их, когда тот „мальчик” женился, в день его свадьбы. Некоторые виноделы закапывали в землю бурдюки с вином ежегодно, просто для „выдержки”. Пролежав в земле несколько лет, вино приобретало крепость, приятный вкус и аромат. Овечьи бурдюки с вином никогда в земле не портились.

У Григория Кузьменко было удивительное обоняние. По рассказам казаков, он почти никогда не ошибался в поисках места, где было зарыто под землей вино. В тайну врожденных способностей его носа никто не вникал, но благодаря этому он пользовался большим уважением во всем батальоне.

Итак, девять казаков раздобыли этой ночью целый бурдюк с прекрасным вином. Только теперь Андрей понял, как — „по честному” — доставали казаки „добрячее вино”. Но об этом не было времени думать. Прежде всего решили попробовать вино, а потом уже придумать, как поступить дальше с бурдюком, куда его унести, чтобы никто не заметил.

В ножке бурдюка кинжалом проткнули небольшую дырку, и оттуда сразу ударил красный, казавшийся в темноте ночи черным, фонтан вина. Кузьменко по праву выпил первым.

— Ну и добрячее же, чорт возьми, и пахнет майским пчелиным медом! — заметил он, передавая кружку другим, ожидавшим с нетерпением своей очереди.

Все выпили по кружке и хотели уйти с бурдюком в более безопасное место, но он был еще тяжел. Тогда ре-

шили еще по одной выпить, чтобы легче нести было. Становилось веселее.

— А зачем нам вообще его куда-то тащить? — сказал низкорослый казак, успевший уже выпить три глиняных кружки. — По дороге еще кто из посторонних наткнется, а тут безопасно! Грузин до утра не выйдет из своей хибарки, а офицеры наши беспробудно спят.

Все как будто только и ждали такое предложение и уселись поудобнее вокруг бурдюка.

Кружка за кружкой наполнялась и выпивалась. Казаки уже не полушепотом разговаривали, а во весь голос. Вино из овечьей ножки уже не било фонтаном, так как его было „выпробовано” и разлито около половины бурдюка. Теперь, когда подставляли кружки, приходилось надавливать на бурдюк.

Наконец, все почувствовали себя свободными от всякого страха, словно дело происходило не на чужих задворках, а у себя в станице — дома.

Один казак высоким тенором начал:

„Сонце за гору закотилось,
Потухла ясная зоря”,

И все дружно подхватили:

„И ніч тихесенько спустилась,
На рід веселиє края.
На небі місяць світе ясний,
Кубани вольные сыны,
В горах Турецьких коней пасли
І там балакали вони...”

В ночной тишине песня гулким эхом отдавалась по окрестным садам пригорода. Ни один листок на деревьях не шевелился, и, казалось, все внимало песне захмелевших кубанцев. Казаки совсем забыли, что рядом находится дом обокраденного хозяина-грузина, а в двух верстах — казармы их батальона.

Они пили и пели о Кавказе, о далекой Кубани...

Казаки даже не заметили, как к ним подошел старичек грузин небольшого роста и остановился, как вкопанный от ужаса и негодования. Да и как не ужаснуться?

Его, так долго хранимый в земле, бурдюк с вином лежал уже почти совсем пустой возле разрытой ямы.

— Зачем твоя брал моя бурдюк? — заговорил он слегка угрожающим тоном. — Не хоросо, козак, не хоросо! Я пошла говорить ваша офицер.

Но никто его в данный момент не испугался.

— Что? Куда ты, говоришь, пойдешь?! — язвительно спросил один из казаков и, вынимая кинжал, направился к грузину. — Вот я тебе, бурдючное рыло, покажу сейчас дорогу!

Грузин боязливо попятился к своему подворью, а казак медленно продолжал наступать на него, делая вид, что хочет ударить его кинжалом. Наконец, хозяин не выдержал и со всех ног бросился бежать. Вскочив в дом, он сразу же запер дверь внутренней задвижкой. Обнаглевший казак гнался до самых дверей, а затем нашел веревку и завязал дверь крепко снаружи, чтобы грузин не мог бы больше выйти и мешать попойке. Затем, с видом победителя, пошел назад к своим, затянув по дороге во весь голос:

„Пейте, братцы, пока пьется,

Пей ума не пропивай!

На Кавказе так ведется

Горе в жизни забывай.

Эх, ты, маменька родная,

Не печалься обо мне,

Не один я, дорогая,

Помир....”

и сразу запнулся, не веря своим глазам. Подъесаул Второй сотни и взводный урядник Шпак стояли у бурдюка, а перед ними навытяжку, еле держась на ногах, восемь казаков.

Подъесаул стоял, слегка расставив ноги, заложив руки назад, и строго, но не громко, читал нотацию.

— Кто вам разрешил самовольно выйти ночью из казармы, да еще заняться грабежом? Что это? Нарушение воинского устава и попрание казачьей чести!? Кто давал вам такое право?

Все казаки молчали, словно воды в рот набрали.

— Всех под суд отдам! В кандалы закую! — продолжал подъяесаул. — Завтра всем вашим родным напишу о таком мародерстве, сукины дети! Берите лопаты, кидайте бурдюк обратно в яму, зарывайте! Быстро!

Казаки молча бросили бурдюк с остатками вина в ту же яму, быстро закидали землей, заравняли хорошенько и снова стали в ряд перед подъяесаулом.

— Шагом марш за мной! Урядник, замыкай колонну! — и подъяесаул обходным путем направился к казармам.

Спотыкаясь и попадая в ямы, которых почему-то всегда оказывается много для пьяных на любой дороге, с тихой руганью между собою, девять казаков послушно следовали за своим офицером.

Он провел „команду” в заднюю часть двора казармы „черным” ходом и запер всех в небольшой подвал, существования которого казаки даже не замечали раньше.

Очутившись в темном пустом помещении и не думая больше ни о чем, казаки сразу же повалились на пол и через минуту заснули.

**

Наступило утро. Это чувствовалось по движению во дворе казармы. „Узники” проснулись и сидели на корточках, мало соображая сначала, где и почему они находятся в такой „кромешной” тьме.

— Чорт знает, что такое? Как в гроб зачихнули нас сюда! — послышался из угла голос Кузьменко.

— А, может, нас уже похоронили; может, мы уже мертвые? — заметил длинноногий Кондратенко Евгений, сын учителя двухклассного училища в Старо-Минской.

— Мертвые, мертвые, — сердито передразнил его Андрей, — такую ерунду городишь! У мертвых, наверное, не бывает никакой боли, а у меня голова скоро развалится, как будто сто пудов на лбу висит!

— А ты думаешь, живых не хоронят?

— Как живых? Таких нехристей еще не видел! У тебя, наверное, бурдюк из головы еще не выветрился?

— Кондратенко! — раздался голос того казака, который ночью загнал грузина в дом. — Расскажи что-нибудь интересное, а то, если еще и живы, то, ей-Богу, скоро по-

мрем со скуки. Вот, проклятый грузин! И надо же ему было закопать бурдюк так близко от наших казарм!

— Голова трещит и язык с трудом ворочается, — отвечал с неохотой Кондратенко.

— Расскажи, Кондратенко! Ты же со своим батьком часто ездил по городам, небось навидался всякой всячины! — слышались голоса.

— Забавного ничего не знаю, да и не до этого сейчас.

— Ну не затевать же нам опять песню! Того и гляди еще глубже посадят.

Кондратенко вытянул из под себя занемевшие ноги.

— Як ото кажут: „голодні кумі — хліб на умі”, так и мне сейчас пришло в голову то сердобольное, чего у нас в казармах нет.

Все затихли.

— Наше сейчас положение, в этом подземельи, напомнило мне об одном случае дома, там на Кубани, — начал Кондратенко. — Лет пять назад, я и мой батько больше месяца гостили у моего дяди, в Екатеринодаре. Через одну улицу от дяди жил богатый купец Пахомов или Парамонов: забыл фамилию. У него была молодая красивая дочка Наташа. Эту Наташу без памяти полюбил один парубок-садовод по имени Анатолий. Наташа тоже втрескалась в него, но выйти замуж за Анатолия нечего было ей и мечтать, слишком были неравны, и по богатству и по положению. В пылу любви Анатолий часто говорил своей „голубке сизокрылой”:

— Где бы ты не очутилась, выйдешь ли замуж — я буду ходить мимо твоего нового жилья, чтобы хоть украдкой взглянуть на твое дорогое личико. Уедешь в тридесятое царство, — я и за морями найду твой след. Провалишься в преисподнюю, в могилу, — я под землей тебя достану. Пусть смеются, но я без тебя жить не могу...

— Из под земли меня доставать не надо; там я буду лежать уже холодным и никому ненужным мертвым телом. А вот здесь... — и грустно вздыхая, Наташа злилась, что только богатство ее отца мешает ее счастью с этим милым парубком.

Однажды Анатолий уехал из города в станицу Пашковскую, — это по соседству с Екатеринодаром, — на свой виноградник и задержался там на целую неделю. В эти дни в семье Пахомовых случилось страшное событие. Дня через три-четыре после отъезда Анатолия ранним утром Наташу, до этого совершенно здоровую и никогда вообще не болевшую, нашли в постели мертвой. Все в семье так были поражены, что не позаботились даже позвать доктора и выяснить причину внезапной смерти.

На второй день, Наташа лежала в дорогом, разукрашенном гробу, увитом множеством цветов, с горевшими у изголовья свечами и выглядела, словно живая, даже, казалось, легкий румянец покрывал ее прекрасное личико. Трудно верилось, что она мертвая, но вся окружавшая обстановка говорила за то, что это именно так. У нас в станице умерших хоронят почти всегда в день смерти, редко на второй день, а у панов и всякой там богатой интеллигенции хоронят только на третий день. Так было и с Наташей, она лежала в гробу три дня.

На третий день, при иступленных воплях матери и плаче всех присутствовавших родственников, Наташу похоронили на старом городском кладбище, рядом с могилой дедушки, на которой стоял большой бронзовый памятник. Я и отец тоже присутствовали на этих похоронах, видели всю эту печальную церемонию, и признаюсь... — сам заплакал.

А что же Анатолий? Он только в день похорон узнал такое страшное известие, поразившее его, как удар грома. Услыхав об этом, он вскочил на первого попавшего под руку чужого коня и вихрем помчался в город. В каких-нибудь двадцать минут он уже был у ворот Пахомова. До этого он никогда не заходил в дом Наташи, стеснялся, а теперь, едва спрыгнув с коня, сразу же вбежал прямо в зал. Но его Наташи уже там не было. За печальную трапезу поминок усаживались родственники купца, только что вернувшиеся с кладбища.

— Так это правда, ее...нет? — спросил он, дрожа всем телом.

— Правда, бедный Толя, правда! — и брат Наташи,

знавший о романе Анатолия с его сестрой, рыдая обнял его.

Едва не потеряв сознания и еле сдерживая слезы, Анатолий стал расспрашивать, где она похоронена и как найти ее могилу. Брат Наташи кратко рассказал ему. Отказавшись пойти к столу, Анатолий ту же минуту вышел из дома и как пьяный поплелся на кладбище. А зачем, для чего, — он совсем не соображал.

По выделявшемуся на фоне вечернего полумрака высокому бронзовому памятнику он быстро отыскал могилу Наташи, упал на свеженасыпанный холмик земли и минут десять лежал, дав волю слезам. Затем поднял отяжелевшую, как с похмелья, голову, сел на землю...

Блуждая глазами по сторонам, он заметил возле себя забытую могильщиками лопату. Его вдруг осенила безумная мысль: ему захотелось еще хоть раз, в последний раз, взглянуть на любимую девушку.

Озираясь кругом, как вор, Анатолий схватил лопату и начал отрывать могилу. Забыв всякий страх, с удесятенной силой выбрасывая наверх свеженасыпанную землю, Анатолий опускался все ниже и ниже, пока не дошел до крышки гроба. Волнение спирало грудь. Дрожащими руками заложил он острие лопаты под крышку заколоченного гвоздями дубового гроба и оторвал ее сразу с обоих концов...

— Ух, как крепко я спала! — приподняв голову и слегка зевнув, промолвила „мертвая”. Анатолий дико вскрикнул и без сознания упал рядом.

Наташа, оглянувшись по сторонам, сразу заметила, что находится в глубокой яме, в каком-то длинном ящике, похожем на гроб. Испугавшись, она вскочила, обхватила голову Анатолия, трясла его и в ужасе спрашивала:

— Где это мы? Что это все значит, почему здесь находимся? Толя!

Анатолий лежал без движения. В таком состоянии они пробыли несколько минут.

Наконец, Анатолий очнулся и ничего не мог понять. Увидев себя в объятиях дрожащей девушки, он, с одной стороны, хотел, чтобы „привидение” еще побыло с ним,

но, с другой стороны, ему страшно становилось от всего того, что случилось на его глазах. Сон это или явь? Боясь шевельнуться и тяжело дыша, он, как в истерике, закричал:

— Именем Христа заклинаю тебя, отвечай кто ты, призрак или живая Наташа!?

— Бог с тобой, что ты такое говоришь? Что все это значит? Я ничего не понимаю, идем скорее отсюда!

-- Но ведь ты же умерла и сегодня тебя здесь похоронили!

— Что, что такое?! Что ты мелешь? Господи, какой ужас! -- в страхе зашептала Наташа перекрестившись и забилась, как в лихорадке. Он же, видя, что она крестится, немного пришел в себя.

— Милая, голубушка, жизнь моя! Значит, живая? Как же так, живую похоронили? Идем скорее отсюда! — лепетал он, прижимая к себе „воскресшую” девушку.

Они выкарабкались из ямы и, так как девушка была в одеянии покойника, пошли по глухим переулкам и подошли ко двору Пахомова. Анатолий остался у ворот, а Наташа одна вошла во двор и подошла к окну.

В доме уже невидно было никого, и лампы не горели. Лишь в зале слабо мигала лампада, а у окна, к которому подошла Наташа, задумавшись и подперев руками голову, сидел ее брат.

Подняв голову, он вдруг увидел перед окном „призрак” сестры. Он перекрестился, зашептал молитву, но „призрак” не исчезал. Обезумев от страха, он схватил висевшее на стене ружье и с перепугу выстрелил прямо в окно, а сам в тот же миг с криком упал на пол и потерял сознание. Наташа, заметив движение брата, едва успела отскочить от окна и побежала к воротам.

-- Что делать, Толик? Мало похоронили живую, они теперь убить меня хотели. Слышал выстрел?

— Слышал. Идем к нам домой, будешь у меня до утра, а завтра придем вместе сюда!

В доме зажегся свет и заметно было движение, поднялась суматоха, но они, не оглядываясь, пошли от ворот.

Ночь Наташа провела в доме Анатолия.

Утром, переодевшись в обыкновенную одежду, Наташа вместе с Анатолием снова пошла к своему дому. Как раз перед их приходом прибежал сторож кладбища и сообщил родителям, что могила их дочери разрыта, и гроб пустой, и сейчас же все находившиеся в доме собрались итти на кладбище, чтобы самим посмотреть могилу, но... в этот момент в дом вошла сама „покойница” вместе со своим парубком-садоводом.

Все в страхе кинулись в сторону, крестясь и читая молитвы.

— Не бойтесь! Днем призраков не бывает! — сказал Анатолий. — Наташа не умерла. Вы ее живую закопали в могилу, а я вчера отрыл, и она ночевала в моем доме.

Все смотрели то на Анатолия, то на „жившуюся с того света”. Мать лежала в обмороке. Остальные осторожно стали приближаться и ощупывать Наташу, все еще не веря своим глазам. Поняв, наконец, в чем дело, они бросились целовать и Наташу и ее спасителя. Мать тоже очнулась. Все со слезами радости благодарили Анатолия, кляня себя за такую роковую оплошность. Родители Наташи подошли к нему и сказали:

— Что хочешь, то и проси у нас, ничего не пожалеем за твой рыцарский поступок! Половину всех богатств, денег, хоть сейчас, дарим тебе!

Но он молчал. Потом, повернувшись к Наташе, сказал:

— Помнишь, ты когда-то говорила, что под землей доставать тебя не надо, а я сдержал свое слово, нашел тебя и там.

Она, не стесняясь никого, крепко обняла его. Анатолий поднял голову и говорит:

— Не надо мне ни вашего богатства, ни денег! Дайте мне ту, которую я нашел под землей! Дайте мне Наташу!

Родители глянули на Наташу, а она, как бы в ответ им, крепко поцеловала Анатолия и тихо сказала:

— Я твоя теперь, — потом повернулась ко всем и добавила: — Жизнь моя принадлежит ему. Я сегодня стою перед вами живая, только благодаря этому, давно любому мне парубку. Так пусть же и владеет он мною навсегда...

Ну, ясно, что ради такого подвига Анатолия, родители

ничуть не стали противоречить их обоюдному желанию. В тот же день состоялась помолвка, и в доме был такой пир, какого Екатеринодар не видел со дня своего основания. Вскоре Анатолий и Наташа обвенчались и стали жить-поживать, да приплода поджидать. И, наверное, и сегодня благоденствуют, в то время как мы сидим в еще худшей яме, чем они когда-то сидели на кладбище...

Кондратенко замолчал и стал крутить цыгарку с „легким” турецким табаком.

— Рассказал ты штуку интересную и весьма занимательную, но и без брехни у тебя не обошлось, — заметил Кузьменко. — По твоему выходит, что она умерла и воскресла? Сказка старой бабушки!

— Ничего я не набрехал, — возразил Кондратенко, — девушка вовсе не умерла, а заснула летаргическим сном. Ее взяли да и похоронили. А когда Анатолий открыл крышку гроба, она пробудилось от свежего воздуха, и ничего необыкновенного в этом нет. Дыхание же у людей, заснувших летаргическим сном, такое слабое, что его трудно заметить, и часто они становятся жертвами халатности близких. Спят люди этим крепким сном не только несколько дней, но и месяцы и даже годы...

Кондратенко говорил серьезно, и видно было, что он, пожалуй, знает больше, чем его друзья. Отец его был учителем, приехавшим в Староминскую лет двадцать тому назад и приписанным потом к станичному обществу. Сам Евгений учился плохо и не кончил Ейской гимназии. Отец его даже хотел, чтобы его направили на действительную службу наравне со всеми, но коня не справил, и он попал в пластуны.

— А чего ты, Гриша, не веришь? — подал голос Андрей. — Помнишь, как у нас в станице Ульяну Пятак принесли в церковь и начали служить панихиду. А священник наш Иван Кувиченский с псаломщиком Федором Евграфовичем Добрыдень поют „Со святыми упокой” и все время шепчутся, да поглядывают на Ульяну. Потом вдруг отец Иван перестал служить, подошел к гробу, приложился ухом к груди покойницы, раскрыл ей рот, подержал над

ртом стекло со своих очков и говорит: „Она не умерла, а спит; несите домой! Она проснется!” Все, конечно, чуть с ума не сошли от такого определения священника, но противоречить, конечно, не посмели, подняли носилки с „труною” и понесли. В ограде, в воротах зецепились впопыхах за что-то и поставили носилки на землю. И... в это время Ульяна встала и вместе с другими пришла домой. Потом она и ее муж попу Ивану десяток гусей отвезли в благодарность, да и псаломщика Федора Евграфовича не забыли...

— А у нас был тоже такой случай, — вмешался в разговор староминчан казак из станицы Крыловской. — Идем мы, несколько парубков, через кладбище ночью, слышим где-то, как будто в отдалении кто-то кричит. Стали, оглядываемся, никого не видно, а было лунно, хоть иголки собирай. Видим, возле нас свежесыпанная могила. Кого-то сегодня похоронили. Прислушались, голос идет из под земли на могиле, тут же рядом с нами, а нам кажется, что очень издалека. Приложились ушами к земле. Точно кто-то в могиле кричит. Ну, мы сразу побежали за лопатами и начали отрывать. Звуков уже не стало слышно, но мы откапываем. Отрыли, открыли крышку... смотрим: покойник — перевернутый боком, и все пальцы искусаны в кровь. Потом все говорили, что он заснул тоже этим, как его, лирмическим...

— Летаргическим, — подсказал Кондратенко.

— Да, да, этим самым сном. Его похоронили, уже в могиле он проснулся, и пока мы откапывали да прислушивались, он задохнулся...

В это время у дверей подвала послышались голоса подъесаула и урядника Шпака. Все притихли, прислушались.

— Сделай так, как я тебе сказал! — приказал подъесаул.

— Слушаюсь, ваше благородие! Все будет шито-крыто.

Через минуту дверь подвала распахнулась, и на пороге, с сурово сдвинутыми бровями, показался Шпак.

Дневной свет, упавший от открытых дверей в темное помещение, осветил заспанных и измазанных в пыли ка-

заков. Все вскочили по-военному и молчали. Молчал и взводный урядник, пристально осматривая каждого.

— Господин урядник! Зачем нас похоронили живыми в этой яме? — нарушил, наконец, молчание Кияшко, находившийся еще под впечатлением рассказа Кондратенко.

— Забыл: зачем, сопляк? Не успел прибыть и послужить в батальоне, а успел уже полезть за чужим вином? — сердито крикнул Шпак. — Будете сидеть в этой яме не один месяц, а потом судить будем!

— Господин урядник! Это было в последний раз. Теперь будем по колено брести в винной речке, но не позволим себе пить, да еще ночью! — безусловно соврав, начал один из казаков.

— Дурак! Разве вам кто, когда говорил, что пить нельзя? Надо же обделывать все такие дела поразумнее. Ну, на кой черт, вы там же на месте засели пить, да еще и песни вздумали орать? Теперь вот красней из-за вас, а что пользы мне от этого?

Шпак сам был такой же простой казак-хлебороб, как и провинившиеся, и не прочь бы и сам потянуть из бурдюка прекрасного грузинского вина, но он был взводным урядником, а это звание заставляло его быть более сдержанным, более требовательным по службе.

Он помолчал немного, как бы выжидая, что, может, еще кто-нибудь что скажет, но казаки молчали. Окинув всех еще раз взглядом с ног до головы, он тихим внушительным голосом сказал:

— Внимание! Чтобы о вашей вчерашней проделке никому ни слова! А если кто из казаков других взводов спросит, где, мол, были, — скажите, что сопровождали в город Поти грузинского князя Ишакоридзе. Понятно? — и Шпак улыбнулся.

Казаки засмеялись и нестройно ответили:

— Так точно, все понятно, господин урядник!

— А сейчас немедленно убирайтесь из этого подвала и шагом марш в казарму! Помыться и через час явиться всем на кухню, картошку чистить! Сегодня как раз очередь нашему взводу, — и, повернувшись, Шпак ушел.

Провинившиеся в один миг выскочили из подвала и через минуту скрылись в стенах казармы.

Этим и кончилось дело. Никто под суд казаков не отдал. Так почти всегда сходили с рук подобные проступки, если о них знали только свои офицеры. Но, если казаки попадали в руки городского начальства, которое по некоторым причинам недолюбливало казаков, или дело о нарушении воинского устава доходило до сведения старшего командования, тогда им приходилось плохо...

Дня через три, шестеро казаков из той же девятки, поздно ночью, принесли откуда-то целый бурдюк вина прямо в тот злосчастный подвал, в котором недавно сидели, и не забыли на этот раз угостить и своего взводного урядника Шпака...

ГЛАВА III.

В начале лета 5-й Кубанский Пластунский батальон перебросили из Кутаиса в сторону Тифлиса, в высокогорное местечко Аббас-Туман. Этот городок, расположенный в Ахалцыгском уезде, славился, как климатический курорт, а, кроме того, в нем были еще горячие источники, водами которых лечилось много больных из высшей знати.

Аббас-Туман лежит высоко над уровнем моря, поэтому зима там дает себя чувствовать сильнее, чем в остальном Закавказьи.

Здоровый горный воздух, живописная местность и лечебные свойства источников привлекали в это место даже и членов императорской фамилии. Там находился дворец покойного великого князя и наследника-цесаревича Георгия Александровича. На склоне горы стояла красивая часовня. Как у дворца, так и дверей часовни, все время стояли часовые из казаков, отбывавших действительную службу...

Однажды Андрей Кияшко стоял на посту у часовни, любуясь раскинувшимися перед ним горами и долиной, покрытой зеленым ковром и цветами. Невольно вспомнились ему безбрежные поля и сады родной Кубани.

„Как здесь ни хорошо, а у нас все же лучше”, почти вслух думал он. — „У нас, куда ни глянь, — широкая ровная степь, а тут только вблизи видно, а дальше горы, а что за этими горами — Аллах его знает”...

В это время по дороге, мимо часовни, на двухколесной арбе, запряженной ишаком, ехал армянин. Поравнявшись с часовым, он перестал лупить палкой ишака, и арба его сразу же остановилась. Улыбаясь чуть не до ушей, он вежливо спросил:

— Гаспадын кóзак, а гаспадын кóзак! Зачэм этот маленький церковь здэсь построен? Зачэм твоя винтовка здэсь дэржит? А?

— Пошел к чортовой матери отсюда, а то и ты и твой ишак полетите сейчас в обрыв! - - сердито закричал Андрей. --- Проваливай своей дорогой, а с часовым не разговаривай!

--- Ай, ай, гаспадын козак, зачэм твоя ругаешь меня? Я хотел знать, а ты ругаешь! - - и, со страхом поглядывая в сторону Андрея, армянин принялся изо-всех сил колотить палкой ишака по ребрам и голове, чтобы скорее отсехать от часовни. А то, чего доброго, у казаков за угрозой последует и действие. Но животное только шевелило большими ушами и мало обращало внимания на побои и ташило арбу со скоростью черепахи.

Андрей же, отвернувшись от любопытного армянина, задумался. Армянина он обругал напрасно и не потому, что он заговорил с часовым. Ему было немного стыдно, что он и сам не знал, почему здесь, далеко от всех жилых домов построена часовня и почему ее так охраняют.

Тут подошел разводящий со сменой, в которой был и Кузьменко. Сменившись, Андрей пошел с ним рядом и тихонько спросил своего друга:

— Грицько! Ты не знаешь, почему в этом месте поставили часовню, и почему тут круглые сутки мы несем караул?

— А я почем знаю? — отвечал Кузьменко. — Да и какое нам дело до этого? Поставили, значит надо стоять! Поставят около камня или голого столба и прикажут беречь с применением оружия, все равно надо будет сто-

ять на посту и точно выполнять приказание. А нужно это или не нужно, зачем да почему — это не нашего ума дело.

— Да, это так; я и не собираюсь нарушать устав, и обязанности часового знаю, а все-таки интересно кое-что и самим знать.

— Слушай, — немного подумав, сказал Кузьменко, — сейчас, когда мы шли сюда, группа казаков и офицеров нашего батальона, по разрешению полковника Глушанина, собиралась итти осматривать дворец вместе с каким-то приехавшим из Петербурга офицером. Ты сейчас тоже пойди, там наш подъесаул. Спроси у него разрешения, и тебя, конечно, допустят туда. Отпросись у караульного начальника. Я тоже пошел бы, да как раз время подошло итти на пост. А потом мне расскажешь, а то мы тут служим, караулим, но сами, действительно, ни черта не знаем. Вернемся домой и рассказывать жене будет нечего...

Спустившись с горки, Андрей увидел группу своих казаков и офицеров и какого-то „чужого” полковника, входивших в ворота резиденции покойного великого князя. У ворот стояло два часовых. Там же был дежурный по караулам урядник, вероятно, по случаю экскурсии во дворец. Андрей получил разрешение, поставил возле дежурного свою винтовку и присоединился к группе казаков и офицеров.

Во дворце Андрей увидел много, до того ему неизвестного: стены больших комнат были увешаны дорогими коврами. В спальне великого князя — кровать, постель и вся обстановка находились в том же виде, в каком они были при его жизни. Никто не имел права ничего менять здесь, хотя от кончины наследника-цесаревича прошло уже шесть лет. Во всех залах дворца имелись большие настенные часы, но не шли, а все стояли и все показывали одно и то же время: „10 часов 30 мин.”

Пожилой офицер, в чине казачьего сотника, вероятно, управляющий дворцом, сопровождал гостей и давал объяснения. Он, как выяснилось с его же слов, много лет прослужил на этом месте и знал все подробности, связанные

с жизнью и смертью великого князя Георгия Александровича.

— Скажите, сотник! — обратился к нему полковник.
-- Почему все стенные часы остановлены и показывают одно и то же время?

— Точно в этот час скончался Его Императорское Высочество, великий князь Георгий Александрович! — словно в рапорте отчеканил старый казак.

Один из казачьих офицеров спросил:

-- Господин сотник! Вы вероятно присутствовали при кончине великого князя? Расскажите, пожалуйста, про это событие!

Все поддержали такую просьбу.

-- Нет, я не был при кончине его Императорского Высочества, вернее не был с ним в ту минуту, когда он умер. Но все равно, в то время я был в Аббас-Тумане и все хорошо знаю. Не считаю себя вправе отказать в вашей просьбе.

-- Дело было в 1899 году, — начал сотник. — Георгий Александрович был тогда в нашем Аббас-Тумане на излечении. Он долго страдал каким-то хроническим недугом, и врачи советовали ему пользоваться целебными свойствами источников и здоровым горным воздухом, которым обладает это благодатное место. Лучшие столичные доктора окружали его и даже во время прогулок не отставали от него ни на шаг. Великий Князь негодовал и с трудом терпел присутствие назойливых медиков, часто нарушал предписанные ему медицинские правила, нередко один прогуливался в окрестностях Аббас-Тумана.

Однажды, рано утром, Георгий Александрович проснулся раньше всех дворцовых прислужников, сам оделся, тихо взял свой велосипед и один поехал по ближайшей прямой дороге, по которой редко кто ездил, подальше от дворца, в горы. От подножия горы дул слабенький ветерок, приятно освежавший лицо.

И вот, когда Георгий Александрович стал спускаться с горы, навстречу этому, казалось бы, благодатному ве-

терку, у него изо рта и носа вдруг хлынула кровь. Он потерял сознание и упал на дорогу. В это время вблизи не было ни души. Проходившая случайно местная крестьянка заметила лежавшего на дороге человека, подошла к нему, старалась приподнять его, но что она могла сделать?! Великий Князь так и скончался на руках этой простой женщины. Почти сейчас же, буквально через минуту после кончины, туда подоспели доктора и телохранители из Аббас-Тумана, искавшие его целый час повсюду. Но было уже поздно: тело было бездыханным. Стенные часы в это время показывали 10 часов 30 минут.

По Высочайшему указу, крестьянку эту наградили, медиков и некоторых из свиты наказали. Тело Наследника-Цесаревича было набальзамировано. Внутренности погребены в местном православном соборе, а останки направлены в Петербург, где и похоронены в склепе Императорской фамилии.

На склоне горы, в том месте, где скончался Георгий Александрович, где пролилась его кровь, — построена небольшая часовня, около которой и по сей день находится казачий караул. По предписанию от Наместника Кавказа, графа Воронцова-Дашкова, все стенные часы дворца остановили и закрепили их стрелки на 10 часов 30 минут, чтобы они всегда показывали посетителям время кончины великого князя и Наследника-Цесаревича Георгия Александровича, внезапно последовавшей шесть лет тому назад...

Старый сотник замолк и опустил голову. Слушатели тоже молчали. Затем полковник спросил:

— Сотник! А вы сами лично знали великого князя?

— Так точно, знал. Как же! Я при этом дворце нахожусь уже пятнадцать лет, был в его личной охране, а когда его не стало, пожелал навсегда остаться служить здесь, вроде управляющего.

— А правду говорят, что покойный Георгий Александрович был весьма добр со всеми и очень прост в обращении с подчиненными?

— Сушая правда, господин полковник, — восторжен-

но отвечал сотник, — очень добрый был со всеми и простой. Придет бывало к солдатам или казакам, когда они обедают, возьмет солдатскую ложку, сядет рядом и ест вместе с ними.

Великий Князь часто проживал в этом местечке зимой, когда окрестность покрыта снегом. Однажды, после завтрака, Георгий Александрович прогуливался по снежной поляне, вблизи дворца, а я с несколькими казаками хотя и был в его личной охране, держался не ближе ста саженей от него, потому что он не терпел возле себя конвоя. Наблюдая за ним, мы заметили, что великий князь наклонился и чего-то роется в снегу. Прошло минут пять-шесть, а он на коленях все ползает и чего-то ищет. Я с казаками подошел к нему ближе и спросил:

— Ваше Императорское Высочество! Что вы здесь ищете? Разрешите, мы вам поможем!

-- Да вот, где-то здесь в снегу потерял серебряный рубль, -- озабоченно сказал Георгий Александрович. -- Когда я уезжал сюда из Петербурга, моя матушка, Мария Федоровна, подарила мне на дорогу этот серебряный рубль; а я вот не уберег, уронил и не могу теперь найти, — и он безнадежно развел руками .

Мы пошли „в атаку” на указанное великим князем место, перебрали между пальцами весь снег и, действительно, нашли серебряный рубль.

Георгий Александрович очень обрадовался нашей находке, с горячей благодарностью принял от нас драгоценную для него монету, подаренную ему Императрицей Марией Федоровной, пожал всем руки и подарил казакам десять рублей золотых. Очень добрый был человек Великий Князь, Царство ему Небесное, — и старый сотник набожно перекрестился.

Часа два казаки и офицеры осматривали достопримечательности дворца и Андрей Кияшко был очень доволен виденным и слышанным. Теперь, если кто спросит, почему возле часовни стоят на посту казаки, он сможет без запинки ответить...

ГЛАВА IV.

В первых числах сентября, в послеобеденный отдых, кубанцы 5-го пластунского батальона, растянувшись на зеленой лужайке вблизи казармы, калякали о том-о сем; некоторые дремали. Разговоры больше шли об оставленных далеко на Кубани дивчатах, а женатые вспоминали о своих молодых женах.

— Эх вы, балакаете про тех, которых тут и в помине нет, — потягиваясь всем корпусом, заворчал один. — Мне бы сейчас, хоть бы какая-нибудь „соленая”*) попала... и то бы я...

— А ну их к чорту, этих горянок, — поморщился Андрей.

— Чего-ж это ты так отзываешься о здешних смуглянках? — спросил его Кузьменко.

— Как чего? Свои девчата всегда на уме, а от этих, соленых, воротит, как от вонючей селедки.

— Ну, брат, ты я вижу в этом деле ни черта не понимаешь, — приподнимаясь на локте, сказал Кузьменко. — Во-первых, тут живут не только армянки, которых почему-то называют „солеными”, а во-вторых, ты без всякой причины брезгуешь ими. Да будет тебе известно, что армянки, самые... самые... Кондратенко! Как это по-понски называется?

— Самые страстные, — подсказал Кондратенко.

— Как? Почему: страшные?

— Не „страшные”, а страстные, это знаешь, вот..., — и Кондратенко ярко и образно объяснил значение этого слова.

— Вот, вот, — такие! — когда хохот затих, подтвердил Кузьменко. — Да, так вот, Андрюша, армянки самые страстные женщины в мире. Понял? И на этот счет, я...

— Позволь! Ну хотя бы и так, но лепечут-то они ведь не по-нашему, да и где их тоже найдешь здесь? Нет ни соленых, ни кислых...

*) Армяне, когда крестят новорожденного, бросают в купель немного соли, поэтому всех их дразнят „солеными”.

— Э, Андрияша, тебе придется первым долгом поплатиться рублем, а потом уже, того...

— Каким рублем? Не понимаю!

— Каким, каким?! Серебряным! Да я вижу, ты настоящий балда в таких делах. Вот послушай, что я тебе расскажу. Недавно, вот точно так же, как сейчас, наши хлопцы громко разговаривали по бабскому делу. Мимо проходил один местный армянин, услышал мои слова, подошел ко мне и говорит: „Что, Иван, хатышь ченчин? Есть хороший ченчин, пойдем со мной!” До занятий оставалось еще целый час времени, и я, не долго думая, встал и пошел с ним. Вскоре мы подошли к небольшому домику, с прилепленным к нему сарайчиком, в углу которого лежала добрая „копыця” свежего сена. Армянин оставил меня в сарас, а сам ушел в хату. Через минуту из дверей вышла старая беззубая армянка, подошла ко мне, слегка поклонилась и говорит: „сто Иван надо, хатышь ченчин?” „Иди ты к чорту”, отвечаю ей, „ты мне девку тащи сейчас сюда, молодую хорошую дивчину!” Она опять поклонилась и скрылась в дверях хаты. Минут пять я ждал и хотел уже плюнуть и уйти, как вдруг выходит молодая, да такая красивая армянка, что называется, кровь с молоком; подходит ко мне и так ласково спрашивает: „Инче?,”*) Я подумал, что это она сказала московское „нынче”, и отвечаю: „Ну, конечно же, нынче, сегодня; не завтра же, сейчас, сию минуту!” и начал ей руками показывать, о чем собственно идет речь. Вот если бы видели такое мое безъязычное объяснение, - - поумирали бы со смеху. Она, конечно, поняла и кивнула головою в сторону лежавшего в углу сена. Мы прошли в угол на сено, и....

Вся компания загоготала. Посыпались вопросы и замечания, но Кузьменко продолжал:

— Да что тебе, Андрей, рассказывать, ты же брезгуешь „солеными”, а я тебе истинно говорю: такой горячей дивчины никогда еще в жизни не встречал. А сама, такая кругленькая, как апельсинчик, такая..

Все захохотали.

*) „Инче” — по-армянски: „чего хотите?”

— Да перестаньте гоготать, как жеребцы! — крикнул Кузьменко. — Дайте же мне досказать!

— Говори, говори! — слышались голоса.

— Ну, так вот, после всего значит... этого, я стряхнул с черкески сено и только хотел уйти в сотню, как вдруг появилась в дверях опять та старая армянка, что раньше выходила из хаты ко мне. Она преградила дорогу и говорит: „Руп, Иван, давай! Моя девка, руп мне давай!“ А у меня--то денег всего копеек двадцать было, не больше. „Эге, думаю, поздно теперь гроши требовать“, но отвечаю: „Сейчас“, и запустив руку в карман, делаю вид, что денег ищущу, а сам тем временем протиснулся за двери, рванулся бежать, перемахнул через плетень, только меня и видели..

— Ну и розбышака же ты, Грыцько, - смеясь, сказал Андрей. --Вряд ли всегда так дешево проходит. Теперь наверно вытряхивашь рублики „соленым апельсинчиком“?

-- Теперь уж и подавно нет, — задорно отвечал Кузьменко. — Мы пообжились, познакомились, и они теперь сами гоняются за казаками. Сами липнут к каждому, как репяхи. Ну, я, конечно, не зеваю..

— И правильно делаешь! — вмешался рябоватый казак из станицы Шкуринской. -- Парубкам-то еще так, а вот, которые из нас успели пожениться дома и скоромились, скоромились... Так что ж теперь, четыре года поститься что ли? Да мы так скоро в монахов превратимся..

-- Батальон, построиться! -- слышалась вдруг команда.

-- Вторая сотня, становись! — раздался голос подъесаула Мозуль.

— Третий взвод становись! — следом за подъесаулом звонко крикнул вскочивший, как пружина, взводный урядник Шпак, который лежал на лужайке вместе с староминцами.

Казаки очень удивились такому преждевременному перерыву законного послеобеденного отдыха. Что за причина? Но для догадок и разговоров времени не было. Все побежали по своим взводам, взводы сомкнулись

в сотни, и через несколько минут весь батальон, широким квадратом, стоял на ровной площадке вблизи казарменных помещений. В середину квадрата вошли старшие офицеры, во главе с командиром батальона, полковником Глушаниным.

Адъютант, сотник Михаил Леус, прочел приказ о немедленном выступлении в далекий путь, в действующую армию, на сопки Манджурии, где уже находился 6-й запасный Кубанский батальон.

По прочтении приказа, командир батальона произнес краткую речь:

— Дорогие Кубанцы! Господа офицеры и казаки вверенного мне батальона! Гордые орлы славного Кубанского казачества! По приказу военного министерства, многие воинские части, находящиеся сейчас в Закавказьи, в том числе и наш батальон, немедленно направляются в Действующую Армию на Дальний Восток. Оставаться здесь в бездействии, когда коварный враг, вероломно напавший на нас, своими численно превосходящими силами теснит наше православное воинство, — стыдно. Мы идем с твердой верой, что скоро японские самураи будут выброшены из Манджурии на свои острова. Казаки — верная опора Российского Государства, как раньше, так и теперь, не посрамят честь своих предков.

В предстоящих боях мы самоотверженно исполним долг присяги, данной нами перед Крестом и Евангелием нашему Государю Императору Николаю Александровичу, во славу нашего Отечества, во славу родной Кубани...

Громогласное „ура” эхом прокатилось вокруг. Был отслужен молебен. Все были в приподнятом настроении и радовались, что, наконец, и им выпала честь показать себя в настоящем боевом деле.

Улучив минутку, Андрей Кияшко в тот же день написал краткое письмо отцу, с просьбой благословить его на бранный подвиг.

На ближайшей железнодорожной станции 5-й Кубан-

ский пластунский батальон погрузился в вагоны, и поезд пошел на восток, в направлении Баку.

О передвижении батальона широкой огласки не было, но население догадывалось о конечном назначении воинского эшелона. На всех станциях кубанцев восторженно приветствовали пестрые толпы жителей многонационального Кавказа. Девушки на ходу поезда бросали в вагоны цветы, махали издали платочками, а на остановках приносили целые корзины яблок, винограда и других фруктов, не требуя от казаков ни одной копейки. Некоторые из местных виноградарей приносили в подарок прямо в вагоны ведерные кувшины с кахетинским вином и, горячо желая всем всякого благополучия в пути и на поле брани, наказывали поскорее разделаться с япошкой.

Так кубанцы доехали до станции Елизаветполь, где воинский поезд стоял почему-то до самого вечера, а вечером последовал приказ выйти из вагонов и построиться. Из классного вагона вышли к батальону старшие офицеры, и батальонный адъютант, сотник Леус, улыбаясь объявил, что война на Дальнем Востоке кончена. Только что подписан с Японией мир, хотя и невыгодный для нашей родины, но такова воля Государя.

Так и не пришлось нашим пластунам столкнуться с желтолицыми.

На следующий день поезд пошел в обратный путь на запад, но теперь эшелон был направлен не на старое место, а в Тифлис...

ГЛАВА V.

Русско-Японская война 1904-1905-го года почти не отражалась на спокойном ходе жизни в станицах Кубанской области. Многолюдные базары шумели попрежнему. Всевозможных товаров в лавках было полно, с теми же ценами, что и до войны. Правда, при самом начале войны, зимой 1904 года была объявлена тревога. По ста-

нице трубач играл военный сбор. Все военнообязанные казаки, заслышав такой сигнал, немедленно навьючили своих строевых коней всем необходимым для похода, оделись сами по военному и не замедлили явиться к атаману станицы. Но потом их отпустили по домам, с наказом быть готовыми в любую минуту. Общей мобилизации так и не было.

Итак, жизнь в Старо-Минской текла своим прежним руслом. Так же, как и прежде, хлсборобы работали на своих обширных полях, а в праздники отдыхали и веселились. Парубки, достигнув восемнадцатилетнего возраста, женились, девушки выходили замуж еще моложе. Справляли богатые и веселые свадьбы, при рожденьях в каждой семье устраивали торжественные крестины. Дети казаков учились в школах станицы совершенно бесплатно, и книги и все ученические принадлежности выдавались им за счет казны..

Старший сын Кияшко Тараса, Никифор, не в пример своему дяде Андрею, усевшему на действительную службу холостяком, женился, как только ему исполнилось 18 лет. В семье ему не только не препятствовали, а, наоборот, были очень довольны. Охрим Пантелеевич очень радовался, что дожил до дня свадьбы своего первого внука, и на все лады расхваливал невестку. Жена Никифора Наталка, в самом деле, заслуживала похвалы. Все в ее руках так и „горело“: и горячий „спиданок“ готовится, когда в доме еще все спят; и чуть свет уже коров подоит, курей, свиней покормит; и белье всем выстирает во время. Довольна невесткой была и свекруха, Ольга Ивановна, которой та стала верной помощницей в ее кропотливой домашней работе.

Роста Наталка была среднего. Ее серые глаза, встречаясь с взглядом мужа, всегда светились ласково, любовно...

Подходил праздник Троицы.

В „Клечальную“ — Троицкую — субботу, после обеда, Никифор взял топор, взлез на высокий ветвистый тополь и стал обрубать и бросать на землю зеленые ветки.

— Петрусь, собирай их и складывай в кучу! — крикнул он своему меньшому братишке, бегавшему тут же, вокруг тополя. Петька с охотой принялся за работу, потом, никого не спрашивая, стал втыкать ветки тополя повсюду: на воротах, на калитке, возле каждого столба забора. Когда Никифор слез с дерева, то к своему удивлению не нашел нарубленных им веток.

— Куда девал ветки? Где их понатыкал? Клевать же будем позже, я же тебе говорил складывать в кучу, а где же куча? — набросился он на Петьку.

— А что я плохо клеваю, га? Или мало веток еще на других тополях? — оправдывался Петька, но все же отбегал подальше, опасаясь получить трепку от брата.

Никифор посмотрел на воткнутые повсюду ветки, погрозил пальцем Петьке и полез на другой тополь.

К вечеру все окна и двери, снаружи и внутри, были украшены множеством веток тополя и клена. Порог дома — „схидці” и пол — „долівку” в каждой комнате Наталка аккуратно посыпала зеленой травой, а в зале деревянный пол устлала тонким слоем особенной, шелковистой, с белыми полосками, широколиственной травкой.

На всех подоконниках стояли в глиняных горшочках букеты живых цветов, — распускавшихся только к Троице „півныков”, комнатного дубка, троянды, шелковистой травки, гроздей белой акации...

Праздник зелени и цветов, отмечаемый христианским миром в пятидесятый день после Пасхи, встречался всеми жителями станицы торжественно.

В день Троицы, в воскресенье рано утром, едва за благовестили к обедне, Петька в новом картузе и белой вышитой рубашке, держась за руку дедушки, пошел в стоявшую недалеко Христо-Рождественскую церковь.

В церкви иконы, не только у алтаря, но и под колокольней, и у боковых входов, были украшены новыми чистыми полотенцами и душистыми цветами. На полу лежал толстый слой мягкой травы. У иконостаса и на паникадилах — зеленые древесные ветки. По всему храму распространялся, заглушая запах ладана, аромат роз, любистка и мяты.

Охрим Пантелеевич купил две просфоры — о здравии и за упокой — и несколько свечей. Свечи сам зажег перед образами святых, которых больше всего почитал — Николая Чудотворца, Георгия Победоносца и Великомученика и Целителя Пантелеймона. Кроме этих святых, он ставил еще свечи только перед образами Христа и Богородицы. Затем, положив на стоявший медный поднос просфоры с граматкой, прошел на свое излюбленное место у правого придела возле клироса и начал часто креститься, читая шепотом все известные ему молитвы. Петька стал рядом и, озираясь по сторонам, тоже начал шептать „Отче наш”; потом, вероятно, забыв, где находится, дернул за рукав Охрима Пантелеевича и звонким голоском спросил:

— Дедушка! Почему в церкви сегодня так хорошо пахнет?

— Стой тихо, ич басурман! Нельзя в церкви разговаривать! — погрозил ему пальцем дед, но через минуту тихо добавил: — ясно отчего, от цветов...

Стоявший рядом пожилой мужчина, одетый по городскому, наклонился к уху Петьки и зашептал:

— Это потому такой запах делают сегодня в церкви, как воспоминание того, что, когда Дух Святой сошел на апостолов в доме, куда они собрались по внушению Свыше, то там тогда распространилось необыкновенное благоухание.

Петька с уважением посмотрел на незнакомого человека и подумал, что тот, наверное, еще больше знает, чем его дедушка.

Когда хор пел тропарь праздника, Петя внимательно слушал малопонятные ему слова, потом задумался. Через минуту он снова дернул за рукав Охрима Пантелеевича:

— Дедушка! Вы слышали какие слова сейчас пели на хорах? „Духа Святого”, „премудры ловцы”, „и уловлей вселенную...” А я знаю почему. Это потому, что Дух Святой, как голубь, и голубей можно ловить не только своих, но и чужих, „во всей вселенной”. А я раньше все-таки боялся, думал греш...

Щелчок в затылок прервал рассуждения Петьки.

— Замолчи дурак! Ич, басурман, умник нашелся! Почуишься в школе больше, узнаешь лучше, а в церкви стой и молчи! — и Охрим Пантелеевич, взяв Петьку за ухо, повернул его в сторону алтаря. Внук поморщился, потер покрасневшее ухо и уже больше ни о чем не спрашивал деда.

Надо сказать, что Петька любил разводить и гонять голубей в своем дворе. Он держал это свое обособленное „хозяйство” в образцовом состоянии. У него были и вертуны, и трубаки, и падучие, и супруны, и другие породы голубей.

Заметив где-нибудь над соседней крышей поднимающихся чужих голубей, он в тот же момент „пужал” своих, которые поднявшись в воздух соединялись с другими и покружившись немного, нередко опускались на крышу его дома. Тут уж Петька не зевал. Щедро посыпая по двору зерна пшеницы, он начинал звать их поддельно-ласковым зовом: „Гули, гули, гуулюуу, уу”, и когда обманутые „гули” слетали с крыши и садились в его дворе клевать зерно, он, подкрадываясь на четвереньках, особыми „сільцами” (силками) ловил зазевавшихся чужих голубей, „боркал” их и присоединял к своему „хозяйству”.

Таков был неписанный закон у всех малолетних голубеводов: поймал в своем дворе чужого голубя, — значит, он уже принадлежал поймавшему и прежний хозяин мог только откупить своего голубя, но отобрать не имел права...

Служба в церкви затянулась. После литургии сейчас же служилась вечерня, с троекратным коленопреклонением и чтением священником трех длинных молитв. Петька очень проголодался, так как перед уходом в церковь ему ничего не дали поесть. Поэтому, едва задержавшийся покалякать с знакомыми дедушка разрешил ему самому итти домой, он стрелой пустился к своему двору. Вскочив в комнату, он сразу же набросился на сладкие пирожки, стоявшие на лавке возле печи, но его прогнала мать, заявив, что эти пирожки будут на закуску, а сначала полагается есть борщ и мясо. Петька недовольно

надулся и отошел в угол. Старшая на год сестра Приська и младшая Гашка, которые не ходили в церковь, а оставались дома, с таинственным видом вызвали его в сенцы. Они припасли для своего братика несколько пирожков с изюмом и рисом и сунули ему в руку. Петька с жадностью съел их и уже более спокойно дождался прихода деда, когда все сели „до сырна” (низенького круглого стола), где уже стоял налитый в большую миску жирный горячий борщ.

После обеда на улицу высыпали парубки и дивчата в летних праздничных нарядах. Луская семечки, они собирались группами, „гуляли в мяча”, тянули звонким переливом песни „про любовь” или старинные казачьи. Кое-где по углам заливалась гармошка, а парубки и дивчата выбивали „гопака”, „метелицу”, „польку бабочку”, „страдание” и другие танцы.

В течение трех дней все в станице веселились, и казалось, что сама земля, одевшись в зелень и цветы, справляла свой праздник.

Никто не препятствовал этому веселью. Родители разрешали молодежи в эти дни вдоволь нагуляться, поскольку после Троицы все хлеборобы, со всей семьей, забирая с собой скот и птицу, выезжали в степь, на свои паевые наделы, иногда отстоящие от дома на 15-20 верст, и там, на месте, проводили все летние полевые работы: сенокос, косовицу хлебов, молотьбу — без перерыва, почти до самого Покрова, а в крупных хозяйствах иногда и позже.

Жена Тараса Охримовича, Ольга Ивановна, в этом году в степь не поехала, оставшись дома присматривать за хозяйством и заготовить на зиму запасы фруктов и овощей. Главная же причина была та, что она после восьмилетнего перерыва опять забеременела или, как она говорила, „на старості сказывалась!” — „Шо невістка Наталка стала в положеніі, то воно так и треба, а мені так аж стыдно...”

Охрим Пантелеевич, пользуясь привилегией своего возраста, тоже оставался дома, и только наезжал иногда в степь присматривать хозяйским оком за работами.

**
*

Урожай зерновых в 1905 году был неважный. В мае дождей не было, и хлеба оказались низкорослыми. Уборку и обмолот их к „Первой Пречистой” многие уже закончили. Благодаря обильным летним дождям пропашные и бахчевые оказались хорошими, и после обмолота хлебов хозяева занялись уборкой подсолнуха и кукурузы.

Охрим Пантелеевич последние дни молотьбы был в степи. Когда обмолот пшеницы и ячменя был закончен, он решил больше не оставаться на своей „царыні”, зная, что и без него перевеют намолоченный котками ворох на току, а, навалив две гарбы*) крупных кавунов и дынь, поехал с Петькой и Приськой домой в станицу. Проезжая базарную площадь, он продал одну гарбу арбузов и дынь, около полторы сотни штук, за рубль 25 копеек, а другую гарбу привез к себе во двор и сгрузил под навесом дома. Лошадей с порожними гарбами он направил обратно в степь, посадив за „погонычей” на одну Петьку, а на другую Приську. Сам же остался дома.

Со дня на день ожидалась роды у Ольги Ивановны, и она уже не могла таскать мешки с яблоками из сада. Ее заменил Охрим Пантелеевич.

Несколько раз на день он шел с пустым мешком в сад, собирал упавшие на землю спелые фрукты, затем садился там же на деревянную лавку, сделанную из нетесанных досок и, наслаждаясь запахом зрелых яблок, задумчиво прислушивался, как они со всех сторон, „бух-бух-бух”, одно за другим падали на землю. Если ветерок дул сильнее или налетал вихрь, то яблоки и груши сыпались с деревьев градом.

Через два-три дня по отъезде Охрима Пантелеевича в станицу, Тарас, перевеяв ворох пшеницы, навалил на двое дрог до сорока мешков с чистым зерном и тоже от-

*) „Гарба” и „арба” — не одно и то же. На Кавказе у горцев арбою называлась двухколесная короткая телега, запряженная мулом или ишаком. Гарбою у кубанских хлеборобов называлась длинная на четырех колесах широкая телега с „драбынами”, т. е. с широкой деревянной защитой по бокам.

правился домой. На передних дрогах он был сам, а на задних правила лошадьми его дочка Приська. Он ехал неспеша и все время глядел на раскинувшуюся кругом далеко видимую степную равнину.

Необмолоченных копен в степи уже не оставалось, и скот свободно бродил по стерне, выискивая зеленевшую местами траву. Сурепа не только успела вырасти вторично на убранных полях, но и расцвела, желтея среди стерни и у обочин дороги. Шляпки подсолнухов пожелтели, и женщины с подростками отсекали их от стеблей ножами, сваливали в кучу или в стоявшую рядом гарбу и отвозили к степной хате или куреню, где и вымолачивали семячки палками. Если же шляпки были сухими или подсолнуха возделывалось много, то его тогда срезали со стеблями, отвозили на ток и вымолачивали каменными котками, с запряженными в них лошадьми. Пospела и кукуруза. Зерно в початках затвердело, „постарело”, и их уже не варили для разнообразия степной пицци. Початки отламывали от сухих пожелтевших стеблей, очищали от окутывающих их листьев и, навалив в гарбу или бричку, отвозили в специально приготовленное для хранения место, часто на чердаке дома, или под железной крышей амбара, прямо над закромами пшеницы.

По дорогам кое-где лежали потерянные и затем раздавленные колесами арбузы, с сочной красной мякотью, казавшиеся издали большими запыленными цветками.

Так, поглядывая на окрестные поля и работающих на них людей, Тарас Охримович потихоньку приехал домой. Он открыл ворота и не успел еще въехать во двор, как из дверей дома вышла соседка-старушка, известная в станице „бабка-повитуха” Настя Коломыйчиха и радостно приветствовала хозяина:

— Вот и батько прибыл! Поздравляю, Тарас Охримович, с сыночком, только сегодня появился на свет Божий. Слава Богу, все благополучно.

— Уже есть? Сын? — переспросил Тарас Охримович. — Спасибо, бабуся, за помощь. Знаю, что, когда вы помогаете, всегда будет благополучно.

Он быстро отпруг лошадей и вошел в комнату. На

деревянной кровати возле печи, лежала бледная Ольга Ивановна, а рядом, присосавшись к груди матери, шевелился живой комочек, с редким пушком чуть-чуть черневших на головке волосиков.

Ольга Ивановна при виде мужа болезненно улыбнулась:

— Приехал? Шоб ты йому облупывся, догарювявся! Теперь на старости лет сам будешь колыхать колыску!

— Ну, шож, буду й колыхать, если нужно, — сказал, усмехаясь, Тарас Охримович, поцеловал жену, затем осторожно в затылок новорожденного и вышел во двор, чтобы перенести мешки с зерном в закрома.

Из сада вышел с мешком яблок Охрим Пантелеевич:

— Вот и хорошо, Тарас, что ты приехал сегодня. А я уже собирался сам плентать за тобой в степь. Некого послать было, и лошади нет. Ну, что, видел казака в пеленках?

— Видел, — с довольной улыбкой ответил Тарас Охримович.

— Может, завтра и крестить будем?

— Та можно и завтра, — потом, подумав немного, переменил решение: — нет, завтра ведь Постного Ивана, нехорошо на крестинах без мясной закуски. Лучше будем крестить послезавтра: и день скоромный и праздник Александра Невского.

-- Да, да, правильно! В скоромный день, конечно, лучше, — и Охрим Пантелеевич стал помогать сыну переносить мешки в амбар.

**
*

30-го августа после обеда, в дом Кияшко пришли запрошенные Тарасом Охримовичем кумовья: старый его сослуживец из 10-го квартала Федор Куц и соседка Клавдия Грицун.

В тот момент, как кумовья уже собрались нести новорожденного в церковь неожиданно возник горячий спор: какое имя ему дать?

Охрим Пантелеевич настаивал, чтобы имя было такое, какое значится в святцах в этот день:

— Мы не можем сами дома придумывать имен. Какое батюшка наречет, такое и будет! Так у нас всегда было. Вот сегодня святого князя Александра Невского, и пусть будет этот голопупый казаченок Александром.

Но кум Федор Куц и кума Клавдия предложили своему крестнику имя „Федор”. Тарасу Охримовичу и Ольге Ивановне это имя тоже понравилось. На том и порешили. В то время уже в некоторых приходах священник считался с желанием родителей и не навязывал имя, которое значилось в тот день в святцах.

Клавдия Грицун завернула карапуза в чистую простыню, положила в узелок чистенькую распашенку, затем прикрыла его зеленым одеялом и передала на руки Федора Куца, ибо, по обычаю, мальчика должен нести в церковь и назад кум. Собравшись, они пошли в старую Христо-Рождественскую церковь „за крестом”.

Церковный сторож и священник с псаломщиком, предупрежденные заранее о предстоящих крестинах, уже приготовили в сторожке, в большой уставленной иконами комнате, купель с подогретой водой. Священник, по просьбе восприемников, согласился произвести обряд до начала вечерней службы в церкви.

Псаломщик Федор Евграфович Добрыдень сделал в церковных книгах „метрическую” запись о рождении и крещении младенца, указав его родителей и восприемников, и стал подпевать священнику о. Иоанну Кувиченскому.

„Верую” Федор Куц прочитал вслух наизусть без всяких подсказываний. Священник взял голого малютку и, прикрывая одной ладонью его рот и нос, три раза погрузил в воду, произнося слова: „Крещается раб Божий Феодор, во имя Отца, аминь, и Сына-аминь и Святого Духа-аминь”. Федор Куц вынул из кошелька купленный им и завернутый в белую тряпочку золотой крестик, с тонким шелковым шнурочком, и передал священнику. Тот надел его на шею ребенку. Потом священник остриг с головы ребенка прядь пухообразных волос, влил их в воск горевшей свечи и бросил на воду в купель. Кума внимательно смотрела: плавает ли воск или тонет? Су-

ществовало поверье: если воск потонет, то ребенок скоро помрет, а если будет держаться на поверхности, то будет долго жить.

Псаломщик заметил ее пристальный наблюдающий взгляд:

— Напрасно, кума, смотрите! Кто вам сказал, что воск утонет в воде?

— Та я, Федір Графович, сама добре не знаю, кажут люды...

— Неправда! Воск на воде всегда будет плавать, а бросил его батюшка вовсе не для определения жизни или смерти ребенка, а это входит в обряд крещения.

Клавдия смутилась и смотреть на воду перестала.

Когда крещение было кончено, она завернула маленького Федю в простыню и одеяльце и передала опять на руки Федору Куш. Кумовья направились обратно к дому Кияшко.

ГЛАВА VI.

По случаю праздника всеми чтимого святого Александра Невского, никто из приглашенных не отказался от участия в торжественном пиршестве по случаю крестин. Еще до прихода кумовьев из церкви стали собираться гости.

Средний сын Охрима Пантелсевича, Иван Кияшко, с женою Оришкой, пришли первыми. Уже несколько лет он жил отдельно с отцом, на своем „плану”, на подселке 1-го квартала, где ему Охрим Пантелеевич построил очень неплохой дом, крытый оцинкованным железом. Если у кого из братьев случались какие-либо семейные торжества, все собирались вместе. Так и теперь, он с удовольствием пришел на крестины своего нового племянника. Кроме него пожаловали — муж Клавдии Яков Грицун, жена Федора Куша, другой сослуживец Тараса Охримовича Софрон Падалка, тетка Дария с хутора „Жовті Копані”, ездившая в Кансловскую в церковь Св. Александра Невского „на храм” и захавшая случайно по пути

к родственникам. И последними пришли старый однокашник Охрима Пантелеевича, Павло Горобец, и уж, конечно, „пупорізна” бабка Коломыйчиха.

Наконец, в калитке показались возвращавшиеся из церкви кум с кумою. Открыв двери комнаты, в которой сидели гости, Федор Куц, передавая ребенка Тарасу Охримовичу, с особой торжественностью сказал:

— Брали у вас без имени и креста, а принесли православного христианина Федора.

— Спасибо, спасибо, куманёк, и вы, кумушка, что потрудились.

Тарас Охримович, взяв сынишку на руки, наклонился к его личику и задержал немного свой поцелуй на его крохотных губках. Проголодавшийся Федя, приняв, вероятно губы отца за соски матери, раскрыл ротик, начал усердно „ловить” вокруг, но не найдя того, что хотел, закричал во всю силу свойственного трехдневному крепышу голоса.

— Ну, а теперь я уже и не знаю, что с тобой делать, — рассмеялся Тарас Охримович и поспешил передать ребенка матери, которая дала ему грудь и тем самым сразу успокоила раскрасневшегося от обиды десятифунтового казака. У кровати стояла двенадцатилетняя Приська, приехавшая со степи домой, чтобы нянчить маленького братца. Она до упаду хохотала, видя, как Федя „мелет” ножками в размотавшихся пеленках, не отрываясь от груди матери.

Тарас Охримович пригласил всех в зал, за большой покрытый клеенкой стол, на котором уже стояли два графина с водкой, а в мисках дымились только-что зажаренные утки и шестимесячные цыплята, горячие обваренные в смальце пирожки с мясом, вергуны, сладкие пироги с рисом и фруктовой начинкой, пчелинный мед в сотах. Приготовляла все это Наталка, приехавшая специально для этого с поля. Она же прислуживала и за столом.

Кратко помолившись на образа, сели за стол. Тарас Охримович налил чарки водкой, привстал, поблагодарил гостей за то, что пришли разделить его радость по случаю рождения третьего сына, „совсем уже не предпо-

лагаемого”, и, чокнувшись со всеми, выпил. Гости последовали примеру хозяина.

За второй рюмкой Федор Куш произнес тост:

— За здоровье моего крестника. Нехай наш Федюнька растет и крепнет не по дням, а по часам, как богатырь, и живет много-много лет!

— Та щоб басурманов лущевал так, як его дед, — добавил Охрим Пантелеевич.

— А это уж, как и подобает казаку, — заметил Куш. — Казаки для того и рождаются, чтобы бить всех врагов нашего Отечества. И, еще за этой рюмкой, я желаю, чтобы кума, Ольга Ивановна, скорее бы поправилась, а то даже неловко: мы веселимся, а она в кровати недомогает.

Все выпили и за здоровье хозяйки.

После трех-четырёх рюмок, согласно обычая, стали дарить ребенка.

Кума преподнесла три аршина белого батиста, несколько пеленок и одеяльце. Остальные гости - - мелкие подарки и положили на тарелку по несколько серебряных монет. Все это кума взяла и положила Ольге Ивановне на кровать.

Хорошо закусив и закончив церемонию с подарками, гости стали чаще прикладываться к рюмкам. Разговор понемногу оживился.

— Да, каким маленьким и коротким кажется обряд крещения, а какое великое дело при этом совершается, — сказала Орышка, жена Ивана Охримовича Кияшко.

— А спешат крестить у нас потому, чтобы,охрани Боже, не умер нехристом, -- заметила кума Клавдия.

— Вот именно, чтоб не умер нехристом, — слегка приподняв брови, повторила Орышка. — Вот на подселке на третьей улице от нас живет небогатый казак Яценко. У его жены Мотри в прошлом году помер некрещенным ребенок, ну и на кладбище хоронить такого, значит, нельзя было, и они закопали его в саду, не поставив даже креста, как щенка. Так, что же вы думаете: теперь в саду Яценко каждую ночь слышится детский плач. А бедная Мотря, как только ночью одна выйдет во двор, так и ви-

дит, что ее ребенок, совершенно голенький, бежит к ней и кричит: „мамо, мама!” Она первую ночь так перепугалась, что стала как вкопанная и не могла двинуться с места, а ребенок тем временем прыгнул ей на шею и, звонко смеясь, стал душить за горло. Насилу она приподняла руку, перекрестилась, а ребенок тогда как заплачет и вмиг исчез, словно и не было. Вот что значит, крестить или не крестить своевременно ребенка. Дай Бог, чтобы в нашем роду никогда не случилось того, что у Мотри Яценко, — и Орышка, замолчав, перекрестилась.

— А вот ведьмы, говорят, не крестят своих детей, — заметил неуверенным тоном Охрим Пантелеевич.

— Да разве можно чертовское племя таскать в православную купель? — вопросом ответил Яков Грицуц.

— А вот недалеко от нас живет настоящая ведьма, — почесав переносицу, сказал Охрим Пантелеевич. — Кто она такая, я промолчу, хотя вы наверное и сами о ней знаете, не меньше меня. Она, как на чью корову посмотрит, так сразу та и убавит молока. Один раз ночью, я вышел во двор посмотреть на скотину и, когда подошел к базу, вижу какая-то женщина в черном сидит под коровой и доит ее прямо на землю. Я подкрался, присмотрелся и сразу же узнал эту чертовку. Что делать? Ведь я знаю, что убить ведьму невозможно. Так я схватил ее за волосы, стараясь вырвать пучек, чтобы потом сжечь и тем спасти корову. Вдруг она на моих глазах оборотилась кошкой, мяукнула, перепрыгнула через „фирточку” (калитку) база и исчезла, а у меня в руке остался пучек волос из кошачьего хвоста. Я волоса сжег, корову окропил святой водою и, слава Богу, все прошло благополучно.

— Охрим Пантелеевич! Может это вам приснилось? — спросил с недоверием Федор Куц.

— Ич, басурман, „приснилось”! Истинная правда, хоть и побожиться, как сейчас помню, — обиженно возразил Охрим Пантелеевич.

— Дедушка! -- обратилась к нему Клавдия Грицуц. — Вам случалось на своем веку встречаться с какими-нибудь привидениями?

— Приходилось всего встречать, не дай Бог никому такого.

— Расскажите про это, что-нибудь интересное!

— Да чтож рассказывать, когда он, кум, не верит ничему. „Приснилось” говорит. Просто смеется надо мной!

— Ничего, ничего, дедушка, рассказывайте! То я пошутил, — сказал Куш.

— Ну, если „пошутил”, то слушайте, хотя оно и не гоже против ночи рассказывать про такие вещи; ну да чтож, раз начали, надо продолжать, — и Охрим Пантелеевич, погладив бороду, приступил к рассказу:

— Однажды поздно ночью, случилось мне проходить мимо кладбища. Был я под добрым хмельком. Вдруг слышу на кладбище, недалеко от дороги, где я шел, кто-то жалобно стонет: „уу,уу,ууу”. Признаюсь, у меня на голове шапка приподнялась и волосы стали дыбом, но я иду и иду, не останавливаюсь. А потом вижу, среди крестов на могилах замелькало множество мертвецов и все в белых одеждах. И что же вы думаете? Подходит ко мне вплотную, весь в белом, мой сослуживец Гавриил Иващенко, который умер до этого уже года три назад. Ведь я и на похоронах у него был. Подходит ко мне, протягивает костлявую руку и говорит: „Доброго здоровячка, Охрим Пантелеевич, соскучился я за тобой, идем ко мне в гости!” Я выхватил кинжал и секанул его прямо по голове. А он даже и не отклонился, стоит на прежнем месте. Стоит, смеется и говорит: „Напрасно горячишься! Против нас теперь твое оружие бессильно”, и все белые призраки тоже смеются и все больше и больше окружают меня. Как рванул я тогда бежать! Во весь дух летел через чужие заборы, плетни, огороды, зарылся под чью-то скирду сена и проспал без памяти до утра. А когда утром проснулся и осмотрелся, то, что же вы думаете, — оказывается, — спал я под сеном на задвижках этого самого покойника, Гавриила Иващенко. Я перекрестился за упокой его души и межой, садами и огородами вышел на улицу и поспешил домой.

— Надо было помолиться в церкви за покойника

после такого навождения, — сказала все время молчавшая старушка — повивальная бабка.

— Ну, а как же! Я знал, что это его душа скорбит по нашей грешной земле. На другой же день после такого привидения у кладбища, я заказал в церкви отдельную панихиду за упокой раба Божьего Гавриила, и после этого мне больше ничего подобного не случилось. Правда, выпивши, я никогда после этого не ходил мимо кладбища.

-- А вот мой знакомый рассказывал, — отозвался Иван Охримович, -- как под Новый Год покойники приходят на баз и разговаривают со всем скотом, и он слышал, как коровы говорили по-человечьи, а только трудно было разобрать, на что жаловались волы и буренушки.

-- Не знаю, я еще не слышал, как коровы разговаривают по-людски, не буду брехать, а вот под Новый Год, — начал опять Охрим Пантелеевич, — когда я еще был парубком, однажды случилось мне видеть катившийся клад. Была уже, наверное, полночь. Проводив девчат с щедривки, я один по улице возвращался домой. Смотрю, посредине улицы, прямо на меня, катится большой клубок огня. Я сразу догадался, что это ничто иное, как клад с золотом перемещается на новое место. У меня в руках всегда был железный прут „ципок”, и я, не долго думая, подбежал сбоку, перекрестился и со всего размаха ударил прямо по этому клубку. Красный шар вспыхнул белым дымом и исчез. Следом послышался хохот и опять все стихло. Тут только я спохватился, какую непоправимую ошибку сделал сгоряча! Надо было ударить по огненному шару дворовой метлой, а не железным прутом, и не креститься, тогда бы этот клубок рассыпался кучей золота, а то вышел „пшик”. Чесал, чесал я затылок после этого, да поздно было; счастье прямо в руки катилось, а взять не сумел...

— Ничего подобного я никогда не встречал, — сказал Федор Куш, относившийся вообще с недоверием к подобным рассказам, — в самые глухие ночи ходил я и через кладбище, и по безлюдной степи, и под Новый Год, и под Крещение, и ночью под Ивана Купалу речку

вброд переходил, и никогда ничего необыкновенного со мной не случалось. А чтобы и дальше всем сидящим здесь так было, как и мне, — после такого перерыва, потраченного на разную белиберду, предлагаю всем выпить сразу по две рюмки!

— Вот это доброе слово сказал, куманек, — поддержал его Тарас Охримович и сразу же начал наливать рюмки, — а то замолоти всякую ерунду о чудесах да страшных видениях, та еще на крестинах; лучше будем пить и веселиться.

Мужчины не противоречили и без заминки выпили по две рюмки сряду; женщины морщились и выпили только по половине.

Софрон Падалка сидел и все время молчал, свесив свой длинный правый ус до самой рюмки. Его жена, Варя, оставалась дома, с часу на час ожидая тоже родов.

Тарас Охримович налил ему третью рюмку:

— Вам, Софрон Капитонович, надо не только за себя, а и за жинку выпить. Пейте! Все равно скоро мы будем и у вас на крестинах! Нечего сторониться людей! Вишь, как вам в этом году повезло в хозяйстве, а ни разу могогарыча не поставили.

— Правда, правда! У меня в этом году в хозяйстве, так сказать, действительно повезло, — сказал Софрон Капитонович, принимая рюмку. — Чтож, одну чарку можно и за Варьку хлебнуть, — и он сразу выпил.

— А чем повезло особенно в хозяйстве? — спросил Куц.

— О, такого прибутка ни у кого не было, — ответил Тарас Охримович. — Три овцы окотились двумя ягнятами каждая, незавидная рыжая кобыла привела двое лошаат и свинья опоросилась двенадцатью поросятами! А у меня „хавронья” только восемь штук привела, да и то одного задавила...

— О, это, действительно, хорошо! Притом, это очень хорошая примета — все в хозяйстве будет двоиться, — сказал Куц.

— Возможно, это потому, что он в этом году паску ел без шафрана?

— Как так? — поинтересовался кум.

Падалка косо глянул на Тараса Охримовича, но последний, якобы не замечая его взгляда, продолжал:

— В Страстную Пятницу послала Варька Софрона Капитоновича на базар купить шафрану, чтобы положить в тесто для пасок. Капитонович долго заучивал со слов Варьки такое мудреное слово „шафран”. Выходя из дома и садясь на бидарку, он, чтобы не забыть, всю дорогу повторял: „шафран, шафран, шафран”. „Ноо! Лысомордая кляча — шафран, шафран. Здравствуйте, Никита Иванович — шафран, шафран, что-то колесо в бидарке пищит, надо будет смазать — шафран, шафран, шафран”. И так все время по дороге к базару повторял это слово, чтобы не забыть. Подъехав к лавке Ивченка, он резко натянул вожжи и сердито крикнул: „Тпруу, лысомордая кляча, шкопытарь, шкопытарь, шкопытарь”. Зашел в лавку и вместо шафрана купил скипидару.

Вернулся домой с надеждой, что угодил своей жинке, но каково же было его удивление, когда Варька, взяв в руки поупку мужа, чуть кочергой его не огрела.

-- Что ты, чорт усатый, привез мне? Га?

-- Та... ты же сказала, как будто бы „шкопытарь”.

— Не шкопытарь, а шафран, баранья твоя голова! А этим возьми намажь себе одно место! — и выгнала его с хаты.

Софрон Капитонович взял потом скребницу и, начав чистить лошадей, долго еще бормотал про себя: „Это лысомордая кляча виновата! Поперла возле лавки, я пока сказал „тпруу” и забыл это проклятое слово „шафран”. Да и мое ли это дело? Вот почистить гребенкой кобылу - - я знаю как, а разные там шафраны — это бабье дело. По мне, пусть хоть чесноку натолчет в паску, лишь бы вкусная была...” Так и была у него паска без шафрана...

— Тарас Охримович! Ну что вы такое выдумываете про меня? Это же не со мной было! — обиженно возразил Софрон Капитонович, подмигивая глазом хозяину,

чтобы не конфузил его. Все хохотали и верили, конечно, больше рассказчику.

Тарас Охримович снова долил опорожненные наполовину графины, и веселье стало входить во „вторую стадию”. Стадии же казацкого веселья определялись так:

Первая — когда гости от молчания и вздохов начинают переходить к оживленным разговорам, вежливым спорам; доказывают друг другу в деликатной форме что-либо хозяйственное; при этом люди вообще больше едят, чем пьют.

Вторая стадия, когда рюмки уже следуют одна за другой в беспорядке, на закуску мало обращают внимания, каждый пьет по своему характеру; начинаются песни, сначала тихо, потом все громче и разнообразнее, появляются желающие танцевать, даже без музыки.

Третья — когда большинство начинает лазить на „карячках” и путешествовать в „город Ригу”, стулья не держат сидящих и то и дело переворачиваются, бьется посуда, а иногда достается и физиономии перевеселившегося; бывает даже, что, в конце концов, некоторые ночуют в хлеву или в станичной караулке.

Итак, на крестинах у Кияшко Тараса, веселье вошло только еще во вторую стадию. Женщины запели вполголоса:

„Пийте, куми, горілочку, а ви, гуси, воду...”

Рюмки наполнялись и опорожнялись одна за другой, причем уже наливал каждый сам себе и пил без уприсиваний. Скоро все тянули хором:

„Ой кум до куми борозенкою йшов,
Борозенкою йшов, куль соломи найшов.
А в тім то кулі черевички кумі...”

Захмелевший Охрим Пантелеевич одной рукой обнял Павла Горобца, другую сжал в кулак и грозил кому-то:

— Чорт батька-зна що! возятя с этим япошкой второй год уже, один срам! Вот я в семьдесят седьмом году разве так лупцовал турка? Да мы, если бы пошли воевать, то за один месяц закончили бы с теми желтолицыми! Мы бы их, косоглазых, шапками закидали, а то пры-

мо стыдно за наше воинство. Да и казаки не те стали. Вот моему Андрею я годами холил, холил коня, а он не успел поехать на службу, сразу же доканал Гнедого, зарезал на плуге. Ну что вы на это скажете?! А теперь по-лягушачьи ползает в пластунах где-то там на Кавказе. Эх, нема уже прежних Черноморских казаков! — и он жалостно всхлипнул.

— Нема, точно нема, Охрим Пантелеевич, — и Горобец, прислонившись к своему сверстнику, зарыдал. Несколько минут они оплакивали старое казачество, потом Охрим Пантелеевич схватил графин, налил в рюмки водки и, стараясь заглушить неумолкаемый галдеж, громко выкрикнул:

— Хай моему сыночку, Андрюше, икнется легонько. Пьем за его здоровье и удачу на службе!

— Урааа! — гаркнул Иван Охримович, и все его поддержали, хотя никто не слышал тоста его отца и совсем не знал, в честь кого надо кричать „ура”.

Около полуночи, догулявшись до начала третьей стадии, казаки медленно выползали из дома Тараса Кияшко, придерживаясь за своих менее пьяных жен и распевая на улице во все горло, что только им приходило на ум...

ГЛАВА VII.

Хотя на следующий день у всех участников крестин в доме Тараса Охримовича и трещала голова, все же надо была готовиться ехать косить камыш, игравший большую роль в казацком обиходе.

Камышевые заросли Старо-Минского юрта находились по берегам Еи и Сосыки, по некоторым балкам и закутам. Площадь, на которой рос камыш, никому в паевой надел не определялась и в наймы с торгов ее не отдавали, как это практиковалось с некоторыми участками общественной земли и лугами. Камыши принадлежали всем казакам станицы, но косить его разрешалось только с 1-го сентября, на „Семена” (Св. Симеона Столпника). Каждый, кому в хозяйстве нужен был камыш, старался

в этот день выехать пораньше, чтобы успеть захватить лучшие участки по берегам рек.

На рассвете, в Семенов день, к Тарасу Охримовичу заехал брат Иван, и они, забрав серпообразные железные тесаки, на двух гарбах поехали „по камыш”. Ехать было недалеко, на северо-восточную окраину станицы — „Довгаливку”, где при впадении Сосыки в Ею, на десятки сажений в ширину по берегам обеих рек, рос хороший камыш и половина его находилась не в воде, а прямо на обсохшем за лето грунте побережья.

Софрону Падалке тоже нужен был камыш, чтобы огородить баз, где зимою находился гулевой скот, но на следующий день после крестин у Кияшко он прихворнул. Заснул пьяный на пороге дома, и его прохватило. Он еле передвигался, все время охая от болей в пояснице, и не мог даже как следует разогнуться. После полудня он пошел в станичную амбулаторию, где ему фельдшер Британ поставил на поясницу двенадцать банок и держал несколько минут. Сняв банки, фельдшер сказал Софрону, чтобы тот, придя домой, выпил бы стакана два водки, лег в кровать, потеплее укрылся и никуда не выходил.

Софрон Капитонович так и сделал. Только, чтобы поскорее поправиться, выпил не два стакана, как говорит ему Британ, а чуть ли не целую бутылку водки. Захмелен, он сразу же лег в кровать, натянул на себя большой овчий тулуп и заснул. Уже развиднялось, когда он проснулся. Боли в пояснице стали не так ощутимы, он мог свободно нагибаться и разгибаться, но голова сильно болела от выпитой вчера водки. Несмотря на это, он все же решил тоже поехать по камыш.

С трудом запряг лошадей, взял необходимый инструмент, взобрался на гарбу и решил ехать подальше на „Копійчину балку”, верст за пятнадцать от своей станицы, где тоже росло много камыша, чтобы за дорогу в голове посвежело. По дороге он больше лежал на днище гарбы, дав волю лошадям двигаться с такой скоростью, какой они сами хотят. Потом нехотя съел малосольный огурец, у общественного колодца возле хутора Западный Сосык напился холодной воды и, пока доехал до

Копийчиной балки, голова перестала болеть, и он действительно оправился от хмельного недомогания. Боли в пояснице не чувствовалось, и он в душе искренне благодарил фельдшера Британа за банки, решив теперь сам дома ставить банки себе и жене, если заболит спина или еще что-нибудь.

Но пока он доехал, все лучшие участки камыша были уже скошены. Оставался только редкий, смешанный с кугою или с прошлогодним сухостоем. Постарались жившие невдалеке хutorяне, земля которых тоже находилась в составе Старо-Минского юрта. Вот досада!

Почесав затылок, Падалка принялся лазить по берегу и докашивать остатки камыша. На воде виднелся еще хороший камыш, но без лодки его косить было почти невозможно. Такой камыш скашивали зимою, по льду.

Насилу к вечеру собрал он кулей двадцать второсортного камыша, поймал пасшихся на лугу у речки лошадей, запряг и поехал домой.

Возвратился Софрон Капитонович ко двору уже в сумерках.

В большой комнате был виден свет, горела керосиновая лампа, но открыть ворота никто не выходил. Он крикнул два раза; собаки залаяли и смолкли, узнав хозяина. Взрослый сын его и подростки девочки находились в степи, но жена была дома. Почему же она не встречает? Ведь раньше она всегда стояла у ворот и поджидала его, даже когда он возвращался домой пьяным. Спрыгнув с гарбы, он со злостью рванул ворота так, что они упали, и еще больше разозлился. Оттянув ворота в сторону, он въехал во двор и, не выпрягая лошадей, побежал в хату, подбирая на ходу самые сильные ругательства для жены за ее невнимательность к приезду мужа.

Но едва он ступил на порог, как до его слуха донесся писк младенца: „Уа, Уааа”.

— Ага! Вот оно что! Жинка, наверное, так сказать, отелилась, — вслух подумал Софрон Капитонович. Все придуманные ругательства, которые он собирался обрушить на жену, застыли на губах. Он даже не решился

сразу заходить, а тихо вернулся во двор, отпряг лошадей и только потом вошел в дом.

Старуха соседка, Марфа Линец, возилась у печи с пищавшим новорожденным, уматывая его в пеленки и одеяльце.

Жена Софрона, Варя, лежала в следующей комнате, где горела большая керосиновая лампа, бросая сквозь раскрытые двери слабый свет на угол печи и возившуюся с ребенком бабу Марфу. Падалка стоял и молча смотрел на заботы соседки.

Варя слабо стонала. Вдруг она застонала громче и потом вскрикнула. Марфа, оставив около печи ребенка, опрометью кинулась в другую комнату. Через несколько минут она появилась в дверях с другим живым комом.

— Ну, Софрон Капитонович, есть и другой сынок.

— Двое!? — в ужасе вскричал Софрон.

— Как видите, Бог сразу двоих дал, — спокойно отвечала Марфа и положила второго ребенка рядом с первым.

— Я, так сказать, ничего не понимаю, — бормотал про себя Софрон, жестикулируя и нервно шагая по комнате. Марфа прошла в комнату родильницы и вернулась с какими-то тряпками.

— Ну, как там Варька? — спросил ее хозяин.

— Стонет и дуется.

— Еще дуется?! Да ты лампу потуши, чортова душа, скорее лампу туши! — закричал во все горло Софрон.

Марфа в испуге кинулась в другую комнату, подскочила к лампе и дунула изо всей силы так, что стекло слетело и разбилось. В комнате сразу стало темно, как в черном мешке.

Варя постонала немного и затихла. Марфа стояла у окна и молчала.

— Слава Богу, все благополучно прошло, — сказала она, крестясь.

— Благополучно, говоришь! — передразнил ее Софрон. — Не могла, старая ведьма, сразу же после первого загасить лампу! Разве не видела, что они, как жуки на огонь, ползут и ползут.

— Точно, как жуки на огонь, Софрон Капитонович. Не догадалась я сразу, старая стала. Ну, двойко ничего, ведь оба хлопчики.

Хотя Марфа вряд ли понимала, о чем говорил хозяин, да и он стал сомневаться в том, что двойня родилась только потому, что в комнате был свет от лампы. Через несколько минут он чиркнул спичкой и зажег висевшую в углу лампаду, и все предметы в комнате стали различимы при ее слабом свете. Варя спала. Ее никто не стал тревожить. Марфа вернулась к близнецам, а Софрон ходил по комнате и бормотал про себя:

— Вот тебе и хорошая примета, как сказал позавчера Куц. Овца окотилась двумя ягнятами каждая — хорошо, кобыла ожеребилась двойней — тоже добре, а вот жинка двух привела, это уж, так сказать, никуда не годится. И в кого она вдалась? Кажется, в их роду никогда не было близнецов! Надо будет девчат со степи сейчас же потребовать домой, а то кто же с этими вылупками возиться будет! Не думал... Впрочем, оба — хлопчики, подрастут парубками, сразу два пая получат, земли втрое прибавится. Ладно, пускай растут..

Утром Софрон Падалка принялся за починку сломанных им вчера в неосновательном гневе ворот.

По дороге, мимо его двора, шли Тарас Кияшко и Максим Таран.

— Бог на помощь, Софрон Капитонович, сказал Тарас Охримович.

— Спасибо, также и вам хай Бог помогает! — Куда это вы путь держите, заходите!

Кияшко и Таран подошли к воротам.

— Ну, как удалось вчера нагребти камыша? — спросил Тарас.

— Мало. Был нездоров, приехал поздно на Копийчину балку и уже весь лучший камыш хutorяне покосили. Они наверное еще и раньше, до срока покосили его, за чем только наш атаман смотрит!

— А чего вы аж туда ездили? — спросил Тарас Охри-

мович. — Мы с Иваном поехали на Довгаливку, на Ею, и по две гарбы настобали, да еще камыш какой!

— Так уж меня вчера Бог карал, — почесав затылок, пробормотал Софрон.

— Ну, а как в кумовья? скоро уж мне приходиться!

— Хоть сейчас можно, — усмехнулся Падалка.

— Уже есть? Чтож, я с большим удовольствием.

— Нет, Тарас Охримович, вы уж обождите, — перебил Максим Таран, — я давно собираюсь в кумы до Варьки, так что уважьте, пожалуйста, я буду кумом.

— Ни в коем случае, — возразил Тарас, — мы с Софроном Капитоновичем договорились еще позавчера, у меня на крестинах, что кумом буду я.

— Вы позавчера, а я договорился еще полгода тому назад, что кумом буду я, так что мое право выше!

— Обождите, не спорьте, — вмешался Софрон, — раз оба хотите, я вас обоих и возьму в кумы.

— Как так обоих? — в один голос переспросили оба претендента. — Это же незаконно будет.

— Вполне законно. Оба вы будете у меня кумовьями и по всем правилам казачьих и церковных законов.

— Шо, може двое? — неуверенно спросил Таран.

— То-то и оно, шо двое. Два хлопчика. Два „Сэмэна”. Так что завтра, милости прошу, приходите оба, будете восприемниками моих казачат..

— Ну и везет же вам, Софрон Капитонович, в этом году, — засмеялся Тарас. — Овцы по двое ягнят привели, кобыла ожеребилась двумя и жинка двух казаков, как из пушки, выпалила. Через семнадцать лет землицы сразу привалит двадцать четыре десятины!

— Да, пока земли привалит, меня самого может завалить землей и всего-то хватит три аршина. Жди у моря погоды, — и Софрон нахмурясь стал чинить ворота.

Кияшко и Таран простились с ним и направились своей дорогой, оживленно жестикулируя. Вероятно, обсуждали события у Софрона и предстоящие крестины.

На следующий день Варя чувствовала себя уже не плохо и сама стряпала у печи, готовясь к крестинам.

нам; стирала пеленки... Но в полдень стала жаловаться на боли в животе и, чем дальше, все больше и больше.

— Знаешь что, — сказал ей Софрон Капитонович, — у меня позавчера тоже были сильные боли в пояснице, а Британ поставил мне банки и сразу стало легче. Давай я и тебе поставлю банки на живот!

— Да где же у нас эти банки? — охая отвечала Варя. — Да и как их ставить? Это же только фельдшер умеет. Может, на животе и нельзя?

— Я думаю, везде можно, а как ставить — это тоже знаю. Сам видел, как Британ мне ставил, не слепой был. А вот, что можно вместо банок приспособить, это вопрос. Давай я тебе поставлю наш „поливянный” чавун. Он ровный, легкий и займет не меньше половины твоего пуза; все равно, что двенадцать банок, которые мне ставил Британ.

— Да ставь, ради Бога, что хочешь и где хочешь, хоть на пузо, хоть на спину, лишь бы таких болей не было. Ох, как колет!

Софрон Капитонович достал чугунок, вытер его насухо тряпкой, обнажил живот Вари, примерял. Потом зажег свечу и стал держать под чугуном, но ничего из этого не получалось, чугунок не приставал к телу. Смолил тряпку в керосине и поджѐг, но от этого так надымил и сам черным стал, что в результате затоптал ногами огонь. Потом смекнул: намотал на палочку чистую тряпку, щедро полил водкой и попробовал зажечь. На тряпке появилось голубоватое бездымное пламя. Подержав пламя под чугуном несколько секунд, Софрон приставил его быстро к животу Вари, и на этот раз опыт удался. Чугунок плотно пристал к телу. Он прикрыл это место одеялом и отошел. Прошло минут десять-пятнадцать.

— Софроша, ради Бога, сними уже свою „банку”, а то весь живот втянуло в чугунок! — взмолилась вдруг Варя.

Софрон Капитонович подошел, открыл одеяло, хотел легко снять, но чугунок так влип краями, что оторвать было трудно. Очень сильно втянуло живот в чугунок.

Софрон стал тянуть силой, Варя кричала от боли, упала даже с кровати на земляной пол, но чугунок не отставал. Что делать?

А в это время у калитки показались уже кумовья: Тарас Кияшко шел с Христиною Галушка, а Максим Таран с Химкою Комарец.

Заметив входивших в калитку кумовьев, Софрон схватил кочергу и со всего размаху хватил по дну чугунка. Чугунок разлетелся вдребезги, Варя громко вскрикнула от боли, проклиная и мужа и тех, кто выдумал ставить банки.

— Добрый вечер, кум! — поздоровался первым Тарас Кияшко. — Что это ты за черепки собираешь?

— Та... ставил чавун в печь, упустил и разбил. Бабе моей, так сказать, нездоровится, а я, вот видите, кухарничаю.

— О, это к добру! Хорошая примета, посуда бьется к добру, — сказал Максим Таран.

— Э, с вашими приметами! — махнув рукою, зло отвечал Софрон. — И Куц Федор пророчил мне хорошие приметы, а в результате две пары кумовьев пришлось просить. Так и это...

Крестины у Софрона Капитоновича Падалка прошли так же, как и у Тараса Кияшко. Пили сразу за двоих крещенных казачат. И хотя Варя в этой попойке не участвовала, стонала и охала в кровати после Софроновой „банки” еще сильнее, но все же согласилась выпить две рюмки водки и после этого уснула. Веселились все до „третьей стадии”...

**

Через неделю после крестин внука Охрим Пантелевич, взяв жестяную банку, пошел на базар купить дегтю для смазки конской сбруи.

Уже месяца два не видно было дегтярей. А то бывало, чуть не каждый день ездят по улицам с бочками и кричат: „дегтю, дегтю!” А тут как раз деготь вышел, и упряжь уже неделю без смазки.

Едва он пересек площадь и вышел на улицу Красную, как его окликнули из почтовой конторы:

— Охрим Пантелеевич! Письмецо вам пришло из Аббас-Тумана! — и чиновник вручил ему конверт.

Досадуя на свою безграмотность, Охрим Пантелеевич вернулся домой и дал письмо Тарасу, чтобы поскорее узнать его содержание.

„...Батя! Прошу вашего благословения в далекий и опасный путь, — читал Тарас. — Сегодня отправляемся на Дальний Восток, в Манджурию. Едем бить япошек... Посылаю всем по низкому, до самой сырой земли, поклону...

Ваш сын Андрей Кияшко. 4-го сентября, 1905 года...”

— Бог тебя благословит, мой сыночек. Это нужное дело, — сказал Охрим Пантелеевич и, повернувшись к иконам, крестясь добавил: — Пошли, Боже, рабу Твоему Андрею ангела Хранителя, да оградит он его от всего недоброго и страшного, как в дороге, так и на поле брани...

Сотворив земной поклон, Охрим Пантелеевич нахлобучил шапку, вышел в сени, взял оставленный у порога жестяной бидончик и опять направился на базар за дегтем, сосредоточенно о чем-то думая...

ГЛАВА VIII.

До Покрова многие казаки пахоту зяби закончили. Наступал заслуженный продолжительный отдых до самой весны, и хлебороб мог свободно наслаждаться богатыми результатами своих летних напряженных трудов.

Семья Охрима Пантелеевича к празднику Покрова Богородицы, после „оранки”, тоже была уже вся вместе. Летнее степовое пристанище покинули и перебрались домой в станицу.

Петька приехал домой в станицу еще в начале сентября и стал ходить в третье отделение двухклассного

училища.*) После Второй Пречистой начала ходить в первое отделение церковно-приходской школы и Гашка. С гордостью прижимая букварь, каждое утро выходила она с Петькой из дому, не обращая внимания на насмешки старших школяров, дразнивших ее и других подобных ей: „первячка-червячка”.

Петьку соседи называли „розбышакой”, и по их жалобам, ему часто задавал трепку Тарас Охримович. По дороге в школу Петька всегда норовил подразнить злых собак у чужих заборов. Особенно любил он выводить из себя „скаженных” собак у Баштового, Кирилла Яковлевича. У него двор был обнесен высоким забором, псы перескочить не могли, и „розбышака” был в безопасности. Петька снимал с плеч деревянное ружье, с которым ходил в школу в дни военных занятий, просовывал дуло между прутьями железных ворот и приходил в восторг, когда разъяренные лохматые кобели обламывали себе зубы о железо. Только слышав голос хозяина, Петька кончал эту забаву, подбирая полы своей черкески и без оглядки бежал в школу.

В станичных школах всех мальчиков обучали военному строю, начиная со второго отделения начального обучения. Занимался с ними или учитель, хорошо знающий военное дело, или тот же самый офицер, который обучал и молодых казаков перед отправкой на действительную службу.

Ходили ученики в школу в казачьей форме, сшитой соответственно их росту. На груди, в вырезе черкески, виднелся треугольником черный или серый бешмет; на

*) „Двухклассное училище” — это фактически пятигодичная начальная школа. Были еще одноклассные школы с трехлетним обучением, то-есть, с тремя отделениями. Если кто кончал третье отделение одноклассной школы, то это означало, что он (или она) кончал три года двухклассного училища. В двухклассных школах было пять отделений (т. е. пять классов), и пять лет надо было обучаться, не оставаясь ни на один год повторно в том же отделении, чтобы закончить пятое отделение двухклассного училища. Следует заметить, что окончивший такую школу считался в станице уже хорошо грамотным человеком.

голове была черная или „сыва” шапка с цветным верхом; впереди на поясе оправленный жостью деревянный кинжал; за плечами на ремне небольшая деревянная „винтовка”. Школьники ходили в сапогах в любое время года. Когда в таком обмундировании эта юная „армия” маршировала по площади, то не один пожилой казак останавливался и с любовью засматривался на достойную себе смену. Никто не порицал такую раннюю муштровку, наоборот, все признавали необходимость военного обучения своих детей, ибо казачьи войска всегда составляли авангард армии Российского Государства.

Петя Кияшко по выправке и маршировке был среди первых, а по остальным предметам занимался слабо и часто на уроках в классе выкручивался перед учителем, пользуясь подсказками товарищей.

Однажды Петька не приготовил дома урока по арифметике, а учитель как на зло в тот день спросил его первого. Петька молча стоял за партой и, казалось, обдумывал заданный ему вопрос. На самом же деле, он следил за движениями сидевшей в левом ряду парт прилежной ученицы Даши Костенко.

Даша, стараясь выручить попавшего в беду товарища, развернула свою тетрадь, заложила ее левой рукой за спину, чтобы показать ему ответ на заданный вопрос. На ее беду, учитель заметил этот маневр и в наказание, — одного за незнание урока, а другую за подкашивание, — посадил вместе за одну парту. Во всех отделениях школы это считалось большим позором. Даже ученики старших отделений школы говорили в таких случаях: „Подумайте, какой стыд, мальчик и девочка сидят вместе за одной партой!”

Девушки-казачки обычно до третьего отделения обучались в церковно-приходской одноклассной школе. Да и вообще их в школу посылали редко, считая, что „для бабы” школа не нужна.

Даша Костенко тоже ходила два года в церковно-приходскую школу, но потом в третье отделение двухклассного училища стали ходить и девочки. Так она очутилась в одном классе с Петькой Кияшко...

Даша, уткнув голову в книгу, в продолжение всего урока всхлипывала, а Петька, подперев ладонями подбородок и насупившись, как сыч, сидел молча. Ему, как представителю мужского пола, не так позорно было сидеть в паре с девочкой. К тому же, и жалко было наказанной из-за него соученицы, но сказать ей что-нибудь в утешение он не мог.

Когда учитель отвернулся к доске, он не выдержал и, прикрыв рот ладошью, тихо шепнул:

— Чего, дуреха, разревелась? Я же не сожру тебя!

— Не гавкай, як цуцик! — вспыхнула Даша и, отсунувшись на самый край парты, еще жалобнее заплакала.

На первой же „перемене” вся школа уже знала о происшествии и стала дразнить Дашу и Петьку — „жиночка и чоловичек”, так как по понятиям детей в паре могут сидеть только муж и жена.

После уроков Петьку учитель оставил „без обеда” задержав в школе еще на полчаса.

Вечером того же дня Тарасу Охримовичу уже было известно о случае с его сыном в школе.

— Ах ты, бисового собаки сын, хам-бахамет, а ну, ходи сюды! — и он, схватив ремень, начал стегать Петьку по мягким местам. На счастье Петьки, подоспел Охрим Пантелеевич и защитил внука, вырвав пояс из рук его отца. Дед любил Петьку за отличные успехи в военной учебе, а на то, что он плохо учил уроки, старый казак махал рукой: „Я совсем в школу не ходил и живу, слава Богу; а басурманов бил не хуже всяких грамотеев.”

Но Тарас Охримович был другого мнения. После взбучки, он поставил Петьку на колени перед иконами, чтобы стоял там до самой ночи и чтобы ничего есть ему не давали. Конечно, когда отец вышел во двор, мать, хотя тоже бранила Петьку, сейчас же сунула ему в руку ломоть хлеба и кусок „кульмыча” (просоленного овечьего курдюка).

На следующее утро Петька, без завтрака и надувшись на всех, ушел в школу намного раньше обычного. Несколько учеников встретили его насмешками. Его удивило, что они уже знали о полученной им дома нахлобуч-

ке. Одному он дал крепкого тумака в спину, а остальные убежали. Петька сейчас же пошел в свой класс и, не найдя там ни души, сел за парту. Через несколько минут в класс вошла Даша Костенко. Увидев Петьку одного, она остановилась у порога в нерешительности: итти обратно в коридор — ученики дразнятся; войти и оказаться опять вместе с Петькой наедине в классе — начнут еще больше смеяться. Наконец, справившись с чувством смущения, натянула платок на глаза, быстро прошла к левому ряду парт и молча уселась на свое место. Потом достала из сумки два яблока и, наклонившись над партой, начала их есть. Петька тоже сидел молча, но время от времени искоса поглядывал на нее.

Вдруг Даша смело повернулась в сторону Петьки:

— Тебя били дома?

— Угу, — не раскрывая рта, промямлил в ответ Петька.

— Бедный!

— Если „бедный”, то дай мне яблоко, а то я сегодня еще ничего не ел! --- Он встал, подошел к Даше и сел рядом с ней на парту.

— Да не садись ты рядом со мною на одной парте! Мало мы вчера стыда получили? Если кто зайдет и еще раз увидят нас за одной партой, тогда и совсем могила. И так все дразнятся, — и она быстро отодвинулась от него подальше.

— Ну и пусть дразнятся, чего ты их так боишься? Дураки они! — ответил Петька, беря от нее и кусая яблоко. Потом, вставая с ее парты, он с улыбкой посмотрел на Дашу и вдруг ласково ущипнул ее за кончик носа:

— Какая ты хорошенькая, лучше моей сестренки, — и, покраснев от своих слов, быстро выбежал из класса.

Даша схватилась за ущипнутый кончик носа и хотела рассердиться, но, увидев, как он улизнул из класса, добродушно пробормотала:

— Вот дурачек еще. Чудной какой-то; прямо трусишка-заинька!

Она улыбнулась, потом достала из сумки еще одно яблоко, встала и сунула его в парту Петьки, после чего быстро вернулась на свое место, пробормотав:

— Ну и пусть дразнят, а я не боюсь...

С этого дня между Петькой и Дашей завязалась тщательно скрываемая от всех дружба. Они незаметно для других обменивались результатами решенных задач. Иногда Петька тайком подсовывал в ученическую сумку Даши конфету или орех, а иногда и сам находил в своем отделении парты откуда-то взявшиеся лакомства. Оба никогда не спрашивали громко в классе — кто это положил. Дружба эта ни разу ничем не нарушалась, несмотря на насмешки наблюдательных сверстников.

**

Вскоре после Покрова, как-то днем, в ворота усадьбы Кияшко раздался стук. Охрим Пантелеевич подошел к забору. У калитки стоял военный писарь и, передавая конверт с сургучной печатью, сказал: „Из Тифлиса, лично вам!” - и сейчас же ушел.

— Почему из Тифлиса? От кого? — бормотал в недоумении Охрим Пантелеевич. На глаза ему попался только что вернувшийся из школы Петька.

— На, прочитай! --- обратился к нему дед.

Петька разорвал конверт и сначала читал очень бойко, потом вдруг запнулся, с трудом выговаривая последние слова.

-- Что, что такое?! Не может быть! Боже мой! А ну еще, еще раз прочитай последние строчки! — почти закричал Охрим Пантелеевич. Петька через силу прочитал еще раз, и слезы брызнули у него из глаз.

Охрим Пантелеевич неподвижно стоял у окна, только грудь его часто вздымалась. Потом перекрестился, прошептал что-то и медленно пошел в зал. Остановившись перед фотографической карточкой Андрея, он несколько минут молча смотрел на изображенное на ней лицо родного сына. Вдруг морщины на щеках и лбу старого казака задвигались, губы задрожали, борода затряслась. Он упал головой на стол и... заплакал...

А через несколько минут плакал весь дом...

ГЛАВА IX.

Казаки 5-го Кубанского Пластунского батальона в Тифлисе не нашли уже той спокойной жизни, которую до сего времени наблюдали во всем Закавказьи. После Аббас-Тумана, начавшегося путешествия на Дальний Восток и неожиданного возвращения со станции Елизаветполь, они сразу же попали в водоворот революционных рабочих выступлений. Рабочие выступали против „самого” царя.

Для кубанцев это было совершенно новое и страшное явление, которое с трудом воспринимал их ум. Как? Против царя? Да возможна ли вообще самая мысль об этом?

Казаки свято хранили присягу, чтили царя, как помазанника Божьего, и не могли даже подумать, что кто-то осмелился бы мутить народ против его величества Государя Императора Всероссийского. Всех революционеров-смутьянов казаки считали страшнейшими врагами не только России, но и казачества. Революционеры знали о такой преданности казаков царю и, в свою очередь, считали всех казаков своими врагами. В ночное время участились случаи отдельных нападений на казаков, ходивших по городу в одиночку. Дело шло уже не о национальной ненависти к русским, иногда прорывавшейся и раньше среди горцев Кавказа, а о начавшейся почти открыто революционной борьбе с царской властью.

И когда однажды утром, в глухом переулке Тифлиса, нашли казака станицы Крыловской Михаила Кривонос с перерезанным горлом, кубанцы стали отвечать своим врагам тем же. За каждого убитого из-за угла казака, расстреливали десятки революционеров, заподозренных в нападениях, и тех, у кого при обысках на улицах в ночное время находили огнестрельное оружие. В одиночку ходить по городу казакам было запрещено. Разрешалось идти только группами в несколько человек, и то — по личному разрешению командира батальона, с указанием маршрута.

Впрочем, в те дни революционная буря нарастала не

только над Тифлисом, но и над другими городами России.

Однажды, в те дни, Кияшко Андрей стоял на посту около небольшого военного склада, расположенного у самого берега Куры, в небольшой впадине, которую от разливов этой бурливой реки защищала воздвигнутая здесь дамба.

В полуверсте от склада находился штаб батальона, а еще дальше штаб-квартира одного генерала, начальника расквартированной в Тифлисе армейской дивизии.

Андрей, тихонько посвистывая, спокойно ходил взад и вперед, не замечая вблизи себя ничего особенного. Из долины потянуло вечерним туманом. Солнце клонилось к закату.

Вдруг острый слух Андрея уловил глухой треск ломающейся доски. Внимательно осмотревшись, он заметил за низкорослым кустарником каких-то подозрительных людей, очевидно ползком подобранных к дамбе и теперь что-то там разрушающих. Андрей поднял винтовку, приложился и только хотел дать сигнальный выстрел для вызова караула, как брошенный кем-то тяжелый камень выбил у него из рук оружие. Подхватив винтовку, Андрей прилег на землю и сразу же заметил притаившегося саженях в десяти от себя какого-то субъекта восточного типа с новым камнем в руке.

Не раздумывая долго, Андрей одним выстрелом уложил злоумышленника. Остальные сейчас же скрылись. В этот самый момент прорвалась сквозь полуразрушенную дамбу вода и хлынула к складу. Андрей торопливо сделал несколько выстрелов вверх.

Услыхав тревогу, казаки выскочили из казарм и с оружием в руках побежали в сторону выстрелов. Как раз им навстречу со стороны склада бежали три разрушителя дамбы. Казаки хотели их задержать, но те вдруг открыли огонь из револьверов, ранили одного пластуна и скрылись в большом кирпичном доме.

Дом немедленно оцепили. Есаул — командир сотни приказал стрелять в каждого, кто выбежит из этого дома и не захочет сдаться.

Оставив здесь старшим хорунжего, есаул с несколькими казаками поспешил к складу. Пройти туда оказалось невозможно: вода уже наполовину залила впадину, но Андрей продолжал стоять на своем посту, немного приподняв винтовку, так как вода доходила ему уже до пояса. Заметив часового в опасности, есаул крикнул:

— Кияшко! Скорее уходи оттуда! Разве не видишь, что вода скоро затопит все?

— Не имею права, ваше высокоблагородие, — спокойно отвечал Андрей. — Как же я могу оставить пост? Вам хорошо известно, что с поста меня может снять только тот, кто поставил. Нарушать воинский устав не буду!

— Да, но ведь разводящего сейчас здесь нет, а вода скоро поглотит и тебя. Оставь свое место и уходи, я отвечаю за свои приказания, как твой командир!

— В данный момент я ваших приказаний не исполню, ваше высокоблагородие. Прошу отойти от часового! — строго, почти с выкриком ответил Андрей, и подняв еще выше винтовку, уперся ногами крепче, чтобы вода, доходившая уже по грудь, не сбила бы его с ног.

Есаул не знал, что делать. Снять Кияшко силой — для этого пришлось бы посылать казаков в воду, подымающуюся им по шею, т. е. подвергать и их опасности. А главное, зная дисциплинированность часового, он не сомневался, что Кияшко откроет огонь по ним. Есаул послал одного казака бегом за разводящим, чтобы тот немедленно прибыл к складу.

Склад этот особой ценности для батальона не представлял, но часовому не полагалось вдаваться в ценность охраняемого им поста. Поставили, значит, стой по всем правилам устава, — будут ли это слитки на миллионы золотых рублей или просто гнилой столб. Поэтому есаул и не пытался спасти старое обмундирование со склада, его беспокоила судьба часового.

Не знали о назначении этого склада, вероятно, и разрушители дамбы. Иначе они не стали бы рисковать сами из-за ненужного хлама.

В это время подъехал в экипаже начальник дивизии. Увидев казака, стоявшего уже по горло в воде, он велел

остановить лошадей, сошел с экипажа и, обращаясь к толпившимся у воды казакам, спросил:

— Почему в таком положении казак стоит?

— Это часовой возле военного склада, ваше превосходительство, -- ответил есаул.

— Так он же в опасности. Немедленно снимите его!

— Я уже приказал ему уйти, ваше превосходительство, но он отказывается покинуть пост.

— Что он, с ума сошел? — и генерал, сердито сдвинув брови, подошел к отлогому берегу, где бурлила вода.

— Эй, часовой! — крикнул он. — Выбирайся немедленно на берег, не то вода тебя поглотит, утонешь!

— Не имсью права, ваше превосходительство, я часовой на посту военного склада! — отвечал громко Андрей.

— Я тебе приказываю немедленно оставить пост и явиться ко мне на берег!

— Находясь на посту, я вам не подчиняюсь, ваше превосходительство! Прошу прекратить разговоры с часовым!

Начальник дивизии был ошеломлен; простой казак не подчиняется приказу генерала. Он приказал есаулу немедленно, любыми методами вытянуть из воды этого казака.

В этот момент подбежал разводящий:

— Часовой Кияшко! Приказываю оставить пост и явиться ко мне!

— Слушаюсь, господин разводящий! — ответил Андрей и шагнул к берегу, но вода сбила его с ног и понесла в другую сторону. Только благодаря тому, что впадина, где находился склад, имела изогнутую береговую линию, его не вынесло течением в общий водоворот реки, а тут же прибило к берегу. Казаки подхватили Андрея за руки и вытащили из воды. По приказанию разводящего, он сейчас же ушел в казармы, чтобы переодеться в сухую одежду и отдохнуть.

Генерал, все это время остававшийся на берегу в большом раздражении, сразу повеселел и сказал есаулу:

-- А ведь он был прав! Молодец! -- и пошел к своему экипажу.

Тем временем, около кирпичного дома, в котором укрылись три разрушителя дамбы, происходило следующее.

Едва оцепившие дом казаки стали суживать кольцо, как оттуда из окон раздались револьверные выстрелы. Казаки залегли и открыли ружейный огонь по дому. Временами стрельба из окон прекращалась, и казалось, что там уже никого не осталось в живых, но как только казаки пытались приподняться, из разбитых окон вновь раздавались выстрелы.

В один из таких моментов затишья Евгений Кондратенко выскочил из-за укрытия и подбежал к дверям дома, но в тот же момент из трех разбитых окон раздалось несколько выстрелов. Кондратенко вскрикнул, метнулся от дверей, потом выпустил из рук винтовку и, как подрубленный тополь, рухнул на землю. Командиру батальона сейчас же доложили о смерти казака и о том, что мятежники не сдаются.

Полковник Глушанин вызвал из 5-й кубанской конной батареи одно орудие и приказал прямой наводкой разрушить дом.

Андрей Кияшко, услышав о гибели лучшего рассказчика батальона и своего друга-станичника Кондратенко, схватил винтовку и помчался к месту боя.

Дом, в котором скрылись вооруженные смутьяны, стоял на самой окраине города, в том месте, где Кура, пересекая Тифлис, вырывалась на просторы и еще больше бурлила. Строения стояли здесь редко, и огонь любого оружия не был опасен для других домов. Уже темнело. Несколько пушечных выстрелов разрушили стены дома, и он загорелся. Оттуда стали выбегать люди. Те, кто, подняв руки, сдавался, отправлялись в штаб батальона; сопротивлявшиеся уничтожались.

Один из мятежников, по виду армянин, выпрыгнув из окна и скрываясь за расстилавшимся от горевшего здания дымом, хотел незаметно пробраться среди кустарников в соседний большой фруктовый сад.

Андрей заметил его и кинулся за ним с криком:
— Стой! Застрелю!

Бежавший остановился, но как только Андрей подбежал к нему, резко повернулся и выпустил из револьвера несколько пуль прямо в упор. Потом бросился было бежать дальше, но это ему не удалось: выстрел сбоку скосил его, а два казака, выскочившие из кустарника, пригвоздили армянина кинжалами к земле. Но его выстрелы успели сразить Андрея. Он вдруг зашатался, взмахнул руками, потом обхватил ствол яблони, стараясь удержаться на ногах, но не устоял и тихо опустился на землю. К нему сейчас же подбежали казаки:

— Кияшко! Что с тобой? Неужели?

Но Андрей сразу не ответил. Через минуту-две он открыл глаза и, пытаясь приподнять голову, медленно заговорил:

— Ох, кажется, здорово попал... антихрист. Неужели... конец? Почему? Не хочу... умирать на чужбине! Кубань... родная, святая...

Из рта тоненькой струйкой потекла кровь. Подбежал взводный урядник с Григорием Кузьменко и остолбенели.

— Это Кияшко? Та не может быть! Боже! Андрюша, дорогой, крепись! Сейчас отправим тебя в лазарет. Уже всех смутьянов переловили, прикончили...

— Всех?.. Бате... поклон...

Андрей захлебнулся хлынувшей из горла кровью, вытнулся и, закатив глаза, перестал дышать.

Обнажив головы, молча, стояли пластуны у бездыханного трупа, не смея верить случившемуся. В один вечер вторая сотня потеряла двух своих лучших товарищей, и не в боях с басурманами, а в мирном городе своего государства. Казаки осторожно подняли тело Андрея и тихо, как бы боясь разбудить навски уснувшего станичника, понесли в штаб, где уже лежал убитый Кондратенко.

**
*

А на следующий день...

Склонявшееся к западу солнце ярко освещало стены больших домов главного города Закавказья. Чистая голубая лазурь небесного купола где-то терялась в недо-

сягаемых высотах вселенной. Кое-где у края горизонта клубились кучевые облака, вечерние „кумуло-стратусы” и, соприкасаясь с синевшими вдали вершинами гор, казались как бы придатками этих неподвижных нагромождений земли и камня.

Только Кура шумела своими неугомонными водами. Особенно там, выше Тифлиса, где в нее впадала Арагва, и клокотала, как разъяренный зверь, а потом неслась мутным потоком на восток к спокойной шире Каспийского моря.

Стояла полная тишина. Ни малейшего дуновения ветра. Ни один листик не шевелился на деревьях. Природа затихла и, казалось, к чему-то прислушивалась.

Только медные трубы военного духового оркестра печальной мелодией траурного марша нарушали эту тишину.

Два гроба медленно плыли среди леса штыков кубанцев, впереди многочисленного траурного шествия. Весь личный состав 5-го Кубанского Пластунского батальона провожал в последний путь двух своих товарищей, двух молодых казаков, погибших так неожиданно, вдали от цветущих полей своей родимой станицы.

Русское православное кладбище. Две рядом свежерытые ямы.

Слышится всю дорогу непрерываемое, печальное погребальное песнопение своего казачьего хора. Священник дрогнувшим голосом произносит „вечная память” и хор плавно повторяет эти два, самые тяжелые погребальные слова. Оркестр исполняет „Коль славен”. Раздается троекратный ружейный залп казачьей сотни. Немые ветви деревьев вздрогнули и желтеющие листья посыпались вниз. Эхо от залпов разнеслось далеко в загородной тиши.

И этим звукам залпов, похоронной мелодии духового оркестра и погребальным песнопениям были созвучны слова надгробной прощальной речи командира батальона полковника Глушанина.

—...Прощайте, молодые орлы привольных степей Кубанских! Прощайте, достойные сыны славного Черномор-

ского казачества! Прощайте, герои, павшие за мирное процветание православного Отечества нашего в борьбе с внутренними врагами Государства Российского! Вы погибли, как подобает казакам родной Кубани. Память о вас не изгладится во веки веков у всех тех, кому дорого имя Родины... Вечная память вам, дорогие станичники...

С последними словами командира два гроба медленно стали опускаться в вечное пристанище „безмятежного покоя”. Ямы засыпали и водрузили среди старых могил два новых металлических креста с именами усопших.

Батальон оставил кладбище...

Вскоре революционные выступления были подавлены, в Тифлисе восстановлен порядок, и в казармах Кубанцев потекла прежняя спокойная жизнь.

После похорон полковник Глушанин лично написал два письма в станицу Старо-Минскую, одно — отцу убитого Евгения, Григорию Кондратенко, а другое — отцу Андрея, Охриму Кияшко.

Также и Кузьменко от себя послал письмо Охриму Пантелеевичу, подробно описав смерть своего друга.

Это и было то печальное сообщение, полученное Охримом Пантелеевичем после Покрова, которое со слезами прочитал ему Петька и которое надолго опечалило весь его дом, всех соседей и родственников.

ГЛАВА X.

В минуту острой грусти об Андрее Охрима Пантелеевича утешал только его любимый внук Петька. После Рождества Петька за успехи в военном обучении получил в школе производство в „приказные”, и это очень обрадовало старого казака. Еще больше отличился внук во время школьных маневров, которые производились в мае месяце. Ученики всех школ станицы с раннего утра были уже в полном сборе у окраины большой общест-

венной роцци за речкой Сосыка, готовясь к наступлению на канеловцев. В маневрах участвовали учащиеся станиц Старо-Минской и Канеловской.

В поход шли также полевая кухня, санитарная повозка и весь необходимый „обоз”. На место маневров приехали: представитель Атамана Ейского Отдела Шавлач Василий, атаман станицы Дмитренко, его помощники, писаря, учителя школ, почетные старики. На стороне Канеловских тоже присутствовало все начальство.

Все казачата были разбиты на „сотни”. Командирами сотен были прибывшие из Уманских военно-учебных лагерей казачьи офицеры.

Кияшко Петя попал в 1-ю Запорожскую сотню.

В 8 часов утра началось наступление „неприятельских” сторон.

Старомищцы, рассыпавшись вдоль восточного берега реки Сосыка, версты на две от роцци, стали перебежками и ползком продвигаться на юго-восток к Канеловскому бугру. Они встретили упорное „сопротивление”. Запорожскую сотню „неприятель” теснил больше всех, и она вынуждена была отступить к реке. Тогда командир сотни, хорунжий Сомко, приказал Кияшко Петьке и Петренко Сережке пробраться берегом реки, незаметно приблизиться к „неприятелю”, разведать его силы и, возвращаясь, поискать в камышах перевозочные средства-лодки. Ребята лихо козырнули и в тот же миг помчались исполнять приказание.

Пригибаясь среди густой высокой прибрежной травы, хлопцы побежали в южную сторону и вскоре заметили среди камыша небольшую лодку с веслами. Они сейчас же направились к ней, но вдруг Сережа Петренко попал обоими сапогами в вязкий ил. Когда ему удалось выдернуть одну ногу, он упал и больно ударился лицом о лежавший в грязи камень. Петька помог ему выбраться на сухое место, и он с плачем, измазанный грязью, пошел назад. Петька решил продолжать разведку один.

Он снял сапоги, пробрался к лодке и, умело управляя веслами, поплыл к огибавшему „поле боя” речному зигзагу. В том месте, где река своей извилиной вдавалась

в „Канеловскую сторону”, Петька погнал лодку к берегу, заросшему густым камышом, и вышел к большому фруктовому саду Староминского казака Тарана Дмитрия. Сад находился на границе с Каңеловским юртом. Крадучись среди густой зеленой листвы деревьев, он вышел на пригорок и, сразу же нырнув в небольшую сухую канаву, притаил дыхание. Он оказался в самом тылу Канеловских „войск”. Положив на свою черную шапку пучек зеленой травы, он слегка приподнял голову и как на ладони увидел все поле „военных действий”. Видел, как его сотню прижали еще ближе к реке, как на левом фланге староминская третья сотня теснила канеловцев и уже обходила „неприятеля”. В короткое время он запомнил расположение и ход „военных действий” и сейчас же пополз обратно.. Перед садом Тарана он вдруг заметил в зарослях терновника „неприятельского солдата” таких же лет, как и он сам, который беззаботно справлял свои естественные надобности. Петька пригнулся и хотел было незаметно проскользнуть мимо, но потом ему пришла в голову блестящая мысль.

В одну секунду он влетел в терновник и, как коршун с неба, упал на канеловца. Тот не кричал, а только кряхтел под ним и не мог никак вырваться. Петька же дубасил его под собою, приговаривая: „сдавайся, басурман, бо задавлю!” Наконец, канеловец не выдержал и дал „честное казачье слово”, что сдается на милость „победителя”, в знак чего поднял руки вверх.

— Ложись лицом вниз! — приказал „победитель”. Канеловец повиновался. Петька через голенища сапог стянул с него штаны с подштаниками, последними связал пленнику сзади его руки, а штаны захватил с собой; велел встать и идти впереди через сад к берегу.

Посадив „пленника” в „носок” лодки затылком к себе, Петька быстро поплыл к своим. Берег был покрыт молодым зеленым и прошлогодним высоким сухим камышом, потому лодку, плывшую по чистоводью у этих зарослей, с восточной (канеловской) стороны совсем не было заметно.

Подплыв к берегу наравне с расположением своей сот-

ни, Петька оставил лодку с пленником в камыше, а сам сейчас же явился к своему хорунжему.

— Ваше благородие! — начал он докладывать, вытянувшись в струнку. — Противник сгруппировал большие силы в направлении нашей сотни. На левом фланге наши продвигаются вперед успешно и заняли выгодную позицию с северной стороны. Численность вражеских сил не больше наших; кажется, их даже меньше. В тылу противника пусто, что подтверждает захваченный мною пленник.

— Пленник? — переспросил с недоумением хорунжий Сомко.

— Так точно, ваше благородие, пленник! Я его сейчас вам доставлю.

Петька подбежал к берегу и крикнул:

— Эй, ты, турок! Бежи сюда, быстро!

Сначала послышался плеск воды, потом затрещал раздвигаемый камыш и на берег вышел подросток лет одиннадцати со связанными кальсонами руками, в сапогах полных воды и без штанов.

Хорунжий от души захохотал, увидев „пленника” в таком виде.

— Как же ты его поймал? — спросил он Петьку.

— Прямо на „горячем месте”, ваше благородие! — бойко отвечал разведчик. — Расселся, как дома. Здесь, брат, война, надо все делать на ходу!

— Молодец, Кияшко! — сказал командир. — Только пусть наденет штаны, а то некрасиво так, и отведите его в тыл, пусть чоботы снимет, переобуется и просушится.

— Ваше благородие! — обратился опять Петька к хорунжему. — Разрешите сказать несколько слов по поводу моей разведки и нашего положения!

— Говори, только короче, а то, если будем медлить, то нас канеловцы тоже в плен заберут и всем штаны снимают, — пошутил командир, глядя в сторону наступающего на сотню „противника”.

— Вблизи берега, по-за этим камышем, — докладывал Петька, — можно незаметно пробраться в тыл основных сил „противника”. Около камыша воды в речке мало, не выше колена. Саженой через двести речка круто пово-

рачивает влево, в тыл двигавшихся на нас „противников”. К речке с камышем прилегает большой сад, по которому незаметно можно пробраться всей нашей сотне и внезапно ударить в спину канеловцам. Мы все положим свои чоботы в каюк, который я сюда подогнал. Вы тоже сядете в него, а мы закатим штаны повыше колен, подберем полы черкесок и айда. По-над камышем никто не заметит! А каюк с вами тоже будем тащить тихонько, а то если хлюпать по воде „бабайками” (веслами), то можно выдать себя.

— Хорошо! Принимаю твой план. Приготовиться! — хорунжий послал связного во вторую сотню с запиской о предпринимаемом им маневре и уславливался об общей атаке.

Минуты через две-три 1-я Запорожская сотня казачат скрылась в камыше и гуськом пошла вброд вдоль берега, везя в лодке свои чоботы и командира. Петька шел впереди, за проводника.

Все вышло так, как он задумал.

Выйдя из камыша в сад Тарана Дмитрия, сотня обулась, выползла на брюхе на пригорок и очутилась сзади „неприятеля”, но последний ее не заметил.

Хорунжий Сомко поднял красный флажок, как сигнал к атаке, но команды пока не подавал.

И только тогда, когда вторая сотня староминцев, находившаяся на левом фланге, увидев условленный сигнал, поднялась во весь рост и с криками „ура” пошла в атаку, 1-я запорожская сотня тоже вскочила и грянула такое „ура” за спинами канеловцев, что „противник” от неожиданности растерялся и не знал, куда направить свой контрудар. В то же время 3-я сотня староминцев, оставленная у реки в резерве, тоже поддержала атаку. „Неприятель” оказался в кольце и через полчаса капитулировал.

Староминцы одержали полную победу над канеловцами.

После обеда, поданного из полевой кухни там же за речкой, казачат построили в четыре шеренги, и староминцев и канеловцев, одних против других.

В середину построения вошли — представитель Ей-

ского Отдела Василий Шавлач, атаман станицы Старо-Минской Дмитренко, атаман станицы Канеловской Мищенко, несколько офицеров и приступили к выдаче призов за лучшее выполнение боевых заданий.

По решению офицерского состава обеих сторон, первый приз получил ученик 3-го отделения Старо-Минского Двухклассного Училища Кияшко Петр Тарасович.

Петька краснея, но с гордым видом вышел из рядов своей сотни и получил из рук атамана Дмитренко маленький кинжал, уже не поддельный – деревянный, какие были у всех учеников, а настоящий и в серебряной оправе. Тут же он получил звание младшего урядника.

Конечно, „приказные” и „урядники” школьников были действительно только в школе, но все же это повышение имело большое моральное значение для учеников и являлось предметом гордости родителей.

Получили подарки еще человек двенадцать казачат, но не такие ценные. Не обидели и канеловцев, хотя они и проиграли „битву”.

Затем, атаман Дмитренко от имени станичного общества благодарил присутствовавших родителей за воспитание достойной „смены”. Он вынул из кармана объемистый мешочек и роздал всем участвовавшим в маневрах ученикам по копейке „на маковки”, а Петьке — целый пятак. То же самое сделал и атаман Мищенко для своих канеловцев.

Среди почетных стариков находился и Охрим Пантелеевич. Он не вытерпел, подошел к внуку и крепко расцеловал:

— Ич, басурман! Молодец! Будешь настоящим черноморским казаком! Утешил меня в старости. Дядя твой, Андрей, погиб не во время, я скоро умру, а кто же будет нам на смену? Я спокоен теперь, смена растет! Ты, Петька, и другие такие, как ты, замените нас!

Охрим Пантелеевич с нежностью оцупал висевший на поясе внука новый „настоящий” кинжал, потрепал ласково его кудри и гордо обвел всех глазами, как бы спрашивая: „Смотрите, вот это — мой внук, есть ли у вас такие?” и молча отошел к группе почетных стариков станицы.

Школьные маневры закончились хорошо. В четыре часа дня „сотни” староминцев стройными рядами и с песнями возвратились в свою станицу и на Христо-Рождественской площади были распущены по домам.

После маневров положение Петьки Кияшко в школе поднялось так высоко, что его и Дашу Костенко перестали дразнить „жиночка и чоловичек”, а то раньше — всю зиму проходу им не было.

Петька, как „урядник”, мог каждому дать „в морду”, и никто в школе не смел поднять на него руку. На шапке и на плечах черкески у него были знаки отличия этого „чина”, и все остальные ученики с завистью смотрели на него. Дружба между ним и Дашей Костенко не только не прекратилась, но крепла все больше и больше.

Хотя Петька попрежнему оставался „розбышакою”, но даже Тарас Охримович стал реже и легче стегать его ремнем, помня, что перед ним ведь „урядник”.

Даже его учитель, Григорий Кондратенко, стал с Петькой вежливей и однажды приглашал его в свой дом, в гости.

Когда на второй день после посещения учителя в доме Кияшко все сели обедать „до сырна” и стали брать руками и есть мясо из одной общей миски, Петька не умолчал и заметил:

— Вот в доме нашего учителя все сидят около стола, а не возле сырна; каждому тарелочка, вилочка, и он мне говорил, что так должны обедать все культурные люди. А почему мы берем пальцами, аж до локтя жир течет?

— Э, внучек, был я один раз на обеде у этих культурных, — сказал Охрим Пантелсевич. — И тарелки всем, и новые вилочки, и салфетки, а в тарелку положат такой кусочек, как для горобца. Так я и ушел оттуда полуголодный. Ото сшь, внучек, пока мы не очень „культурными” стали! Пусть из миски, без вилок, но досыта. А как станет много культурных, ученых, да слишком мудреных, то тарелочки и вилочки может будут каждому семьянину, но будет ли что лежать в этих тарелочках, вот тут я не ручаюсь...

Мало по малу, острота переживаний после смерти Андрея в семье Кияшко стала проходить, и хотя о погибшем попрежнему вспоминали часто, но до слез редко доходило.

Жизнь вошла в обычную будничную колею и потекла прежним руслом, как и многие годы раньше до этого, 1906 года...

ЧАСТЬ II.

ГЛАВА I.

„Тече річка невеличка
З вишневого саду,
Кличе козак дівчиноньку
Собі на пораду.

Порадь мене, дівчинонько,
Як рідная мати:
Ой чи мені женитися,
Ой чи тебе ждати...”

Прошло восемь лет после Русско-Японской войны. Хозяйство в станицах Кубанской области еще больше разрослось и процветало. Казаки - хлеборобы благоденствовали.

Благоденствовала и семья Охрима Пантелеевича Кияшко. О трагической смерти Андрея, погибшего в 1905 году в Тифлисе, почти забыли. Дети Тараса Охримовича стали уже почти взрослыми, и дружная семья работала, не покладая рук, и жила в полном достатке. Сам Охрим Пантелесвич заметно постарел, осунулся и в дела почти не вмешивался. Фактическим главой всего хозяйства и семьи стал Тарас...

Однажды Тарас Охримович, в серой из дачкового сукна черкеске, с кинжалом на кавказском поясе, неспеша возвращался из нового трехэтажного здания станичного правления к себе домой. Это был уже 56-летний казак, с черными опущенными вниз усами, но его широкоплечая фигура держалась еще прямо и бодро. Головы его уже коснулась седина, сросшиеся черные брови порыжели, на широком выпуклом лбу появились две глубокие морщины, но он и теперь одевался точно так, как и в молодые

годы, не признавая другой одежды, кроме своей казачьей формы, и в черной высокой барашковой шапке выглядел еще совсем бравым казаком.

Войдя в калитку своей усадьбы, Тарас Охримович, как и всегда, прежде чем войти в дом, с чувством гордого удовлетворения окинул взглядом свое хозяйство.

Да и было на что посмотреть.

Его „план” (приусадебная земля), площадью около десятины, лицевой стороной выходил на площадь, на которой стояла старая церковь; задняя же часть двора упиралась вплотную в протекавшую посреди станицы речушку Веселую, несколько выше усадьбы Кияшко вливавшуюся в реку Сосыку.

Посреди двора стоял деревянный амбар, крытый белым оцинкованным железом, с шестью непочатыми закромами зерна. В двух „базах” было полно всякого мелкого и крупного рогатого скота. Дом, с четырьмя комнатами, корридорм и железным навесом, стоял в правом углу передней части двора недалеко от забора. Сотни кур, уток, гусей и индюков бродило по всему подворью.

В доме Кияшко жило теперь девять душ семьи.

Семидесятипятилетний Охрим Пантелеевич, как было уже сказано, в хозяйственные дела теперь не вмешивался. Время от времени, опустив седую голову с казавшейся серой, закругленной бородой и полусогнув когда-то стройную фигуру, шел он к водяной мельнице на рыбную ловлю, хотя в его добыче никто не нуждался. Внук Никифор уже четвертый год находился на действительной службе и в число девяти не входил. Жена его Наталка с четырехлетним сыном Гришей жила в доме свекра, ожидая скорого уже возвращения своего „ненаглядного голуба”.

Из двух маленьких внучек выросли уже две краснощечие, как маковый цвет, девушки, целый день напевавшие по всему дому и двору монотонные любовные песенки.

Старшая, чернобровая Приська, была уже, как говорится, „дівка на порі”, но она года два тому назад „прогулялась” с одним парубком, и про это многие узнали. И вот, из „хороших” казаков ее никто не сватал, а за ино-

городнего замуж выходить нечего было и думать: никто бы в доме не согласился иметь зятем „городовика”. Так и „засиделась” она до 20 лет.

Младшую, шестнадцатилетнюю Гашку, родители еще не пускали на улицу „гулять”; еще слишком молода была.

Подходя к порогу дома, Тарас Охримович увидел своего среднего сына „непоседу” Петра, стоявшего около база с двумя парубками. Все трое громко чему-то смеялись. Тарас Охримович нахмурил брови: „Э, бисового собаки сын, довольно уже тебе байдыкувать! Хватит! Пора и хозяйством заняться, батька заменить”..

На пороге его встретила Ольга Ивановна, и он стал ей о чем-то говорить, показывая рукой на стоявших около база Петра и парубков. Жена закивала головою в знак согласия и пошла доить коров, а Тарас Охримович вошел в дом...

Ольга Ивановна была одних лет с мужем, но выглядела еще довольно молодо. Черные брови ровно выделялись на красивом лице и делали малозаметными легкие, недавно появившиеся морщины. Голубые глаза всегда светились неподдельной добротой. В темных волосах лишь чуть-чуть виднелись серебряные нити. Она была почти такого же роста, как муж. В течение первых десяти лет брака у нее не было детей, о чем супруги очень досадовали. Потом они пошли рождаться одно за другим: Никифор, умерший грудным младенцем Вася, затем Приска, Петр и Гашка. Думали, что на этом и кончилось, однако после нового восьмилетнего перерыва родился Федя, и только он уж, действительно, был последним.

**

В субботу вечером, перед „Дарною Недслей” -- Фоминым Воскресеньем, Петр собрался итти с парубками и дивчатами на ночное гулянье, обычно проводимое на берегу речки у водяной мельницы. Кто бы сейчас узнал в этом восемнадцатилетнем красивом парубке прежнего школяра-„розбышаку”, гонявшего когда-то у чужих заборов „скаженных” собак. Из под высокой смушковой шапки выбивался черный чуб. Прямой нос и черные брови, вместе с острым взглядом карих глаз, прида-

вали ему суровый вид, но когда в улыбке приоткрывались его небольшие губы, обнажая ровные белые зубы, лицо сразу становилось веселым и ласковым.

На нем были диагоналевые штаны, слегка напущенные на лакированные чоботы, белая обшитая кумачевой каймой сорочка. Талию обхватывал узкий кавказский пояс с позолоченными серебряными украшениями.

Петр уже выходил из дому, как в дверях боковой комнаты показался дядя Иван Охримович, до того долго сидевший за столом перед графином и закуской с его отцом и матерью. Он пальцем позвал его в зал. Петр недоумевая, зачем он там понадобился, вернулся.

— Присядь, козаче, к столу, да выпей с нами чарку горилки для храбрости, --- сказал ласково дядя. — Присядь, а то спешишь всегда убежать из дому и сторонисься нас, як жолтопузе гусеня, и не видишь, что сам уже стал настоящим гусаком, — и он подал племяннику рюмку водки.

— Спасибо, дядя, пейте сами на здоровье, а я, как захочу, то лучше со своими хлопцами выпью, — сказал Петр.

- - Не выкаблучивайся, як порося на бычовци, а бери да пей, когда дают старшие! --- более сурово сказал Иван Охримович, слегка привстав. — Может, хлопцев своих пора уже и забывать. Пей, а то за воротник вылью!

-- Ну, если уж вам так захотелось, а батя не будут ругать...

- - Пей, пей! - - сказал отец, - я тоже хочу, чтобы ты выпил с нами!

- - О, и вы, батя, хотите это? Тогда „за здоровье ваше, а в горло наше”, - - сказал Петр и сразу осушил чарку. Все засмеялись.

— Ич, бисового собаки сын, и прибаутки наши знает, — рассмеялась Ольга Ивановна.

— Вот и молодец, так бы и давно, --- похвалил Иван Охримович, наливая опять четыре рюмки. — А теперь выпьем все вместе, и знаешь из-за какой причины?

— Откуда мне знать, что у вас там за причины, -- сказал Петр.

— А вот: выпьем за то, чтобы ты найскорше нашел себе богатую, работающую и красивую жинку, бо уже, Петрусь, пора и честь знать.

— О, дядя! Ваши беспокойства лишние! Когда придет время, я сам, без всяких напоминаний, найду себе неплохую дивчину, — сказал Петр и почему-то покраснел.

— Время, время! — передразнил его дядя. — По-твоему, значит, еще не время? Ну это и понятно! Думаешь, я не знаю про какую ты „неплохую дивчину” бормочешь? Сам видел не раз, под чьим ты окном ночами околачиваешься! Как будто „тільки й світа, що в вікні, за вікном ще більше”.

— Знаешь шо, сынку, послушай-ка ты лучше свою мамусю, — сказала до сих пор молчавшая Ольга Ивановна. — Тебя мы не зря позвали сейчас к столу; и то, что дядя твой сказал, тоже не зря; про эту причину я и батько вчера долго балакалы. Тебе исполнилось восемнадцать лет, венчаться можно; значит, надо жениться. Хозяйство у нас доброе, самим справляться летом трудно, а зачем нанимать чужих, когда тебе все равно надо будет жениться — не теперь, так позже. И я буду спокойна душою, а то каждый вечер уходишь из дому и за полночь не приходишь назад. А я — думай: чи не розвалили там чужие парубки голову, чи не нашкодил чего там на улице? Довольно уже розбышакувать! Завтра покличем старостив, та й поезжай с Богом, сватай себе добрую жинку, а мне с батьком послушную молодицу.

Петр не знал: говорит ли мать серьезно или шутит, и смеясь ответил:

— Чего это вы, мама, вздумали мне сегодня про это говорить? Я совсем про это еще не думал, не гадал, и подходящей девки еще на примете не знаю.

— Бач, бисового собаки сын, бреше, шо не знает! Ну, а если в самом деле не знаешь, то мы знаем, — сказал Тарас Охримович и, покручивая левый ус, добавил: — У помощника атамана, Терентия Кислого, его дочку Оксану знаешь? Добрая будет молодица, и мы для сватанья ее и благословляем тебя.

Новость ошеломила Петра. С минуту он не знал, что ответить, потом тихо и несвязно возразил:

— Чего то вам так женитьба моя приспичила? Я еще и не нагулялся. Обождали хотя бы еще годок, ну хотя бы до осени...

— Ит, едят його мухи, осенью брать! Чтоб даром зию хлеб ела? — сказал его дядя. — Пусть сперва зарабатывает летом, а потом ест! Надо весною жениться!

— Ну, если из-за этого жениться, то я не знаю, что вам и ответить. И в прошлом году и все время вполне справлялись мы со всеми работами в степи, а в этом году летом и Никифор возвратится со службы... Ну, и Оксана мне совсем не нравится, я про нее и думать не хочу.

— Ну, ну! Не дурачься! — строго сказал Тарас Охримович. — Оксана девка хорошая, и ты сам потом увидишь, как она тебе после венчанья понравится. Что же, хочешь гулять до действительной службы, как твой покойный дядя Андрей? Или пока с чужого края станицы парубки голову провалят? Нет, по-твоему не будет! Мы с матерью ничего тебе плохого не желаем, сегодня подумай хорошенько, а завтра с Божьей помощью! Вот все, что мы хотели тебе сказать сегодня, и для этого и позвали к столу. Теперь иди туда, куда собрался, сегодня еще можешь!..

Петр вышел от них словно в угаре.

Тихая безлунная ночь опустилась на покрытую белым цветом фруктовых деревьев станицу. У „ялового” спуска воды, за греблей, около которой стояла мельница, под склонившимися над водой вербами молодежь проводила свой ночной досуг. Парубки под звуки двухрядной гармоники топали сапогами, выбивая гопака. Девчата, путаясь в широких и длинных „спидныхцах” (юбках), кружились попарно с парубками, а то и с подружкой. Другая группа парубков и девушек стояла поодаль под густо распутившейся вербой и пела: „Реве та стогне Дніпр широкий”, „Чорна хмара наступає”, „Тиче річка невеличка з вишневого саду”...

Веселье была в полном разгаре, когда туда пришел запоздавший Петр.

— А, Петрусь, здорово! Где же ты так забарился сегодня? Та чего ты такой смутный, невеселый? Чи не одлопуцькалы тебя по дороге „довгалівці”? — посыпались со всех сторон вопросы. Не отвечая ничего, Петр вошел в круг танцующих и стал.

— Дайте ему круг одному, расступитесь, дайте круг! - крикнул старший парубок улицы. - Петро без прерыва сейчас должен протанцевать „гопака”, „барыню” и „лезгинку”! Это ему в наказание за опоздание.

Петр некоторое время молча смотрел на парубков и дивчат, отпускавших по его адресу шутки. Гармонист „вдарил гопака”. Как бы очнувшись, Петр подпрыгнул вдруг еверх и пошел выделывать каблуками. Девушки одна за другой вскакивали в круг, кружились с Петром и устав убегали прочь. Он кончил все три танца и крикнул, не выходя из круга: „Давай еще „Шамиля”, давай „наурскую”! Гармонист сыграл и их, и только тогда Петр, сказав „довольно”, протолкался через восхищенную толпу молодежи и остановился отдохнуть. Он отер платком пот с лица; отошел немного в сторону; молча уселся около дивчат, щелкавших семячки; достал плисовый кисет, на котором были четко вышиты красным шелком буквы „Д. К.”, и закурил доморощенного табаку. Он искал в полутьме фигуру той, чьи инициалы украшали его кисет, с которой он проводил время почти каждый вечер и много лет считал „своею”, но она, вероятно, была в другой группе девушек. А тут, как на зло, раздался голос и смех Кислой Оксаны.

Оксана громко чему-то смеялась. Она вообще часто хохотала, когда нужно и ненужно, за что получила прозвище „Дурносмих”. Петр, слыша ее хохот, громко выругался к недоумению сидевших рядом девушек, сейчас же встал, подошел к другой группе молодежи, где и нашел свою „кохану дівчину”.

Незаметно летит время на таких веселых собраниях жизнерадостной молодежи. Не успели еще вдоволь на-

гуляться, „пожартувать”, как на колокольнях всех трех церквей пробило двенадцать раз. Значит, полночь; пора расходиться по домам...

Большинство парубков и дивчат уходили с улицы по своим домам не сразу, а шли „ночевать” на ранее уговоренные места...

Такой обычай издавна существовал у казачьей молодежи в станицах бывшего Черноморского войска. Никто не знал его происхождения, но никто в этом не находил ничего непристойного.

Парубки и девчата гуляют, например, где-нибудь ночью на улице или на „досвитках” (вечеринках). Танцуют, поют и в то же время, каждый и каждая, тайком приглядываются: с кем бы пойти сегодня „спать”, чтобы было „до души”. Перед окончанием гулянья или вечеринки, примерно около полуночи, начинают „пытаться”.

Если какому-либо парубку, допустим, Грицьку, приглянулась „Галя”, то он подзывал своего близкого товарища или просто знакомого парубка и тихонько, „на ушко”, говорил ему: „Пойди, прыпытай меня за Галю”. Его товарищ шел, брал Галю за руку, отводил немного в сторону и тихонько спрашивал: „Нехай за Грицька?” (Что означало: согласна ли мол она пойти сегодня с Грицьком?). Если Галя была согласна, то пожимала посреднику руку и отвечала: „Нехай”. Тогда этот „парламентер” возвращался к Грицьку, брал его правую ладонь и хлопал по ней своей ладонью, как на ярмарке цыган при покупке лошади; и все это молча. Грицько без слов понимал — Галя согласилась. Он смело подходил к ней, и они шли вместе „ночевать” туда, куда она поведет.

Но если Галя не соглашалась, тогда она выдергивала свою руку из руки Грицькового посредника и говорила: „Нет! Не хочу!” Обычно сейчас же следовал вопрос: „Почему?” Она отвечала, что она спешит домой, чтобы мамка не ругала, или что она уже „прыпытана”, то-есть занята. В таком случае приятель возвращался к Грицьку, брал его ладонь и ударял по ней ребром своей ладони, „давал руба” мизинцем вниз; это означало, что Галя „отрубала” Грицьку и сегодня с ним не пойдет.

В таком случае Грицько посылал своего товарища к другой дивчине, а иногда и к третьей, пока не находил такой, которая соглашалась пойти с ним.

После этого Грицько „прыпытывал” таким же образом своего товарища...

Перед тем, как разойтись с гулянья, к Петру подошел его однолесток и друг Николай Шевченко.

-- Петрусь! Пойди прыпытай меня за Оксану Кислого! — сказал он.

— О, нет! Лучше не говори! Ни за что не подойду к „Дурносмиху”. Посылай кого-нибудь другого из хлопцев! — и Петр даже плюнул с досады.

-- Почему? Чего ты ее так возненавидел? Она хорошенькая, смиренная. А что часто и громко регочется, так чтож, просто веселая девка. Притом кого же я пошлю, ведь тебя девки лучше других слушают!

-- Сказал: до Оксаны не подойду!

-- От, едят его мухи с комарами, ну тогда иди „пытай” за Петренкову Катю!

-- О, это дело другое!

Петр подошел к маленькой, в белой кофточке, девушке, отвел ее немного в сторону и, наклонившись к ее лицу, тихо спросил:

— Нехай за Мыколу Шевченка?

-- Нет! Я уже „прыпытана”, — ответила Катя, крутнув головою.

— Уже? За кого?

— За Павла Гордиенка. А впрочем, кому какое дело за кого? Прыпытана и баста!

Петр вернулся к Николаю, взял его ладонь и, „рубанув” ему, добавил:

-- Не везет тебе, Колька! Почему ты не заведешь постоянную девушку, как я, а то меняешь каждый раз, как цыган кобылу?

-- Тебе добре рассуждать, когда ты свою, наверное, от колыски заграбастал, а я вот никак не найду „до души” дивчину. С поганою самому не хочется время тратить, а с тою, с какою я хочу, — она не хочет. Итти же одному домой, тоже неохота.

- - Ну ладно, давай я пойду еще попробую прыпытать за Катю Приходько! Она, кажется, собирается одна уходить домой.

— От, едят его мухи с комарами, опять Катя! Ну, иди пытай!

От Приходьковой Катерины Петр скоро вернулся, взял ладонь Николая и плашмя ударил своей ладонью, добавив, что Катя сказала, „нехай”. После этого Николай уже совершенно свободно подшел к Катерине, как к своей дивчине, и смело сказал:

— Пошли! Где у тебя сегодня место?

- - А недалеко! У дяди Бондаря, тут же около водяной мельницы, - - ласково отвечала Катерина.

Они подошли к дому. Катерина постучала в окно.

— Кто там? — слышался голос хозяйки, жены Бондаря.

— Это я, „мамо!” Тетья, отчинить! — заглядывая в окно, сказала Катерина. („Мамой” девушки называли и тех хозяек, у которых тайком от родителей „ночевали” с парубками).

„Тетья-мама” знала, зачем пришла Катерина в такую позднюю пору; не спрашивая, открыла дверь, молча указала место на положенных на кирпичинки досках, покрытых рядом, и сама сейчас же улеглась на свою кровать.

Бездетные или молодые хозяева, недавно отделившиеся от батька, у которых в хозяйстве во многом чувствовался еще недостаток, или лодыри, не желавшие хорошо работать на своей земле и поэтому обедневшие, с удовольствием предоставляли у себя в доме место для свидания знакомым девушкам, если те среди ночи появлялись с парубком у них под окном. В вознаграждение за это девушки приносили потом хозяевам куски сала, колбасы, кур, муку и т. п. Зачастую, все это девушки воровали у своих родителей с их молчаливого согласия, ибо те знали по опыту своей собственной молодости цель такой кражи.

Следует добавить: если девушка шла на несколько часов „ночевать” с парубком, то это вовсе не значит, что

там позволялось „все”. Пусть наивный читатель на этот счет успокоится! Некоторые девушки „ночевали” с одним и тем же парубком по два и три года подряд, но не теряли своей девичьей чести. Отдавались они своему избраннику только после венчания в церкви. Во время таких „ночевок” молодежь не раздевалась, а прямо в сапогах сидели или ложились рядом на несколько часов, иногда по несколько пар в одной комнате, и, кроме поцелуев, ничего там не дозволялось.

Так парубки и дивчата ближе знакомились, узнавали характер и взгляды друг друга на будущую совместную жизнь, строили планы...

Уединяясь по „ночевкам”, каждый и каждая имели возможность своевременно присмотреться друг к другу и выбрать, путем сравнения, наиболее подходящего спутника жизни.

Вот почему в станицах Черноморского Войска у всех казаков семейная жизнь складывалась сразу же после брака прочно, и драмы из-за несходства характеров молодых супругов были очень редки...

Конечно, не обходилось у некоторых и без „греха”, но такие случаи были единицами среди тысяч. В станице Старо-Минской, в те времена, за пять лет только одна девушка родила ребенка до замужества...

Петру Кияшко не надо было „пытаться”. Он был уже давно „занучеванным” со своей многолетней подругой, и ни он, ни она ни с кем другим никогда не уединялись и не проводили время. Таким влюбленным парочкам „пытаться” было нечего, они обходились без этого...

Вскоре после того как в церкви прозвонило двенадцать, по всей станице воцарилась мертвая тишина. Лишь изредка, где-нибудь спросонку залает собака, перекликнутся полунощницей петухи, да соловьи беспрерывно заводили свои трели...

**
*

В глубине фруктового сада небогатого казака Костенко Трофима, под распутившей белые душистые цветы яблоней, на зеленой траве сидел, прислонившись спиной

к стволу дерева, парубок и ласково перебирал правой рукой длинные русые косы склонившейся к нему на грудь шестнадцатилетней Костенко Даши.

Апрельская ночь была прохладна, и они, закутавшись в большую „персидскую” шаль, тихо вели разговор:

— Так ты, значит, женишься на Оксане, а меня оставишь. И я потом одна буду приходить на это место, стоять под этой яблоней, вспоминать тебя и думать: сколько лет жила мечтой о тебе, любила и, вдруг...

— Да нет же, Дашенька, ясочка моя ненаглядная, ... нежно успокаивал ее Петр, — я же сказал только, что хотят женить, но это еще бабка надвое гадала. Я сделаю все, чтобы из этого ничего не вышло, и никогда не женюсь на другой. Только тебя я люблю. Не для того я много лет лелеял мечту о нашей будущей жизни, не для того я полюбил тебя еще в школе, чтобы теперь оставить и думать о другой. Нет и нет! Все будет по нашему! На Покров тебе стукнет семнадцать, до этого я сумею уговорить всех домашних в нашу пользу, и... А может, это было только тогда, в школе и после школы, а теперь ты уже и нелюбишь меня?

Даша, резко откинув шаль, нежно взглянула ему в лицо и сразу, рывком обхватив его шею, крепко впилась в его, уже не раз целованные губы.

— Сердце мое, жизнь моя, радость моя! — отрываясь и вновь целуя, только и шептала она.

И много, много без слов было сказано этими горячими девичьими поцелуями. Изредка на их головы падали белые лепестки с облитых, как молоком, цветом яблонь, верхушки которых слегка шевелил предрассветный ветерок, но и ветерок, как бы жалея блаженную пару, сразу же затихал, растворяясь в безднах ночного неба.

Это были те самые ученики 3-го отделения двухклассного училища, которых восемь лет тому назад учитель, одного за незнание урока, другую за подсказку, посадил рядом за одну парту. И с тех дней дружба их ничем не омрачалась, пока из детской привязанности не выросла в крепкую любовь...

На востоке, вдали за рекой, за верхушками высоких

тополей рощи, синеву неба у горизонта уже прорезывали белесоватые полосы. Стало розоветь. Где-то запели пестухи, к ним в переключку вступили другие, и вскоре все пернатое царство станицы многоголосыми выкриками на разные лады нарушило предрассветную тишину.

— Пора! — сказала очнувшись Даша. — Скоро мама встанут коров доить, а меня еще нет; вот будет нагоняй! Приходи завтра, вернее, это уже сегодня, как только стемнеет, и три раза стукнешь в то окно, где будет стоять палка. Наши утром собираются ехать к тете на хутор „Жовті Копані” и вернуться, наверное, аж завтра. Целый день и ночь я буду одна дома.

Петр неохотно поднялся и, не выпуская ее рук из своих, сказал:

— Неужели пора? Не понимаю, почему ночь создана такой короткой?

Он поцеловал ее еще раз и медленно пошел задним краем чужого „плана”, а затем межою, между низко-ветвистыми деревьями, домой.

Даша тихонько, чтобы не спугнуть спящих собак и никого не разбудить, подошла к двери дома. Убедившись, что в доме все спят, она „потайной” веревочкой открыла изнутри крючек на дверях и, „невидимкой” пробравшись к своей кровати, юркнула под одеяло и затихла. Спит, мол, давно уже дома! Так делалось часто. Но если любящая мать и знала о таких проделках дочери, то делала вид, что не замечает. Ведь и она в молодости так поступала...

ГЛАВА II.

Высоко поднявшееся солнце щедро посылало благодатные лучи на землю, покрытую весенним зеленым ковром, и ласково грело босоногую ораву детворы, колошившуюся на улице в одних рубашенках.

Охрим Пантелеевич уже пришел из церкви и принес в белом платочке кусочки „дара” (артоса), раздаваемого в Фомино Воскресенье в церкви. Он снял шапку, медлен-

но перекрестился на иконы, разломил и дал всем по кусочку артоса, после чего вошел в свою „комору” — крохотную спальню, чтобы переодеться. В спальне, растянувшись на деревянной лавке, крепко спал Петр и во сне чему-то улыбался.

— Ич, басурман, разоспался! А ну, внучек, вставай, вставай! Уже обедать пора! --- и Охрим Пантелеевич дернул его за руку.

Петр, протирая спитосонку глаза кулаком, вскочил и сел на лавке. Дед, дав ему крохотку артоса, сказал:

— На, съешь натошак святого дара!

— Да я, дедушка, еще и не умывался, немножко обождите!

Встав с лавки, он пошел было к двери, но вернулся, снова сел и задумался.

— Дедушка! — сказал он. — Интересный сон я сегодня видел, вот послушайте, может отгадаете?

— Я же тебе не Соломон, чтобы все отгадывать. Ну, да ладно, рассказывай! — и Охрим Пантелеевич стал раздеваться.

— Стою будто бы я в нашей горнице, — начал Петр, — и кидаю в печь те паляницы хлеба, которые мама вчера испекли, а около стен икон понаставлено до самого потолка. Потом батя стали натягивать на меня поповскую ризу, я сопротивляюсь, а они натягивают и разорвали на две части. Батько тогда рассердился и бросил разорванную ризу на пол, а сам вышел из хаты. Я подобрал ее и только хотел выбросить в окно, как вдруг вижу в окне висевшую в воздухе и смотревшую на меня большую змею. Испугавшись, я отскочил от окна и не знал, что делать? Потом выбежал из хаты, вскочил на нашего гнедого, и через сады и огороды, галопом помчался в степь.

Я уже стал подъезжать к нашему житю, смотрю, на дороге впереди меня лежит опять та же змея и не пускает меня дальше. Зло меня забрало. Я выхватил вашу турецкую шашку, почему-то оказавшуюся на мне, и только хотел полосонуть ее, а она вдруг как крикнет по-человечьи: „не буду, не буду!” и провалилась сквозь землю.

Сняв с коня уздечку и пустив его на зеленую „пашу“, я вошел в высокое жито и долго шел и шел, потом замес- тил вдаль... — та вы ее знаете... — Дашу Костенко.

Только я стал подходить к ней и уже протянул руку, чтобы обнять, как вдруг, откуда не возьмись, на меня на- пало три больших лохматых собаки. Я и палкой и сухими грудками земли отбивался от них, но они кидались на ме- ня все больше и больше, и вдруг я провалился в какую-то глубокую яму. Далеко, как в тумане, вырисовывался об- раз Даши, она смотрела в мою сторону, но на крики мои ничего не отвечала. Как я ни силился выбраться наверх, и не мог, а яма опускалась все ниже и ниже, и уже небо скрылось из моих глаз. Я уже потерял надежду выбратъ- ся, как вдруг вижу, наверху стоит один из недавно напа- давших на меня псов, держит в зубах длинную веревку и опускает ее конец мне на дно ямы. Едва веревка косну- лась моей руки, я крепко схватился за нее и в момент вы- скочил из ямы.

Опять я очутился среди высокого колосистого жита и только шагнул, как мне в объятия кинулась Даша. Мы шли по житу и играли, как дети; она срывала головки красного мака и кидала на меня. Потом мы крепко взя- лись за руки и долго шли и шли по необозримому полю, аж пока вы меня не разбудили.

Петр смолк и вопросительно смотрел на дедушку.
- - Ну как? Правда, интересный сон? Мне никогда та- кого не снилось.

Охрим Пантелесвич потер рукой по лысине и минуты две молчал.

- - Да, сон, действительно, мудреный. Какая-то пута- ница, - - сказал наконец он. — Тут, пожалуй, и сам Соло- мон не отгадает, а вот я... попробую. Правда, сновидения исполняются только против пятницы, но бывает, что и против воскресенья эти ангельские предсказания имеют силу. По-моему, сон страшный, но не так уж и плохой. Ес- ли во сне видишь печеный хлеб, печь, иконы — это печаль. Поповская риза и вообще попы, это большая скорбь. Змея, смотревшая на тебя, это ненавистная какая-нибудь

тебе девка, стоящая у тебя на дороге. Но ты не бойся, она „провалится”. Жито в колосьях означает хорошую жизнь, но на пути к этой жизни тебе встретятся большие неприятности и опасности. Собаки, это твои друзья, которые втолкнут тебя в какую-то страшную яму, но они же и вытащат тебя оттуда... Даша, с красным цветом полевого мака, это ее горячая любовь к тебе, и ты, в конце концов, женишься на своей дивчине и будете долго и счастливо жить...

Старик закашлялся и этим кончил свое „соломоновское” объяснение сна. Последний год, мокрый кашель у него стал проявляться все больше и чаще.

— О, дедушка! — радостно воскликнул Петр. — Если все так будет, как вы сейчас толковали, то — какие бы страхи мне не пришлось пережить — все ерунда, лишь бы Дашенька стала моею. И в первый же день, как она станет мне женою, из подаренных на свадьбе денег, в первую очередь, куплю вам ведро водки...

— Обедать, обедать идите! Что вы так долго там делаете, борщ уже стынет! — позвала их к столу Ольга Ивановна, приоткрывая дверь коморки.

Охрим Пантелеевич повесил на деревянный колышек в стене свою шапку, которую все время разговора с внуком держал в руках, вышел в зал, прошептал перед образами „Отче наш” и сейчас же сел до „сырна” (низкий круглый стол). Все старшие тоже сажались до сырна, кратко помолившись, несмотря на то, что утром они умывшись уже раз читали молитвы.

Петр освежил лицо холодной водой, оправил одежду и быстро пошел садиться к обеду, все время раздумывая о виденном сне и дедушкином его толковании.

— А ты умывался, Богу молился, что за ложку берешься? — строго спросил Тарас Охримович.

— Умывался, а помолиться забыл, — признался Петр и, сейчас же встав, подошел к иконам и начал креститься.

— От же бисового собаки сын, хуже татарина стал! Скоро будешь, наверное, на улице и ночевать. Всю ночь байдыкуешь, забудешь и креститься...

Помолившись, Петр молча стал уплетать большой де-

ревянной ложкой жирный борщ, совсем не отвечая и не обращая внимания на бормотанье отца...

После обеда, не успели еще все хорошенько и отдохнуть, как в дом явились одетые в парадную казачью форму Иван Охримович Кияшко и крестный отец Петра, пользовавшийся большим уважением у всех за рассудительность и безкорыстие, высокий рыжеусый казак, Савва Андреевич Корж.

Увидев их, Ольга Ивановна радостно сказала:

-- Ага! Вот уже и старосты пришли, --- и подала им стулья. --- Присаживайтесь, пожалуйста! Вы уже обедали?

— Спасибо, спасибо! Уже и пообедали и отдохнули, --- сказал, садясь, Иван Охримович. Савва Корж, поздоровавшись, тоже сел.

Услыхав от матери слово „старосты” и такое подчеркнуто-вежливое обращение с ними, Петр сразу догадался о цели их прихода, но все же вопросительно посмотрел на отца.

— Чего ты вылупил очи? Давно не бачив мэнэ, чи шо? --- благодушно пошутил Тарас Охримович. Потом более серьезно добавил: — слухай, сынку, батька и мать, они тебе плохого ничего не желают. Надо жениться, бо ты уже стал, как некрещенный татарин. Даже, садясь к обеду, забываешь Богу помолиться, ич до чего догулялся! Сейчас поедешь с старостами до Кислого, Оксана будет доброю жинкою.

Петр понимал, что упорством отца не сломишь и резко противоречить воле родителей нельзя. Надо как-то перехитрить батька.

Прикинувшись покорным ягненком, Петр спокойно спросил:

— Батя! Вы только одну Оксану наметили мне или еще кого?

— А тебе что, десяток надо? — вопросом ответил отец.

— Ну не десяток, но ведь я на примете ни одной девушки не имею.

— И не надо! Других я тоже не знаю и знать не хочу. Дальше Оксаны не поедешь!

— А если ее батько, Терентий Кислый, не выдаст за меня Оксану, или она сама не захочет замуж, тогда что будем делать?

— Этого не может быть! Сегодня я отводил коней на попас за речку, встречался там с Терентием Макаровичем и все обговорил. Дело уже почти сделано. Батько Оксаны не имеет ни малейшего намерения отказать. Я про это даже и думать не хочу.

— Ну, а если все-таки произойдет такой неожиданный отказ?

— Чего ты так про это допытываешься? — удивился отец. — Я же тебе сказал, что других не знаю. Я так уверен в твоём успешном сватовстве, что если бы, действительно, так случилось, как ты допытываешься, то не стал бы тебя неволить в отношении других дивчат. Будешь гулять хоть до „калмыцких заговен”. Я тебе обещаю это, но и ты должен подчиниться воле родителей и ехать сейчас туда, куда тебе велят, а в доме будущего тестя вести себя „чемно” и аккуратно, как сын порядочных казаков.

— Хорошо! Пусть будет по-вашему, — покорно ответил Петр и стал одеваться.

Пока Тарас Охримович запрягал коней в двухрессорную „линейку” (дрожки), Петр незаметно для отца отозвал Савву Коржа в сад за ряд черешен и, умоляюще глядя ему в лицо, пошел на полную откровенность:

— Савва Андреевич! Папаша! Вы для меня доводитеесь другим батьком и не захотите обидеть своего сына, хотя бы и не родного, а только крестного. Послушайте! Я не хочу жениться на Оксане Кислого, противна она мне. Я не хочу и думать о ней, и не только потому, что про нее ходят среди парубков нехорошие слухи, о которых мало кто знает. Батько же вчера и сегодня насаждает на меня, чтобы я во что бы то ни стало женился теперь же и только на Оксане. Что делать? Скажу вам правду: я этой весной вовсе не хочу жениться, потому что у меня есть уже любимая девушка, которую я много лет знаю, люблю ее давно и живу мечтою о ней. Но она еще слишком молода; надо обождать хотя бы до осени. Я вас прошу, провалите

это мое сватовство у Кислого и дайте мне возможность выйти „сухим из воды”.

Савка Корж внимательно выслушал крестника, вздохнул, потом усмехнулся и, похлопав его по плечу, сказал:

— Ты хорошо сделал, что мне обо всем рассказал. Я думал, что ты своей охотой едешь до Кислого. Не беспокойся, я постараюсь все обставить так, как тебе хочется, - и он шепотом быстро начал давать Петру наставления, что и как надо будет ему делать у Кислого.

Чтобы не вызвать подозрения, из саду они вышли с разных сторон и каждый в отдельности подошел к порогу дома. Иван Охримович уже садился на запряженную и застланную чистой „повстью” четырехместную линейку, придерживая рукой завернутую в белое вышитое полотенце паляницу хлеба и бутылку водки для „могарыча”. Если сватовство удастся, хлеб останется в доме родителей невесты, а водка там же будет распита.

Убедившись, что все уже собрались, Тарас Охримович открыл ворота и сказал: „С Богом!”

Стрелой вылетела из ворот пара гнедых рысаков, запряженных в новую двухрессорную линейку, и понеслась вдоль улицы, поднимая столбы пыли.

Они промчались мимо дома Трофима Костенко, где у раскрытого настежь окна сидела Даша. Подперев ладонями голову, она смотрела вниз на копошившихся под окном маленьких утят. Услыхав топот коней, она взглянула на улицу и... обмерла.

Достаточно было видеть парадно одетого Петра с „ципком” в руках и двух его родственников-„старост” с паляницей хлеба, чтобы сразу догадаться, куда и зачем они помчались. Заметавшись у окна, как подстреленная птица, она схватилась руками за голову и скрылась внутри дома.

Петр все это мельком видел, но не подал вида, так как со всех сторон, повиснув на досках заборов, на них смотрели с любопытством десятки женщин и детворы.

„Что сейчас Даша?” - с тревогой думал он. „Только прошедшей ночью я клялся ей, что не женюсь ни на ком, кроме как на ней, а вот вдруг она видела, что я поехал

свататься к другой! Ничего, родная, еще этой ночью я тебя успокою и буду целовать...”

Ободрив себя этим, Петр с ненавистью смотрел вперед, на приближавшийся дом Кислого...

— Оксано, Оксано! Смотри, старосты к тебе приехали! --- бросив лускаты семечки, закричала Катерина Приходько, пришедшая поболтать к подруге.

Оксана выглянула в окно и, увидев уже всходивших на порог „старостів” с паляницею в руках, а рядом с ними Петра с ципком, от неожиданности совершенно растерялась. Потом убежала в спальню и закрыла дверь на крючек.

-- Ну, Терентий Макарович, принимайте купцов! — снимая шапку и здороваясь, повел речь Иван Охримович. -- Прослышали мы сторонкой, что у вас в продаже товар хороший есть, вот и заехали к вам приторговаться.

- Хотя у нас ничего не продается, но милости прошу: присаживайтесь, не стесняйтесь! - и Терентий Кислый пододвинул всем стулья, сам же стал посреди комнаты, выставив вперед свой толстый живот.

— Спасибо, спасибо! А где же молодая кралечка, хочем бачить! — сказал, садясь, Иван Охримович. Савва Корж, сняв шапку, тоже сел, но Петр, не снимая шапки, стал у порога.

-- Дочко! Где ты там запропастилась? -- подойдя к двери спальни, позвал Терентий Макарович. — Иди сюда, о тебе, верно, разговор будет!

Оксана вышла из спальни, красная до самых ушей, не подавая руки, поклонилась гостям и молча стала у печи.

Петр в это время, упорно не снимая шапки, подошел на „покуть” к иконам, вынул кисет, свернул большую цыгарку и закурил, пуская клубы дыма под потолок. Скоро весь киот был, как в тумане. Кислый недовольно поморщился и посмотрел на старост, ведь он совсем не курил и еще никогда не видел, чтобы парубки в комнате, в присутствии старших, так бы дымили. Напрасно Иван Охримович делал знаки Петру, но тот не обращал на него внимания, стоял в шапке и курил.

Через несколько минут Петр сделал знак Оксане, и они вдвоем вышли из дома и направились в большой фруктовый сад Кислого. Оба старосты, оставшись в комнате, продолжали беседовать с помощником атамана, уговаривая его выдать Оксану за их парубка.

Когда Иван Охримович, уставши болтать обычную в этих случаях пустословицу, вышел в коридор покурить, Кислый, подойдя поближе, тихонько спросил у Коржа:

— Савва Андреевич! Я вас всегда считал самым серьезным и честным человеком, да и все вас так считают. Я верю любому вашему слову, будьте добры, скажите мне откровенно, что это за парубок ваш Петр Кияшко, годится он мне в зятя? Что-то не похож он на порядочного казака, ведет себя слишком непристойно, ведь у меня в доме еще никто никогда не чадил дымом, а этот...

— Ох, Терентий Макарович, — вздохнул Савва Корж. — Как доброму человеку, от чистого сердца скажу вам сущую правду, хотя в моем положении старосты и не годится так говорить. Но пусть это останется между нами. Скажу по секрету: парубок — один срам! Розбышака, пьяница и картежник такой, каких и среди городо-виков нет! Он недавно пришел утром домой в одних подштанниках, все пропил, проиграл. А как он издевается над женою своего старшего брата, Наталкою, Боже мой! Петро и пятки не стоит вашей дочки, а уже приготовил плеть с железным наконечником и говорил, что этой плетью будет ежедневно парить Оксану по 25 ударов. Уверяю вас, он за месяц ее в гроб загонит. Когда мы сегодня к вам ехали, он сказал: „Едем к толстопузому чорту, его молодую ведьму седлать!“ Вот теперь сами посудите, какой у вас будет зять. Лучше подальше от такого зятя. Я, конечно, по положению старосты, не должен бы вам это говорить, но я люблю правду. Ну и вы понимаете, что отказаться от просьбы Тараса Охримовича я не мог...

— Вот спасибо, спасибо, Савва Андреевич! . . . пожал руку своему собеседнику Кислый. — Большое спасибо, век не забуду вашего правдивого слова, а я, право, чуть не влип в такую кутерьму. Я и сам вижу, что это не зять

мне: вошел свататься, не поздоровался, стоит в шапке, да еще под святыми иконами начал чертовским зельем дымить! Ну где это видано такое кощунство?..

В это время, прохаживаясь в садочку с молчавшим еще Петром и ласково заглядывая ему в лицо, Оксана говорила:

— Ты мне давно нравишься, Петенька, но я думала, что кроме Даши, ха-ха-ха, ты ни о ком и не думаешь. Как я рада, что буду твоею женой. Гы-гы-гы! Я и не замечала, что ты меня, ха-ха-ха, гы-гы-гы, любишь...

— Послушай, Дурносмих-Оксано, — совсем другим тоном перебил ее Петр, — я тебя никогда не любил и любить не собираюсь. И ты права: я, кроме Даши Костенко, ни о ком больше не думаю и думать не буду, а тебя ненавижу.

Оксана остановилась, с изумлением посмотрела на Петра и не понимала: смеется он или правду говорит?

— Чего ты вытаращила очи? Не понимаешь? Так я добавлю: если ты сейчас в доме при всех не откажешься от меня, то сегодня же вечером искарēju тебя, не приведи Бог как! Понимаешь?

— Так чего же ты тогда приехал ко мне? — взволнованным голосом спросила Оксана, все еще ничего не понимая.

— А про это тебе знать необязательно, чего я приехал. Я, может, не ехал, а меня привезли. И жениться я теперь совсем не собираюсь, тем более на тебе.

Видя, что его слова еще мало действуют на Оксану, Петр пустил в ход совсем неуместные ругательства:

— Ты должна понять, падлюка, что я тебя ненавижу, как старую ведьму; плюю на твою свиную харю, на твоего пузатого батька, на все ваше бесовское гнездо и, повторяю, если ты сейчас же при своем батьке не откажешься мне, то первой же ночью я тебя искалечу, я тебя раздеру, как... — и он добавил совсем оскорбительное словечко.

— Ах, вот оно что! Так ты, значит, не шутишь? — рассердилась от такой обиды Оксана. — Что же я тебе такого плохого сделала, что ты вздумал играть со мной, как с кошкой? За что меня так оскорбляешь? Что я тебя на

веревке сюда притащила сегодня, и какого чорта ты приперся со старостами? Что я тебе, чортова сатана, обязана чем? Борозну тебе переорала? Что тебе нужно от меня и от нашего дома?!

Понимая сам грубость своего, ничем не вызванного со стороны Оксаны, поведения, Петр, стараясь тем не менее достигнуть своей цели, хотя уже легче и не так грубо, продолжал угрожать:

— Ничего мне не нужно, ни от тебя, ни от вашего дома. А почему, да зачем приехал — это не твое дело, но то, что сказал сейчас, запомни: я слова на ветер не кидаю, сказал -- сделаю!

Оксана вспылила еще больше:

- Уходи к чорту от меня! Сам, чортова сатана, приперся, еще и грозишь? Шо я тебя звала? Нужен ты мне, как пятое колесо до воза, найдутся и без тебя! Геть! — и она, дрожа от злости и незаслуженной обиды, оттолкнула его от себя.

— Ну вот и добре, так будет лучше, — довольный своей выходкой, сказал Петр. — Ругаться нам здорово и драться, конечно, не стоит, а лучше останемся такими, какими были до сего дня. Хорошо?..

В этот момент их позвали в дом, и они, не глядя друг другу в глаза, молча вошли в комнату.

Терентий Кислый с нахмуренными бровями сидел на деревянной лавке и решительным тоном отклонил предложение:

— Так вот что, люди добрые: берите свою паляницу назад и не обессудьте за отказ! Свою дочку, Оксану, замуж я не выдам сейчас по многим причинам и больше об этом и говорить не хочу.

— Да я и не выйду за Петра. На чорта он мне нужен? — проговорила Оксана. — Таких, как Петро, до Москвы р... не переставишь! ха-ха-ха! Ненавижу этого грубияна, пусть проваливает на все четыре стороны от нашего дому!

— Вот и добре, дочко! Вижу, ты у меня настоящая умница! — самодовольно поддержал ее отец, хотя мало понимал причину такой резкой отповеди Оксаны.

Петр едва сдерживался, чтобы не рассмеяться от такого „комплимента” по своему адресу, и был доволен гневными словами девушки. Вспыхнувший румянец Оксаны, живой взгляд голубых глаз еще раз подтвердили всем, что она очень недурна собой, и грубость Петра по отношению к ней была более чем неуместна. Корж недовольно морщился, чтобы скрыть улыбку. Один Иван Охримович по-настоящему обозлился и серьезно был озабочен. Он с ненавистью посмотрел на всех и, выходя из комнаты, даже „прощайте” не сказал.

Дорогой Корж попросил Ивана Охримовича, чтобы он ничего не говорил брату о поведении Петра в доме Кислого.

— Пожалеть надо парубка, — сказал он, — а бутылку взятую для могоарыча, мы все равно сегодня же разопьем у кума...

— Ну что, наверное, для приличия отказали, чтобы еще раз приехали? — спросил Тарас Охримович, открывая ворота возвратившимся от Кислого старостам и видя в их руках обратно привезенную паляницу хлеба.

— Куда там, кум! — безнадежно махнул рукою Корж. — Таких насмешек и оскорблений со стороны Кислого и его дочки мы и не ожидали. Вы просто нас в насмешку послали туда. Если бы вы знали, как оскорбительно отзывались и о Петьке и о вас, в том доме...

Савка Корж не только рассказал все, что действительно говорили помощник атамана и его дочь, но и от себя еще порядочно прибавил. Петр стоял рядом с опущенной головой, стараясь делать грустное лицо.

— Вот так штука, вот так чудасия? Не думал, не гадал! Неужели я ошибся? — и Тарас Охримович вопросительно посмотрел на всех, потом обратился раздраженно к Петру:

— Ну, а ты, что же стоишь, как турецкий святой, и молчишь?

— А что же я скажу, вы же сами слышите, как к нам там отнеслись, — смиренно ответил Петр.

-- Значит и я ошибся. Ну, чтож, лошадь на четырех

ногах, да спотыкается, а я на двух. Раз я так промахнулся, выбирай теперь сам! Кого будешь еще сватать?

— Я никого сейчас не знаю. Если бы вы за несколько месяцев предупредили меня о женитьбе, то я бы подыскал, наметил какую дивчину, а так „трах да барах”, как вы сделали, то вот и получился пшик. Позже, дайте мне срок, я, конечно, найду.

— Ич, бисового собаки сын, хочешь по-своему? Ну, чтож, я от своих слов не отказываюсь, раз ничего не вышло с Оксаной, не буду больше тебя неволить. Гуляй, пока сам не скажешь, хоть до другого Ноевого потопа...

Петр торжествовал победу. Лучшего исхода для этого сватовства он и желать не мог.

**
*

Едва стемнело, а уже по улицам полились звонкие девичьи песни. Только Даша Костенко сидела дома и через окно, склонив голову на подоконник, с мокрыми от слез щеками, грустно смотрела на улицу. В углу слабо мигала лампада. Лампы она не хотела зажигать. Так лучше.

Весь вечер она не выходила на улицу к подругам не потому, конечно, что родители еще не вернулись с хутора. Она мучительно переживала Петров „обман”, как она все это время думала. Слишком тяжело ей было даже думать, что он будет принадлежать другой. Восемь лет тому назад, еще в школе, ее детское сердечко почувствовало какую-то особенную привязанность к однокласснику Петьке.

Юная привязанность в течение лет росла и ширилась, вылившись в горячую обоюдную любовь. И вдруг... все это так внезапно должно оборваться! Почему? Кому помешало их счастье? Нет, нет! Страшно даже думать об этом.

Она сидела и тихо всхлипывала. Вдруг в ее груди вскипела такая злоба на Петра, что ей захотелось хоть чемнибудь отомстить ему. Схватив висевшее на шее „наместо”, которое подарил ей Петр, она бросила его на пол и стала топтать ногами рассыпанные по полу бусы.

В это время возле окон снаружи слышались чьи-то торопливые шаги. Она инстинктивно отскочила в сторону и стала в углу. Шаги повторились еще несколько раз с остановкой около всех окон дома, затем в одном из них раздался легкий стук. Даша не отвечала и стояла на месте с затаенным дыханием. Стук повторился. Она подбежала к окну и, не спрашивая: кто стучит, распахнула его настежь. Взглянув, она слабо вскрикнула и, пошатнувшись, ухватилась за подоконник.

— Что с тобою, моя пташечка? Чего ты такая бледная и растерянная? Не узнаешь, что ли? Я ходил вокруг вашей хаты, искал палку, которую, ты вчера говорила, поставишь возле окна, и не нашел. Чего ты так смотришь на меня, Дашурочка? — и Петр протянул руки, чтобы обнять ее.

— Геть! Отойди прочь! — отскочив от окна, почти крикнула девушка. — Зашел мимоходом, по дороге к дому Кислого, чтобы поиздеваться надо мной, поиграть как кошка с мышкой, а потом с Оксаной будете хохотать с меня! Так ведь? Зачем ты столько лет терзал мое сердце, зачем нам надо было кохаться, лучше бы я тебя никогда не знала и не встречала! — и слезы полились из ее глаз.

— Дорогая моя, пташечка ненаглядная! Слушай, моя роднуля: никуда я дальше не иду и не собирался итти и пришел я только к тебе, как и всегда. А что я ездил сегодня до Кислого, то такова была воля родителей, а кончилось дело вот как...

И Петр подробно и со смехом рассказал, как было провалено его сватовство. Даша перестала плакать и серьезно смотрела ему в глаза:

— Ну, а если бы твоя затея не удалась, и Оксана и ее батько дали бы свое согласие, тогда бы что?

— Тогда придумал бы что-нибудь другое. Или облил бы дегтем ворота Кислому, и батько мой ни за что не захотел бы брать невестку, у которой были черные ворота, ибо такое клеймо, известно, каким девчатам дается. А еще лучше, просто по-черкесски, взял бы тебя украл, поехали бы тайно в Ивановку, тут недалеко за рекой Ея. Там, говорят, поп венчает всех без разбора и берет всего один

рубль, а после венца, мы уже муж и жена. Явились бы с поклоном к своим родителям и признались во всем. Я верю, наши батьки не такие уж безчувственные, поняли бы нас, простили и приняли бы нас по-хорошему. А нет, пошли бы в работники, куда угодно, только были бы вместе. Знаешь, как говорят: „хоч на комыші, як бы до душі“, „хліб із водою, абы сердце с тобою...“ А впрочем, ничего этого ведь нам сейчас не нужно.

Даша высунулась из окна с просветлевшим лицом.

— И знаешь что, моя любушечка, — добавил Петр, — батько сдержал свое слово и сказал: „раз со сватовством у Кислого ничего не получилось, гуляй, пока сам схочешь жениться, неволить не буду!“ И вот вышло так, как я тебе вчера говорил: я есть и буду только с тобою; мы навеки неразлучны.

— Значит, Петюнечка — мой и не будет ничьим никогда? Правда? А я думала, что уже все пропало. Ну теперь... целуй!

Петр знал, что она сейчас одна дома, поэтому, впившись в ее губы, стал нащупывать ногами „спризьбу“ (фундамент с выступами), и не прерывая поцелуя, так и влез через низенькое окно в комнату. Они долго потом смеялись над таким „цирковым номером“...

ГЛАВА III.

„Випем, випем тут,
На тім світі не дадуть.
Як до царства дійдемо,
По чотири випемо...“

После Фомина Воскресенья, в понедельник, на трех кладбищах станицы совершались общие поминки усопших.

В некоторых местах России поминовения — Радоница — происходили во вторник после „Фоминой Пасхи“, но в большинстве кубанских станиц общие панихиды и поминки совершались на кладбищах в понедельник...

Едва солнечные лучи осушили ночной налет росы на листьях деревьев, как на большое старое кладбище, расположенное рядом с базарной площадью, двинулась бесконечная вереница людей всех возрастов.

Одетые в новенькие разноцветные одежды дети дошкольного и школьного возраста шли вместе с родителями, весело озираясь вокруг и помогая матери нести узелки с крашеными яйцами. Но как только они входили в ворота кладбища, или, как они называли, „на гробки”, — сейчас же убегали от старших, присоединялись к другим незнакомым детям и, порхая везде как мотыльки, бегали и резвились среди украшенных цветами могил, кустов бузины и шумевших листвою деревьев.

Парубки в блестящих лакированных чоботах, с напуском на голенища широких „прунелевых” или „диога-налевых” штанов, в белоснежных или „кремового” цвета расшитых узорами рубашках, в высоких, до четырех с половиною вершков, черных или сывых смушковых шапках шли гурьбой вместе с девушками.

Цветные „гетры”*) последних, едва виднелись из под длинных и не в меру широких „спидниц”. Напущенные на спидницы белые, вышитые шелком кофточка и пестревшие на головах разноцветные платки и косынки издали казались движущимся потоком живых цветов. Красные, синие или голубые ленты, вплетенные в длинные косы, дополняли модный наряд девушек-казачек.

Много парубков, придя на кладбище и навестив могилы своих близких, сейчас же выходили назад на площадь и, пока еще не пришли священнослужители, занимались совсем не тем, ради чего сегодня собирался туда народ. Парубки, а иногда и нестарые еще женатые казаки, усевшись где-нибудь под деревьями на зеленую травку, потихоньку тянули „сквозь зубы” горилку, продаваемую тут же рядом на базаре.

Только замужние женщины и вообще люди пожилого возраста оставались все время у деревянных и железных крестов, с написанными на них знакомыми и дорогими

*) „Гетрами” назывались модные тогда у девушек-казачек туфли.

именами. На аккуратно убранных могилах лежали крашенные яйца и всякие поминальные закуски в мисках.

Правда, в тот момент, когда на кладбище приходило духовенство и начинало служить у расставленных всюду столиков панихиды, все без исключения вставали, входили в ворота и с обнаженными головами благоговейно слушали у могил своих родственников печальные церковные напевы.

Пока еще рано и поминовений со священником не было, некоторые парубки вели себя развязно.

Петр Кияшко с компанией своих приятелей сидел на траве у „гамазинов”, в которых хранились неприкосновенные запасы хлебного зерна станичного общества, недалеко от кладбища; они тянули потихонечку горилку, поминая одновременно и живых и мертвых. К ним вскоре подошел и Иван Охримович с миской сладкого лапшевника, который он нес на кладбище. Для любителя выпить соблазн был большой, и он, чтобы найти причину присесть к знакомой компании парубков, наклонившись к уху Петра, зашептал:

— А я вчера ничего не сказал твоему батьку, как ты неприлично вел себя в доме Кислого, а то была бы тебе „кудельця”.

— Вот и добре сделали, дядя, — сказал Петр, — я видел, что вы хотя и заодно с моим батьком, а все-таки меня пожалели. И за это вам вот полкружки горилки, присаживайтесь, не стесняйтесь! Сего зелья у нас хватит. Пока на гробках еще ничего не начиналось, можно пополоскать горло.

Иван Охримович, поморщившись, присел и взял в руки кружку.

— Ну, Царство Небесное всем помершим, а нам пошли Господи всего наилучшего! За ваше здоровье, хлопцы! — и он сразу осушил кружку.

— Э, без закуски плохо идет, — сказал он и начал развязывать платок на миске с лапшевником. Потом, вынув карманный ножик, порезал его на ровные квадратики и предложил всем брать и закусывать. Хотя такая закуска и не подходила для водки, никто не отказался. Выпивая

поочередно из одной кружки, парубки брали пальцами кусочки крутого, изготовленного на яйцах и застывшего лапшевника и закусывали.

Один рябоватый парубок в бараньей шапке набекрень налил еще полкружки Ивану Охримовичу.

-- Пейте, дядько Иван! — сказал он. — Эту попьем, еще найдем, та пить до дна, шоб была думка одна!

Два уже заметно охмелевшие парубка запели:

„Випем, випем тут,
На тім світі не дадуть,
А до царства дійдемо,
По чотири випемо..”

В этот момент с базарной площади к ним подбежал запыхавшийся Николай Шевченко. Иван Охримович хотел в шутку ему еще издали что-то крикнуть, но так перхнулся куском лапшевника, что насилу отдышался.

-- А шоб тобі на тім світі чорты й чарки горілки не дали! — сердито проговорил он, откашлявшись. — Чего прешь, як несамовитий?

— Хлопцы! Едят его мухи с комарами, чего ж вы тут сидите, как святые? — набросился Шевченко на приятелей. -- Возле лавки Бородина наших хлопцев Гордиенка Павла и Хатун Грыцька иногородние избили до полусмерти и, собравшись толпой со всего базара, колотят наших казаков, а вы тут расселись, как у тещи в гостях, и в ус не дуετε!

— Как! Наших городовики бьют?! — как ужаленный подпрыгнул Петр.

— Вот именно, бьют, да еще как! Потому, что их много там, а наши все или на кладбищах или под гамазинами сидят с горилкой! Что же, будете ждать пока сюда прибегут?

Все, как по сигналу, вскочили и помчались к базару, крича всем встречавшимся по дороге: „Наших бьют, казаков городовики бьют!” Другие парубки присоединились к бежавшей группе и, не останавливаясь, „вооружались” по пути, кто чем мог: ломали доски от заборов, вы-

ворачивали большие деревянные колья, хватали в руки валявшиеся по дороге камни.

Около бакалейно-гастрономического магазина Ивченко и большой лавки Аркадия Бородина, схватка двух враждебных групп, разгоревшаяся неизвестно по какой причине, перешла в настоящее побоище.

Петр, подбежав к дравшимся и долго не раздумывая, со всего размаху навернул куском доски первого попавшегося под руку иногороднего, Михаила Гноевого. Тот не устоял и, взмахнув руками, упал прямо на пыльную дорогу. Подоспевший Шевченко хотел было еще раз ударить его деревянным колом, но Петр схватил его за руку:

— Лежачего не бьют, лупцуй других!

Драка становилась ожесточенней. В ход пошли железные прутья, вывороченные у заборов дрючья, а кто не находил никакого „оружия“, действовали кулаками. Даже кое-кто из взрослых казаков, приехавших с хуторов на базар и на поминки родственников, хватали оглобли от своих „бидарок“ (двуколок) и тоже присоединялись к дерущимся.

Казаков было больше, да и дрались они смелее, — поэтому иногородние вскоре были „побеждены“.

На поле битвы лежала часть „побежденных“, избитых до потери сознания, с окровавленными физиономиями, изорванными и запыленными рубашками. Другие — оглушенные сидели, прислонившись к стенам магазинов, а большинство разбежалось в разные стороны.

Но подвыпившим молодым казакам одержанной „победы“ показалось мало. Они до того разгорячились, что принялись колотить уже и престарелых иногородних, приговаривая: „Будете знать, падлюки, как поднимать свое свинное рыло против казаков“!

Несколько „забияк“ вломились в лавку Бородина с криками:

— А это тоже городовицкая морда, бей его!

В окна магазина полетели камни, и прилавок затрепал от наседавших на него парубков.

— Братцы, голубчики! Господа казаки, помилуйте! Я — нейтральный. Вот вам ящик горилки, только пощадите,

я нейтральный! — лепетал побледневший Бородин и тут же поставил ящик водки на прилавок.

Неизвестно до чего дошел бы пьяный разгул „победителей”, если бы в тот момент на базаре не появились вооруженные винтовками „одинарные” казаки, посланные атаманом восстановить порядок.*)

Несколько холостых выстрелов сразу умиротворили этот „сословный конфликт” и прекратили пьяный дебош в магазине Бородина. Не только выстрелы, но и уважение к старшим казакам заставило всех драчунов сразу же разбежаться в разные стороны и принять мирный вид.

У многих участников драки были изорваны рубашки, под глазами виднелись синяки, но никто этим особенно не огорчился.

Такие драки между казаками и иногородними были частым явлением в станице. Иногда парубки дрались без всякой причины не только с иногородними, но и с парубками-казаками своей же станицы, жившими на противоположном конце станицы или на другой даже улице.

Бывало, идут в воскресенье парубки из одной и той же церкви, но с разных улиц, закуривают, любезно разговаривают, потом кто-нибудь из них предлагает:

— Хлопцы! Сегодня будем биться?

— А почему же нет? — отвечают другие. — Как пообедает, выходите в такое-то место.

После обеда все выходят в условленное место, здороваются, шутят, потом разделяются на две группы и начинают камнями, „кйкками” (толстыми палками с головешкой на конце), железными прутьями и т. п. дубасить друг друга. Разбить в кровь голову, перебить руку или выбить глаз считалось обычным явлением в таких „дружественных” драках, но были также и случаи убийства. И такие дикие явления не только не осуждались старшими каза-

*) Отбывшие действительную службу казаки поочередно несли караульную службу, „тыжневку” или „одынарну”, в правлении станицы; примерно, в год одну неделю. В обязанность их входило не только охранять кассу общества и дежурить у пожарных повозок, но и устранять всякие беспорядки, возникавшие иногда в праздники в общественных местах.

ками, но, наоборот, поощрялись, как необходимая закалка будущих воинов.

Атаманом станицы и высшим начальством такие драки официально запрещались, а если случались при этом побои со смертным исходом, то зачинщики наказывались, но виновных всегда оказывалось трудно найти: дралась вся улица!...

**
*

Но вот часов в десять утра на кладбище появились оба священника Христо-Рождественской церкви, о. Иоанн Кувиченский и о. Менандрий Исконицкий, с псаломщиками, диаконом и несколькими певчими-любителями. Церковный хор в полном составе не участвовал в кладбищенских кратких панихидах. Священники со своим причтом разделились на две группы и стали обходить поставленные у могил столики и совершать краткие панихиды, перечитывая лежавшие на столиках грамматики -- „помянники”, с именами, записанными под рубрикой: „О упокой”.

Раздавшееся на кладбище пение „Христос Воскресе” сразу охладило пыл еще не остывших от драки парубков. Все, и с базара и с других мест, повалили на кладбище. Когда же пели „вечная память”, то у рядом стоявших парубков, иногородних и казаков, не было и следа только что бушевавшей вражды. Все сосредоточенно, с молитвенным благоговением, слушали поминальные песнопения.

После панихид, некоторые женщины голосили, упав на могилы недавно умерших своих близких, другие плакали втихомолку. Потом, садились прямо на траву или на постланную ряднушку и ели принесенные для помянок сладкие яства, запивая хлебным квасом или сладким вином. К поминальному столу приглашали не только знакомых, но и случайно проходивших мимо людей и даже нищих, которых к этому времени у кладбища собиралось особенно много. Нищие, иногда и просто бедные жители из иногородних, в этот день набирали по несколько мелков разных сдобных булочек, пампушек, пирогов, яиц и прочего. Каждая семья, идя в этот день на кладбище, обя-

зательно несла узелок чего-нибудь съедобного для раздачи нищим, сидевшим у ворот.

Случалось, что нищие и просто „побирушки” из новых поселенцев на Кубани в этот день набирали столько продуктов, что нанимали подводку, чтобы довести домой.

После обеда, примерно в два-три часа пополудни, кладбище начинало пустеть. Многие расходились по домам, но было немало и таких парубков и молодых казаков, которые шли в базарный трактир, чтобы попойкой закончить поминки.

Так и в этот, начавшийся жестокой потасовкой, праздник за одним и тем же столом сидели и иногородние и казаки, пили „за здравие” и „за упокой” и тянули общим хором:

„Гей нуге, хлопці, славні молодці,
Чого смутні не веселі?
Хіба в шинкарки мало горілки,
Пива і меду не стало?
Повнії чари всім наливайте,
Щоб через вінця лилося,
Щоб наша доля нас не цуралась,
Щоб краще в світі жилося...”

**
*

Радоница или „Проводы”, как говорили в станице, были и последним днем Пасхальных святок. С этого дня хлеборобы, один за другим, оставляли станицу и выезжали в степь, на свои паевые надель. На свою „царыну” выезжала иногда вся семья, и только по воскресеньям кто-нибудь навевывался домой в станицу, да и то не всегда.

В этот последний праздничный вечер родители не пренятствовали молодежи итти „гулять” пораньше. Ведь такие „гулянки” прекращались в станице до самого Покрова.

Едва солнце опустилось за высокий зеленевший бугор, как парубки и девчата валом повалили к берегу речки, к широким склонившимся до самой воды вербам, туда, где всегда собиралась молодежь на свои гулянья.

Шли веселой гурьбою, шутили, лускали семечки и неспеша спускались с насыпи гребли, перегораживающей речушку Веселую.

Впереди шумной оравы шел гимназист Виктор Сергиенко. Он был сыном учителя из соседней станицы Канеловской, но весь учебный год жил в Старо-Минской, так как здесь открылась гимназия. Он всегда ходил гулять с простой казачьей молодежью, но девчата его недолюбливали за хвастовство и городские манеры.

На нем была хорошо выглаженная рубашка из белого сатина, подпоясанная широким кожаным поясом, каких никто из парубков не носил, и форменная гимназическая фуражка. Отделившись немного от толпы парубков, он шел впереди девушек, не в меру щеголяя своим франтовским нарядом. В это время по дороге, навстречу, шло стадо коров с пастбища. Многие коровы после зимних сухих кормов жадно набросились на молодую траву и заболели расстройством желудка, и так запачкали свои хвосты, что с них прямо-таки текло.

Виктор, от нечего делать, похлопал по спине проходившую мимо корову, которая в тот момент взмахнула загаженным хвостом и мазнула им по лицу и белой рубашке гимназиста. Все это случилось так внезапно, что Виктор не успел отскочить в сторону. В бешенстве он кинулся с кулаками на корову, отплевываясь во все стороны. Потом хотел вернуться назад, но увидя, что парубки и девчата за животы хватаются от смеху, остановился и оглядел себя. Весь его щегольской наряд был испачкан до неузнаваемости.

— Виктор! Ну как же я тебя целовать теперь буду? — смеясь сказала ему шутница Парася Слынько. — Ты уж лучше и почеломкайся со своей любушкой-коровушкой.

Но он, никого не слушая, ругая всех и вся и угрожая кому-то кулаками, бросился бежать прочь, проскочил в ворота ближайшего к нему двора казака Скибы и, под громкий смех и свист, чужими садами убежал домой. Никто из парубков и девчат не только не сожалел о случившемся с гимназистом, но, наоборот, все были довольны.

— Это его Бог наказал, чтобы не слишком задавался своими панскими нарядами, -- заметила одна девушка.

— При чем тут Бог, когда хвостом махнула рябомордая корова, — смеялся Петр.

И долго еще прибаутки и насмешки сыпались по адресу бедного гимназиста.

Молодежь поровнялась с домом священника о. Иоанна Кувиченского. Двор его блистал чистотой. И не только двор. На улице, от забора до самой дороги, было чисто выметено, а в искусно сделанных перед домом, прямо на тротуаре, клумбах росли цветы. В большом одноэтажном кирпичном доме, у раскрытого окна сидел сам отец Иван с гостями и пил чай.

Не успела молодежь забыть происшествие с гимназистом Сергиенко, как им тут представилось другое зрелище.

Пьяный казак из хутора Западный Сосык, Кунда Яким, застрял со своим возом и волами как раз против поповского дома. Он переселился на хутор всего год тому назад. Все его умершие родственники были погребены на станичном кладбище. Он и приехал сегодня в станицу на поминки, да, наверное, слишком „напоминался” у своих знакомых.

Воз Якима зацепился за угол забора и дальше не двигался. Пока хозяин кряхтел сбоку воза, стараясь сдвинуть его, волы, переломив занозы, сбросили со своей шеи ярмо и спокойно пошли в разные стороны.

— Цоб! Цабе! — кричал на них Кунда. — Шоб вы передохли, проклятушие дьяволы круторогие, идолы косолапые! -- и, продолжая ругаться на чем свет стоит, он побежал за одним волом по дороге.

В этот момент другой вол подошел к дому Кувиченского, стал на клумбу с цветами напротив того окна, где сидел священник с гостями, и начал „справлять свою малую надобность”. Это возмутило до крайности отца Иоанна.

— Эй ты, богохульник! — закричал он, высунувшись из окна. — Эй, казак! Ты что же вздумал такую мерзость

устраивать в моем присутствии?! Это почему же твой вол пакостит против моего дома?

Кунда подбежал к „злочестивому” волу, но не извинился перед священником и даже шапки не снял, чего среди казаков почти не встречалось, а лишь удивленно посмотрев в окно, ответил:

— Вот чудасия, батюшка! Во-первых, вол грешит, с вола и спрашивайте! Да и причем тут вол, когда ваша во всем вина! Скажите, отец Иван, а зачем вы против моего вола дом построили? — и ухватившись крепко за хвост животного, он силится стянуть его с испорченного цветника. В этот момент вол, испугавшись гиканья проходившей мимо молодежи, рванулся и побежал вдоль улицы. Яким упал на землю лицом вниз, но не выпустил из рук хвоста, а так, — кувыркаясь из стороны в сторону то на спину, то на живот, — продолжал тянуться за бежавшим по дороге волом. Штаны его разорвались и, когда лопнул поясок, осунулись до самых колен. Девушки безудержно хохотали, прикрывая от стыда концом косынки глаза; парубки прямо катались по земле со смеху.

Наконец, в руках Якима Кунды остался только пучек волос от хвоста, а вол, оторвавшись от него и пробежав еще с десятков шагов, остановился, повернул свою морду назад и пристально смотрел на лежавшего в пыли хозяина. Яким медленно встал и, повернувшись в сторону хохотавшей молодежи, начал натягивать спавшие с него штаны. И если бы парубки не помогли ему освободить застрявший у забора воз, поймать и запречь волов, то он еще долго бы возился со своей случившейся в хмелю бедой, а, может быть, даже и не уехал бы в тот вечер домой. А с их помощью, минут через двадцать, его волы уже мирно шли по дороге, а он, растянувшись на возу с задранной вверх головой, горланил:

„Ой випила, выхылыла,
Сама себе похвалила,
Бо я панського роду:
Пью горілочку, як воду...”

ГЛАВА IV.

Охрим Пантелеевич, по своей давней привычке, сидел возле водяной мельницы и ловил „пидсакой” рыбу. Уже смеркалось, а он, увлекшись, еще и не думал уходить домой.

Его рыболовный „струмент” представлял собой сеть круглой колесообразной формы, аршина полтора в диаметре, с очень мелкими ячейками. Такая сеть притягивалась своими краями к железному или деревянному обручу и затем на веревочках привязывалась к длинному шесту. Дно „пидсаки” (иногда называли ее еще „пиднем”) сужалось и в нижнем конце походило по форме на ковш.

Усевшись на берегу речки, Охрим Пантелеевич осторожно опускал пидсаку на самое дно, бросал поверх нее на воду для приманки рыбы кусочки густо смешанных в тесто отрубей или ломтики хлеба и время от времени, держась за свободный конец шеста, поднимал ее из воды, пристально всматриваясь в „куль”. Иногда на дне пидсаки оказывалась трепыхавшаяся рыбка, тогда он с восторгом хватал ее одной рукой и бережно опускал в рядом стоящее старое ведро. Хотя итогами его рыбной ловли никто в доме не интересовался, — нужды не было в этом, — дед всегда любил это занятие и считал его лучшим отдыхом в своем возрасте.

— Бог на помощь, дедушка Охрим! -- приветствовали его подходившие парубки и девушки.

-- Спасибо на добром слове, мои голубята, хай также и вам Бог помогае! -- ласково ответил Охрим Пантелеевич. — Эге, раз вы уже пришли сюда, значит мне пора домой уходить. Всю рыбу поразгоните, да правда, оно уже и смеркается.

— Нет, нет, дедушка, еще рано, посидите еще немножко, расскажите нам что-нибудь интересное! — начали просить его девушки.

— Ой, мои цокотухи! Да вы теперь, канарейки, лучше меня обо всем знаете, теперь все такие умные да начитанные стали — куда нам старикам! -- говорил Охрим Пантелеевич, собирая свою рыболовную снасть. -- Вам-

то легко сказать „посидите”, вас-то парубки проведут до самой хаты, а мне надо самому ковылять домой, а тут, знаете, водяные, русалки, да ведьмы так и шныряют по берегу ночами.

— Ой, лишечко! — испуганно залепетали девушки, прижимаясь к парубкам.

— Вы про такие страхи, дедушка, не напоминайте, а лучше расскажите про то, что нас больше всего интересует, — сказала Оксана Кислого.

— Знаю, знаю, моя голубко, что тебя интересует, но я тут не при чем.

Оксана подумала, что дед Охрим напоминает ей о вчерашнем сватовстве его внука Петра, покраснела и сразу отошла.

— А что же, по-вашему, нас особенно интересует? — спросила Катерина Приходько.

— Да вас только одно интересует, как найти своего чернобрового голуба, кто он, где он? Правда, Катрюся?

— Так, так, то правда, дедушка, — ответили сразу несколько девушек, — вот вы и научите нас, как найти своего суженого!

— Эх, вы, недотепы, а еще чванитесь, да неужели вы не знаете этого простого способа?

— А как же, скажите! — попросила Оксана Кислого, опять подошедшая к деду. Со вчерашнего дня она ненавидела Петра всеми фибрами своей души, но его деда уважала попрежнему, считая, что он непричастен к скандальному сватовству внука.

— Так это же так просто, — сказал Охрим Пантелевич, — в ночь под Ивана Купалу, этой весной перед кошовицей, посидите в прядеве, дождитесь цветка папоротника, и с ним, что захотите, то и получите.

-- Да, я... сидела в прошлом году и ничего не получилось, — немного замявшись, сказала Оксана.

— Наверное испугалась навождения и убежала, не досидев до самого главного?

— Я сидела в прядеве одна, потом начало что-то шелестеть, трещать, а ночь была темная, я испугалась и со страху убежала, — исповедывалась Оксана, не замечая

того, что многие парубки смеются, а Петр, вспомнив вчерашнее сватовство, отвернулся и хихикал в рукав. Одна-ко из девушек ни одна не смеялась.

-- Вот и беда ваша, что вы боитесь, сами не зная чего, и убегаете от счастья, — укоризненно сказал Охрим Пантелевич, усаживаясь на толстый пень от вербы. -- Ничего не поделаешь, придется вам еще раз рассказать, а вы хорошенько слушайте старика.

— Скоро все вы поедете в степь и будете жить там все лето, — начал он, откашлявшись. — У всех вас на своей земле, конечно, есть там дялянка посеянного прядева. Так вот, в ночь под праздник Ивана Крестителя, с 23-го под 24-е июня, надо с Евангелием зайти в свое прядево, которое к этому дню будет выше человеческого роста, зажечь свечку и сидеть, не вставая, до тех пор, пока прямо на вас не упадет цветок с папоротника. Не обязательно в одиночку. Можно сидеть и вдвоем, втроем, потому что с этим заветным цветком можно потом и для десятерых найти счастье. Вместо Евангелия можно сделать из простой палочки крестик и воткнуть его в ноги, там, где вы будете сидеть; около крестика поставить зажженную свечку. Но перед цветением папоротника вам придется увидеть страшные навождения. На вас будут и змеи крылатые нападать, и черти с хвостами будут прыгать и угрожать рогами, и давить вас станут разные лукавые, и другая нечисть бесовская, но вы не пугайтесь, сидите и не убегайте. Все это вам будет только казаться, но на самом деле ничего там нет, и лукавый будет только угрожать, но никакого зла не посмеет сделать. Когда начнутся страшные навождения, вы крест уберете в сторону, а то место, где он стоял, обведете вокруг чертой и три раза поплюйте; туда-то и будет падать цветок. Свечку затушите; если будет в руках Евангелие, тоже в этот момент надо закрыть. Редко какая девушка выдерживает такие страшные навождения, но если быть стойкой, неустрашимой и не бежать из прядева, то, в конце концов, лукавый исчезнет, и вам упадет цветок с папоротника, который цветет только в эту ночь. С этим цветком вы потом что захотите, то и сделаете; кого выберете по серд-

цу, тот по вашему желанию и женится на вас; любого можете заставить полюбить, любое богатство достанете, в общем любое ваше желание исполнится...

Девушки слушали рассказ деда с разинутыми ртами; некоторые полностью поверили такой легенде и серьезно собирались в этом году сделать попытку найти свое счастье, в конопле, под Ивана Купалу.

— Что же вы, дедушка? Научаете дивчат, как нас лучше захомутать, что ли? — с неудовольствием заметил один парубок.

— Если не будешь дурной, то и жинка никогда тебя не захомутает, — ответил Охрим Пантелеевич.

— Да у меня еще никакой жинки нет; может, и не будет никогда.

— Будет, будет! Без жены никто не живет.

— А что же надо делать, чтобы жинка не оседлала и не стала ездить на мне, как на коне?

— Ич, басурман, допытуется как! Ну ладно, скажу тебе, парубче, только слухай, та запоминай добре. Как только женишься, сразу же надень на свою благоверную тринадцать уздечек. Потом, каждый год по одной снимай, но одной уздечки до самой смерти не снимай, бо как разнуздается, у-у... бедный будешь! — и Охрим Пантелеевич покачал головой.

— А я вот на нашей рыжей кобыле иногда совсем без уздечки ездил, — заметил другой парубок. — Поймаю на паше, схвачусь за гриву, вскочу на спину и только крикну „но!”, и она мчится туда, куда я захочу.

— То на кобыле — дело другое, а на разнузданной жинке ни за какую гриву не схватишься, и будет и наростистой, и брыкаться, и делать все против твоей воли...

Все захохотали.

— Дедушка! Перестаньте про жинок да про кобыл! Расскажите нам, как вы с турками воевали, это интереснее! — предложил один парубок. Остальные парубки поддержали его.

— С турками? — переспросил Охрим Пантелеевич. — Да, с турками, чтож... били мы их всегда, как перепелов.

Еще до сих пор помню... Это было в семьдесят седьмом,... нет, в семьдесят восьмом году. В Закавказьи мы продвигались все время успешно и гнали турок, как отару овец, но у крепости Карс нам пришлось задержаться. Басурмане так укрепились в том городе, стоявшем на возвышенном месте с неприступными скалами вокруг, что считали себя в безопасности. Да и не только турки так думали, некоторое и наше офицерство считало укрепления Карса неприступными. Они говорили: „Крепость Карс ограждают не только сделанные людскими руками заграждения, но и сама природа огородила ее каменными неприступными скалами”. Ерунда, начхать нам было на все! Разве могли устоять басурманские крепости против налета казачьих орлов? Э, нет! не было еще случая, чтобы русские не побеждали. Так же было и в Карсе. Правда, прежде чем пробить проход в крепость, много наших там положило свои головы, но ведь без этого на войне нельзя.

Пробив в одном месте проход, мы рванулись и, как вихрь, ворвались в крепость, и пошла рубка полусонных турков направо и налево. Конницы при штурме Карса было мало, но все же была. Подо мной был добрый карий жеребец, он ловко перепрыгнул через глубокий ров и уже мчался по каменистой улице, притопывая копытами валявшихся нехристей, сраженных нашими воинами. Вдруг один, вероятно, храбрый турок, стоявший под углом одного дома, прицеливаясь в меня, промахнулся и вонзил свое длинное копьё прямо в живот моему карому. Я в тот же момент иссек этого падлюку в капусту. Но мой бедный жеребец, пробежав несколько сажений, остановился, вначале стал на передние колени, потом, мотнув головой, упал и больше не поднялся. Наверное, басурманская чертяка проколол копьём сердце моему карому. Жалко было, но ничего не сделаешь, и я оставил его. Я побежал пешком вместе с пластунами и так бежал до самой середины городка, где уже гордо развевалось русское трехцветное знамя нашего Государя Александра Второго. Видите, я еще Царю-Освободителю, дедушке нашего Императора служил. Трех царей уже пережил и при четвер-

том, ныне благополучно царствующем Николае Александровиче, еще вот с вами балакаю.

Родился я еще при Николае Первом, тогда еще Кавказ не наш был, и нам, черноморским казакам, много пришлось пролить крови в борьбе с непокорными горцами...

Да, так, несмотря на неприступность крепости Карс, мы все таки взяли ее. Турки после этого замирились с нами на очень выгодных для нашего государства условиях, и мы с победой возвратились на родимую Кубань, оставив свои гарнизоны, как в Карсе, так и в других местах на границе с Турцией... А конь пропал. Тридцать пять лет прошло, а до сих пор жалко, добрячий жеребец был. Мне потом дали два, тоже неплохих коня, отбитых у турков, но нет, мой стоил не два, а двадцать два таких коней...

Охрим Пантелеевич замолчал, набил табаком трубку, достал кресало и губку, добыл огня и покашливая, важно закурил.

В это время одна из летучих мышей, привлеченная, вероятно, белыми платками девчат, ударилась о голову одной из них и упала прямо в середину круга слушателей на землю.

— Ой Боже, кажан, кажан! — взвизгнули разом все девушки и разбежались в разные стороны. Парубки сейчас же поймали летучую мышь и поднесли к Охриму Пантелеевичу.

— Дедушка! А почему у кажана морда и шерсть как у мышей, но сбоку крылья, и летает он как птичка? — заинтересовались парубки.

Охрим Пантелеевич, подумав немного и желая показать свои познания и в этой области, сказал:

— А это знаете почему? Когда принесли из церкви освященную паску и поставили на покути, то наша обыкновенная комнатная мышка, не разобравшись, подкралась и погрызла тот святой хлеб. Тогда Бог решил покарать нашу мышку, придав ей крылья, чтобы она больше не ела святой паски. И она теперь стала ни то, ни се, ни птицы кажана не принимают к себе, потому что она похожа на земных зверьков, а земные зверьки тоже не признают

кажана за своего, потому что он летает. Вот как!.. Ну, мои сизокрылые голубята, пока прощайте, пора уже мне плентать домой, а то, чего доброго, выскочит из под мельницы водяной или русалка, да и заташат меня на дно речки, чтобы ночами не шатался.

— Прощайте, будьте здоровы, бабушка! Счастливого пути! --- сердечно провожали „рыболова” парубки и девочки.

Охрим Пантелеевич положил шест с „пидсакой” на плечо, взял в другую руку ведро, в котором подпрыгивала краснопирка, вьюны и линьки, и побрел домой. Его согорбленная фигура еще некоторое время маячила за рощими у речки вербами, потом совсем скрылась в наступивших сумерках, и лишь лязг старого железного ведра еще долго слышался в той стороне, куда он ушел.

Безлунная, но теплая, ночь полностью вступила в свои права. На берегу реки, возле водяной мельницы, у небольшой плотины, молодежь принялась за свои ночные „жартування”. Песни и аккорды гармошки разнеслись далеко вокруг, повторяясь эхом над просторами притихшей природы...

ГЛАВА V.

„В тебе стан, як у баби,
Очі такі як у жаби,
Ноги, руки, як у рака
Сам ти рудий, як собака..

Геть, згинь пропади,
І до мене не ходи!
Щур тобі, пек”...

Как-то вскоре после „провід” (Радоницы), рано утром, Даша Костенко, отогнав своих коров за греблю на общественное пастбище, возвращалась домой по узкой, еще слабо протоптанной у заборов после прошедшего ночью дождя тропинкой. Она уже хотела свернуть в свой проулок, как Боцановский Геннадий загородил ей доро-

гу. Справа был забор, слева грязь и пройти можно было свободно только по той дорожке, где он стоял.

Геннадий был сын богатого казака, владельца большого хутора с участком в триста пятьдесят десятин земли, стоявшего в двенадцати верстах от Старо-Минской, на Канеловской стороне. Хозяйство у Боцановского было большое: две паровых молотилки, сорок лошадей, громадный фруктовый сад и большой кирпичный, красиво построенный дом. Геннадий был высокого роста, но красотой похвастаться не мог: вечно-красное покрытое веснушками лицо с толстой, отвисшей нижней губой, длинным крючковатым носом и рыжими волосами.

Либезно поздоровавшись с Дашей, он взял ее за руку и, ласково заглядывая в глаза, спросил:

— Дашенька! Ты знаешь, зачем я тебя здесь встретил сегодня?

— Откуда мне знать, чего тебе понадобилось в такую рань стоять на грязной улице? — холодно ответила Даша.

— Не догадываешься? Ну так я сам тебе скажу: слушай, моя златочка, сегодня приеду сватать тебя!

Даша изумленно посмотрела на него, потом вдруг громко, на всю улицу, захохотала.

— Чего ты так смеешься? Я ведь тебе серьезно говорю! Если пойдешь за меня, я тебя всю в золото одевать буду, как княгиня будешь сидеть в нашем доме и тебе ничего не придется делать. Денег сколько хочешь, столько и будешь иметь. Хочешь я и сейчас тебе дам, пожалуйста! — и Геннадий вынул из кармана объемистый кошелек.

— Ой, щедрый козаче, убирайся ты к чорту, со своими деньгами! — и Даша оттолкнула его руку. — Не суйся до наших девчат, не говела твоя бабушка! Ищи по себе богатую княгиню!

— Все равно приеду сватать, чуешь, приеду! Пойдешь за меня? Ну, конечно, пойдешь! И батько твой и ты, подумав хорошенько, не откажете мне.

— На „калмицкі заговини”, когда рак свистнет! Принимаешь? — и Даша, отскочив от него с тропинки, пря-

мо по грязи убежала к себе домой. Геннадий остался и смотрел ей вслед с недоумением.

**
*

В тот же день перед вечером Трофим Степанович пришел домой вдребезги пьян, чего с ним никогда до этого не случалось. Увидев дочь, он крикнул ей радостным тоном:

— Даша! Ох какой богатый жених трапляется тебе, если бы ты только знала! Всю жизнь будешь ходить у него, как барыня. А какой щедрый! Сам со мной говорил и сегодня придет к нам тебя сватать.

— Сегодня придет? Кто же он такой? — торопливо спросила Даша, уже догадавшись, о ком идет речь.

— О, доченька, самый богатый человек Канеловского юрта, сын Бошановского, что за речкой земли, оком не окинешь!

Даша вздрогнула. Ее подозрения подтвердились. Несомненно, это Геннадий сегодня отца напоил за свой счет, стараясь угодить будущему тестю.

— И вы разрешили ему приехать? Как же вы, не спросив никого, решились на такой шаг? Ведь я же еще совсем молодая, мне и семнадцати нет, даже венчаться еще нельзя!

— Это, дочко, ничего! Он все знает. Он говорил, что за деньги и попа подкупит, годок один приточит, и венчаться можно будет.

Даша еще больше расстроилась от таких слов отца. Она с ужасом представила себя в объятиях рыжего Геннадия и резко заявила:

— Не думайте и не гадайте! Никогда я не выйду за Бошановского, хоть убейте сейчас! — потом тихо расплакалась: — Что это вам так приспичило? Я же у вас одна, неужели я так вам надокучила, что вы за чарку горилки продали меня? Зачем гоните со двора; я не хочу от вас уходить, неужели вам не жаль меня?

Трофим Степанович долго молча смотрел на Дашу. Потом и у него слезы закапали из глаз.

— Мне ли тебя не жалко, доченька моя?! — и он стал обнимать и целовать Дашу. — Я ... виноват, сам обещал;

добре выпили с ним, ну ничего. Ты у меня, правда, одна. Я не знал. Не хочешь — не надо, не буду принуждать. Ты права, а я...

Хмель окончательно свалил его. При помощи Даши он улегся на кровать, все время бормоча:

-- Дочки, любимой, да не жалко! Что? От ворот — поворот! За чарку...

Даша вышла из комнаты, где заснул пьяный отец, и задумалась: „неужели этот урод, в самом деле, надумал приехать свататься ко мне? Да я этому идолу глаза выцарапаю! Или, может, сказать Петру? Да, конечно, надо сказать, но это вечером, ночью — на улице, а ведь тот придет раньше. Ну чтож, придет и уедет!“ И она на этом успокоилась...

Отец ее, Трофим Степанович, лет десять тому назад, богато жил на хуторе „Жовті Копані“, принадлежавшем тоже к Старо-Минскому земельному обществу. Случилось так, что когда вся семья гостила в соседней станице Ново-Ясенской, в его усадьбе по невыясненным причинам вспыхнул пожар, в котором погибли все строения и скот. После этого несчастья, по его просьбе, правление станицы Старо-Минской выделило ему в самой станице „план“, а добрые люди помогли построить небольшой саманный дом и постепенно приобрести необходимый скот и инвентарь. Но с тех пор Трофим Степанович так и не разбогател, хотя трудился усердно и был в почете у многих за безупречное поведение и честность. Это был сорокалетний, высокого роста, красивый казак. Он не курил и редко когда употреблял хмельное зелье — разве только в большие праздники с гостями или на свадьбах. Жена его, Василиса Григорьевна, 38-летняя хлопотливая хозяйка была очень опрятной и доброй женщиной. Говорили, что девушкой она „кохалась“ с другим, но выйти замуж за него не пришлось. Родителям жениха вдруг не понравилось имя Василиса и то, что ее в доме и на улице называли „Васька“, то-есть, так же, как и мужчин с именем Василий. Под давлением родных ее парубок перестал проводить с ней время, стал „кохаться“ с другой и вскоре женился. Василиса Григорьевна, не в меру обидев-

шись за это, вышла замуж за первого же приехавшего к ней со сватовством, за Трофима Степановича, которого раньше совсем не знала. Но потом привыкла, и между ними всю жизнь царил мир и согласие. Детей у них было двое: шестнадцатилетняя Даша, очень похожая на мать, и восьмилетний Коля, похожий больше на отца..

После разговора с отцом, Даша старалась пораньше управиться со скотом и поскорее уйти из дому к подругам. Только-что успела она собраться, как во дворе появился Бошчановский Геннадий со своими старостами. Увидев их, она убежала в спальню, нарочно переоделась в самую худшую одежду, тихо вышла во двор и начала работать по хозяйству, якобы совсем не замечая приехавших.

Геннадий, не видя Даши в комнате и немного потоптавшись у порога, оставил старост одних с проснувшимся отцом невесты, сам вышел во двор и там заметил усердно работавшую у хлева молодую хозяйку.

Он подошел к ней и ласково спросил:

— Почему, моя кралечка, не заходишь в хату?

— „Твоя”, говоришь? Смотри, обожжешься! — не поднимая головы, резко ответила Даша. — Я думала, что ты пошутил; считала тебя умным человеком, а выходит, что ты настоящий дурак!

— Почему ты так говоришь? не понимаю! Или ты, может, боишься меня... В такой одежде, в хлеву... Зачем тебе копаться в навозе, у меня бы ты даже и не видела бы этого!

— Послушай, человек добрый: если ты не совсем дурак, то лучше не суй свое рыло в наш двор, не садись не в свои сани! У меня есть парубок, которого я люблю на всю жизнь, и только за него выйду замуж, когда придет время! Ясно?

— Кто же это такой? Не тот ли розбышака, чернороб Кияшко?

— Хоть и „чернороб”, а лучше мне и милее тебя в сто раз и, пока он есть, о другом и думать не собираюсь.

— А если бы его не было, тогда бы думала о другом? — прищурился, странным тоном спросил Бошчановский.

— Что за дурацкий вопрос? Как это может его не быть?! Есть и будет!

— У твоего разбышаки, чернороба Петра, наверное никогда и одного карбованця не бывает в кармане, а у меня всегда есть, сколько хочешь. И деньги чудеса могут творить; с ними я, что захочу, то и сделаю. Не сегодня, так завтра и ты будешь думать обо мне.

— О тебе думать! Да я с тобой рядом сесть.... не хочу, чорт краснорябый, ластынькуватый! Чего же ты за свои деньги не сделаешь чуда со своим носом крючковатым, чего не выправишь его, жабячи твои очи! Проваливай на все четыре стороны, дьявол тонконогий! Уходи, нечистая сила, пока я тебе очи не выцарапала! — и Даша с угрожающим видом приготовилась кинуться на него, как кошка.

— Говори, говори, я буду слушать! Для меня твои угрозы, как по воде батогом. Но я не отступлюсь и своего добьюсь! Рано или поздно ты будешь моей! — сказал он заносчиво, но все же сделал два-три шага назад.

— Вот поболтай еще минуту-две... сейчас явится сюда Петр с хлопцами. Я ему уже все рассказала, так он тебе такого „сватанья” задаст, что ты забудешь и какой день сегодня, — не только ко мне, но и домой к себе не потрапишь!

И как бы в подтверждение ее слов, в этот момент в саду Костенка послышался мужской разговор. Хотя это был не Петр, а случайно проходившие через сад люди, но Боцановский, услышав мужские голоса, струсил не на шутку и быстро стал отходить к дому, оглядываясь и все время бормоча какие-то угрозы.

— Геннадий! Где ты там пропадаешь? Иди сюда в хату, а то они говорят, что сами ничего не знают, — как дочка хочет, так пусть и будет! — встретил его на пороге один из „старост”, который уже шел отыскивать жениха и невесту.

— Пусть говорят, что хотят. На сегодня хватит! По-едем сейчас же домой! Садитесь! — сердито ответил Геннадий и, не заходя в хату, сел на свою застланную доро-

гим ковром линейку, запряженную тройкой вороных коней, и, разобрав вожжи, нетерпеливо ждал старост.

Удивляясь такой неприличной выходке жениха, оба старосты поспешно вышли из хаты, покорно сели на линейку. Огретые без причины ударом кнута кони вылетели стрелой в открытые ворота и скрылись за углом следующей улицы, увозя непрошенных гостей.

Когда стемнело, Даша пошла на улицу и, встретив Петра, сейчас же рассказала ему подробно все, что ей пришлось сегодня пережить. Петр заскрежетал зубами, кинулся искать Геннадия, чтоб переломать ребра, но нигде не мог его найти в тот вечер.

Следующий вечер, едва стемнело и парубки и девчата собрались на улице, к ним подошел и Бошчановский Геннадий.

Петр уже предупредил многих, что Бошчановскому сегодня не поздоровится. Он попросил дивчат петь погромче какую-нибудь песню, а сам спокойно отозвал Геннадия в сторону.

— Так ты, что же... мать..., за свои деньги наших девчат покупать ходишь? — набросился он вдруг на Бошчановского.

— А тебе какое дело, куда я хожу и что делаю? — вопросом ответил Геннадий.

Удар кулаком в переносицу был ответом Петра. Вторым ударом Петр повалил его на землю и начал бить по чем попало — и кулаками и ногами. Геннадий только кричал под ударами и слабо стонал: „Пусти, пусти!“ Видя, что Петр рассвирепел и уже не помнит себя, парубки силой розняли их. А остальная молодежь в это время громко пела: „Ой на горі та женці жнуть...“, чтобы не было слышно, как дают взбучку ненавистному всем Геннадию.

Наконец тот с трудом поднялся на ноги, весь в пыли, в изорванной одежде и, шатаясь словно пьяный, медленно пошел прочь. Оглянувшись на Петра, он злобно крикнул:

— Я тебе этого... никогда не забуду! Ты будешь меня помнить! Я...

Но на его угрозы никто не обратил внимания. Все продолжали петь, танцевать, веселясь попрежнему...

После этого вечера Боцановский к дому Костенко больше уже не приезжал и вообще долго не показывался в станице...

ГЛАВА VI.

„Де згода в сімействі,
Там мир і тишина,
Щасливі там люди,
Блаженна сторона.

Їх Бог благословляє,
Добро їм посилає,
І з ним вік живе,
І з ними вік живе...”

В то время, когда во многих местах центральной России крестьяне еще возделывали землю примитивным способом, Кубанские хлеборобы пользовались уже новейшими сельско-хозяйственными орудиями. И странно было видеть в станичных школах буквари и первые книги для чтения, где на картинках землепашец изображался с деревянной сохой, а жнецы с серпами. На Кубани давным-давно уже не видели ни сох, ни серпов, ни цепов для молотбы.

Там пахали издавна железным плугом или двухлемешным букером, запряженным четверкой-пятеркой лошадей или волов. Сеяли сошниковой сеялкой-„садилкой”. Косили конной косилкой-крылаткой или лобогрейкой, тоже с четырьмя лошадьми, которой можно было скосить за день до пяти десятин. Подгребали поле конными граблями — „гребілкою”, запряженной одной лошастью, но подгрести ею чисто и легко можно было более шести десятин за день. Молотили хлеб каменными „котками” или сложными молотилками, вначале приводимыми в движение конной силой, а потом паровыми локомотивами.

В начале лета 1913 года хлеба на полях Старо-Мин-

ского юрта одним своим видом радовали каждого трудолюбивого хлебороба.

От крайних дворов станицы и на 25 верст в сторону Уманской, и столько же в сторону Старошербиновской, от левого берега Еи на севере и Сосыки на востоке, — стояло необозримое море чистой, „как вода” колосившейся пшеницы и ячменя. При легком ветре миллиарды колосьев шумели, как море, волнообразно пригибаясь к земле...

В один из ясных дней, по дороге из Уманской до Старо-Минской, показались, верхом на добрых конях, двадцать казаков, возвращавшихся с действительной службы домой.

Проезжая мимо высокой, ровной, стоявшей по обе стороны дороги, как стена, гарновки и белокры, их кони, не нагибаясь, щипали верхушки колосьев. Сплошной зеленый ковер, покрывавший все обозримое пространство и слегка колеблемый слабым ветерком, казалось, нигде не прерывался. Лишь местами, как расшитые на ковре цветы, виднелись желтые верхушки распутившейся сурепы, да редко, на версту один от другого, стояли шалаши („курени”) или легкие хатки — летние жилища хлеборобов.

Казаки радовались и своему возвращению в родные отчие дома и раскинувшимся вдаль и вширь собственным нивам. Приятно было смотреть, как на каждом паевом наделе, на отведенной под пастбище „толоке”, паслись коровы, овцы, лошади, а возле временных летних пристанищ бродили куры, гуси, утки...

В эту пору, во второй половине июня, у хлеборобов было время короткой передышки. Сено убрали, вторую прополку „сояшников” — подсолнухов, „пшинки” — кукурузы и „баштану” — бахчи закончили, а зерновые хлеба еще не созрели. Поэтому, несмотря на будничные день, в степи, кроме подростков-пастухов и одиноких женских фигур, не видно было никого.

Вблизи хутора Западный Сосык казаки свернули влево, на „поперечну” дорогу, и поехали стороной от большого прямого тракта. Такой путь был немного длиннее,

но зато на этой малонаезженной дороге было мало пыли, а, главное, у многих из них как раз тут были паевые наделы, и каждому хотелось поскорее взглянуть на свои поля. До окончания срока службы казакам этой „присяги” оставалось еще несколько месяцев, но по настойчивой просьбе Кубанского Наказного Атамана Бабыча, Михаила Павловича, многие кубанцы в этом году были отпущены досрочно, чтобы успеть на страдные полевые работы. Это, конечно, относилось не ко всем кубанцам: в некоторых полках в этом году даже после окончания четырех лет службы казаки были почему-то задержаны.

На толоке, около полевой хаты Тараса Охримовича, босоногий, в старой соломенной шляпе малыш-пастух пас свою скотину. Злясь на часто залезавших в „шкоду” телят и коров, он подбегал к ним сзади и нещадно шлепал батогом, стараясь попасть по ногам, пониже колен. Телята, завидев пастуха с поднятым батогом, спешили задрать хвосты убежать от запретного места, но ненадолго. Едва пастух зазевается или куда-нибудь отойдет, как они опять залезали или в кукурузу, или в пшеницу.

— А шоб вы показылысь, шоб все поздыхали! — верещал с досады Федька, пустившись босиком по траве наперерез „половой”*) корове, которая опять направилась к пшенице. Увидев подбегавшего с батогом пастуха, корова круто повернула назад и порвала путо (короткая конопляная веревка с петлей и деревянной пряжкой). У Федьки было еще одно запасное путо, и он стал медленно ходить за коровой, ласково уговаривая ее остановиться, чтобы иметь возможность ей „спутать” передние ноги.

— Маня, Маня, — жалобно просил Федька, идя следом за ней и держа для приманки пучек сорванной пшеницы. Но „вредная” корова не только не остановилась, а, задрав хвост, побежала к самой дороге.

— Маня, Маня! А шоб ты здохла, шоб ты сказылась, проклятуца! — ругался Федька, догоняя ее. — Целый день не дам тебе воды, гадюка! Поймаю, загоню в баз и

*) светло-бурой.

будешь до самого вечера стоять... — и тут он заметил справа от своей толоки ехавших казаков. Засмотревшись на них, он стукнулся головой о зад остановившейся „половой тварюки”, за которой он гнался.

Поднимая слетевший с головы „брыль”, он увидел, что его корову держит за рога спешившийся казак, в черной шапке с галунами, в черкеске с газырями и кинжалом.

Федька с интересом рассматривал пришельца.

— Давай сюда путо, пастух! — сказал тот.

Федька молча подал. Спутав корову, казак подошел к нему.

— Ну, Федюша, здравствуй! Да какой же ты большой вырос, я думал застану тебя на печке, а ты уже сам скотину пасешь.

Федька стоял с расставленными ногами, разинутым ртом и вытаращенными глазами. „Кто бы это мог быть?” — думал он.

— Ты что, не узнаешь меня?

— Никифор, это ты!? — и Федька повис на шее брата.

Поцеловав брата, Никифор вместе с ним подошел к своему смирно стоявшему коню, запустил руку в привязанный у седла мешок и достал оттуда новую соломенную шляпу с широкой темно-синей лентой.

— На, Федька, новый бриль. Нарочно для тебя привез. Брось свою рвань!

Федька сейчас же напялил на голову подарок брата, но и старую шляпу тоже не бросил, а держал в руке. Никифор сунул ему в другую руку несколько сахарных рожков, считавшихся любимым детским лакомством.

Откусив кусок рожка, Федька начал без умолку рассказывать последние домашние новости.

Оказалась, что вся семья Кияшко была сегодня дома, в станице; только он, как пастух, да Приська остались „на степу”. Да и то Приська недавно ушла к подругам гадать на картах. Не дослушав Федьку, Никифор сел на коня и рысью помчался догонять своих казаков, отъехавших уже на целую версту вперед.

В воздухе стоял многоголосый неумолкающий „кон-

церт”. Пели жаворонки. Им аккомпанировали переключившиеся внизу перепела и миллионы кузнечиков. Порхали разноцветные бабочки и мотыльки с белым мучнистым налетом на крыльях. Жужжали, разлетаясь во все стороны, испуганные топотом конских ног рои жуков, до того усердно копошившихся в кучках конского навоза. Кое-где в открытой степи стояли ульи пчел, и маленькие неутомимые труженицы, порхая с цветка на цветок, собирали „нектар” и несли его в свой дом-улей, чтобы залить жидким душистым медом все свободные ячейки в рамках двухэтажного „Дадан-Блатта”.

Ласточки то и дело пролетали над самыми головами всадников, как-бы почетно сопровождая их перед прибытием в родную станицу.

Ехавшие конники здоровались со всеми встречавшимися по дороге знакомыми и незнакомыми казаками, шутили между собой и дразнили острыми насмешками видневшихся вблизи дороги девчат...

Несмотря на жаркий солнечный день, казаки были в полной своей форме. На всех были темные из серого дачкового сукна черкески с газырями, в вырезе которых виднелись белые, коричневые или серые бешметы. При каждом казаке была шашка, рукояткой касавшаяся ножен кинжала, блестя на солнце начищенной металлической оправой. Кинжал своей посеребрянной рукояткой сверкал спереди на узком поясе с мелкими металлическими украшениями кавказского образца. На всех были черные или сивые высокие шапки, с белыми или серыми верхами, а за спиной суконные башлыки на шелковом шнурке, с серебрянной „китыцей” на конце. Каждый в правой руке держал плеть, а в левой повод коня.

Подъезжая к станице, казаки затянули-было песню:

„Ехали казаки со службы домой,
На плечах погоны, на грудях кресты”...

— Эта песня к нам не очень подходит, — заметил урядник Кияшко, — у нас еще ни у кого нет ни крестов, ни медалей, да и погоны жиденькие, рядовых казаков. Давайте-ка споем другую!

-- Давайте! — поддержали остальные.

— Слушай, Бардак, начинай: „С Богом, кубанцы”! —
скомандовал Кияшко.

Федор Бардак, чернявый, среднего роста казак, сильным баритоном затянул:

„С Богом, кубанцы, не робейте,
Смело в бой пойдем, друзья!”

И все громко подхватили:

„Бейте, режьте, не жалейте
Басурманина... ”

Подъезжая к недавно построенному двухэтажному зданию правления, казаки перестали петь и ехали ровным шагом, в строевом порядке.

На здании правления развевался русский трехцветный флаг. У подъезда толпились родные и знакомые прибывающих со службы казаков. На балконе второго этажа стоял атаман Ус, Емельян Иванович, в полной форме, с атаманской насекой в руке. Лет тридцати пяти от роду, представительной внешности, будучи природным казаком станицы, он оказался избранным год назад на этот высший в станице пост. Такова была воля казаков Старо-Минской.

Рядом с ним стояли писарь, помощники атамана и несколько почетных стариков.

— Здравствуйте, орлы Кубани! — приветствовал атаман остановившихся перед балконом конников.

— Здравия желаю, господин атаман! — гаркнули в ответ казаки.

— Поздравляю с успешным окончанием действительной военной службы!

— Рады стараться, господин атаман!

Емельян Иванович сказал небольшую речь, в которой от имени станичного общества благодарил всех за честное исполнение своего воинского долга казачеству и всему православному отечеству, за примерную боевую выучку. Особо Ус поздравил Кияшко Никифора и Панченко Сергея, сумевших в мирное время, только за срок действительной службы, получить звание урядника. В заклю-

чение, атаман от имени общества подарил каждому прибывшему казаку по серебряному рублю, а урядникам по пятирублевой, ярко сверкнувшей на солнце золотой монете.

— Это от станичного общества, на горилку. Надо же служилым и погулять хорошенько после долгой разлуки с родными! Правильно, господа казаки?

— Так точно, господин атаман! Совершенно правильно! — отвечали и сидевшие на конях казаки и все присутствующие.

После такой официальной встречи, все направились к Христо-Рождественской церкви, перед которой уже стоял покрытый белой скатертью стол с иконами Георгия Победоносца и Покрова Пресвятой Богородицы. Казаки слезли с коней и подошли к столу. После благодарственного за благополучное возвращение домой молебна они считали себя совершенно свободными.

Наталка, жена Никифора, стоявшая с маленьким Гришей, первая кинулась на шею своему мужу. Потом подошел Тарас Охримович и крепко расцеловался с сыном. Дед Охрим три раза почеломкался с внуком и проследил, оглядывая со всех сторон его стройный казачий стан. Родственники и знакомые, присутствовавшие на молебне, подходили и поздравляли с благополучным завершением службы.

Такие же радостные встречи выпали на долю всех прибывших казаков. После молебна площадь загудела, как рой пчел: приветствия, объятия, поцелуи, расспросы, смех. Но ненадолго. Вскоре все стали разъезжаться и расходиться в разные стороны, спеша в свои родные дома.

Никифор взял своего Гришутку на коня и так с ним и ехал, а Наталка за повод вела карого до самого подвсрья Кияшко, беспрерывно оглядываясь и сияя счастьем при каждом взгляде на двух дорогих ей существ, сидевших на коне.

Ольга Ивановна встретила у самых ворот своего первенца и, как всякая мать, не удержалась от слез. Никифор сошел с коня и три раза поцеловал ее.

— Ты, Никиша, хотя бы письма писал, а то почти

полгода ничего не слышно было от тебя! — сказала мать, утирая глаза.

Сразу же направились к столу, который Ольга Ивановна сумела приготовить на славу.

— Давно такого борща не ел, — проговорил Никифор, пробуя его деревянной ложкой из миски.

— Сегодня первых двух молодых петушков зарезала для борща; — сказала Ольга Ивановна, — хотя сейчас Петровка, пост, и мы никто дома мяса не ели, но ради такого случая — Бог простит.

Сытно пообедав и немного выпив, все встали от стола, покрестились на иконы и продолжали обмениваться разными новостями.

Никифор сел на край кровати, взглянул на Наталку и зевнул.

— Ну, внучек, тебе надобно отдохнуть с дороги, мы сейчас уйдем из хаты и мешать не будем, — сказал Охрим Пантелеевич и многозначительно посмотрел на Тараса и Ольгу Ивановну. Последняя поняла намек свекра, моргнула мужу, и оба сейчас же вышли во двор.

Петр же стоял около стенки и рассматривал кинжал Никифора.

— А ты, басурман, что здесь делаешь, чего стоишь? — набросился на него Охрим Пантелеевич. — Ступай подгреби и сложи в копыцю траву в саду, что я вчера покосил!

— Я ее склал еще утром, дедушка, — сказал Петр.

— А я тебе говорю --- нет, сейчас видел, что не сложена.

Петр в недоумении посмотрел на деда, но тот так сердито глянул на него, что ничего не оставалось другого, как сейчас же выйти из дома и пойти в сад посмотреть на скошенную и сложенную траву. Вообще дед последние годы никому ничего не приказывал, а тут вдруг пристал, как никогда.

Его догнал у плетня сада дед.

— Ты, басурман, хам бахамет, уже не маленький, а как баран ничего не понимаешь! — ругал его Охрим Пантелеевич. — Вот женишься, а потом пойдешь на действи-

тельную службу и ровно четыре года не будешь видеть своей Дашеньки, а когда вернешься вот так же, как сегодня Никифор, тогда поймешь, надо было ли нам сейчас оставаться в хате и мешать? А?

— Аа! Вот оно что! И правда, что я, как баран, недогадливый, — виновато улыбнулся Петр и молча пошел в сад.

Никифор и Наталка остались в комнате одни...

**
*

В первое воскресенье после прибытия казаков домой, атаман решил показать всем, да и самому посмотреть, — джигитовку вернувшихся со службы. Лучшим участникам состязания давались призы, почему и день этот назывался „Призовым”. Джигитовка казаков всегда считалась большим станичным праздником, на который приходили и приезжали не только свои жители, но и многие из соседних станиц.

На восточной окраине станицы, упиравшейся в реку Сосыка, на утопанном скотом „выгоне”, покрытом местами солончаком, несмотря на то, что в церквях еще не кончилась служба, уже белели многочисленные палатки квасников, мороженщиков и других продавцов разных напитков, лакомств и побрякушек. Готовиться начали еще в субботу и всю ночь торговцы устанавливали свои рундуки, а казаки приспособления для джигитовки.

Едва солнце поднялось „під снідання”, как у палаток появилась молодежь, чтобы утолить все возраставшую жажду прохладительными напитками. Три копейки за бутылку крепкого холодного кваса не у всякой девушки найдутся, поэтому они жались к парубкам, иногда с просьбой, а то и прямо требуя угостить квасом, лимонадом, недавно появившимся в продаже „ситро”. И парубки не отказывали. Многие из них работали на постройке Черноморской железной дороги и имели всегда деньги.

У столиков с различными сладостями толпилась разношерстная детвора, и кто из этой шумной оравы имел хотя одну копейку, тот гордо подходил к продавцам и по-

купал на свою монету сладкий маковник, или два марашета, или кусок белой тягучки.

Ровное, никогда не паханное, имевшее форму почти круга, целинное поле, диаметром около двух верст, пестрело от разноцветных платков, картузов и шапок.

Прибывшие несколько дней тому назад казаки, главные участники праздника, уже гарцевали на своих конях в ожидании станичного начальства.

Наконец, часов в двенадцать дня, на призовом поле показались: атаман станицы Ус Емельян, его помощники, писаря, казачий инструктор и представители Ейского Отдела. После их прибытия сейчас же началась джигитовка.

Все препятствия, поставленные по прямой скаковой дорожке, высотой в полтора аршина, лихие доморощенные скакуны с такими же лихими наездниками перепрыгнули с заячьей легкостью, нигде не зацепившись. Потом были поставлены барьеры высотой до двух аршин. Из шести два были сбиты задними копытами коней; один конь, добежав до середины, заартачился и не стал прыгать, другой отскочил в сторону, а шестнадцать перепрыгнули без заминки.

На „рубке лозы” лучше всех показали себя Никифор Кияшко и Василий Петренко. Они не скакали, а просто летели между двумя рядами воткнутых в землю, в шахматном порядке, прутьев лозы. Как тот, так и другой, скосили все тонкие гибкие прутья и притом — почти на одном и том же уровне.

Возвращаясь после рубки, Никифор стал на седло ногами, пустил коня галопом, выхватил из ножен шашку и на полном ходу начал подбрасывать ее вверх и потом ловил одной рукой за эфес. Такой номер он повторил несколько раз, не упустив шашку и не получив ни одной царапины о лезвие. Гул восторга и гром аплодисментов долго не смолкал со всех сторон.

Затем пошли другие разнообразные приемы джигитовки.

Вымуштрованный конь, не управляемый седоком, летел во весь опор по прямой линии, а казак, слегка при-

держиваясь одной рукой за седло, как мяч перелетал с одной стороны мчавшегося коня на другую, носками сапог лишь легонько отталкиваясь от земли. Потом на полном скаку пролезал под брюхом коня и опять садился в седло и так проделывал несколько раз, пока его конь бежал по призовой дорожке.

Другой казак сидел на скакавшем во весь дух коне лицом к хвосту и играл на гармошке, а следом неслись еще два казака, выпустив из рук поводья, и, стоя во весь рост, плясали на седлах гопака.

Вот скачут два коня рядом; на них, выпрямившись во весь рост, стоят два казака и держатся рукой друг за друга, а на плечах у них стоит, ни за что не держась, подбоченившийся третий.

Клали на землю узелки с полбутылкой водки или с завязанной в углу платка серебряной монетой. На полном скаку ловчачи схватывали одной рукой эти узелки, а некоторые на обратном пути, мчась галопом, выбивали пробку ударом ладони по донышку и так же на ходу пили водку из горлышка.

Джигитовка закончилась традиционной инсценировкой „похищения невесты”.

... Вот на поле дремлют, отдыхая на земле, казаки. Стреноженные, но нерасседланные кони их пасутся тут же рядом. Принаряженная к венцу невеста, в белоснежной фате и цветах, сидит в стороне от дремлющих друзей со своим женихом-казакom и поет песню.

Внезапно от берега реки выскакивает десяток всадников-черкесов. Они бросаются к невесте, зажимают ей рот, кидают поперек седла одному „черкесу” и скачут обратно вдоль берега реки.

Жених стреляет вверх. Дремавшие казаки в один миг вскакивают на своих коней и, стреляя из винтовок и сверкая на солнце шашками, мчатся вдогонку похитителям. Заметив погоню, „черкесы” начинают отстреливаться. Казаки отрезают им путь к отступлению и прижимают к реке. Несколько минут слышатся выстрелы и лязг шашек. Вскоре все „черкесы” оказываются „убитыми”, и жених,

посадив впереди себя на коня отбитую у похитителей невесту, вместе с казаками возвращается от речки. Не доезжая призового поля, невеста вдруг легко спрыгивает с коня и, достав из принесенного казаками ящика бутылку водки, откупоривает ее и начинает потчевать своих спасителей.

А казак Литовка уже растянул меха своей двухрядки, и в один момент и казаки и подбежавшие „воскресшие черкесы” начинают дружно выбивать гопака. „Невеста” тоже пускается с другими в присядку, во время танца сбрасывает с себя фату и платье и, к неопишуемому восторгу зрителей, под платьем оказывается черкеска и небольшого роста казак Михаил Хайло, который и играл роль „невесты”.

Праздник джигитовки подходил к концу. Атаман станции вручил Никифору Кияшко первый приз — новую именную в серебряной оправе шашку и золотую пятирублевку. Василий Петренко получил новое седло и рубль серебром. Выдали небольшие подарки и всем другим участникам джигитовки.

Солнце уже клонилось к закату, когда казаки с пеньями уезжали с поля любимых игр, а следом за ними расходилась и многочисленная толпа зрителей, с жаром обсуждая отдельные номера джигитовки.

Через день после праздника джигитовок в домах станции уже почти никого из хлеборобов не оставалось. Все уехали в степь, готовясь к уборке хлебов.

Прибывшие казаки тоже поспешили на степь. Они радостно бродили по высокой пшенице, с жадностью втягивая ароматный чистый воздух полей родимой Кубани. Тут же паслись и их стреноженные друзья — строевые кони, не подпуская к себе и брыкаясь задними ногами на всех приближавшихся к ним домашних лошадей.

Тихая и обширная Кубанская степь в июне месяце была источником многих радостей и гордого удовлетворения для каждого казака-хлебороба...

ГЛАВА VII.

..Сонце низенько,
Вечер близенько,
Вийди до мене,
Мое серденько..."

Тихая летняя ночь спустилась над степью. Замолкли жаворонки. На „поперечных” дорогах и межевых полосах полетели к небу искры от горящей старой соломы, подбрасываемой вверх вилами, как сигнал для собиравшейся „гулять” казачьей молодежи.

В широкой степи летние пристанища хлеборобов разбросаны на версту и больше одно от другого, поэтому парубки и девушки „перекликались” ночью огнем, видным повсюду и далеко на равнине.

Высоко подняв над головой на вилах или длинной палке зажженные связки сухой соломы или сена, девушки монотонно кричали во все горло:

„Та огонь горить, огонь горить
Солома палає, солома палає.
Казав милий прийду рано
Та й досі немає...гу...гуууу!!!..."

„Га-га-гааааа!” -- откуда-нибудь с бугра доносился громкий ответ парубков, тоже поднимавших огонь.

Благодаря таким переключкам, разносившимся по притихшей степи на много верст, разбросанные в разных направлениях светящиеся точки постепенно сближались в одном месте, и через полчаса после появления первой вспышки горевшей соломы кубанские песни уже оглашали ночной воздух притихшей степи. У кого-нибудь из парубков в руках оказывалась гармошка и, несмотря на напряженную многочасовую работу длинного и жаркого июньского дня, все, забыв усталость, пускались в пляс.

Часа два ноги танцующих неумоимо притаптывали приземистый „шпорыш”, растущий у обочин дороги, под взвизгиванье двухрядной гармошки. Часа два лились к небу звонкие песни. Затем, одна за другой, парочки влю-

бленных незаметно исчезали и уединялись где-нибудь за „стенами” высокой пшеницы.

И так почти каждый вечер.

Кияшко Петр и Костенко Даша всегда участвовали в таких сборищах и каждый вечер бывали вместе. Их степные участки находились не далее двух верст один от другого, а такое расстояние для „босоногой команды” не составляло никакого препятствия к свиданию. Летом в степи редко кто из парубков носил обувь в будничные дни. Большинство предпочитало ходить босиком и на работе и на кратковременных ночных гулянках.

Однажды, в конце июня, после обычной ночной гулянки в степи, Петр и Даша, как и многие другие, отделились от остальных веселившихся на „полосе”, („полосами” назывались полевые дороги, параллельно проходящие одна к другой через каждые 480 сажень), и направились вниз к балке между двух стен колосившейся пшеницы. Они шли, взявшись за руки, как дети, по меже между высокой рожью и гарновкой, охваченные ощущением полного юношеского счастья. Уже колосья пшеницы и трава стали покрываться вечерней росой, и они оба „окропились” до пояса „Божьей слезою”, но были довольны, что тут их никто не видит. Хотя, конечно, все хлопцы и дивчата давно знали, что Дашка и Петька давно „занучовані”...

Когда песни и музыка у дороги совсем затихли, и молодежь разошлась в разные стороны, — Петр и Даша подошли к оставшейся в балке неубранной копне сена, уселись прямо на траву и в желанных объятиях и поцелуях, попеременно с простыми, но понятными сердцу словами, изливали чувства искренней чистой любви. В такие минуты уединенных свиданий эти два молодых существа не искали для себя большего счастья, чем сидеть вдвоем в степной тиши, среди безграничности уснувших полей.

Тихая теплая июньская ночь царила над степью цветущей Кубанской равнины. Сколько в своем полумраке укрывала она таких уединившихся парочек — парубков и девчат...

Кубанская июньская ночь! Как приятно было вдыхать

полной грудью аромат родных полей при лунном волшебном сиянии такой очаровательной июньской ночи!..

Ничто не нарушало теперь волшебного покоя неподвижной степи. Лишь издали, из небольшого хуторского сада, нежными звонкими переливами доносились соловьиные трели. Да изредка низко над головой пролетит сова, выискивая ночную добычу, покружится немного и опять исчезнет в полумраке. Или еще вдруг перепел близко прокричит: „Під-пі-дьом, під-пі-дьом”, а с другой стороны отзовется „пэрэпэлка”: „ххаава, ххааха, під-пі-дьом, під-пі-дьом”, и опять все стихнет-занемет.

Густой высокий камыш, росший по балке Рудого, вблизи которой уединилась наша парочка, всегда так чутко воспринимавший малейшее дуновение ветерка, точно дремал, часами не шелохнувшись ни одним листком.

Далекie светящиеся точки звезд, как бисер рассыпанные по голубому шатру безоблачного небосклона, и уже поднявшийся круглолицый месяц, казалось, также остановились и застыли в своей неподвижности.

Чуть склоненные от собственной тяжести колосья пшеницы, слегка покрытые серебрившейся от лунного света росой, как будто прислушивались к любовному шепоту. Извечный свидетель бесчисленных романтических приключений — величавая луна покровительственно смотрела на сидевшую под копной сена пару и давала ей возможность видеть друг у друга непередаваемую ничем игрой улыбок взаимного понимания, озарявших их счастливые лица...

Петр, прислонившись плечом к плечу Даши, шептал: — Милая моя пташечка, ты для меня все! Мир слишком мал и беден, чтобы в нем можно было найти достаточно ценностей для уплаты только за одну эту ночь. Если бы мне сейчас давали царский дворец, горы золота, блиставшую в царской одежде волшебную красавицу, вроде Василисы Прекрасной, которую мы на картинках в школе видели, никогда бы я не согласился хотя бы на миг отлучиться от тебя из-за всего этого! Да разве есть на свете что-нибудь дороже и милее вот этих губок?! — и они снова и снова сливались в поцелуе.

— Еще, еще разок! Вынь сердце! Мне кажется, — мое сердце перешло к тебе, радость моя, счастье мое! — отрываясь и вновь впиваясь в уста любимого, повторяла Даша. — Миленький Петюнька, голуб мой сизокрылый! Неужели есть на свете такая сила, которая может разлучить нас? Нет! Никогда, никогда! Я и ты, это одно, это...

Проводив Дашу к ее куреню, Петр перед самой зарею вернулся до своего „коша”.

Тут, на токовище, под стогом прошлогодней соломы, он заметил старшую сестру Приську, сидевшую, обнявшись с каким-то парубком. Петр незаметно обошел их, взял ведро, набрал в кадучке воды, потом уселся сзади стога и стал прислушиваться к их шепоту, думая: „если с хорошим парубком сидит, то не буду трогать, а если с каким губошлепом, то я их сейчас же „скупаю!”

Он услышал жалующийся голос Приськи:

— Все вы хлопцы одного сорта — баламуты! У вас одно только на уме: посмеяться над доверчивой девушкой, а потом бросить ее. А мы, дуры, --- не успеет кто приласкать или сказать приятное словечко, так уж сразу и клонишь к нему свою голову и пригибаешься, как под ветром стоящее в степи деревцо; думаешь, хоть сердце свое девичье лаской обогрею. А вам что, она мол, уже... ее и обмануть не грех! Так и ты, добьешься своего, а потом кинешь, уйдешь к своим и будешь хвастаться: „Смотрите, вот я даже казачку накрыл!” Так ведь? Да разве я думала, что так со мной будет, разве я виновата, что парубки не понимают подлости своих поступков? Неужели, Миша, и ты хочешь быть таким же гадким обманщиком?

- - Фрося, голубушка дорогая, послушай! Я хоть и не казак, но подлостей с тобой делать не собираюсь и люблю тебя не для одной ночи, — говорил тихо и убедительно парубок. — Я люблю тебя всем сердцем, всей душою, не хочу и слушать, что о тебе говорили некоторые. Так это или не так — мне все равно! Я же сейчас ничего от тебя не требую, кроме твоего согласия. Поверь мне, моя конопляночка, что только бы ваши согласились, а то вот

мой крест, пусть меня испепелит Архангел Михаил, если только я не женюсь на тебе!

По голосу парубка Петр сразу опознал в нем Михаила Гноевого. Сословная неприязнь к иногородним сразу же вскипела в его груди. Не задумываясь, он выплеснул ведро воды прямо на головы неосторожной пары.

— Ой, Боже! Кто это? что за дурость? — закричала Приська, но, узнав Петра, сразу же убежала в хату. Кинув порожнее ведро в сторону, Петр навалился на ошеломленного холодным душем Гноевого и начал его колотить, приговаривая:

— Ах ты, городовицкая душа! За двенадцать верст притёпал казачим девчатам голову мутить?! На, на тебе!

Сопровождая тумачи крепким матом, Петр старался стянуть с Гноевого штаны с кальсонами, пускай мол, в одной рубашке, с позором, возвращается в свою городовицкую нору. Но это ему не удалось. Михаил выскользнул из его рук и, что есть духу, пустился бежать к дороге, прямо через бахчу и подсолнухи. Саженой пятьдесят Петр гнался за ним, но видя, что не может догнать, решил вернуться, сесть на коня, настичь быстроногого городовика и батогом так нашлапать незадачливого баламута, чтобы он забыл и дорогу к Приське.

Но пока Петр вернулся к хате, где у яслей стояли лошади, он передумал и остыл в своем гневе. Уже заалел восток, и надо было хоть полчаса соснуть. Он взобрался на бричку со свежескошенной травой; не раздеваясь и ничего не подостлав, растянулся и через минуту уже крепко спал...

ГЛАВА VIII.

Перед праздником Рождества Иоанна Крестителя, 24-го июня, — или, как говорили, — в ночь под Ивана Купалу, — многие девушки, тайком от парубков, готовились к ночному высиживанию заветного „цветка счастья”, о котором рассказывал дед Охрим Пантелеевич вечером после Фомина Воскресенья.

В эту ночь, по стародавним преданиям, всякая „нечистая сила” получала неограниченную свободу в отношении людей. Живущие на дне речки русалки выходят на поверхность и хватают всякого, кто находится на берегу, и затягивают на дно. Умершие некрещенными дети играют при луне на ветках деревьев и кидаются на всех случайных прохожих. Домовые заплетают гривы и хвосты у лошадей. И много, много происходит страшных явлений в ту ночь на грешной земле.

Некоторые верили этому и сидевшую на пне сову принимали за „некрещенного ребенка”, плеснувшуюся в речке большую рыбу — за русалку, а игру в гривах лошадей небольших зверьков - ласок считали проделками „домового”. Другие, особенно молодые парубки, мало верили этому, но им была дорога старинная традиция и возможность использовать чужое суеверие для веселых забав.

Едва последние краски вечерней зари потонули в темной синеве неба, как на высоком бугре уже запылали костры, и девушки стали прыгать через них, произнося одно, только им известное, имя.

Кислая Оксана и Приходько Катерина твердо решили высидеть в конопле всю ночь и дожждаться заветного цветка. Они оделись в темные юбки, захватили с собой большие шали, чтобы накрыть голову, когда появится „навождение”, взяли Евангелие; прошли затем в самую середину конопли, выросшей к этому дню выше человеческого роста, зажгли свечку и, воткнув ее в землю, уселись в тревожном ожидании момента цветения папоротника.

Цветение папоротника и получение его цветка считались делом нечистым и греховным. Девушки сами не понимали, что делали: шли за бесовской помощью и в то же самое время держали в руках святое Евангелие. Но они не вдумывались в это, а раз дед Охрим говорил, — значит, так и надо!

Приська и Гашка тоже отправились в свою коноплю, росшую в небольшой балке. Евангелия у них не было, и они уселись с одной зажженной свечкой, со страхом ожидая ночных привидений и падения к ним цветка папоротника.

Неверившие в эти легенды парубки-„розбышаки” ходили в эту ночь по делянкам с коноплей и пугали суеверных девушек.

К таким „розбышкам” принадлежал и Петр, благо в этот вечер Даша уехала в станицу, и ему от скуки захотелось попроказничать. Его друг и ровестник, Николай Шевченко, осуждал парубков за такие проделки и с уважением относился ко всяким девичьим приметам, но, когда ему что-нибудь предлагал Петр, — он не мог ему отказать в своем содействии.

Это был сильный высокий парубок, с вьющимися русыми волосами и серыми мечтательными глазами. Отец его, Шевченко Василий, 42-летний казак, имел хозяйство небольшое. Пять лет тому назад он овдовел, оставшись сам с тринадцатилетним Колей и пятилетней Ньюрой. Жениться вторично не захотел, а так и жил с детьми без хозяйки, иногда на летний сезон нанимая работницу.

Николай был влюблен в Кияшко Гашку, но об этом ей не говорил; боялся, что она посмеется над ним, и тем все дело и кончится. Поэтому-то он и дружил с Петром, стараясь угождать ему во всем...

С ним Петр и решил попугать девок в конопле.

Уже стемнело, а Петр все сидел возле своей хаты, поджидая Николая, который почти всегда в сумерках заходил к нему, а тем более, перед праздниками. Не дождавшись, он решил, что друг его, вероятно, забывши — какая сегодня „страшная” ночь, понес на речку ставить сетки. Он прошел к его куреню, и не найдя там Николая, направился к речке.

Николай, действительно, пошел к речке наловить на завтра свежей рыбы. Был Петров пост, и мяса есть не разрешалось.

Николай, действительно, забыл, что наступает такая ночь, в которую многие боялись даже близко подходить к речке. Отец, уезжая в станицу, сказал, чтобы завтра не работали — праздник, а какой праздник — не напомнил.

С двумя сетками на плечах, он смело сел в стоявшую у берега лодку, уперся длинным шестом о грунт и ровно поплыл по тихой воде. Обогнув шумевший от слабого

ветерка камыш, выбрал удобное место, поставил обе сети и поплыл обратно к берегу.

Речная рыба, играя, то и дело выплескивалась на поверхность и, сверкнув своей чешуей при лунном свете, опять скрывалась в воде. Николай хотел уйти к своему „кошу“, чтобы только утром снять сети, но, заметив, как поплавки на верхнем шнуре сеток сразу же стали шататься из стороны в сторону, что показывало на уже попавшуюся в них рыбу, решил обождать. Через час-два можно было повыплутать пойманную рыбу, унести ее до коша, и завтра, пока он будет спать, работница нажарит свежих линьков и окуней или сварит уху.

Приняв такое решение, он вытянул лодку на берег, уселся в ней и стал задумчиво смотреть на рябившуюся гладь речной поверхности. Сзади поднималась высокая круча, поросшая сверху колючими будяками, осотом, круглым, колесообразным „рыжием“ и высоким, с листьями, как у люцерны, буркуном. Впереди, на поверхности воды, ровной дрожавшей полосой из безчисленных волшебных искорок лунного света, серебрилась дорожка.

У Николая стали смыкаться веки, но он крепился не заснуть и широко-раскрытыми глазами смотрел — то на игравшую на поверхности воды рыбу, то на стену колеблющегося с легким шорохом высокого камыша, в котором, ему казалось, кто-то спрятался. Подперев голову ладонью, он смутно думал о той „любимой“, которую он еще не знал, но которая безусловно есть на свете и должна быть его...

Легкий ветерок ласкал лицо, как бы убаюкивая...

И вдруг ему представилось странное видение. Отраженная в реке — яркая, стоявшая высоко над горизонтом луна задрожала, распалась на множество кусочков и исчезла в воде, отчего стало совершенно темно. Потом что-то зашумело, заиграло словно на гармошке или на гитаре и вся поверхность воды озарилась внезапно ярким светом. Густой камыш широко раздвинулся, и из него показалась голова молодой красивой девушки. Она смело вышла из воды, стряхивая рукой запутавшихся в волосах небольших раков, и направилась прямо к Нико-

лаю. Он замер от удивления и молча смотрел на ее движения.

Длинные зеленоватые волосы, в которых красиво переплеталась растущая на дне реки трава и куширь, были распущены по оголенным белым плечам. Ее стройный стан охватывало легкое белоснежное платье. Глаза были устремлены в одну точку: туда, где сидел Николай.

Она подошла к лодке и тихо и нежно заговорила:

— Спасибо тебе, молодой козаче, что хоть ты один навестил нас сегодня. Ваш мир в эту ночь почему-то боится и близко подходить к нашему царству, а ведь мы тоже предназначались для вашего мира, да вышло иначе, — и улыбнувшись, она наклонилась к Николаю, ласково заглядывая в его лицо.

Николай, очарованный и ее красотой и всем, что видел и слышал, сидел, не смея молвить ни одного слова. Он оглянулся вправо на речку и увидел, как из воды выскочили несколько маленьких детей, все в белых прозрачных платьицах, и на бегу сбрасывая с головок застрявший в волосах куширь, подскочили к девушке и в один голос звонко закричали:

— Наша мама, наша царица!

Николай теперь понял, что эта девушка никто иной, как русалка, но странно, что он не испугался, а был совершенно спокоен.

— Вот наш гость сегодня! — сказала детям русалка, показывая рукой на Николая.

— Наш гость, наш гость! — радостно запрыгали около него дети и как бы носились в воздухе, не касаясь земли. -- Милый дядя! Ты сегодня пойдешь к нам, мы тебе хорошую постельку приготовим, песенку споем! Пойдешь? Ну, конечно, пойдешь: ты теперь ведь наш!

Николай молчал и умиленно смотрел на них. „Кто они, чьи это дети?“ -- думал он.

Русалка подвинулась к нему вплотную и, глядя в его глаза завораживающим нежным взглядом, тихим, точно журчанье ручейка, голоском сказала:

— Чего же ты молчишь? Или не любишь меня; может, я не красива? А ведь я пришла тебе сказать, что лю-

блю тебя за твою смелость притти сегодня сюда и быть возле нас. Скажи, чего ты хочешь?

— Поцелуй меня! — вдруг, неожиданно для самого себя, выпалил Николай, все больше и больше подчиняясь зову вспыхнувшей в нем страсти к обольстительной красавице.

Дети еще звонче засмеялись, а русалка зашептала в ухо:

— Идем со мной, милый парубок. Там буду целовать тебя сколько захочешь, и мы вечно будем вместе! У нас жизнь не ограничена временем — мы живем вечно! — и она слегка коснулась его левой руки.

Николай был побежден. „Это она, это та, о которой я так часто безпредметно мечтал”, думал он и решил идти с нею, куда угодно, ни о чем не думая.

Девушка, смеясь, увлекала его за собой, и Николаю показалось, что он уже стал босыми ногами в воду. Он вспомнил, как отец часто говорил ему: „когдаходишь в воду, да еще ночью, обязательно перекрестись!” Так и теперь, ступнув ногой в воду, Николай по привычке осенил себя крестным знаменем. В тот же момент красавица резко выдернула свою руку и заплакала.

— Неблагодарный козаче, зачем ты сейчас перекрестился? Теперь я не буду твоей и целовать тебя никогда не стану.

Николай остановился:

— Кто же ты такая? Почему тебя испугал обыкновенный православный крест?

-- Зачем тебе это знать? Теперь ты стал опять чужим для нас и моим не будешь, а как я хотела этого!

- - Почему же я стал чужим? Ведь и я полюбил тебя с первого взгляда и пойду с тобою, куда хочешь! Но скажи, кто ты?

— Нет, не пойдешь, — покачала головой и грустно сказала она. — Кто я? Не знаю. Просто, я никто...

— Как так „никто”? Чья же ты, откуда, как твое имя?

— А так и есть, что я никто и ничья, и имени у меня тоже нет, — отвечала дрожавшим голосом русалка. — Лет шестнадцать назад злая мать родила меня под этой

кручей и сразу же бросила в речку. Зачем она так поступила, не знаю. И если бы у меня была не такая мать, то я сейчас жила бы и гуляла вместе с вами и, может быть, даже с тобою, милый парубок. Но я выросла на дне речном, в кругу таких же, как и я. Ах, если бы я знала свою мать!? Меня в нашем царстве уважают и любят, называют старшей, но я... — и она опять заплакала.

Николаю и страшно стало от ее рассказа и, в то же время, жаль было смотреть, как ее слезы, словно звездочки, катятся по вздрагивающим от рыданий щекам.

— Несчастливая, ангел мой, неужели ты уйдешь от меня? — сказал он с мольбой в голосе.

Русалка опять повернула к нему лицо:

— Сделай обратный крест!

— Как?

— Да так: сначала положи пальцы правой руки на левое плечо, потом на правое, затем на грудь и в конце на лоб.

Николай силился сделать это и не мог, злясь на свое бессилие.

— Сорви с себя крестик!

Николай схватил рукой шнурок висевшего на шее небольшого серебряного крестика, рванул и бросил крестик на землю.

Русалка торжествующе засмеялась, дети радостно захлопали в ладоши.

— Ну теперь ты мой, пойдем в мой дом! — сказала она и снова взяла его за руку. Николай обхватил ее стан и начал страстно целовать, но взаимности не чувствовал.

Вдруг он ощутил сильную встряску, потом грубый толчок — один, другой. Русалка и дети вмиг исчезли в воде, все вокруг задрожало, задвигалось. Еще один болезненный удар по колену и... голос:

— Да вставай же ты, идол! вздумал где спать! Никак не могу разбудить; толкаю, толкаю, а ты только сопишь и губами чмокаешь! — ругался Петр, тормоша уснувшего в лодке товарища, лежавшего, уткнувшись носом в мокрую часть дна.

Николай испуганно вскочил и, переводя взгляд то на

стоявшего рядом Петра, то на шумевший камыш, начал креститься.

— Что ты вздумал на меня молиться, я же не икона?

Николай немного помолчал, потом задумчиво спросил:

— А какая сегодня ночь, что за праздник завтра?

— Да разве ты забыл? — Ночь Ивана Купалы! В этот вечер ни один крещенный к речке не подходит, а ты...

— Да не может быть! — перебил его Николай. — От едят его мухи с комарами, как же это я из виду выпустил! Батько мой сказал: „завтра праздник”, а какой... я балда - не спросил. - Он провел рукой по лбу: — Неужели это сон был? Какая красавица ко мне из воды приходила, зачем ты так скоро разбудил, я не успел налюбоваться ею! — и Николай рассказал подробно все, что ему приключилось.

— Хорошо, что я тебя разбудил, а то она, наверное, затянула бы тебя на дно речное. Давай поскорее уходить отсюда! — серьезным тоном сказал Петр. — Идем лучше выпугивать девчат из прядева. Для этого я тебя и искал сейчас.

— А я думал, что ты как всегда с Даншей, и решил не беспокоить вас, а взял сети, да и пошел на речку, чтобы завтра иметь свежую рыбу. Рыба плутается сильно, я и решил посидеть немного, подождать, чтобы повыплутать несколько десятков и потом уже итти назад... Да и заснул...

— В том-то и дело, что моя дивчина поехала сегодня в станицу и будет только дня через два в степи. От нечего делать я хочу почудачить эту ночь, но одному нет охоты; с тобой куда интересней будет...

Николай пошарил рукой вокруг шеи и обнаружил, что шнурок, на котором был крестик, разорван на две части, и только случайно он не потерял своего креста, который носил не снимая уже восемнадцатый год.

— А русалка на самом деле была возле меня. Смотри, шнурок на крестике перервала! — и он боязливо взглянул на речку.

Петр посмотрел на шнурок и неуверенно сказал:

— Это тебе во сне мерещилась всякая ерунда, и ты сам себе и перервал шнурок.

— Не знаю, может так, а может и не так...

— Ну, так или не так, пойдем скорее от твоих русалок к нашим живым девушкам!

— Нет, я не пойду пугать девчат в прядеде.

— Почему? Может, хочешь повыплутать рыбу из сетей? Так давай, поедem скорее, выплутаем, сколько тебе нужно и айда назад!

— О, нет! На речку теперь я совсем не пойду, ни ночью, ни днем! А за сетками и рыбой завтра пришлю работницу!

— Ну так, а чего же ты сидишь тут? Хочешь еще раз заснуть и дожидаться подводной красавицы? Пошли!

— Сидеть я здесь, конечно, не буду, — сказал приподнимаясь Николай, — но и ходить по черным квадратам прядеда и лякать наших девчат — тоже не хочу.

— Почему?

— А к чему это? Что они нам мешают? Да, может, я теперь и боюсь!

— Ну ты брось голову дурить! Если ты испугался того, что во сне видел, то какой же ты после этого казак? Пошли! Зайдем до нашей хаты. Там осталась недопитая бутылка горилки, так мы ее прикончим, и тогда веселее будет.

Николай не спеша вытащил на сухое место лодку, спрятал в бурьяне длинный шест, чтобы кто-нибудь не угнал его „корабль” на другую сторону речки, и с неохотой пошел за Петром к его хате, все время оглядываясь назад.

Когда подошли к хате, Петр полез в стоявший в уголку небольшой сундучек, достал оттуда почти полную бутылку водки, налил в две глиняные кружки и за „добре здоровячко” хлопцы осушили их до дна. Кружка горилки успокаивающе подействовала на Николая. Настроение приподнялось, все страхи исчезли, и он уже без возражений подчинился всем предложениям Петра.

Они надели вывернутые шерстью наружу кожухи, прикрепили сзади длинные хвосты из конских волос, на го-

ловы нацепили откуда-то добытые Петром большие коровьи рога, лица вымазали в сажу так, что только зубы блестели. В таком виде два друга направились к ближайшим полям соседей, к тем местам, где в ночной полутьме вырисовывались черные квадраты конопли. У Петра еще оказался пустой рог, в который он решил трубить.

Едва они приблизились к конопле соседа Иващенко, как оттуда выскочили три чьих-то девушки и с криком ужаса бросились бежать, призывая всех святых на помощь.

Отсюда друзья направились в коноплю Кияшко, на свою делянку. Тихонько отклоняя в стороны высокие твердые стебли конопли, они сразу же заметили Приську и Гашку, сидевших лицом к воткнутой возле них горевшей свечке. У Николая сердце екнуло, когда Гашка, услышав шорох, слегка приподняла в его сторону голову. С карими лукавыми глазами, тонкими, „как шнурок”, черными бровями, нежным белым личиком в рамке распущенных по обе стороны каштановых волос — она, поистине, походила на сегодняшнее сказочное видение. Игра теней на лице Гашки от слабого света свечки в чаще зеленой конопли усиливала очарование.

Он пригнулся и застыл на месте, забыв зачем пришел.

— Чего ты стал с разинутым ртом и вытаращил очи, як баран...? — толкнул его в бок Петр.

— Свят, свят, свят Господь Саваоф..., — ревностно крестясь, зашептала Гашка, услышавшая какой-то подзвонительный шорох.

— Не пугайся; смотри, не убегай; не бойся, крепись! Все это сейчас исчезнет! — внушала сестре Приська, стараясь побороть свой собственный, все нарастающий страх.

— Бээ, бээ! — заревел в рог, по-бычьи, один „призрак”.

-- Ай, ай Боже! Караул, спасите! -- пронизительно закричали перепуганные девушки и, как оглашенные, кинулись бежать, оставив в конопле перевернутую потухшую свечку.

Посмеявшись, проказники направились к конопле Терентия Кислого, в которой, они были уверены, сидит Оксана и ее подруга Катерина Приходько. Оба „розбышаки” хорошо знали, что эти две девушки самые неустрашимые и в то же время самые суеверные в станице, и испугать их так, как это только что удалось с Приськой и Гашкой, вряд ли удастся. Все же они решили, во что бы то ни стало, спугнуть и этих упрямых девок.

Тихонько подкравшись, они отыскивали Оксану и Катерину, сидевших посреди конопли с зажженной свечкой и Евангелием в руках. Послышался тихий смех Оксаны, говорившей что-то своей подруге.

Обойдя коноплю, они начали с двух сторон на четвереньках ползти к девушкам, с бычьим ревом и собачьим рывканьем, угрожая ударить рогами.

Катерина в ужасе крестилась, плотно накрыв голову шалью.

— Ничего, Катя, не бойся! — подбадривала подругу Оксана, тоже накрываясь шалью. --- Это только так кажется, а на самом деле ничего нет.

Что только парубки не предпринимали, и юбку рогами поддевали, и по шеям хвостами водили, и мычали, и рывкали — ничего не помогло. Девушки не убегали, а только еще больше уматывали головы шалью и неистово читали разные молитвы и заклинания.

Парубки бросили их и выползли из конопли.

— Знаешь что, Катя, — сказала Оксана, — если еще раз выдержим какое-либо навождение и не убежим отсюда, то цветок папоротника непременно упадет на нас. Ха-ха-ха!

Упорство дивчат раззадорило парубков. Они решили добиться своего, тем более, что одна из них Оксана, дочь помощника атамана, считалась самой задорной и заносчивой в станице.

Петру пришла в голову дикая мысль, и он поделился ею с товарищем. Николай вначале решительно отказывался, потом махнул рукой:

— Ну, если они окажутся такими дурами, то почему нам не попробовать... Если мы этим сгоним их с места,

если они догадаются и убегут, — хорошо, пускай бегут, а если останутся, — то нам еще лучше...

Сняв с себя всю одежду и надев на голое тело только вывернутые кожухи, с теми же коровьими рогами на голове и хвостами сзади, друзья опять той же дорожкой направились к неустрашимым девушкам.

Раздвигая стебли конопли, они подошли совсем близко к ним. Катерина подняла голову и настороженно прислушалась. Николаю опять показалось, что это не Катя Приходько, а, точь-в-точь, та русалка, которая недавно приснилась ему на берегу. Сходство было поразительное.

— Это она, — прошептал Николай. Но ведь я же сейчас не сплю, почему же вижу второй раз одно и то же лицо? — думал Николай и не двигался дальше.

— Чего ты стоишь, как чурбан? — строго шепотом спросил Николай.

— Там... русалка. Не пойду, — ответил волнуясь Николай.

— Где, какая русалка?

— Вон, приподняла голову, — и Николай указал на Катерину.

— Ты что, от одной кружки сивухи опьянел или совсем помешался? Не видал никогда Катерины! Мерещатся чудачу всякие там русалки!

— Да, видал; но она и русалка, точь-в-точь, одно лицо. Смотри!

Катерина, освещенная слабым светом, с застывшим в неподвижности лицом, взаправду выглядела волшебной красавицей. Она, в один миг, заморозила Николая. Он сам удивлялся, как это он раньше о ней совсем не думал, не замечал ее, а встречался ведь часто.

Грубый толчок в бок, а затем тихое ругательство Петра, заставили его очнуться и подчиниться приказам своего друга. Не затем же они пришли, чтобы любоваться на девчат, а чтобы почудить с ними в эту ночь. Николай мотнул головой, как бы отгоняя навязчивых мух, махнул рукой и, сам усмехнувшись своему сравнению Катерины с русалкой, пошел за Петром...

Петр бросил издали на головы девушек застреленную днем „шулику” (коршуна), но те только крестились, оглядывались по сторонам и продолжали сидеть...

Заметив вторично подходившее „навождение”, девушки снова быстро накрыли головы шалью, решив выдержать любое испытание.

Петр, зарываясь по-зверенному, подполз к Оксане и перевернул ее на спину. Оксана ничуть не сопротивлялась и крепко держала обоими руками намотанную на лице шаль, чтобы „навождение” ее не сдернуло.

Видя, что все идет так, как он и хотел, Петр распахнул свой кожух...

Другое „навождение” накинuloсь на Катерину...

Катерина почувствовала неладное, рванулась, вскрикнула, но было поздно...

Оксана, тяжело дыша, продолжала бормотать Катерине, что это так только кажется, а на самом деле ничего нет. Надо все вытерпеть и не бояться, чтобы получить цветок папоротника...

Хлопцы, оставив девушек, быстро выскочили из конопля. Николаю вдруг стало жаль Катерину, и он сказал об этом Петру.

— А что, разве она еще ни с кем не была? — спросил Петр.

— В том-то и дело, что нет. Зачем же я так посмеялся над нею...

— Пусть не будет душой. Зато я спокоен, оказалось, что Оксане это уже не в первый раз.

— Да-ну?

— Ей-Богу! Я слышал и раньше про это, а теперь сам убедился. В общем, девчата сегодня дождались добрых „цветков”, ха-ха-ха! — захохотал Петр. — Пойдем теперь до хаты, допьем бутылку, да и спать. На сегодня хватит, а то уже вон и заря занимается.

Николай после стакана водки почувствовал еще сильнее угрызения совести. Хотя он был теперь почти пьян, но уснуть не мог.

Только он начинал дремать, как перед ним появля-

лась русалка, которая все время повторяла: „Зачем ты крестился? Зачем ты крестился?“..

Он вскакивал, крестился, ложился на другой бок, но тут видел вместо русалки Катерину, заплаканную, бледную, которая, наклонившись над ним, шептала: „Зачем ты это сделал? Зачем ты так поступил со мной, Коля? Зачем ты так сделал?“

Кошмары мучили его до восхода солнца. И только, когда работница пошла уже доить коров, он заснул, натянув на себя рядно, но у него непрерывно звучало в ушах: „Зачем, зачем, зачем?..“

Проснулся он перед полуднем. Голова с похмелья была, как пятипудовая гиря. Вспомнив все события минувшей ночи, он решил сейчас же итти до коша Приходька, упасть перед Катериной на колени и просить прощения, но в это время увидел шедшего к нему ухмыляющегося Петра и оставил свои намерения до следующего раза. Он только стал очень просить своего друга, чтобы об их поступке он никому не рассказывал. Конечно, парубков за это не только не обвинили бы, но почитали бы чуть ли не „героями“. Смеялись бы только над глупыми девушками. Николай не хотел, чтобы его „геройство“ стало известно. Он жалел девушку.

Так девчата и не знали, кто над ними посмеялся в злощастную ночь под Ивана Купалу.

Катерина в ту же ночь окончательно поссорилась с Оксаной, обвиняя, что она и ее „подвела под монастырь“. Другим девкам они сказали, что в этом году, мол, совсем не ходили сидеть в коноплю, чтобы не вызывать подозрений.

Душевное смятение у Николая вскоре прошло. Он стал опять увиваться за Гашкой и почти совсем забыл и про Катерину и про то, что случилось в конопле у Кислого...

**

После полудня в тот же день к Петру зашел с ружьем сын хуторского лавочника картавый Лебедь Яков, которого все дразнили „Шепылявка“.

— Пойдем со мной на лъечку, к камышу, поохотимся вечейком на уток, — сказал он.

— А зачем их стрелять? Ведь сейчас же Петровка, пост, и мяса все равно нельзя есть, — ответил Петр.

— Это у вас там нельзя, а у нас же дома мы всегда едим, что пожелаем. Пошли! Что плისტлелишь, я куплю. Гйивеник дам за каждую утку.

— Ладно. Только возьмем еще и Николая, зайдем до коша Шевченка по пути.

Забрав свои двухствольные курковые ружья, Петр и Николай вместе с Яковом Лебедь пошли к речке.

Возле берега, заросшего густым камышом, они заметили около десятка диких уток-„крякух”, то выплывавших на чистоводье, то опять скрывавшихся в зарослях.

Николай с Яковом присели за кустом, ожидая, когда утки поднимутся в воздух, чтобы стрелять их на лету. Петр, замаскировав себя большим пуком зеленого камыша, начал медленно подползать с другой стороны к месту, где утки выплывали играть на чистоводье. Приблизившись на четвереньках к намеченному месту, он прилег и стал ожидать появления дичи. Не прошло и минуты, как сажень в десяти от него из-за камыша выплыла пара уток, самец и самка, и начали гоняться друг за другом, как бы играя.

Петр взвел курок и прицелился. Самец так любовно увивался возле ничего не подозревавшей самки, что не трудно было угадать его привязанность к своей быстрокрылой подруге. Самка тоже, наклонив к нему свою голову, казалось, внимательно слушала его любовные признания, слегка кивая и протягивая шею.

Петр заинтересовался этой сценой и не спешил стрелять. Ему невольно представилась картина: вот и он так же со своей любушкой Дашей сидит под деревом или на зеленой траве, и так же какой-нибудь недруг прицеливается из ружья, чтобы прервать их счастье или каким другим путем хочет разлучить их. Как чувствовал бы себя тогда он, Петр?

Ему стало жаль стрелять в этих уток, и даже совестно, что он собирался это сделать. Петр опустил курок,

взялся левой рукой за ствол ружья и выпрямился во весь рост, сбросив с себя маскировавший его зеленый камыш.

Самец и самка испуганно взглянули на стоявшего человека, но не взлетели, а по воде скользнули в заросли камыша.

Петр улыбнулся, выстрелил вверх, вспугнув этим уток на другом берегу.

К нему подбежал Яков Лебедь.

— Ну что, так ни одной и не убил? — спросил он.

— А зачем это нужно?

— Как зачем?

— Да нам это не нужно, а тебе что: нечего есть? Другого мяса нехватает, что пришел за тем, чего не растил и не холил? Разве можно в таких милых уток стрелять? Пускай живут себе на здоровье!

— Дульяк! — отрезал Яков и пошел прочь от него.

— Ну ты, шепелявка, смотри мне! А то я дам тебе „дурака!“

Николай тоже подошел и непонимающе смотрел на своего друга. Петр рассказал ему в каком положении он заметил пару уток и почему пожалел лишать жизни такую „влюбленную пару“, добавив, что у птицы, наверное, тоже есть душа, и они тоже могут любить друг друга, а только люди их не понимают. Разве эти утки делают вред людям?

Николай сначала улыбался, а потом согласился:

— Ты прав, ведь мы же их не растили? Они ведь не наши, а Божьи, а мы пришли с оружием в руках забрать это Божье! Да и зачем?

В такой душевной приподнятости оба „охотника“ возвратились домой.

Уже смеркалось, и Петр направился к куреню Костенко. Даша приехала из станицы раньше, а не через два дня, как думал Петр, и ее фигура виднелась возле своих коров.

Николай, не имея своей „загулянной“, пошел к поднимаемым дивчатами огням.

О проделках минувшей ночи оба парубка уже забыли...

ГЛАВА IX.

Когда наступала на несколько недель, или даже дней, передышка в полевых работах в степи, многие станичники отправлялись на строительство Черноморской железной дороги, которое этим летом наиболее интенсивно проводилось как раз в районе Старо-Минской и соседних с нею станиц.

Строилась дорога при деятельном участии станичных обществ, через которые она проходила. Эти общества, кроме отвода своей земли для новой дороги, дали еще сто семнадцать тысяч рублей из своей казны и обещали участвовать в работе живой силой, людьми и лошадьми с подводами; разумеется, за плату. Остальные средства в виде субсидии дало государство, но были также выделены значительные суммы из Кубанской Войсковой кассы. Тяжесть постройки ложилась, главным образом, на заинтересованные в ней станицы Ейского, Таманского и Екатеринодарского отделов, и новая железная дорога — „Черноморка” — была собственностью станиц бывшего Черноморского Войска, в частности, а всего Кубанского Войска в целом.

От станицы Куцевской, где она соединялась с Владикавказской железной дорогой, новая Черноморская дорога шла через станицы: Шкуринскую, Канеловскую, Старо-Минскую, Ново-Минскую, Стародеревянковскую, Каневскую, Брюховецкую, Тимошевскую. Дальше, через станицы Полтавскую, Славянскую и другие, полотно прокладывалось до Крымской, а там снова связывалось с Владикавказской дорогой, проходившей от Новороссийска через Крымскую и Екатеринодар до Тихорецкой до главной Владикавказской магистрали...

Некоторые парубки, не желая кланчить у своих отцов карманные деньги на горилку, на помаду дивчатам и другие подобные потребности, в свободное от полевой страды время шли работать на строительство в течение нескольких дней или недель. Получив заработанные деньги, они имели право оставить себе сколько нужно, чтобы по праздничным дням веселиться уже на собственные деньги

или справить себе обновки по своему вкусу, а остальные отдавали отцам, чем неплохо помогали всей семье...

Ходил подрабатывать и Кияшко Петр. Никто ему в том не препятствовал.

После Ивана Купалы в станице началась Ивановская ярмарка, и Петру захотелось поработать еще два-три дня, чтобы в праздник Петра и Павла добре погулять, а потом уже до самого Покрова работать только в своем хозяйстве.

Еще с мая десятник всегда, когда Петр приходил на работу, ставил его с двумя постоянными рабочими разравнивать насыпь песком и землю, которую подвозили к ним грабари. Его коллеги оказались людьми неважными: оба были пьяницы, картежники...

Один — из промотавшихся казаков станицы Канеловской, с приземистой фигурой, темными некогда нечесанными волосами, небольшим вздернутым носом и серыми „бегавшими” по сторонам глазами. Это был двадцатилетний холостяк Кавардак Иван.

Другой был совсем темной личностью. Происходил он якобы из Самары, прожил несколько лет на Енисее, в Сибири. Говорили, он в Сибири отбывал ссылку за какое-то злодеяние. Он был высокого роста, с рыжими вьющимися на висках из под старой бескозырки волосами, с большим горбатым носом, голубыми, почти белыми, всегда прищуренными глазами и небольшим ехидно улыбавшимся ртом. Ему можно было дать немногим больше тридцати лет, и звался он — Машуткин Лука.

В свободное после работы время эти два человека вечно сидели в кабаке или играли с другими такими же в „очко”.

С некоторых пор, к большому удивлению Петра, Бошановский Геннадий начал часто сидеть с ними в кабаке и без меры и счета угощал их выпивкой. После того как Петр немилосердно намял ему бока, Геннадий целый месяц не показывался в станице, но недавно опять приехал с хутора и почти постоянно жил у своего дяди. Было трудно понять, какая причина заставляла Бошановского, сына весьма состоятельных родителей, водить компанию

с двумя такими пьяницами и картежниками, в особенности с Лукой — голодранцем без роду и звания.

Как-то вечером Кавардак и Машуткин сидели в кабаке и играли в карты с другими рабочими. Бошановский, сидевший вначале с ними, отошел к другому столу. Он в карты не играл. Его собутыльники Кавардак и Машуткин, тем временем пропустили все наличные деньги, да еще и в долг один проиграл десять рублей, а другой — пять. За их столом разгоралась драка. Кавардака и Машуткина партнеры схватили уже за глотки и требовали деньги. И плохо бы пришлось обоим, если бы не вмешался Бошановский.

Он встал, подошел к дравшимся и крикнул:

— Стойте! Пустите их! Я заплачу их проигрыш, сколько?

Ему сказали. Бошановский отсчитал пятнадцать рублей и отдал. Потом позвал обоих пострадавших игроков за отдельный стол и заказал для них водки и закуски.

— Добрый ты человек, Геннадий, не знаю, как и чем мы тебя сможем отблагодарить? — сказал Кавардак, протягивая руку за налитым стаканом. — Если бы не ты, покалечили бы они нас сегодня.

- - Что пожелаешь, все для тебя сделаем; ни перед чем не остановимся! — поддержал его Машуткин.

— Да, долг платежом красен, - - как бы про себя буркнул Геннадий, потом серьезно поглядел в упор на обоих. — Согласны ли вы исполнить одно мое желание, вернее, задание?

— Любой твой приказ будет исполнен, — в один голос заявили Кавардак и Машуткин.

— Если вы сделаете то, что я вам скажу, то не только эти пятнадцать рублей вам прощу, но еще дам пятьдесят рублей и буду поить за свой счет в этом месте каждое воскресенье!

— Какой ты добрый парубок! — сказал Кавардак и полез целоваться с ним. — Говори, что хочешь?

— Вы знаете Кияшко Петра, он с вами на Черноморке работает? — полушепотом спросил Бошановский.

- - Ну а как же! — ответили оба. — Вместе ворочаем

лопатой. Скупой такой, что никогда не дал нам и на чарку горилки. И зачем ему деньги? Хозяйство у отца большое, а он работает вместе с нами!

— Так вот что, хлопцы. Этот Петр злейший мне враг на свете. Много он зла мне уже сделал и все время мне мешаает. Уберите его с моей дороги, совсем уберите! Понимаете?

— То-есть, как это „совсем”? Убить, что-ли? - - с утислением спросил Кавардак.

— Понимай сам, как хочешь, хотя бы и так, -- пристально глядя на него, прошептал Геннадий. — Нам об-им жить нельзя!

— А это легко можно будет устроить, раз-два и нет! — спокойно сказал Машуткин. — Завтра поедем с ним за шпалами, которые подвозят с Ейской станции, толкну его под паровоз и все...

— Нет! Нет! Ни в коем случае! - - решительно возразил Кавардак. — На православного человека, да еще на казака, у меня рука никогда не поднимется, и другим не позволю. Если бы это был какой-нибудь нехристь, басурманин, то чорт с ним, я бы долго не думал. Но своего казака, пусть даже и негодяя... - - такое дело не пойдет!

— Ну чтож, тогда гоните назад мои пятнадцать рублей и больше от меня никогда ничего не получите! — разозлился Бощановский.

— Да где же мы их возьмем? — ответил Кавардак.

— Значит, такие вы друзья! Только сейчас оба обещали, что „любое твое желание будет исполнено”, а теперь что?

— Иван! Да чего ты бабу из себя корчишь? --- сказал Лука. — Что тебе Петро, сват, брат, что ли? Да я таких, несколько лет тому назад, двоих... — он запнулся и замолчал.

— Конечно, Геннадий, мы обещали и обязаны тебе услужить, но... ей-Богу, я не знаю, как, — проговорил Кавардак. — Ты придумай другой способ убрать с своей дороги этого Петра, но только не убивать...

Бощановскому самому стало неловко от такого своего предложения, но желание отомстить Петру за мордоб-

тие зашло слишком далеко, и слепая надежда добиться согласия у Даши Костенко толкала его на любой шаг. Он долго сидел молча, потом допил из стакана водку и, как-бы очнувшись, сказал:

— Хорошо! А если это был бы не наш русский, православный, а перс, мусульманин! Ты бы, Иван, согласился отправить такого к его прадедушке?

— Персюка, басурмана? — переспросил Кавардак. — Басурмана, пожалуй, можно. Басурманов бить и наши предки завещали нам! Это все равно, что перепелку, и в этом греха особого нет!

— Тогда пойдем отсюда вон туда, в кусты; там никого нет, и я вам скажу о другом, — и Геннадий указал на утопавшее в зелени кладбище.

Все трое встали из-за стола и скрылись в кладбищенских зарослях бузины и клена.

Вскоре они оттуда вышли, сосредоточенно о чем-то размышляя.

— Живет этот перс Гасан недалеко от Кияшко. Я вам сейчас покажу его квартиру, — говорил полушепотом Боцановский. — Да, вот еще что! Вчера я подобрал в одном месте кисет Петра, который он случайно уронил. Так вы возьмите этот кисет и оставите его там, после того как все уже будет сделано. Деньги, какие там у Гасана найдете, все ваши. От меня же получите не только пятьдесят рублей, что я обещал, но и еще столько же. Соберете его одежду в узелок и выбросите возле окна, а остальное я доделаю сам...

— Он, кажется, не то, что православный, но и не русский подданный, — заметил Кавардак.

— Вот именно! Гасан — торговец иностранный, продает у нас всякие фрукты закавказские, и хоть он не крупного калибра, но деньжата у него есть. А живет один.. В общем, если все сделаете так, как мы договорились, все будет прекрасно. И вы в убытке не будете, и мне сослужите службу верную...

На следующий день, в знойный полдень воскресенья, на ярмарке было полно народа. У палаток толпились па-

рубки, получившие заработанные на постройке железной дороги деньги и теперь весело проводившие свой досуг. С ними находился и Петр. К полупьяной компании парубков пристали также Иван Кавардак и Лука Машуткин.

Петр и Кавардак, заметив стоявших в стороне девчат, направились к торговцу фруктами персу Гасану купить поджаренных фисташек и сладких рожков, чтобы угостить девчат. Иван был на редкость любезен с Петром сегодня, угощал его водкой, а когда шли к персу, сказал ему тихонько:

— Знаешь что, Петрусь? Сегодня твоя Даша попала у этого Гасана финики, так он, этот поганый персюк, начал при ней так конфузить тебя, что не дай Бог! Говорил, что ты и вор и пьяница, и денег, мол, ему задолжал уже несметную сумму, а, в заключение, добавил: „Эх, жаль тебя, моя красавица, заключет он тебя, как коршун голубку, брось его, покохай лучше меня!“ Ей-Богу, так и говорил.

Гасан в это время уже прикрывал свою лавку и собирался уходить.

Петр почему-то сразу поверил Кавардаку. Даша была тоже на ярмарке, и он мог бы расспросить ее, но он как-то про это и не подумал. Он и сам один раз видел, как Гасан очень любезно обращался с Дашей, но перс со всеми покупателями обращался так же любезно, и никто его за это не упрекал.

— Эй, ты, собачья заморская морда, слышишь! — крикнул Петр, подходя к лавке. — Стой, не закрывая свой вонючий сундук, мне нужно сделать покупки у тебя и кое о чем побалакать с тобой!

— После такого хулиганского обращения вряд ли мне нужна будет твоя покупка, — ответил, запирая лавку, Гасан и, чтобы позабавить окружающих, добавил: — И как только тебя твой девушка терпит? Я бы на его месте давно тебя отшил на все четыре сторона...

Этими словами Гасан подлил масла в разгоравшийся огонь и подтвердил нашептывания Кавардака.

Петр вскипел, сжал кулаки и подошел вплотную к персу.

— Ты что, белены объелся или совсем одурел от сивухи? Что тебе от меня нужно? — прижимаясь к дверям лавки, закричал Гасан.

Но Петр в еще большем бешенстве наступал на него, видя, как со стороны подмигивает ему Кавардак.

— Да отойди ты, сатана! Тю на тебя! Тьфу! — и Гасан, сам не зная почему, вдруг плюнул Петру прямо в лицо.

В тот же момент Петр со всего размаха так ударил перса кулаком, что он сразу упал. Навалившись на него, Петр изо всей силы стал дубасить его, и разозлясь, что кулаком не доймешь как нужно „азиатскую морду”, начал душить его за горло. Увидев, что дело принимает плохой оборот, парубки силой оттащили пьяного рассвирепевшего Петра, который старался вырваться из рук и все время кричал медленно поднимавшемуся с земли персу:

— Я тебе, собака, этого так не оставлю! Я тебе, поганая заморская свинья, еще покажу, как плевать в казачье лицо! Ишь, разжирел на казачьей земле! Я тебя, как гадюку, задушу! Пустите, дайте мне добраться до этого нехрестя!..

И долго еще парубкам пришлось держать и успокаивать взволнованного Петра, пока избитый Гасан улепетывал со всех ног от своей лавки, все время оглядываясь на парубков.

Геннадий и Лука во время драки стояли тут же, не вдалеке и наблюдали за ходом ссоры. Когда к ним подошел Кавардак, Геннадий с нескрываемой радостью сказал:

— Ты, Ваня, начал хорошо; здорово свел их на драку, молодец! Вам не надо повторять, что теперь момент самый подходящий; этой же ночью все будет сделано чисто и гладко.

Он сунул им по два рубля, но просил, чтобы слишком не напивались: дело предстоит „серьезное”. Еще немного пошептавшись с ними, Бошановский удалился...

ГЛАВА X.

На следующий день лавка Гасана почему-то стояла закрытой, хотя все соседи его уже бойко торговали.

Часов в десять утра распространилась по ярмарке небывалая новость, что Гасана нашли в его квартире зверски убитым и ограбленным.

Полицейский урядник станицы Гноевой и атаман Ус, узнав о преступлении, распорядились до прибытия из Уманской участкового начальника, никого в квартиру убитого не пускать и ничего там вблизи не убирать, для чего приставили к дверям и окнам того дома нескольких казаков с винтовками, отбывавших по наряду „тыжневу“.

После обеда из Уманской прикатили, вызванные по телефону, участковый полицейский начальник и следователь. Сейчас же, в сопровождении станичного атамана, местного полицейского и станичного доктора, все направились в дом, где было совершено убийство.

При первом же осмотре обнаружили, что сундук перса стоял открытым, часть вынутой оттуда одежды была разбросана кругом, шкатулка от денег валялась на полу расколотой и пустой. Сам Гасан лежал у порога комнаты в одном исподнем белье, с задранной вверх головой и почти насквозь был проколот собственным же кинжалом, торчавшим в груди.

Продолжая осматривать квартиру, следователь нашел на полу кисет с доморощенным табаком, на котором были вышиты две буквы: „К. Д.“. Кисет не мог принадлежать Гасану, так как все соседи знали, что он не курил. В дверях толпились жившие на этой улице парубки и десятки любопытных обывателей, пришедших посмотреть такое интересное, хотя и страшное, редкое событие, случившееся на всю область впервые за несколько лет.

Следователь показал кисет парубкам.

Один из них, парубок с рябоватым лицом, Хатун Грицько, над которым смеялись, что он не мог выговорить букву „к“, взяв в руку кисет и внимательно посмотрев, сказал:

— Да ведь это „исет“ нашего Петруся „Ияшко“!

— А и в самом деле это кисет Петра, — подтвердили другие.

— Какого Кияшко? — спросили одновременно и атаман, и Гносвой.

— Та сына Тараса Охримовича, вашего доверенного, господин атаман, — ответили парубки.

— Что!? Не может быть! — удивился атаман.

— А ведь вчера Петр дрался с персом на ярмарке и чуть не задавил его там же; хорошо что парубки оттянули его, — как бы ненароком заметил тут же находившийся Бощановский.

— Да? Действительно так было? — спросил следователь.

-- Да, конечно. И не только я, ведь это видели многие парубки.

— Хорошо! Прошу прибыть ко мне завтра, в канцелярию вашего атамана!

Потом следователь повернулся к Хатуну:

— А вы, молодой человек, точно знаете и можете всегда подтвердить, что этот кисет, действительно принадлежал названному вами Кияшко Петру?

— Та это многие знают, не толь-о я. И-кисет это точно Петра, а почему он здесь о-азался, этого я не знаю, — ответил Хатун, озираясь на парубков, смеявшихся над его неумением выговорить букву „к“.

— Остальное вас не касается, — сказал следователь, записывая фамилию и адрес Хатуна. Потом, посмотрев еще раз на кисет, спросил:

— Вот что. Если это кисет Кияшко Петра, то на нем должны бы стоять буквы „К. П.“, а тут вышито „К. Д.“! Как это понимать?

Грицько долго смотрел на вышитые буквы, ничего в них не понимая, будучи неграмотным, но и тут выручил Бощановский:

— Этот кисет, вероятно, подарила Петру его девушка, Костенко Даша. И это ее буквы и вышиты здесь.

Другие парубки тоже подтвердили слова Геннадия, хотя совсем не понимали, почему кисет мог оказаться в доме Хасана.

Считая, что следы убийства уже найдены, следователь с полицейским, не задерживаясь больше в доме Гасана, ушли вместе с атаманом в правление, пригласив с собой и свидетелей.

Сняв допрос с Хатуна и Бошановского и отпустив их домой, участковый начальник и следователь, с представителями станичной власти, стали обсуждать происшествие.

Атаман Емельян Ус, относившийся к семье Кияшко с большим уважением, сначала не допускал и мысли, чтобы Петр был способен на такое преступление.

— Хотя, Бог его знает, — разводя руками, сказал всё ж таки и он, — бывает: от одного и того же дерева, а плоды разные.

— Я не хочу вникать ни в прошлое, ни в настоящее его отца и деда, — заявил следователь, — и вполне согласен с вами относительно их честности и порядочности, но парубки сейчас начинают сильно портиться. Их несомненно развращают понаплывшие с севера рабочие, находящиеся у вас на постройке Черноморки. Я еще не имею права утверждать, что преступление совершено Петром Кияшко, но надо начинать следствие с него, потому что против других улик пока еще нет.

В этот момент в дверь раздался стук, и в комнату, не спрашивая разрешения, ввалился Машуткин Лука. Он по обыкновению был выпивши, но стоял на ногах твердо и говорил отчетливо. Все с удивлением смотрели на него.

— Господа! — снимая картуз и кланяясь, начал Лука. — Господа! Считаю своим долгом сообщить вам некоторые данные, касающиеся убийства перса Гасана.

— Рассказывайте только правду, — сказал ему следователь.

— Этой ночью, — начал Машуткин, — я и мой товарищ шли от девчат, от гребли водяной мельницы, к себе домой. Проходя мимо Гасана, мы заметили, что заднее окно в его квартире раскрыто, но света не видно. Было уже около полуночи, и мы заинтересовались, почему раскрыто окно. Притаившись у плетня, стали наблюдать, что бы это значило. Вдруг видим, из окна выскакивает чело-

век с узелком в руках и, не замечая нас, пробежал как раз мимо того плетня, где мы сидели. Его мы успели хорошо рассмотреть. И кто же вы думаете? Знакомый нам парубок, с которым мы работаем на Черноморке, местный казак Кияшко Петр...

При последних словах все переглянулись. Атаман сидел мрачнее ночи и не мог ничего сказать. Следовательно стал расспрашивать Луку:

— А вы хорошо рассмотрели, кто это был; не ошиблись в личности Петра Кияшко?

— Совершенно точно, никакой ошибки! — заложив руки назад, ответил Лука. — Мы с товарищем не только узнали его, но еще и проследили, куда он пошел. Он обогнул свою улицу с севера, через балку Веселую, перелез через чужой забор и, пригнувшись по-за деревьями, прошел с узелком во двор Тараса Кияшко, то-есть, к себе домой и оттуда не выходил.

— Прекрасно! А где сейчас ваш товарищ, о котором вы говорите?

— А здесь, в коридоре, ждет меня.

— Позовите его сюда! — распорядился следователь. Кавардак Иван вошел и снял шапку.

— Скажите вот что, — обратился к нему следователь, — вы подтверждаете только что сказанное вашим товарищем, что прошедшей ночью выскочивший из окна персиянина человек был именно Петр Кияшко?

— Так точно, ваше благородие! Я хорошо рассмотрел Петра и даже видал куда он с узелком пошел, — закивал головой Иван, чуть пошатнувшись от сивухи.

— И под присягой подтвердите это?

— Под присягой? Г-м! — Иван немного замялся, потом твердо ответил: — А почему же нет? Конечно, могу подтвердить!

Записав показания Машуткина и Кавардака, следователь отпустил их домой, предупредив, чтобы они об этом пока никому не разглашали.

— Ну вот, господа! Как вы теперь смотрите на это дело? — обратился следователь к атаману и другим, сидевшим с ним в комнате.

Атаман молчал. Участковый начальник встал и сказал:

— Господа, все ясно. Мне кажется, мы скоро напали на верный след. Как бы там ни было, но необходимо завтра утром произвести обыск у Тараса Кияшко и арестовать его сына Петра. Все улики указывают на него, и не считаться с этим мы не можем.

Уже стемнело. Следователь и участковый начальник пошли ночевать на „общественную квартиру”, довольные тем, что им так скоро удалось раскрыть злодеяние.

Атаман Ус шел домой один, опустив голову и даже немного сгорбившись, что совсем не подходило к его всегда стройной фигуре. Он почти не обращал внимания на приветствия встречавшихся с ним казаков, чего с ним никогда раньше не случалось. Он шагал и почти вслух рассуждал:

„Неужели сын Тараса Охримовича мог это сделать? Что его могло толкнуть на такой шаг? Пусть, как говорят, Петр розбышака, любит иногда выпить, но кто ж из казаков не пьет? Хозяйство его отца хорошее, в свободное время подрабатывает на Черноморке... Возможно там подружился с разной пришлой дрянью, но... Ничего не понимаю. Плохо началось мое атаманство. То, в прошлом году гвардеец Мачеха приколол в Ейске одного грузчика и пришлось отписываться и перед Атаманом Ейского Отдела генералом Кокунько и даже перед Наказным Бабичем. Хорошо, что все кончилось благополучно. Теперь в самой моей станице совершено убийство и ограбление, и опять моего казака обвиняют...”

И действительно, всего год тому назад с староминскими хлебобородами случилось в Ейске следующее:

Однажды староминчане — гвардеец Мачеха Афанасий с двумя сыновьями и работником, Огиенко Демьян, Петренко Никита и еще четыре казака, — возили в Ейск продавать пшеницу. Сдав ее перед самым вечером на ссыпку Кудинова, они решили не возвращаться домой ночью, — ведь ехать лошадьми на подводах надо было не меньше целого дня, — и остановились ночевать на постоялом дворе.

Все улеглись спать на своих подводах, вблизи лошадей, запрятав деньги под голову и на всякий случай поставив возле себя вилы, которые брали всегда в дорогу.

В Ейском порту, среди грузчиков, часто попадались люди с темным прошлым, пьяницы и картежники. Они заметили, что казаки продали много пшеницы и, следовательно, были с деньгами. И несколько таких грузчиков, проведав, на каком постоялом дворе староминчане остановились, решили их ночью „почистить”.

Мачеха, здоровенный казачище, как и все служившие в гвардии, всегда спал „по-заячьи”: чуть заслышит какой шорох, сразу проснется. Так и теперь. Заслышав на соседней гарбе шорох, он вскочил и увидел, как двое неизвестных навалились на Огиенко, зажали ему рот и что-то ищут у него, а двое других подкрадываются к нему самому. В один миг схватил он стоявшие рядом вилы с четырьмя длинными и острыми „ріжками” и первым взмахом одного оглушил, а другого проколол насквозь. Те двое, что были возле Огиенко, бросились сразу бежать и скрылись.

Поднялась суматоха. Вскоре прибыла полиция и, увидев убитого грузчика, хотела арестовать Мачеху, но не тут-то было. Все староминцы схватили вилы, а кто не имел вил, забрали в руки люшны с гарбы и стали в боевую позу.

— Попробуйте сунуться к нам, то и вы получите в брюхо вилами! — кричали казаки полицейским. — У нас есть свой атаман, и он будет с нас спрашивать о происшедшем, а вам не дадимся.

И не дались. Тогда полицмейстер г. Ейска приказал полицейским никого из староминчан из постоянного двора не выпускать и сам сообщил по телефону обо всем и Староминскому атаману и Атаману Отдела. Во время этой осады, кто-то из казаков незаметно выбрался оттуда и тоже сообщил своему атаману, объяснив, почему все это произошло.

Емельян Ус понял сложность положения, немедленно собрал полусотню казаков, вооруженных шашками и

тремя винтовками, на самых лучших скакунах, и после полудня с ними прибыл в Ейск.

— Что случилось, Афанасий Денисович? — обратился сразу же атаман к Мачехе, не обращая внимания на находившихся у ворот полицейских.

Мачеха рассказал все подробно, ничего не утаив.

Выслушав гвардейца, которому верил так же, как и себе, Ус набросился с упреками на приехавшего полицмейстера:

— Так вы, что же, понаплодили у себя в городе воров да грабителей, и еще вините казаков? Они защищались от разбойников, а не нападали, защищались всеми доступными средствами!

— Да, это так, — соглашался полицмейстер, — но здесь совершенно убийство, и до полного расследования виновного необходимо задержать у нас.

— Виновного среди моих казаков нет, виновный получил вилами в брюхо, и делу конец. Другим неповадно будет. Можете писать жалобу на меня в Отдел, а сейчас... Запрягайте, хлопцы, коней и поехали домой! — приказал Ус осажденным в постоялом дворе станичникам.

И все староминчане, под прикрытием полусотни вооруженных казаков и своего атамана, благополучно вернулись в свою станицу.

Полицмейстер подал жалобу на самоуправство староминского атамана Атаману Ейского отдела генералу Кокунько и в Екатеринодар — ничего не помогло. Рапорт Емельяна Ус был принят к сведению, и дело о привлечении Мачехи к ответственности прекращено.

С тех пор Ейский полицмейстер возненавидел всех староминских казаков и не упускал случая чем-нибудь им отомстить...

Все это, идя домой, Емельян Иванович Ус припомнил и тяжело вздохнул: „Плохо, плохо началось мое атаманство. На второй срок откажусь. Примета плохая, как бы конец моего атаманства в станице не кончился еще плачевнее...”

**
*

Некоторых соседей удивляло еще и то обстоятельство, что у Кияшко было три собаки: Рябко, Сирко и Чорнюк, — и такие злые, что постороннему во двор никак нельзя было пройти без хозяина, ни днем ни ночью. И вот эти псы в ночь преступления куда-то исчезли. До самого обеда их никто не видел. Пополудни Охрим Пантелевич нашел Сирка сдохшим, с застывшей пеной у рта. Рябко и Чорнюк отыскились в саду. Они еле волочили ноги, шли пошатываясь и, подходя к деревянному корыту возле колодца, все время лакали воду. Похоже было на то, что собаки отравлены; но кем и для чего? Дед Охрим пришел к заключению, что собаки наелись дурной травы, которая растет по балке Веселой, от которой и коровы дохнут. Но почему собаки могли есть траву, когда это совсем не их пища, он даже не подумал...

На следующий день после рассказанных событий, на рассвете, когда в доме Кияшко еще почти все спали, у ворот вдруг жалобно залаял Чорнюк, потом стал гавкать издали и Рябко. К утру псы оправились, но были уже совсем не такими злыми

Петр, приподнявшись с лавки, на которой спал, взглянул в окно. В их двор входила целая группа людей: два в какой-то казенной форме, два незнакомых вооруженных казака, помощник атамана Кислый и еще три соседа Кияшко. Не понимая, что это означало, он разбудил родителей и, волнуясь — сам не зная почему, начал одеваться. В доме больше никого не было. Дед Охрим пошел рано на речку снять сети, а остальные были в степи. Сам Петро решил уже больше не итти на Черноморку, и в этот день собирался в степь на все оставшееся лето...

Ранние гости, войдя в дом, остановились среди комнаты, холодно поздоровались с встретившим их Тарасом Охримовичем. Затем участковый полицейский, не снимая фуражки, спросил:

— Вы являетесь хозяином этого дома, Кияшко Тарасом Охримовичем?

— Так точно, я самый, — ответил тот.

— А сын ваш, Петр, что временно работает на постройке железной дороги, где сейчас?

— Он сейчас дома, собирается сегодня в степь, работать на Черноморке уже хватит, свои работы начинаются в поле. А зачем он вам?

— Позовите его сюда?

— Петро, иди сюда, тебя зачем-то требуют! — приоткрывая дверь в следующую комнату, позвал Тарас Охримович.

Петр, одетый в будничную одежду, вошел, поздоровался и стал у окна, ожидая, зачем он им тут понадобился?

Участковый полицейский, окинув беглым взглядом вошедшего парубка, вынул какую-то бумажку и сказал:

— По распоряжению следователя Ейского Отдела, Кубанской области, губернского советника Кожевникова, Кияшко, Петр Тарасович, подлежит аресту по обвинению в убийстве и ограблении персидского подданного, торговца фруктами Гасана Керим-Заде Абдул-Оглы. Вот приказ об аресте и производстве обыска в доме и во дворе обвиняемого.

Ольга Ивановна, стоявшая за дверьми, всплеснула руками и в ужасе воскликнула:

— Господи Боже мой, да не ослышалась ли я? Что они сказали? Что такое я слышу?

Петру вначале показалось, что это просто шутка полицейских, и он даже улыбнулся, но потом побледнел и стоял, ничего не понимая. Как во сне увидел он двух казаков, ставших у него по бокам с обнаженными шашками, и старшего полицейского, приказавшего ему выходить из дому.

Петр мельком взглянул на отца и мать и запротестовал:

— Что это значит? Ведь это неправда, я ничего не знаю!

— Там разберут: правда или неправда, — ответил полицейский.

Помощник атамана Кислый, когда Петр проходил мимо него, с ехидной улыбкой сказал:

- - Шо, дорозбышакувався, голубчик? Давно пора! „Кутузі по заслугі"! А еще хотел мою дочку сватать... В гроб загнать невинную голубку... Вот до чего докатился ярыжник!

Петр приостановился, хотел что-то сказать относительно „невиной голубки", но, взглянув еще раз на родителей, промолчал и быстро вышел из дома.

Два казака с полицейским Гноевым увели Петра и посадили в карцер при правлении станицы. Оставшийся участковый полицейский, помощник атамана с тремя понятыми из соседей произвели в доме и дворе Кияшкго обыск.

В углу двора, вблизи дома, под внутренним плетнем, нашли прикрытый слегка хворостом узелок с какой-то мужской верхней одеждой. Осмотрев одежду, соседи сразу же признали, что она принадлежала персу Гасану.

Даже у соседей, знавших Петра только с хорошей стороны, теперь сомнения рассеялись, и они поверили в его виновность. Только непонятно было: зачем, для чего?

Одни пожимали плечами. Другие говорили:

- - Чтож, на Черноморке работает много всякой приезжей голытьбы, и за полцены они всегда купят хорошую одежду, а деньги ведь никогда не мешают, даже и парубкам. Гасан басурманин и оскорбил Петра, плюнув ему в лицо. Злопамятный парубок решил отомстить персу. Только дурак, зачем же он его одежду в своем дворе спрятал, да еще, раззява, и приметный кисет потерял в комнате убитого...

- - А, может, это и не он сделал? - - сомневались некоторые.

- - Да кто же сможет зайти во двор Кияшки, когда у него такие скажени собаки!? Или кто кисет из его кармана возьмет?..

Так все склонялись против Петра.

После увода Петра Ольга Ивановна упала на кровать и истерически причитывала:

— Ой, мой сыночек, родненький! Та чего же тебе не хватало у нас, да чем же ты был обижен? Та проклятый той час и година, в который я тебя породила, лучше бы

я тебя маленьким в речке утопила! Да где ж это писано, да где ж это видано, чтобы такое злодейство мог совершить мой сын?! Позор и проклятье нашему роду будет во веки! Ой, Боже мой милосердный, что же это такое случилось!?! — и материнские слезы ручьем лились из глаз.

Тарас Охримович молча шагал по комнате, то бледнея, то краснея, и нервно вздрагивая, беззвучно шевелил губами, негодуя в этот момент на весь мир.

Да и в самом деле! Каким величайшим и невиданным в истории Кубанского казачества позором был такой случай в его семье! Это было страшное, не смываемое веками черное пятно на весь его род! Не только в Старо-Минской, но во всех станицах Ейского Отдела, вся Кубанская область будет теперь знать, что у родовитого казака-хлебороба Тараса Кияшко родной сын — душегуб! Да неужели это правда? Ведь его Петро даже овечку осенью жалел резать, как же и почему это могло случиться?!..

У ворот стал голосно вить Чорнюк. Серdito пнув ногой дверь, Тарас Охримович без шапки вышел во двор, схватил у порога палку и со всей силы бросил в собаку. Чорнюк завизжал, убежал в сад и стал еще громче вить. Тарас Охримович, схватившись за голову, сел под густой шелковицей, потом сейчас же вскочил, снял висевшую на суку косу, пошел в сад и начал косить траву между яблонями, но, взмахнув раза два, кинул ее на землю и пошел назад к дому. В это время в калитку входил с мокрыми сетями и ведром с рыбой Охрим Пантелеевич.

-- Батя! Да где вы там так долго пропадали? — закричал ему Тарас.

— Та пока повыплутав рыбу, помыл сети, потом постоял с Тараном Никитой. А зачем я тут понадобился? — спросил Охрим Пантелеевич.

— Да разве вы не знаете, какое страшное горе случилось в нашем доме?

— Какое? Что такое, я ничего не вижу и не знаю.

— Петра полиция забрала в карс. Он убил и ограбил перса Гасана. И одежду Гасана нашли у нас во дворе, спрятанную под хворостом...

Охрим Пантелеевич как стоял, так и рухнулся задом на землю. Сети его упали, ведро с рыбой выпало из рук и опрокинулось. Караси, линки и краснопирка рассыпались по траве и начали, извиваясь, подпрыгивать.

— Ты что, Тарас, не смеешься ли над батьком? — промолвил он, наконец.

— Идите в хату и узнаете сами! Я сам не верю тому, что сейчас было у нас, -- и Тарас Охримович опять пошел в сад, не оглядываясь.

Охрим Пантелеевич некоторое время смотрел ему вслед, потом поднялся, быстро пошел в дом, даже не глянув на рассыпанную у ворот на траве рыбу, на которую сейчас же набросились кошки и собаки...

**

Тарас Охримович после ареста Петра старался забыть обо всем и внушал самому себе, что у него вообще не было такого сына. Он запретил всей семье навещать его и даже вспоминать о нем. Для того ли он растил его и лелеял, чтобы теперь видеть его за решеткой и слышать насмешливые замечания одностаничников?

— Вот женился бы весной, ничего бы этого не случилось в нашем доме, -- говорил он своей жене Ольге Ивановне, — а теперь что? Как нам в люди показываться?

В ответ Ольга Ивановна только начинала еще больше плакать и молчала. Она нисколько не верила, чтобы ее сын мог совершить такое злодейство.

Такого позора, чтобы казак-парубок был замешан в убийстве и ограблении, в станице еще не случалось. Сидели, правда, в карцере, но за мелкие проступки.

Так однажды, хуторскую „скажену бабу”, Марью Васильевну Балюк, посадили на месяц за то, что глаз соседу выбила, застав его корову в своей пшенице. Иногда за пьяные дебоши запрут парубков дня на два-три в карцер и все. Но то, что случилось теперь, это — небывалое событие.

Большинство друзей Петра не верили в его причастность к убийству. Не верил этому и Охрим Пантелеевич.

- - Не может быть! — говорил он всем. — Я готов побороться, что Петрусь никогда и не думал убивать, да

еще и грабить Гасана. Кто-то другой это сделал, но не он. Я это так не оставлю, надо что-то делать, как-то выручать внучка, но как?

Он часами сидел в раздумьи под вербой у речки, забывал в воде и свою „пидсаку“, часто от злости кидал в воду и ведро с пойманной рыбой, но придумать ничего не мог.

В один из таких моментов он увидел проходившего по берегу Шевченко Николая.

— Мыкола, обожди! — крикнул ему Охрим Пантелевич.

— Что такое, дедушка? — остановился тот.

— Как „что“? Или ты тоже, может, веришь, что Петрусь разбойник?

— Никогда не верил и не поверю. Здесь дело темное, я ручаюсь головой, что Петр этого не делал.

— Ну, а кто же?

— Вот в том то и дело, что никто не знает. Ни против кого нет никаких показаний, как против Петра.

— Знаешь что, Колька, — сказал просительным тоном Охрим Пантелеевич, — ты грамотен, напиши там, куда полагается, что все это неправда.

— Ну, а кто же мне поверит, если я напишу? Да я и составить бумагу хорошо не умею.

— Знаешь что, давай пойдем посоветуемся с Кущом Федором, что живет на Довгаливке. Он умный, грамотный и толковый человек, недаром его выбрали членом правления кредитного товарищества. Он поможет нам.

— Чтож, пойдете, — сказал Николай, не очень веря в помощь Куща.

Охрим Пантелеевич кинул возле речки свою рыболовную снасть и пошел с Николаем до Куща.

Федор Кущ, кум Тараса Охримовича, хорошо Петра знал и сам не верил, что этот парубок мог бы совершить убийство. Его особенно заинтересовало в рассказе Охрима Пантелеевича то обстоятельство, что в первый день после убийства их злой Сирко сдох, а два других пса ходили целый день, как пьяные, и не гавкали. Значит, кто-то их отравил в ту ночь.

Он написал на гербовой бумаге специальное ходатайство от имени „нижеподписавшихся” жителей станицы, ручавшихся, что преступление не могло быть совершено Петром Кияшко, с просьбой дополнительного расследования по этому делу. Он сам первый подписал эту бумагу и отдал ее Охриму Пантелеевичу и Николаю, чтобы они собрали побольше подписей и как можно скорее, а потом вернули эту бумагу ему.

Оба ревностно взялись за дело и за неделю собрали до пятидесяти подписей. Куц был доволен таким результатом и сказал, что если все пятьдесят человек будут вызваны и под присягой станут на защиту Петра, то дело может принять совсем другой оборот.

На следующий же день он передал лист с подписями помощнику атамана Кислому для препровождения его по назначению. Кислый с видимой неохотой принял ходатайство, но обещал немедленно же переслать его судебному следователю.

ГЛАВА XI.

В Старо-Минском карцере Петра Кияшко держали недолго. Улики против него, в связи с свидетельскими показаниями и вещественными доказательствами, были столь очевидны, что следствие по его делу закончилось скоро. Через три дня после Петрова Дня, его отправили в Ейскую тюрьму. Там же в Ейске должен был состояться и суд.

Зная еще за день об отправке в Ейск, Петр никому из родных не сказал об этом и ни с кем не простился, хотя Охрим Пантелеевич почти ежедневно носил ему приготовленные тайком от мужа Ольгой Ивановной передачи. Приносили харчи и парубки.

Одна только Приська, носившая в тот день начальнику станции Ейской дороги ведро спелых вишен, видела, что Петра под охраной отправляли поездом в Ейск. Через нее он передал привет всем домашним, сказав, что скоро вернется.

А что же Даша Костенко? - История с Петром так сильно повлияла на нее, что она даже слегла в постель на целую неделю, не переставая лить слезы и молясь Богу за своего „сизокрылого голуба”, поклеванного неизвестным злым коршуном. Но и потом, несколько оправившись от такого удара, она места себе не находила, все у нее из рук валилось, делала совсем не то, что говорила ей мать. Прежняя веселость исчезла, она похудела и из дому почти никуда не выходила. Все ей стали ненавистными, и во всех она видела виновников своего горя. Она совсем перестала ходить на гулянья и избегала встреч не только с парубками, но даже с близкими подругами. В виновность Петра она ни минуты не верила, но... Факт оставался фактом — Петр сидел за решеткой, „на воле вскормленный орел молодой”... Она поклялась перед иконами, что какой бы срок ни отдалял его возвращения к ней, пусть даже вся жизнь, она никогда не будет знать никого, кроме своего Петруся.

Началась уборка созревших хлебов, и вся семья Кияшко, как и другие хлеборобы, выехала в степь. Дома, в станице, оставалась только Ольга Ивановна, так же, как и Даша Костенко, тоскуя о Петре и не веря в его виновность.

**

В конце июля всех свидетелей по делу Петра повестками вызвали в Ейск. Поехали Бошановский, Машуткин, Кавардак и Хатун. По просьбе Николая Шевченко и Охрима Пантелеевича, добровольно поехал и Куц Федор. Перед этим он встречался с Тарасом Охримовичем и предложил ему нанять защитника, но последний ответил:

— Если невиновен, то обойдется без „облаката”; а если виновен, то такого и защищать грешно, хотя бы и родного сына.

Недовольный таким ответом Куц, приехав в Ейск, пытался по собственной инициативе нанять защитника, зная, что как ни упрям и груб Тарас Охримович, а если все кончится хорошо, то он деньги вернет без напоминания. Но когда в канцелярии суда ему сказали, что у Кияшко Петра будет казенный защитник, присхавший из

Екатеринодара, он успокоился и не пытался искать другого. Это было роковой ошибкой со стороны Куца.

Не знал он, что в „защитники по назначению” обычно попадали молодые и еще неопытные „помощники при- сяжного поверенного”. Откуда мог знать Куц, что при- ехавший адвокат случайно познакомился с полицмейстером г. Ейска, который никак не мог забыть недавнего афронта, полученного им от Старо-Минского атамана в деле Афанасия Мачехи. Кияшко был из той же станицы, и полицмейстер, хотя к делу Петра никакого касатель- ства не имел, сразу же отнесся ко всей этой истории с не- скрываемым предубеждением. Во время двух-трех встреч с новым знакомым, он нарисовал ему мрачную картину крайней распущенности и хулиганства казачьей молоде- жи окрестных станиц, да еще изобразил данный случай, как мелкий лишь эпизод из систематической жестокой борьбы казаков с ненавистными для них иногородними. А защитник-то был тоже не из казаков.

Немудрено; что от таких суждений, — да еще из уст официального представителя власти, полицмейстера, — у либерального адвоката остыла охота доискиваться до- казательств невинности своего подзащитного. После краткого ознакомления с данными следствия дело пред- ставилось ему простым и ясным. При посещении обвиняе- мого в тюрьме он своими неудачно-поставленными вопро- сами вызвал раздраженные реплики оскорбленного в сво- ей казачьей гордости несправедливыми подозрениями Петра. В такой обстановке Петр и не мог дать ему ника- ких нитей для обоснования защиты. А в качестве „казен- ного” защитника, он и к порученному ему делу отнесся „по-казенному”.

**

В большом кирпичном здании на Черноморской ули- це, где происходило заседание Кубанского Окружного суда, публики еще с утра собралось немало.

В зале заседания, на стене за председательским крес- лом, большой портрет Императора Николая Второго. На длинном дубовом столе, покрытом зеленым сукном, стояло

„зерцало” — символ незримого присутствия монарха, как носителя милосердия и правосудия.

В зале все затихли и повернули головы к дверям, когда двое конвойных, с шашками наголо, ввели Кияшко Петра. За короткое время своего заключения Петр сильно изменился, похудел и выглядел лет на пять старше. Впалыми, светившимися гневом обиды глазами Петр окинул сидевших в зале людей.

Глаза Бошановского встретились со взглядом своей жертвы, и он виновато опустил голову. Что-то похожее на угрызение совести шевельнулось в его душе, но тут же всплыл образ Даши, тот вечер, в который Петр колотил его из-за нее, и опять желание мести выплыло наружу, заглушив остатки человеческой совести и казачьей чести.

Вошел суд и занял свои места за столом.

-- Подсудимый Кияшко, Петр Тарасович!

— Есть, — тихо отвечал Петр.

Потом председатель суда вызвал к столу всех четырех свидетелей, и священник привел их к присяге, предупредив о значении ее следующими словами:

-- Перед святым Распятием и Евангелием, вы присягаете Господу Богу говорить суду только правду. За ложные показания, обман или утаивание вас жестоко будет карать Всевышний до двенадцатого колена!

Бошановский закрыл глаза и повторял за священником, стараясь не вслушиваться, страшные слова присяги, потом сухими губами коснулся креста и Евангелия. Мысленно он оправдывал себя тем, что его показания содержат общеизвестные факты и не клятвопреступны. Он не скажет того, что скажут его сообщники.

Машуткин Лука смело подошел и громко повторил слова присяги, потом не крестясь звучно чмокнул Евангелие и крест. Про него говорили, что он никогда не бывает в церкви и ни во что не верит. Присяге, очевидно, он не придавал никакого значения. Хатун выполнил все, что требовалось, набожно перекрестился и со страхом и трепетом поцеловал лежавшие на столе святыни. Он, собственно, и сам не знал, зачем его сюда вызвали.

Кавардак стоял бледный и долго не подходил к присяге. Судья вторично позвал его к священнику. Пробормотав невнятно слова, он, прежде чем поцеловать святыни, оглянулся вокруг блуждающим взором, как бы ища у кого-то защиты, но, встретив взгляд Бошановского, торопливо приложился к кресту и Евангелию.

После этого свидетелей удалили в отдельную комнату.

— Подсудимый Кияшко Петр, встаньте и отвечайте суду. признаете ли вы себя виновным в убийстве и ограблении персидского подданного купца Гасана Керим-Заде Абдул-Оглы?

— Нет! Не признаю! — твердо отвечал Петр.

— Как же вы не признаете, когда все улики против вас, когда есть целый ряд вещественных доказательств, когда ваши же друзья подтверждают, что преступление совершено вами?!

— Неверно! Не только друзья, но и люди, которых я мало знаю, ручаются, что я этого не мог совершить. У вас, господин судья, имеется в деле ходатайство пятидесяти наших станичников, с их собственноручными подписями, которые подтверждают мою невиновность.

— Какое ходатайство, какое поручительство? Ничего в деле вашем такого нет!

— Да то, которое выслано вам правлением нашей станицы!

Судья обратился к секретарю суда с вопросом — верно ли это? Тот сказал, что никакой бумаги от атамана станицы Старо-Минской в суд не поступало.

Петр с удивлением посмотрел на Куца. Ведь это он сообщил ему сегодня про эти подписи еще до заседания суда. Куц сидел, не веря своим ушам. Затем встал и попросил „одно только слово”.

— Что вы хотите сказать и кто вы такой? — спросил его судья.

— Я казак станицы Старо-Минской Куц, Федор Иванович, хочу сказать, что я лично передал помощнику нашего атамана Кислomu Терентию специальное заявление пятидесяти наших людей, ручающихся за Кияшко Петра, для направления вам.

— Во-первых, казак Куш, вас суд не вызывал на сегодняшнее разбирательство, во-вторых, перс Гасан сам себя не пронзил кинжалом, а если у вас были какие-то серьезные данные в пользу подсудимого, то почему вы их не представили раньше? Тщательное расследование установило, что сделал это подсудимый, Кияшко Петр, а поручители ведь у всякого преступника всегда находятся. А, кроме того, я еще раз повторяю, никакого ходатайства к нам не поступало. Садитесь и не мешайте суду! Можно будет потом, в случае обвинительного приговора, подать прошение о помиловании на высочайшее имя.

Куш молча сел. „Значит и тут что-то нечисто”, думал он. „Или Кислый совсем не пересылал этой бумаги... так какое же он имел право так поступить! Или, возможно, она в суде затерялась...”

— Подсудимый Кияшко, — опять обратился к Петру судья, — так вы, значит, отказываетесь признать себя виновным в предъявленном вам обвинении?

— Я не совершил никакого преступления, в чем же я буду признавать себя виновным? — ответил Петр.

— Хорошо, а скажите, не знаете ли вы: чья это вещь? — спросил прокурор, показывая ему подарок Даши. Петр посмотрел и, узнав свой потерянный в те злосчастные дни кисет, признал без колебания:

— Это кисет мой.

— А почему этот кисет оказался валявшимся на полу в доме убитого перса Гасана? Ведь до приезда следователя туда никто не заходил!

— В доме перса? Не могу знать...

— А как могли очутиться вещи убитого Гасана спрятанными во дворе вашего дома? По показаниям соседей, у вас очень злые собаки и никто посторонний не мог бы туда зайти?

— Не знаю.

— В общем совсем „незнайкой” притворился, напрасно... Чем больше упорствуете, тем хуже для вас. — И прокурор попросил о вызове свидетеля Хатуна Григория.

— Свидетель Хатун! Вы знаете: чей это кисет? — спросил прокурор, когда тот явился.

— Знаю. Это и-исет Иияш-о Петра, — ответил Грицько. В зале послышался легкий смех при выговоре Хатуном фамилии подсудимого, но судья призвал всех к порядку.

— Вы видели его в квартире убитого Гасана?

— Да! При мне исет поднял там Уманс-ий следователь.

-- Хорошо. А вы знаете, чья это одежда?

Хатун, внимательно осмотрев лежавший на столе узелок с одеждой, неуверенно ответил:

— Та-ую одежду я, ажется, видел на Гасане.

--- Так. А не знаете ли вы, какие во дворе Кияшко были собаки?

— Знаю: один черный, один рябый...

— Нет, я не про это, — перебил его прокурор. — Злые или смиренные?

— О, злющие-презлющие! Та-ие с-ажени, шо не дай Боже!

— Мог кто посторонний пройти во двор Кияшко без хозяина?

— Наверяд! Если хозяин не отгонит собарню, то во двор до них ни днем ни ночью нельзя было пройти.

— А как же могла оказаться одежда Гасана спрятанной во дворе Кияшко?

— Одежда Гасана во дворе И-ияш-о? Не знаю, ей-Богу, не знаю.

Вызванный вторым, Боцановский говорил мало и формально ничего не солгал. Он рассказал только, как во время драки Петра с Гасаном на ярмарке, в последний день перед убийством, Петр жестоко избил и угрожал задушить перса, и если бы парубки не оттащили его, то он, возможно, еще тогда убил бы его.

— Хорошо, садитесь! — сказал ему председатель суда и позвал Ивана Кавардака.

Вошел Кавардак, бледный, расстроенный, и молча стал у барьера.

-- Свидетель Кавардак! Подтверждаете ли вы свое предварительное показание, что вы видели Петра Кияшко,

выскочившего из окна Гасана Керим-Заде Абдул-Оглы в ночь его убийства?

Кавардак стоял не отвечая. Председатель повторил свой вопрос. Он глянул на сурово сдвинувшего брови Геннадия Бошчановского и тихо сказал:

— Да... подтверждаю, - и сразу же отступил назад.

В зале послышался легкий ропот и шум. Услышав слова Кавардака, Петр вскочил и, весь дрожа от гнева, закричал:

— Врешь, врешь, собака! Как ты смеешь врать перед судом и Распятием? Кто тебя научил этой лжи? Ты же присягал говорить только правду! Иуда проклятый! За сколько сребреников продаешь меня?..

— Садитесь, садитесь, обвиняемый Кияшко! Ваши угрозы ни к чему, -- остановил его председатель, а конвойные в это время силой усадили Петра на место.

Кавардак после ответа на несколько вопросов прокурора и защитника сел с опущенной головой.

Машуткин Лука подошел к барьеру, смело и отчетливо повторил, что, действительно, видел выскочившего из окна дома Гасана Петра, с узелком в руках, который теперь лежал на столе перед судом.

— Ну, что, подсудимый Кияшко? По-вашему, все свидетели врут? -- спросил прокурор. Петр молчал, не имея сил выговорить ни слова. Он только вздрагивал и трясся всем телом.

Прокурор потребовал сурового обвинительного приговора.

Защитник, державшийся во время показаний подсудимого и свидетелей чрезвычайно пассивно, ограничился лишь малосущественными вопросами им и некоторыми, чисто формальными возражениями прокурору, а в своей „защитительной речи” больше напирал на молодость подсудимого, на некультурность среды, в которой он вырос. Признавая тяжесть преступления, он просил суд лишь о снисхождении к своему подзащитному.

Факт отравления собак во дворе Кияшко, к которому суд подошел было вплотную при опросе Хатуна, остался неизвестным. Петр, подавленный обрушившимся на него

несчастьем, не придал такому важному обстоятельству должного значения и не упомянул о нем на суде. Его очень угнетала мысль, что и отец, повидимому, поверил в его виновность и не пытался даже оказать ему моральную поддержку. Друзья и близкие тоже проявили странное равнодушие к его судьбе. Только Куш бросил было светлый луч надежды, но ссылка на какое-то прошение одностаничников, до суда так и не дошедшее, скорее повредила ему в глазах присяжных заседателей.

В своем последнем слове подсудимый лишь начисто, но голословно, отрицал свою вину. Он не мог поверить, что суд может его безвинно осудить...

Присяжные единогласно признали Петра виновным, но заслуживающим снисхождения, учитывая молодость и хорошее имя его казачьего рода...

Суд приговорил Петра Кияшко к двенадцати годам каторжных работ в далекой Сибири. Последние страшные слова приговора привели его в исступление. Потрясая кулаками, он закричал:

— Неправда! Злодеи! Где ваша честь и совесть? Все показания свидетелей ложь, ложь! Позор и проклятие на вас на веки вечные! Я невиновен! Я...

Но ему не дали говорить и увели. В дверях Куш успел крикнуть Петру:

— Я этого так не оставлю; я верю, что ты невиновен. Тут дело темное, и его надо раскопать. Не журишь, правда восторжествует...

Суд кончился. Публика стала расходиться. Бошановский, хорошо знавший Куша, хотел подойти к нему и поздороваться, но тот отвернулся от него и не подал руки.

По приезде из Ейска Куш сейчас же отправился в правление станицы к помощнику атамана Кислому. Кислый, в присутствии атамана, довольно нагло заявил, что ходатайство Куша с подписями он „где-то затерял” и не переслал. Такой ответ возмутил не только Куша, но и самого атамана, и тот решил больше не доверять Кислому, а на первом же станичном сходе вынести всем обществом помощнику атамана порицание...

Куц и Николай написали новое прошение о пересмотре и новом расследовании дела Кияшко Петра, указав и новых свидетелей. На этот раз подписалась и Костенко Даша, которая обещала подтвердить, что в ту ночь Петр все время был с нею. Но после состоявшегося суда мало кто хотел подписываться под новой бумагой, тем более, что время было страдное, и все были заняты в степи на молотье хлеба.

Возвратились в станицу и свидетели. Боцановский заплатил обещанную мзду Машуткину и Кавардаку и чувствовал себя свободным от всякого страха за последствия им задуманного и приведенного в исполнение плана. Теперь поперек пути к Даше Костенко уже не будет стоять Петр, и он надеялся ухаживанием и щедрыми подарками сломить ее упрямство. Мало того, он распустил в станице слух, что якобы на суде Петр признался в своем злодеянии. Однако Куц опровергал это, и последнему больше верили, чем „губастому” парубку...

ГЛАВА XII.

„І шумить и гуде
Дрібний дощик іде,
Ой хто ж мене, молодую,
Та й до дому проведе...”

После праздника Петра и Павла, на полях Старо-Минского юрта подошло время косовицы. У ячменя первого пожелтели верхушки колосьев. За ним и у „безусой” белокоры начали твердеть, бывшие доселе мягкими, точно молоком налитые зерна. А там и гарновка стала клонить к земле свои отяжелевшие в полной зрелости крупные колосья.

Зеленая окраска полей постепенно светлела, и повсюду стали появляться и шириться желтеющие прогалины.

Тарас Охримович ячмень и озимую пшеницу скосил сейчас же после „Полупетра” (второй день Петрова праздника), а белокора и гарновка еще дней пять „выстаивались”. Потом подошло время уборки и этих хлебов.

Вместе с Никифором он вошел в стоявшую ровной, „как вода”, выше пояса, белокору, сорвал несколько колосьев, растер их на ладони, затем осторожно сдул полову и попробовал зерно на зуб.

— Готово! Можно начинать! — сказал он и вышел из загона. Никифор сейчас же забрал уздечки и пошел на толоку взнуздывать лошадей

Не прошло и полчаса, как на поле Тараса Кияшко, уже „дренчала” от вертевшегося косогона крылатая косилка „Мак-Кормик”, запряженная четверкой лошадей, аккуратно срезая у самой почвы стебли созревшей пшеницы.

„Валки” пшеницы, аккуратно собираемые на платформе косилки четырьмя „крыльями”, через определенное расстояние сбрасывались одним „крылом” и ровными поперечными рядами ложились на стерне. Для этого надо было в определенное время нажимать ногой педаль.

Никифор сидел на железной сиделке косилки, погонял задних двух лошадей и смотрел за всей работой. Спереди же, на лысой кобыле, на охляп, сидел Федька и правил поводьями передних двух лошадей, направляя их вдоль скашиваемой стены пшеницы.

Как только объехали загон пять раз, на поле с вилами в руках вышли Приська и Гашка и, следом за крылаткой, начали убирать валки, складывая их в „копыци” так, чтобы они располагались по полю ровными рядами. Потом на косилку сел Тарас Охримович, а Никифор стал помогать сестрам складывать белокору в копыци. Наталка в это время хлопотала по хозяйству возле хаты и приготовляла на сложенной из кирпича печке обед.

Василий Шевченко, видя, что его сосед уже косит пшеницу, после обеда последовал его примеру, выехав на желтоватое поле на своем пятикрылом „Жерстоне” и до захода солнца успел скосить около трех десятин.

Необозримая степь сразу ожила и стала „преображаться”. На ее широких просторах, покрытых еще вчера сплошным морем шелестевших колосьев, повсюду появлялись, словно неподвижное войско, ряды сложенной в копны пшеницы. Покой перепелов и зайцев, скрывав-

шихся до сих пор в гуще хлебов, был нарушен. Заслышав приближавшуюся косилку, они выскакивали из доканиваемых узких загонов на стерню и разбегались в разные стороны к удовольствию подростков-наездников, то и дело прыгивавших с остановленных коней и гнавшихся по полю то за зайчиком, то за перепелкой.

Днем, хлеба косили крылатками, складывали в копыщи, а чтобы отдельные затерянные в стерне колосья не пропадали, всю скошенную ниву сейчас же подгребали конными граблями, в которые впрягалась одна лошадь. Широким сплошным захватом „гребілки” можно было чисто подгрести до шести десятин в день.

Поздно вечером, а также ранним утром, пока еще держалась роса, — аккуратно опраляли копыщи ручными деревянными граблями и „укручивали” двумя, накрест положенными сверху „перевеслами”,*) чтобы ветер или иногда налетавший вихрь не перевернул и не разбросал бы колосьев.

В эти страдные дни отдыхать хлеборобам приходилось очень мало. Спать ложились, когда светлые полосы вечерней зари совершенно исчезали и сливались с синевой неба, то-есть, часов в одиннадцать ночи. Часов почти ни у кого не было, а работали по солнцу и звездам.

Но едва только, приблизительно, около трех часов утра, просыпались спавшие на „загате база”**) десятки молодых петушков и встречали своим разноголосым хором приближающуюся утреннюю зарю, а на востоке чуть-чуть намечались первые белесоватые полосы, — как уже стар и млад были на ногах.

Все же и в такое страдное время, после знойного утомительного дня, поздними вечерами, особенно перед праздниками, молодежь собиралась к указанному путем под-

*) Перевесло — скрученная руками из стеблей пшеницы, толщиной в руку, веревка, которой хватало через копыщю до самой земли.

**) Загата база — наложенная вокруг изгороди летнего хлева полусгнившая солома и бурьян, толщиной в аршин-полтора и высотой до человеческого роста, для защиты скота в ветреную и дождливую погоду (для „затышка”).

кидывания огня месту, чтобы хоть на полчаса - на часик позабавиться и повидать своих желанных.

Как-то в поздний субботний вечер, хотя небо было покрыто тяжелыми темно-серыми тучами, молодежь собралась на дорогу повеселиться. Но не успели они еще как следует „пожартувать“, как начал накрапывать дождь, и пришлось всем разбежаться по своим становищам.

Шевченко Николай, оставшийся без своего лучшего друга Петра, шел с гулянки один, заложив руки назад и вспоминая о томящемся в тюрьме товарище.

Темнота была непроглядная, и дождик постепенно усиливался, но Николай не торопился. Теплые капли приятно ласкали его загоревшее лицо и освежали атмосферу.

Неожиданно он в темноте наткнулся на одиноко стоящую девушку.

— Николай, это ты? — послышался знакомый голос.

— Я, — ответил радостно Николай, узнав Гашку.

— Вот хорошо, что я тебя встретила, а то, прямо, хоть караул кричи. Мы были здесь обе, но, когда стали расходиться, Приська незаметно ушла куда-то со своим шалопаем, а в такую темень я боюсь итти одна. Колька, будь добр, проводи меня до нашей хаты! Проводишь?

— О чем спрашиваешь? Да ты только скажи, я тебя провожу куда угодно! Пошли! — и он, очень обрадованный представившимся случаем, взял за руку ту, о которой так часто думал. Они пошли к хате Кияшко, мимо копен пшеницы и шелестевших листьями под крупными каплями дождя рядов подсолнуха.

Николай давно ждал такого удобного момента для объяснения с Гашкой. Он шел и все время порывался сказать ей о своих чувствах, но не знал с чего начать и, в результате, они оба больше молчали, изредка лишь перебрасываясь случайными фразами.

Когда подходили к токовищу Кияшко, дождь внезапно усилился. Им пришлось от него укрыться под скирдой прошлогодней соломы, которая была сбоку „вычухрана“ скотом и в ней образовалось некое подобие узкой ниши.

Прижавшись друг к другу, они стояли под соломой и... молчали.

Николай злился на себя, но никак не мог найти подходящих слов. Наконец, он схватил Гашку за плечо и почти крикнул:

— Гаша!

— Что такое, Колька? — вздрогнула от неожиданности та.

Николай опять замялся, все в его голове перепуталось и он сказал совсем не то, что хотел:

— Какой сильный дождь идет, едят его мухи с комами!

— Ха! А я и не знала, что дождь идет, вот важную новость сказал! — с едкой иронией засмеялась Гашка и протиснулась еще глубже в дыру в соломе, прячась от дождя.

— Гашка! — снова выкрикнул Николай еще громче, с отчаянием в голосе, чуть не плача от злости на себя.

— Ну, я здесь! Что еще? Не скажешь ли того, что мы сейчас под соломой стоим?

— Я... люблю тебя, Гашенька! — прошептал Николай и притиснулся к ней еще ближе.

Вместо ответа раздался звонкий хохот.

— Ну чего ты так смеешься? Ведь я сказал правду. Я счастлив тем, что нахожусь с тобой. Ты же видишь, что я редко с какой девушкой хожу, потому что люблю только тебя и больше никого. За тобой я готов итти хоть на край света...

— Стой, стой! Не ходи „на край света”, я же здесь! Ну, допустим, любишь, а что же дальше?

Николай не знал, что и сказать и закашлялся.

— Вот видишь, от сильной любви даже кашель напал, -- и Гашка опять засмеялась.

Николай глубоко вздохнул. Гашка, передразнивая его, повторила его вздох и так несколько раз.

-- Гашка! Вот я тебя послушал, привел к твоей хате, стоим вместе, а ты даже и поцеловать меня не хочешь. Не благодарная! Хотя бы один раз!

— А откуда ты знаешь, что я не хочу? Эх, ты, „Мыкыта”! Да разве дивчина первая целует?

Николай схватил ее и начал крепко целовать.

— Да хватит тебе, отстань! — не совсем уклоняясь от поцелуев, смеялась Гашка. — Говорил один раз только, а пристал „як від до калюжі” и не отгонишь!

Николай оторвался от ее губ и прижавшись к ее плечам стоял, тяжело дыша, как будто бы пробежал несколько верст.

— Да разве под соломой целуются, да еще стоя! — иронизировала Гашка, глядя на утихавший дождь.

— Можно и под соломой, - осмелел Николай, — „хоч на комыші, як бы до душі”, так ведь говорят дивчата. А вот, стоя, конечно, неудобно, давай сядем здесь! — и он уже начал высматривать местечко, чтобы присесть на сухой соломе. Но Гашка, посмотрев на его старания, отступила назад.

— Ну, а дальше что? А потом скажешь „давай ляжем”! Ич, який ласый! Все вы хлопцы баламуты! Нет, голубчик, напрасно так думаешь и так стараешься! Большое спасибо за то, что привел меня до нашего коша, тут я уже и сама не боюсь. Дождь перестал, до свидания!

И прежде чем Николай собрался ей ответить, она, как кошка, выскользнула из под соломы и убежала в хату. Потоптавшись немного под соломой, парубок медленно поплелся к своему куреню, кляня на чем свет свою робость. Один, без Гашки, он так много собирался сказать ей и так много подготавливал красивых фраз, а при ней ничего не смог высказать и так глупо оскандалился. Как будто и ум и язык у него потянуло „в одно место”.

Капризы и насмешки шестнадцатилетней Гашки не отражали ее чувств к нему. Еще и раньше, когда Николай часто бывал у Петра, она тайком любовалась на его кудри и рада была его приходу. Она знала, что сейчас, под соломой, он говорил правду и ничего не замышлял недозволенного, но наученная горьким опытом старшей сестры Приськи, она решила держать подальше от себя всех парубков. Даже тех, к которым была равнодушна, как, например, к Николаю. Подальше от греха...

**
*

До Ильина Дня косовица хлебов на полях Старо-Минского юрта была закончена. Начиналась молотьба.

У многих зажиточных хлеборобов весь день гудели паровые молотилки, вымолачивая в день более чем с десяти десятин хлеба. Таких молотилок, работавших приводным ремнем от парового локомотива в станице было до семидесяти штук. Большинство их принадлежало отдельным зажиточным хлеборобам, но были такие, которыми владели сообща несколько хозяйств.

В станице было много и таких хлеборобов, которые обмолот производили не молотилками, а „котками” на своем току. Это были продолговатые, более аршина длины и пол-аршина толщины, весом до шести-семи пудов, каменные брусья, с пятью или шестью специально выдолбленными в них глубокими бороздами. Котки делались мастерами в городах из горного природного камня. С боков высверливались неглубокие, вершка в два-три, дыры, куда вставлялся вместо оси — толстый болт, заливаемый для закрепления расплавленной серой. На эту ось надевался „станок” — крепкая деревянная четырехугольная рама, к которой на железном крючке прицеплялся одинарный барок, чтобы было чем зацепить две постромки от хомута или шлеи лошади. В такое приспособление впрягалась одна лошадь и шагом тащила за собой коток по настланному пшеницей или ячменем току. Каменный коток шел плавно и, вращаясь на железной оси, ударял ребрами по настланному на току хлебу. Вымолоченные из колосьев зерна с половой оставались внизу, а пустая солома сверху. Ее затем ручными деревянными граблями аккуратно собирали („сбывалы”) и выбрасывали полукругом за ток. На току оставалось лежать только вымолоченное и еще не провеянное зерно.

Когда вся настланная на току пшеница вымолачивалась до самого „вороха” - центра, и солома удалялась за токовище, делали очередной новый настил из привезенной с поля пшеницы. И так целый день. С поля подвозили или гарбой, или целыми копыцями при помощи „тягалки”.

Три-четыре лошади, запряженные каждая в свой коток, шли гуськом одна за другой по круглому току. На

передней сидел наездник-подросток, а у задних уздечки были привязаны „цепками” (мелкой железной цепью) к станку впереди катившегося котка. За один летний день, в хорошую сухую погоду, четырьмя котками можно было вымолотить около трех четвертей десятины пшеницы, а ячменя — более десятины.

Конечно, такой способ обмолота требовал гораздо больше времени, чем паровой молотилкой, но зато при обмолоте котками солома и солома была гораздо мягче. Лошадей, изредка и коров, кормили чаще половой, смачиваемой в яслях водой и пересыпаемой дертью или отрубями, а солома шла для подстилки скоту и как топливо в печках зимой и летом. В мелких и средних хозяйствах от обмолота котками была и та еще выгода, что не надо было отдавать десятую часть зерна за обмолот хозяину молотилки. Также иногда приходилось долго ждать очереди, пока молотилка освободится у других, а время бывало такое горячее, погода хорошая, что усидеть без дела трудно, и это заставляло многих молотить хлеб котками...

Тарас Охримович в этом году тоже молотил хлеб котками. В Ильин день выпал хороший дождь, что позволило на мокрой ниве вблизи самой хаты накатить два тока. На одном он молотил пшеницу, на другом — ячмень. Четыре лошади с котками ходили гуськом одна за другой по краю круглого, настланного пшеницей тока, непрерывно мотая головами и отгоняя назойливых мух и оводов. Недаром сложилась поговорка: „Махает головою, як кобыла в Спасивку”.

На передней, хорошо выезженной, гнедой лысомордой кобыле сидел верхом Федька, подложив под себя старый ватник, чтобы было мягче, и правил по нужному месту тока.

„То-то-мы, то-то-мы”, казалось, выговаривали монотонно котки, и под тяжестью их ударов колосья разминались и исчезали внизу, а наверху оставалась вымолоченная и побелевшая от молотыбы солома.

Стояли знойные дни. Ни ветерка, ни облачка на небе. Только вдали, восходящие от нагретой земли слои воз-

духа создавали сухую туманную дымку, представлявшуюся в виде волнообразно движущейся синеватой массы. „Святой Петро вівці гоне”, говорили хлеборобы в такой день.

Федька от жары и усталости еле держался на спине гнедой и, полусонный, часто правил совсем не по тому следу, по которому нужно.

— Эй ты, сонная тетеря! Краешком держи лысую, куда полез к вороху! — крикнула Приська на дремавшего Федьку, толкнув его сзади граблями. Федька от неожиданного толчка встрепенулся так, что чуть не упал с лошади, успев ухватиться за гриву. Но его соломенный бриль слетел с головы прямо под коток. От бриля осталась плоская измятая тарелка.

— Ух ты, вреднюка здоровая, сама ты — сонная тетеря! — закричал обиженно Федька. — Что я теперь на голову надену, га?

— Ты не то бриль, а скоро и голову свою под коток уронишь, — сказала смеясь Приська и принесла ему старую шляпу Никифора. Федька надел, но она на голове сидела, как на кочерыжке широкий гриб. Кое-как привязали ее ему в защиту от палящего солнца, пока из станицы привезут другую, новую шляпу. Он опять стал править „лысой” по току и теперь уже более не дремал.

В это время из-за хаты послышался голос Гашки:

— Присько! Вот иди, посмотри, каких я спелых дынь нашла сейчас на баштане! И помеченный мною большой „бессарабский” кавун тоже сорвала! Иди, будем пробовать, пока еще „посад” не вымолочен! — и, согнувшись под тяжестью мешка, она прошла до хаты, „в холодок”.

Приська, поставив грабли к стогу соломы, побежала на зов сестры. Они сели у простого, из нетесанных досок столика и начали разрезать „скибками” большие зрелые ароматные желтобокые дыни.

Никифор, закончив складывать в „стижок” солому, тоже подошел к ним в холодок. Он взял у Гашки нож, отрезал от потрескавшейся дыни с желтоватой корой большую скибку, очистил ее от слизистых семечек. Но едва

откусив кусок, сейчас же выплюнул, а остаток бросил в сторону:

— Я думал, что они едят что-нибудь путнее, а они такую теплынь принесли, как будто в печке подогревали! Разве можно в полдень срывать на баштане дыни и кавуны? Это надо делать утром, до восхода солнца, а сейчас они под открытым небом так нагрелись, что даже есть противно.

Он полез в небольшой погреб, выкопанный в земле неподалеку от хаты, принес оттуда два больших арбуза и дыню, сорванные им до восхода солнца, и положил их на стол. Потом взял нож и едва прикоснулся лезвием к коре арбуза, как тот сразу же треснул во всю длину, обнажив ярко-красную сахарную мякоть, и несколько „лысых” семечек выпало оттуда на стол.

-- Вот это кавун, как кавун..., а то принесли с баштану такое, что и коровы есть не будут, - - сказал Никифор, разрезая мелкими скибками арбуз и впиваясь зубами в его прохладную сочную сахаристую мякоть.

Когда очередной посад был вымолочен до самого вороха, Федька выехал с котками за токовище, остановил лошадей, спрыгнул на землю и, пока ток снова настилали пшеницей с притянутых с поля тягалкой копыц, он тоже побежал к хате отдохнуть. Подбежав к колодцу, он зачерпнул половину ведра воды и вылил на себя, чтобы немного освежиться. Потом забрался с ножом в погреб и за несколько минут успел перепортировать штук пять арбузов, пока не выбрал по своему вкусу, и, выйдя наружу, съел его целиком один. Вставая, Федька с неуверенностью пощупал свой живот, даже сам удивляясь, куда мог вместиться целый арбуз? Он бросил в сторону все время насувавшуюся ему на глаза слишком большую шляпу Никифора, расправил свою помятую котком, натянул ее на голову и, видя, что уже закончили настилать ток, вскарабкался опять на переднюю лысомордую кобылу, и снова отзвуки катившихся по току котков, „то-то-мы, то-то-мы”, глухо раздались в застывшем от зноя воздухе, сопровождая неумолкающему „концерту” жаворонков...

К вечеру „наковальни” далеких кучево-дождевых облаков, освещенных косыми лучами заходящего солнца, стали вырисовываться своими верхними, белыми, капустообразными гребнями из-за горизонта, словно снежные вершины далеких гор. Над небольшим западным бугром, громадный оранжевый диск солнца медленно опускался за одну такую „наковальню” далекой грозовой тучи. „Сонце за стіну заходе”, говорили в таких случаях, и это было признаком перемены погоды. Целый день сухая мгла, как туманная дымка, устойчиво держалась над самой поверхностью земли, заметно уменьшая видимость.

Тарас Охримович все время внимательно смотрел — то на летавших низко у земли ласточек, то на купавшихся возле колодца в луже грязной воды гусей, то на вьюжную муть атмосферы и, наконец, увидев, что солнце „за стіну заходе”, озабоченно сказал:

— Похоже на то, что завтра дождь будет. Нужно оправить хорошо ворох, весь ток подмести метлой, да и солону всю сложить в „прикладок” и подгрести граблями!

Все понимали цель таких указаний батька и сейчас же принялись исполнять его волю.

Когда намолоченное за день зерно с половой подгорнули к середине тока и начали деревянной лопатой кидать на конусообразный ворох, то он оказался уже таким высоким, что и лопатой не подкинешь.

— Батя! — обратился к отцу Никифор. -- Давайте вечером перевеем ворох с пшеницей! Все равно, не сегодня-так завтра, веять его придется, а вдруг дождь пойдет, намочит всю поверхность вороха. Если же перевеем, никакой дождь не опасен, все зерно будет в мешках!

— Да, это верно! Пожалуй, мы так и сделаем, а спать будем, когда пойдет дождь, -- согласился Тарас Схримович.

После ужина, несмотря на спустившуюся ночь, на току Кияшко начала грохотать веялка, недавно купленная в Ейске у торговца Смылова. Копошившихся у веялки людей изредка осеждала отдаленная зарница, и при ее свете сзади видна была белая полоса отвеваемой „крылатым” барабаном половы. Очищать намолоченное зерно

веялками стали недавно. Как рассказывал Охрим Пантелевич, еще несколько лет тому назад пшеницу веяли деревянной лопатой. Когда дул слабый ветер, брали лопатой из вороха намолоченное зерно, подкидывали вверх, и тяжеловесное зерно падало вертикально вниз, а полова отвевалась в сторону. Сейчас почти у каждого хлебороба была своя веялка, приводимая в движение вручную, вертящимся сбоку „журавлем”.

В душную ночь работавшие на току избегали вешать фонарь или разводить костер для освещения. Летавшие вокруг в бесчисленном множестве жуки и бабочки тучами летели на огонь, с разгона ударяясь работавшим у веялки прямо в лицо, залезали за пазуху, под одежду и мешали работать.

Всю ночь напролет веяли ворох пшеницы. Вначале — „с половы”, то-есть, производилась первая поверхностная очистка, без решет, а потом уже — вторично, с надетым мелким решетом и „арфой” внизу. С решета овсюг и другие отходы сходили в „рукав”, зерно пролезало и падало вниз на арфу, мелкие зернышки сурепы и „кукиля” падали на землю под арфу, а чистая пшеница сыпалась с деревянного конца арфы впереди веялки и сразу же убиралась в мешки. Сурепу тоже потом убирали для изготовления из нее постного масла. Овсюг и полову, для корма скота и лошадей — тоже, но это уже в последнюю очередь. Сперва спешили убрать зерно, а потом уже остальное.

Только к утру у Кияшко закончили и первую и вторую очистку зерна. Едва успели убрать последнее провеянное зерно в мешки, как загрохотал гром, и крупные капли дождя запрыгали по току, вздымая облачки пыли. Перетаскав поспешно мешки под навес, а веялку и сурепу прикрыв большим брезентом, все поспешили в хату.

Внезапно дождь сменился крупным градом.

— Ох, Господи, пронеси эту беду! — перекрестился со вздохом Тарас Охримович. — Посечет и баштан и огород. А ну, девчата, хватайте лопаты и рогахи, кидайте скорее из хаты под град!

Наталка, стряпавшая у печки, схватила кочергу и выбросила ее в открытые двери на дождь. Приська схватила под навесом две лопаты и отправилась вслед за кочергой.

Существовало поверье, что если выкинуть под град домашнюю утварь, то он не будет долго продолжаться.

Так как град почти всегда падает кратковременно, то и теперь он вскоре прекратился, но дождь еще больше усилился и шумел, прерываемый оглушительными раскатами грома. При каждом раскате, Тарас Охримович и все его старшие дети набожно крестились, причитывая: „Свят, свят, свят Господь Саваоф...”

Для Федьки и Гришки такая погода была забавой. Они бегали босиком и голомозыми под дождем, собирали еще не растаявшие зерна града и усиленно терли ими себе глаза, чтобы „никогда не болели и были зрячими до ста лет”. К ним присоединилась и Гашка.

Дождь в дни молотбы был большой помехой, но молодежь радовалась этой, посланной Небом, передышке после многих дней непрерывной тяжелой работы. В дождь можно было спокойно поспать до самого вечера, а вечером наведаться к соседям или пойти на дорогу „пожартовать” с девчатами и парубками. Все равно, земля мокрая, и молотить после дождя нельзя было день-два.

На следующий день после дождя Тарас Охримович наложил две подводы мешков с пшеницей и отвез их на ссыпку хлеботорговца Ивченко, за что получил золотыми пятерками и десятками около ста рублей денег.

— Дайте мне, пожалуйста, бумажками, а то эти монеты потерять легко! - - сказал он купцу.

— Прямо беда с этим золотом, никто не хочет брать, а мне как раз в банке их дали. Не хватило бумажек! — ворчал Ивченко и с неохотой заменил Кияшке половину золотых монет на кредитки.

От Ивченко Тарас Охримович вернулся в степь. Там нагрузив еще четыре подводы оставшимся зерном, отвез его в станицу и ссыпал в закрома своего амбара.

Шесть подвод зерна, которые он навез с одного большого вороха, составляли примерно десятую часть хлеба и ячменя, намолоченного в том году у Кияшко. Урожай

хлебов на земле, прилегавшей к реке Сосыка, был особенно хорошим. Ячмень и белокора дали до двухсот пудов с десятины, гарновка до ста пятидесяти. Подсолнух, кукуруза, бахчевые и огородные культуры тоже были в хорошем состоянии.

Ольга Ивановна все лето оставалась дома. Охрим Пантелеевич проводил свое время в саду. Там и спал, чтобы никто яблок не крал. Бывал изредка и в степи. Наберет яблок, сушеных рыбок, которых попрежнему ловил „лидсакой”, возьмет свою бамбуковую палку, привезенную еще из Турции, и идет пешком двенадцать верст на свою „царыну”. Лошадь брать не хотел. Федька был очень рад приходу дедушки, так как тогда он мог спать, пока не запрягали коней в котки молотить. Рано утром его не будили, потому что скотину пас дед.

В степи Охрим Пантелеевич в хозяйственные работы не вмешивался. Иногда возьмет грабли, поворачивает немного на току и кладет обратно, а, когда Наталка варила обед, подкладывал ей в печку солому, чтобы скорее сварилось кушанье. Возвращаясь домой, он помогал Ольге Ивановне собирать созревавшие фрукты.

Все лето погода стояла хорошая. Выпадавшие изредка дожди не мешали работам в степи, поэтому обмолот хлебов у Кияшко был закончен до „Постного Ивана” (29 августа). До Второй Пречистой (8-го сентября) перевезли все зерно и перевезли в станицу, а также отправили домой всю полову и несколько гарб соломы, а за неделю до Покрова закончили почти всю зяблевую вспашку, подняв плугом и двухфлемешным букером двадцать пять десятин земли. После этого вся семья Тараса Охримовича возвратилась в станицу, оставив степную хату до весны следующего года, и начала готовиться к встрече престольного праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Страдная пора кончилась и начался заслуженный и продолжительный отдых для всех старых и молодых хлеборобов...

ГЛАВА XIII.

После суда Петра Кияшко перевели в общую камеру. До этого времени он ни с одним человеком, когда-либо сидевшим в тюрьме, не встречался и не знал, что такие люди существуют на свете. Теперь он увидел в этих сырых, непроницаемых для света стенах несколько десятков „арестантов”, посаженных туда за самые различные преступления.

Он совсем пал духом. Два дня ничего не ел, ни с кем не разговаривал, осунулся, похудел, все время лежал на нарах. Устремив неподвижный взгляд в какую-нибудь точку потолка, он часами не сводил с нее глаз, как будто старался рассмотреть в ней виновников своего горя. Где теперь искать правду? Как доказать, что он невиновен?

Петр уже не сомневался, что это „работа” Бошановского, а два пьянчужки, за деньги, говорили все по его указке.

Он все еще никак не мог понять, почему в его дворе оказалась спрятанной одежда Гасана. Как пропустили постороннего во двор их злющие собаки? Как мог оказаться его кисет, подарок Даши, в квартире Гасана? Он вечером, за три дня перед убийством, потерял его около карусели. Но ведь Гасана там и близко не было, чтобы найти и принести кисет к себе домой, да и зачем? Темная, запутанная история, — думал Петр, — но за что? Я дикую утку пожалел стрелять, когда ходил на охоту с Яковом Лебедь, а мне пришили убийство человека! За что меня разлучили навсегда с Дашей?

В углу на нарах, кто-то тенором затянул:

Сижу за решеткой, в темнице сырой.

На воле вскормленный орел молодой”,

два других заключенных подхватили баритонами:

„Мой грустный товарищ, махая крылом,

Кровавую пищу клюет под окном...”

Петр закрыл лицо руками и отвернулся в сторону, стараясь удержаться от рыданий. Песня наводила на него еще большую тоску и отчаяние.

— Да ты, козаче, не журись! — сказал присаживаясь к Петру пожилой, с большими запорожскими усами, арестант, считавшийся старшим по камере. — Не журись! Разве ты один страдаешь и тоскуешь? Смотри сколько здесь таких же неудачников, как ты! — и он рукой показал на сидевших и лежавших в камере людей. — И не все они преступники, есть и попавшие сюда ни про что, ни за что.

— Так вам и надо! — сердито сказал Петр. — Вы все тут городовики, вы заслужили этого, а я один среди вас казак, попавший без всякой вины.

— Почему же мы заслужили, а ты нет?

— Я казак, а вы городовики!

— Зарядил, „городовик, казак” — с усмешкой сказал его усатый собеседник, — ты и сам не знаешь, кто ты?

— Как так не знаю? Я — Кубанский казак.

— Охотно верю, это так, а почему ты по-нашему балакаешь?

— Как по-вашему? — сев на нары, удивился Петр. — Я по-своему, по-Кубанскому, а вы, дядько, лучше не приспосабливайтесь к нашему языку, а болтайте по-своему, по-городовицки!

— Ха! К вашему языку! — передразнил его усач. — Ты вот, козаче, скажи, кто твой отец?

— Мой батько Кубанский казак.

— А дед?

— И дедушка казак.

— А прадед?

— Да что вы ко мне пристали, как репях у Орышки до спидныци? Вы-то, дядько, кто такой?

— Вот то-то и оно, что ты даже прадеда своего не знаешь, кто он и откуда, а я вот знаю.

— Вы знаете моего прадеда? — усмехнулся Петр. — А кто же он был, как его имя?

— Как его звали, не знаю, но одно точно знаю, что и твой и мой прадед, оба походят с Украины, а мы с тобою потомки запорожских казаков, понял, молодой козаче?

— Дуже забрехався, дядько. Мой прадед Кияшко Пантелей тоже Кубанский казак и никаких Украин до каза-

чества не суйте! Я с Кубани и больше ничего не знаю и знать не хочу! Да и что может быть общего у меня, кубанца, с пришельцем москалем, с иногородним? Фамилия-то ваша как? Иванов, Петров, Косолапов?

— Моя фамилия Корж, а звать Василь.

— Корж? — удивился Петр. — Какой станицы? У меня крестный отец Корж Савка!

— Я не из станицы, козаче, я из села Остапивка, Полтавской губернии.

— А почему же вы нашей фамилией называетесь, когда вы не из наших кубанских станиц, а из какой-то губернии?

— Эх, друже, я вижу, ничего ты не знаешь, а говорил мне, что грамотный, — и Корж, похлопав его по плечу, начал рассказывать про разрушение Запорожской Сечи, про переселение бывших запорожцев — черноморских казаков на Кубань и другое, чего Петр, действительно, не знал.

— Разве ты не слышал у себя в станице такой песни, — и Корж вполголоса затянул:

„Чорна хмара наступає,
Дрібний дощик з неба.
Розігнали запорожців,
Комусь було треба.
Ой годі ж вам, чорноморці,
Худобу плодити.
Запрягайте воли в вози
Їдь на Кубань жыти...
Їдуть, їдуть чорноморці,
Назад ноги гнутця,
Ой як гляну в рідний край,
З очей сльозы льютця...”

— Знаю, знаю эту песню, — оживился Петр. — И парубки наши, и я сам не раз спивав эту песню. А мой дедушка Охрим и дед Горобец, как соберутся, выпьют по чарке, заведут эту песню, и слезы у них с глаз начинают капать.

— А почему же твой дедушка плакал, когда пел эту песню?

— Не знаю.

— Вот, друже, эта песня составлена нашими предками в то время, про которое я тебе сейчас рассказывал, когда Черноморцы, в том числе и твой прадедушка, шли с Украины „на Кубань жыты”. Все это было и все прошло. Больше не вернется. А знаешь, за что мне год тюрьмы дали?

— Откуда же я знаю; наверное, что-нибудь украли? — пожал плечами Петр.

— Плохо ты обо мне думаешь. Нет! Никогда, ничего чужого не брал! А арестовали меня за то, что с двумя своими хлопцами пел на бульваре песню „Думы мои, думы мои”...

— Ну, дядько Корж, по-моему, в этом вы уж чепуху городите! Не может быть, чтобы за песню в тюрьму сажали! Что-то не то. Да мы в станице без песен и одного часа не живем! В праздник и будни, на улице, в степи и дома, всегда у нас песни!

— Я тебе говорю сущую правду, что посадили меня именно за эту песню, потому что она теперь запрещена. Ее составил великий наш поэт Тарас Шевченко.

— Шевченко? — переспросил Петр. — Какой станицы? У меня в Старо-Минской остался друг, Шевченко Николай.

— Опять станица! — усмехнулся Корж. — Неужели ты думаешь, что ваши станицы стояли вечно? Тарас Шевченко никогда на Кубани не был, и жил еще тогда, когда ваши станицы только населялись и назывались куренями с теми же названиями, что было и в Запорожской Сечи! И ваше войско, в котором был не только твой прадедушка, но и здравствующий ныне дедушка, называлось тогда не Кубанское, а Черноморское...

— Совсем забили вы мне голову своими проповедями! У нас куренями называют сделанный на своей земле небольшой шалаш, обставленный камышем и покрытый соломой, чтобы летом было где прятаться от дождя. Как же вы говорите, что наши станицы назывались куренями?

Хватит! А то и так в голове трезвон. Было это так или не так, но все это прошло. Сейчас я думаю только о том, что попал сюда совершенно напрасно, что мучаюсь душой и телом, сам не зная, за что. Забрали меня сюда, вероятно, за то, что я любился с одной девушкой и мешал кому-то.

— Э, брось, браток, за дивчиной убиваться! — послышался голос с соседней нары. — Не беспокойся, не ты один тут кубанец, я тоже казак из станицы Новодеревянкской. Посадили вот тоже из-за бабы.

Петр еще больше оживился и, повернувшись к нему, спросил

— С Новодеревянкской? А ваша как фамилия?

— Я, Павло Гармаш, честного роду казак, а вот попал.

— А как же вы из-за бабы могли попасть сюда?

— Э, что об этом говорить. Горячий я слишком был, вот что! А впрочем это тебе может в науку будет, послушай! - - Гармаш приподнялся на локте. - - Молодым парубком любился я с одной гарной дивчиной, друг в друге души не чаяли. Ну, пришло время, поженились мы и бесконечно радовались своему счастью. Она тоже, стерва, любила меня! Вскоре я пошел на месячный лагерный сбор в Уманскую. Думал, месяц не вернусь, а получилось так, что через две недели меня отпустили. Доктор нашел какую-то болезнь у меня, хотя это была его ошибка: никакой болезни у меня нет и по сей день. Ну, мне-то что, отпустили - - радуюсь. Домой, ведь! Как не радоваться, когда там жинка ждет! Май месяц, красота! Со станции Албаши, от станицы Новоминской двенадцать верст часа за два отмахал, спешил добраться до своей Новодеревянкской. У нас ведь не то, что у вас; железной дороги до нашей станицы нет... Уже смерклось, поднялась луна... Не иду, а лечу по своей улице и думаю: „Вот обрадуется моя милая, ведь она совсем не ожидала меня сегодня. Вот праздник-то будет ей!“ Вхожу во двор, собаки сразу узнали меня, не гавкают, ласкаются. Смотрю, дверь в доме открыта, тихонько вхожу. „Драстуй!“ - - никто не отзывается, никого в комнате, и кровать ее пустая! Где бы это она могла быть? Вышел во двор, иду в сад и, что же

вы думаете? В саду под яблоней целуется моя „ципочка” с каким-то мужчиной! В глазах помутилось у меня и думаю, не сон ли это? Но нет, это был не сон! Закипело мое сердце, задрожал весь, но креплюсь; стою за стволом другой яблони и наблюдаю, что же дальше будет? А месяц в это время так ясно осветил ее смеющуюся лицо. Потом они сели на траву. И вижу такое, что не желаю ни одному мужу видеть... Под фигурой незнакомца ее не стало видно... В тот же миг блеснул мой кинжал и пронизал насквозь обоих.

Потом я покликнул соседей, позвал полицейского урядника и всем рассказал подробно, как и почему я так сделал. Некоторые соседи защищали меня и говорили, что я правильно поступил, но суд присудил меня на пять лет заключения в тюрьме.

Я сначала и не знал, кого убил. Не глянул сразу. А только позже, когда посходились соседи в сад, оказалось, что вместе с моей „горячо-любимой жонушкой” я приколол своего кума Заику Стефана. Жаль было этого человека, погорячился я тогда. Его-то я и не виню — он мужчина, казак. А ее падлюку ни капельки не жаль. Сука ненасытная, месяца не прошло и не вытерпела, обезьяна безхвостая! Теперь я уже ни одной красотке не поверю. Все бабы такие, ни одной нет на свете такой, чтобы всю жизнь исполняла то, что обещала перед венцом! Твари безхвостые! Если когда выйду на волю, никогда ни за что больше жениться не буду!..

— Ну и получишь то, что твой кум Заика, — заметил Корж.

— Нет, нет! Я и смотреть на них не буду, и ни до одной кумы никогда не пойду! Без этого не умру, — серьезным тоном сказал Гармаш. — А ты здесь печалишься и думаешь о какой-то крале, да еще и неповенчанной! — обратился он опять к Петру, — она уже давно с другим..

— Врешь! Моя не будет с другим, хоть и неповенчана! — обиделся Петр и даже привстал.

— Ну чего взъерепенился? Я же про свою рассказыывал, как все было; твоей ведь не трогал, — и Гармаш отвернулся от него.

Немного успокоившись, Петр присел к нему и сказал:

— У вас, дядько Павло, дело другое. Как бы там ни было, может, по-своему вы и прав; может, и другой так бы поступил, но вы знаете, что убили людей, и наказание вам законно. А я ведь и не помышлял о том, за что меня осудили. Я никого не убивал! Вот Васыль Корж... Хотя его, по-моему, тоже напрасно...

— А меня вот за политику посадили, — услышался голос совсем молодого, лет шестнадцати парня.

— Политику? — переспросил Петр. — А что это такое, побил кого?

— Да нет! В Таганроге два незнакомых дядьки попросили меня, чтобы я разбросал на базаре какие-то напечатанные бумажки и дали мне за это 25 копеек. Ну, а мне-то что, взял и кидаю людям эти бумажки. Подошел городской и забрал меня, потому что в этих бумажках были слова против самого царя, а я этого и не знал совсем. Я ведь неграмотный. Меня обещали отпустить, если я скажу: кто мне дал эти бумажки; но откуда я их знаю, тех дядей? Потом я с одним арестантом бежал, сели на пароход, что шел из Таганрога в Ейск, но меня жандарм опознал, когда уже подходили к порту, и вот посадили сюда. А того, бежавшего со мной арестанта, вероятно, не заметили, он спал на палубе...

— А ты тоже за политику попал? — обратился Гармаш к цыгану, сидевшему в углу на корточках.

— Та цыган известно за что сидит: кобылу украл, а жеребенка оставил, — пошутил кто-то.

— Вот угадал, сущую правду молвил, наверное, у тебя Соломон за пазухой! — в изумлении, даже привстал цыган. — Лошатко-то меня и выдало. кобылу я тихонько отвязал, сел и поехал, а лошонок лежал за яслями, и я его не заметил. Оно, наверное, дремало и не слышало, как я отвязывал кобылу. Когда я отъехал, оно спохватилось по матери и начало так голосно ржать, что хозяин и проснулся. Батько и сын-парубок догнали меня верхами, да чуть еще и вилами не прикололи; спасибо, сын удержал батька, не позволил колоть, а привел к полицейскому. Ну

и посадили. А разве я винсват? Лошатко проклятущее виновато...

— А я вот тоже за политику, — отозвался другой цыган.

— Как же ты попался? Какой организации? — заинтересовались некоторые..

— Я сам себе организация.

— Как так? Что же ты делал такое?

— Ничего я не делал противозаконного. Сделал то, что позволяет нам наш король. Откусил своей бабе нос.

— Ах ты изверг! Какой же король может это позволить?

— Наш, цыганский! Вы думаете, у нас своего царя нет? Или мы что делаем против законов нашего короля? — начал ораторствовать цыган. — Лошадей воровать разрешается нашим королем, только недозволяется попадаться. А всякой жене, которая поступит так, как жена Гармаша, король разрешает откусить нос. И все сошло бы без хлопот, если бы это случилось с нашей цыганкой, а я связался на свою беду с вашей бабой. Она, правда, не была мне женой, а просто так... Потом нашла другого. Я и припомнил ей закон нашего короля, а меня ваши полицейские схватили и посадили. Разве это правильно?..

„Политикант” еще долго жаловался на такую несправедливость...

Петр старался хоть на миг забыть, приспособиться к новой для него обстановке и поэтому слушал всякие были и небылицы. Но как только он отворачивался к стенке или засыпал, сразу же перед глазами всплывал образ Дзши, родная стена, дом, парубки, девчата...

Благодаря почти все были иногородними, приехавшими из других мест на Кубань, да еще конокрады-цыгане. Только Петр и Гармаш были казаки. Однако Петру все сочувствовали, ободряли, и, как ни странно ему было, — в первую очередь помогали как раз те иногородние, к которым он питал ссозловную ненависть.

Особенно полюбился ему полтавец Корж Василий, который часто повторял:

— Не журись, козаче, не тоскуй! Правда всегда восторжествует. Ты будешь дома раньше всех здесь находящихся!

Петр хотя и не верил этому, но все же ему становилось легче, когда он слышал такие добрые ободряющие слова. С большим удовольствием слушал он также рассказы Коржа о своих предках — Запорожцах и Черноморцах, и они жили очень дружно в камере...

ГЛАВА XIV.

В доме Кияшко Тараса все шло так, как будто ничего не случилось, а Петра никогда и на свете не было. Отец запретил вспоминать при нем „про выродка-разбойника“, хотя иногда и сам сомневался в виновности сына. Особенно после того, как кум Федор Куц приехал из Ейска и рассказал все подробности.

— Если бы я точно знал, что это Петро полез до Гасана, я бы его, сукиного сына, сам судил; я бы ему голову назад повернул, и пусть бы так и ходил задом, а не передом, — сказал он Куцу, — а то боюсь, может и вправду, это сделал кто-то другой, а моему розбышаке только приписали..

Во время работ на степи Ольга Ивановна, в „заговоре“ с свекром Охримом Пантелеевичем, тайком ездила в Ейск, возила сыну большую передачу и провела с ним четверть часа. Петр поклялся ей, что он невиновен, и мать поверила. В конце свидания перекрестила его дрожавшей рукой и упала без чувств. Когда очнулась, то увидела себя в кровати у каких-то незнакомых людей, живших вблизи тюрьмы. Приехав домой, она дня два не вставала с постели и ничего не ела. Все домашние были в степи, и никто об этом ничего не знал.

Даша тоже совсем извелась без Петра. Всех сторонилась, все ей были ненавистны, казались врагами и виновниками несчастья, разлучившего ее с любимым парубком. Слезы не высыхали у нее, и часто ночью, охватив подуш-

ку руками, она целовала ее и шептала: „Петрусь, Петрусь! Что сделали с тобой, родной мой, любимый...”

На все уговоры матери, понимавшей причину ее горя, -- „забыть Петра”, отвечала одно:

— Если в этом году Петрусь не будет снова дома, весной пойду в Лебяжий монастырь. Навеки уйду из этого злого мира!

Решение постричься в монахини у ней созрело в одну из бессонных ночей, после того как она узнала о приговоре суда.

— Доченька! -- обратилась однажды к ней Василиса Григорьевна. -- Чего ты так убиваешься за этим Петром? Не прогулялась ли ты с ним?

-- Мама, мама! Как вам не стыдно так думать обо мне? Зачем вы такое говорите? -- ответила с огорчением Даша. — Я его полюбила еще в школе, и с тех пор любовь моя не остывала ни на минуту, а все больше и больше разгоралась. Как же я могу его забыть? Никогда, никогда! Мама... скажите, что такое любовь? Почему так тяжело бывает от нее?

Василиса Григорьевна ласково погладила мягкие волосы Даши и вздохнула:

— Да, доченька, рано ты узнала это чувство, а как его объяснить... право, трудно. Знаю только, что любить можно всего один раз в жизни. А если потом другого полюбишь, то это уже не любовь, а привычка... Со стороны — трудно различить у женщин любовь от привычки. Она может быть верной другому, но в душе будет всю жизнь носить какую-то ямку в сердце от первой любви. Так-то! Я понимаю тебя, детка, вместе с тобой переживаю твою горе, и если любишь, правда, его всем сердцем, так люби и жди, а с монастырем повремени. Может, все и переменится. Слыхала вот я, что Федор Куш опять взялся хлопотать за Кияшковаго Петра...

Даша крепко поцеловала мать и ничего не ответила...

Как-то выйдя со двора, она увидела проходившего мимо Николая Шевченко.

— Колька, стой! — позвала его она. -- Неужели и ты думаешь, что Петро мог сделать то, что ему приписали?

— А ты это думаешь?

— Я?! Никогда и в голову не приходило! Но в чем же тут дело?

— Я и сам себя, Даша, все время спрашиваю, в чем же дело?

— Здесь, по-моему, что-то темно-темно, но как сделать, чтобы посветлело? — пристально глядя Николаю в глаза, спрашивала Даша.

— Мне почему-то кажется, все это проделки Боцановского. Помнишь, он тебя сватать приезжал, ты ему грубо отказала. Он понял, что причина всему Петр, а потом тот еще и отдубасил добре этого губошлепа. Вот он и отомстил ему. Подкупить свидетелей у него деньги найдутся...

— Правда! Это он! У, гад проклятый! — вскричала Даша и даже кулаки сжала от злости. — Он еще при первой встрече со мной после „провид” говорил, что „деньги все сделают”. Но как это доказать? Знаешь, я встретила Куца Федора; он опять собирает подписи под новой бумагой; записал и меня свидетелем, чтобы, когда будут пересматривать дело Петра, я показала, что Петр всю ту ночь был у меня и... „спал со мной”. Я дала согласие. Знаю, будут смеяться надо мной, стыдить за такие слова, но плевать на всех! Ради Петруся я готова на все...

— Хорошая ты девушка, Даша, — искренне сказал Николай. --- Вот,если бы все девушки на Кубани были такими!.. Ты очень хорошо сделала, что согласилась. Куц не даром такой уважаемый всеми казак; он очень умный и добрый человек, и при встрече с ним я всегда снимаю шапку. Но... надо ждать...

И Даша ждала. Подолгу молилась и утром и вечером тайком от родителей; утирала слезы, которые сами собой катились из глаз, когда она перед иконами шептала имя любимого. Ходила с Приской до „ворожки”, но та ничего путного не сказала; только, что „жирьовый” (трефовый) король находится в „казенном доме” и за него болеет „чирвова дама”. Но это они и без ворожки знали.

**

В середине сентября, в одно из воскресений, возвращаясь из церкви, Даша увидела возле своего двора спо-

койно стоявшего Геннадия Бошановского. Задрожав, словно змею увидела, Даша хотела пройти мимо, но Геннадий схватил ее за руку и ласково сказал:

— Дашенька, голубушка, послушай меня хоть одну минуточку! Чего ты такая смутная, невеселая? Напрасно тоскуешь, теперь уже не дождешься того душегуба Петра, и грех даже о нем и думать. Я от тебя еще не отказался, люблю тебя попрежнему, и буду сильно, еще сильнее любить, как станешь моей. Будешь ходить разодетая роскошно, как бар...

Сильный удар в переносицу небольшим, но твердым, кулаком молодой девушки прервал его красноречие. Вслед за этим, отскочив в сторону, Даша выхватила из забора толстый обрубок дерева и с такой силойхватила Бошановского по голове, что он зашатался и распластался на земле. Вскочив на него ногами, она топтала его, била кулаками и прерывающимся ст волнения голосом приговаривала:

— Ты... еще смеешь ко мне приставать, жаба Канеловская... падаль вонючая, тварь бездушная, проклятая!.. Убью, гадина полосатая, заколю! — и, вбежав во двор, она схватила стоявшие у забора хаты вилы и опять выбежала за калитку, сама не сознавая, на что решалась. Успевший подняться с земли Бошановский, увидев несущуюся к нему разъяренную девушку с вилами, кинулся со всех ног бежать. Даша не стала гнаться за ним и вернулась во двор, потому что проходившие по улице люди, обратив внимание на ее намерение, удивленно приостановились и прикрикнули на нее. Но во дворе она долго еще грозила ему вслед кулаком.

После такой „встречи” Бошановский убедился, что с Дашей поладить невозможно. Ее ненависть и злоба совсем его обескуражили. Он рассчитывал, что без Петра она будет с ним мягче, податливей, а вышло наоборот. Чего же еще можно было ждать от нее? Зачем же было начинать все это „грязное дело”?

— А все же, не все еще кончено, — пробовал он себя утешить, — обожду еще и посмотрю, как она дальше вести себя будет; возможно, не все еще пропало...

Присхав в Старо-Минскую после суда над Петром, Бошчановский дал обещанные им 50 рублей Машуткину Луке, с тем, чтобы он 25 рублей передал Кавардаку. Но Машуткин положил все деньги в свой карман и следующую же ночь скрылся. С тех пор о нем никто больше ничего не слыхал. Оставшись с „носом”, Кавардак иногда получал от Бошчановского по целковому на водку, но эти подачки только раздражали его, и в последний раз он отказался от денег. Иван вдруг возненавидел Бошчановского, стал избегать встреч с ним и попрежнему работал на Черноморке, постройка которой подходила уже к концу.

А жизнь в станице шла своим чередом. Хлеборобы, закончив полевые работы в степи, возвращались в свои дома.

Перед праздником Покрова в станице открылась осенняя Ивановская ярмарка. Много молодежи стекалось на ярмарку, всем хотелось побывать там, посмотреть всяких диковинок и повеселиться после страдного летнего времени.

Однажды, неизвестно из каких источников, пронесся по станице слух, что вечером, поездом из Ейска, провезут Петра Кияшко с группой арестантов через станцию Старо-Минская в Новочеркасскую тюрьму, и дальше на Сибирь. Друзья решили к закату солнца собраться на станции, чтобы проститься со своим парубком. Многие теперь были уверены, что Кияшко пострадал напрасно, что убийство Гасана было дело чьих-то других рук.

Николай Шевченко только перед вечером услышал такую вест, сейчас же побежал к Даше Костенко, но оказалось, что она поехала с отцом в степь за соломой. Тогда Николай побежал к Кияшкиному двору.

Ольга Ивановна, узнав новость, хотела было сама пойти на станцию, но, представив себе, как она встретит родного сына в кандалах, опустила на кровать, закрыла лицо руками и зарыдала.

— Сиди дома! — сказал ей Тарас Охримович. — Там еще под поезд бросишься? Да и стоит ли горевать за раз-

бойником? Ничего ему не надо и ходить туда никому не стоит!

Однако, заметив, что Охрим Пантелеевич что-то шептал Приське, и та с Гашксь начала укладывать в мешок хлеб, сало, колбасы и разные другие вещи вместе с парой белья, — он молча вышел во двор, сел на камень у ворот и сидел, ждал, пока Гашка и Приська не вышли из дома. Он достал из кошелька три рубля и сунул в руку Приське.

— Передашь Петру, если можно будет, — и отвернулся, чтобы никто не видел набежавшую слезу. Все знали, что батько только напускает на себя суровый вид, а, на самом деле, не меньше их болеет душой за сына.

От Кияшки Николай забежал к себе домой, схватил бутылку водки и опустил ее нераспечатанной в большой кувшин с молоком. Он знал, что водку арестантам передавать нельзя, а в кувшине с молоком ее никто не заметит. Потом, взяв фунта два коровьего масла, полбулки хлеба, кавун, поспешил на станцию.

Вечером на вокзальном перроне, обычно пустовавшем, было многолюдно: толпились парубки с девчатами, в здании был станичный полицейский Гноевой, два казака с винтовками, один жандарм из Ейска...

Пришли и Боцановский и Кавардак.

Чтобы время ожидания скорей бежало, стоявшая недалеко от полотна железной дороги молодежь тихо запела:

„Ой у лузі, та щей при березі
Там червона калина.
Спородила молода дівчина
Хорошого сына.
Спородила, та й занастила
В зелені діброві,
Дала йому стан тонкий козацький
Ще й чорнії брови.
Було б тобі, моя рідна мати,
Цих брів не давати,
Було б тобі, моя матусенька,
Щастя, долю дати.

Дала йому чорні брови
Та не дала щастя долі..”

Вдали послышался свисток паровоза. Песня сразу смолкла. Толпа хлынула к полотну железной дороги.

Медленно подошел поезд и остановился против вокзала.

Поезд имел направление Ейск-Сосыка, и раньше все пассажиры из Ейска на Ростов и Новочеркасск ехали через станцию Сосыка, а там пересаживались на поезда Владикавказской железной дороги. Теперь же всем им предстояла пересадка в Старо-Минской, так как Черноморка была уже в эксплуатации, и путь в направлении Ростов-Новочеркасск, таким образом, сокращался почти на двести верст.

Как объяснил Гноевой, арестанты на Старо-Минской будут пересажены в другой, специальный тюремный вагон, который придет с поездом из Новороссийска часа через два, и все будут направлены в Новочеркасскую тюрьму. Там будет „пересортировка”: заключенные с большими сроками будут отправлены в Сибирь, а с небольшим сроком — будут отбывать наказание там же, в Новочеркасске.

Все внимание молодежи было направлено на последний вагон, у которого суетилась конвойная стража.

Послышался глухой стук кандалов, и из дверей вагона, в сопровождении конвоиров с шашками наголо, вышли двенадцать колодников. Они медленно шли между двух железнодорожных путей.

Впереди шагал человек на вид лет тридцати, с длинными волосами. Впалые, лихорадочно блестящие глаза его бегали по сторонам, жадно высматривая кого-то в толпе стоявших девушек. Это и был, так изменившийся за три месяца тюремного заточения, восемнадцатилетний парубок Петр Кияшко.

Конвой и осужденные остановились на открытом месте, в стороне от всяких стрений. Никого из публики не подпускали близко, но начальник разрешил принять передачи. Здесь колодники должны были ожидать поезда из Новороссийска.

Николай с трудом узнал друга. Он бросился было к нему, но конвоир отстранил его.

— Не подходи, Коля, к разбойнику и душегубу! Видишь, какого ты страшного друга имел? — произнес глухим голосом Петр и криво усмехнулся.

— Не говори так, Петро! Я не верю в то, что ты душегуб! Ты невиновен, я ручаюсь за это, — взволнованным голосом крикнул Николай.

— Спасибо, друже, за твою веру в мою невиновность, спасибо!

Получив разрешение у начальника стражи, Приська и Гашка подошли и плача обнялись с братом, передав ему мешок с харчами и три рубля денег.

Вслед за ними к Петру поодиночке подходили его друзья и каждый передавал ему небольшой узелок.

— А где же... Даша, неужели не пришла? — вырвалось у Петра, и он стал внимательно всматриваться в стоявшую поодаль толпу. В этот момент он встретился взглядом с Иваном Кавардаком. Невольно он шагнул было в его сторону, но, опомнившись, остановился и громко сказал:

— Ну, спасибо тебе, козаче, за услугу! Неужели не терзает тебя совесть за попорченную честь и ложь под присягой? Что, много карбованцев заработал ты на этом деле?

Кавардак смутился, спустил голову и стоял, не шевелясь. Затем поднял голову и с бледным, как полотно, лицом шагнул в сторону Петра. Казалось, он хотел что-то сказать, но опять остановился и опустил голову.

Подошел жандарм и сказал конвою, чтобы узников перевели на другую сторону вторых путей, куда должен подойти состав с тюремным вагоном.

Печальным взглядом и прощальными возгласами провожала станичная молодежь своего парубка. Не только девушки, стоявшие возле горько рыдавших Приськи и Гашки, но и многие парубки утирали слезы. Николай плакал, как ребенок.

Не успели колодники тронуться с места, как вдруг из толпы выбежал Иван Кавардак и не своим голосом закричал:

— Стойте, стойте! Обождите!

Все в недоумении остановились. Наступила мертвая тишина. Подбежав ближе к конвою, Кавардак громко, так, чтобы все слышали, выкрикнул:

— Слушайте все! Пусть вечный позор ляжет на меня перед всем казачеством! Этот в кандалах человек, наш парубок Петр Кияшко, невиновен! Пустите его! Вяжите меня, злодея! Гасана убил я! — Все ахнули.

— Я и Лука Машуткин убили перса Гасана! — еще сильнее завопил Кавардак. — Но главный виновник этого злодеяния... вот! — и Кавардак ткнул пальцем в стоявшего невдалеке Геннадия Бошановского.

— Сволочь! — крикнул в ответ Бошановский и бросился было убежать, но парубки сразу же догнали, скрутили руки и привели назад.

— Я, я душегуб, продавший за деньги казачью честь, обвинивший невинного парубка, — продолжал исповедываться Кавардак. — Петрусь, прости! — и рыдая он упал на землю, ползал на коленях, как раненый зверь, и отрывистыми, малопонятными фразами объяснял, как было дело.

Связанный парубками Бошановский стоял тут же с опущенной головой и нервно вздрагивал всем телом.

— Геннадий! — обратился к нему Петр. — Неужели все, что сказал сейчас Иван, правда?

Бошановский с минуту молчал, не поднимая головы. Потом вздрогнул, глянул пристально на Петра:

— Пра-авда! — и рыдая повалился перед ним на землю.

А в это время уже кто-то позвонил станичному атаману о происшествии на вокзале. Емельян Иванович вскочил на первого попавшегося коня и прискакал на станцию.

Молодежь требовала немедленного освобождения Петра. Волнение охватило всех, но никто не позволил себе никаких выступлений против конвоя.

Атаман сейчас же позвонил по телефону Атаману Отдела, прося способствовать немедленному освобождению Петра Кияшко под его, атамана станицы, личную ответственность. Атаман Ейского Отдела генерал Кокунько сей-

час же связался по телефону с Екатеринодаром, лично с Наказным Атаманом, прося его немедленно освободить Кияшко Петра, по причине невинности последнего.

Случайно оказавшийся в числе пассажиров важный судейский чиновник Новочеркасской Судебной Палаты дал от себя телеграмму в Ейска начальнику тюрьмы о необычайном событии и высказал опасение, что отказ отпустить невинно-осужденного может вызвать на станции серьезные беспорядки. Подошедший поезд был задержан, хотя всех осужденных и ввели в прибывший в его составе вагон с решетками на окнах.

Через полчаса из Екатеринодара пришло телеграфное распоряжение об удовлетворении просьбы атамана станицы и, не ожидая формального пересмотра дела, немедленно же освободить Кияшко Петра под ответственность Старо-Минского атамана Ус. Из Ейска сначала распорядились всех осужденных вернуть назад, но, когда узнали о приказе Наказного Атамана, разрешили начальнику конвоя отпустить Петра под расписку атамана станицы Старо-Минской.

Атаман сам арестовал Боцановского и Кавардака и отправил их в станичный карцер. Потом подошел к арестантскому вагону, оформил с начальником конвоя подписку на основании приказа Наказного Атамана и радостно похлопал по плечу выходящего из вагона освобожденного Петра. Тот со слезами крепко поцеловал атамана и низко поклонился ему в ноги. Потом Петр метнулся обратно в вагон, крикнул прощальные слова тем, с кем он должен был следовать в этом неприятном вагоне до Новочеркасска. Попросил конвой взять все принесенные ему узелки с передачами для оставшихся в вагоне узников и подошел к старшему другу и утешителю в несчастье:

— Вы, дядя Василь, возьмите и это! — и он отдал ему принесенные Приськой три рубля.

— Спасибо, козаче, спасибо! — сказал Корж. — Вот и дождался ты того момента, когда объявился настоящий виновник, не побоявшийся признать свою вину! Дождусь

ли и я такого часа, когда найдется человек, который скажет: „Корж Василий, ты невиновен, иди домой”?

Петр на миг остановился, потом поцеловал его и сказал:

— Дождетесь, дядько Корж, не журится! Ждите! Прощайте! — и, прыгнув с подножки вагона, скрылся в толпе шумевшей вблизи него молодежи.

И знакомые и незнакомые, все казались Петру такими милыми, такими добрыми, что он, поворачиваясь во все стороны, обнимал и целовал всех подряд. Он все надеялся встретить поцелуй той, ради которой готов был пожертвовать всем на свете, но ее не было. Николай отгадал его беспокойство и сказал, что Даша не знала ничего и еще днем поехала с батьком в степь, но что скоро она наверняка будет дома.

Окруженный весело гомонящей толпой парубков и девчат, Петр направился на свою улицу. Приська и Гашка понеслись, что есть духу, домой, стараясь опередить всех и скорее сообщить радостную весть своим.

На базарной площади молодежь разошлась в разные стороны, а Петр и Николай пошли вдвоем дальше. Николай без умолку рассказывал другу обо всем, что произошло в станице за время его отсутствия. Делая вид, что он внимательно его слушает, Петр, на самом деле, все время думал: куда ему надо прежде зайти — к Даше или домой.

Выйдя на свою улицу, Николай простился с Петром, пообещав на следующий день, после обеда, явиться к нему с парубками и принести ведро водки.

Петр шел, задумчиво всматриваясь в встречные хаты и заборы, казавшиеся ему какими-то новыми и незнакомыми. Так, он даже не заметил, как очутился вблизи двора Трофима Костенко.

Сердце его учащенно забилося при виде знакомого домика. Вон то низенькое окошко, в котором сколько раз видел он милую его сердцу головку. А там за домом садик, и в нем роскошная яблоня, под которой часто эта головка склонялась на его грудь.

Луны не было. Темно и тихо. Петр бесшумно скольз-

нул в калитку и на цыпочках подошел к заветному окну. Затаив дыхание, прислушался. Тихо. В комнате мерцал слабый свет, горела лампада, завтра воскресенье. Оглянулся. За колодцем стояла гарба с соломой, дальше около яслей фыркали лошади. Ага! Это они в сумерках приехали со степи и в темноте не хотели складывать в скирду солому. Значит, все дома.

Дрожавшей рукой он коснулся открытой ставни и тихо постучал в окно. Ответа нет. Он постучал сильнее. В комнате мелькнула женская тень и послышался слабый голос:

— Кто там?

Петр не мог ответить сразу. Язык не повиновался, и сердце готово было выскочить из груди. Наконец, он отозвался:

— Я!

Прислонившись лицом к стеклу, Даша с недоверием рассматривала стоявшего у окна незнакомого и как будто немолодого уже мужчину.

— Дашенька, да это я! — повторил Петр громче, готовый ринуться в окно.

Даша слышала знакомый голос, но чей, — она не могла понять. Растерянно оглянувшись по сторонам, она машинально распахнула окно.

— Дашенька, дорогая! — и Петр обхватил руками ее плечи. Из груди Даши вырвался какой-то хриплый неестественный вопль, потом она громко вскрикнула и почти без чувств повисла на шее ночного гостя. Они отрывались и снова сливались в долгом поцелуе, не имея сил выговорить ни слова.

На вопль Даши с постели вскочили мать и отец и, вбежав в комнату, остановились в недоумении.

— Даша! Ты что это, стыдись! — закричала мать.

— Дарья! Это еще что такое? — строго спросил отец.

Но Даша ничего не слыхала и не видела, кто там позади нее, а только шептала, целуя парубка: „Петенька, бедненький, Петюнчик мой!”

Услышав имя, мать поняла: кто явился к Даше, и, шепнув что-то мужу, тихо увлекла его с собой из комнаты.

-- Это ты, неужели, Господи! Милый мой, Петенька! — говорила Даша, прижимаясь к Петру. — Как же теперь? Уже все... останешься навсегда со мной?

-- Навсегда, навсегда с тобою, жизнь моя, радость моя, — отвечал Петр, сжимая ее в объятиях.

Когда они немного успокоились, Петр коротко рассказал ей все, что произошло сегодня на станции.

— Я это чувствовала, знала, что это он, Ирод, хотел погубить тебя и меня...

Простившись с Дашей, Петр побегал домой. Ведь там тоже предстояла другая радостная встреча.

Даша кинулась к матери, начала обнимать ее и целовать. Мать, конечно, не спала и сразу же спросила:

— Кто это был, неужели Петро Кияшкин вернулся?

— Он, мама! Он! -- продолжая в избытке счастья целовать мать, ликовала Даша. Потом схватила сидевшую на подоконнике кошку, начала кружиться с ней, целовать и ее и прыгать, как ребенок...

**

От Приськи и Гашки в доме Кияшко знали уже все. Когда Петр подходил к своему двору, все стояли у ворот и с нетерпением ждали его. Ольга Ивановна первая повисла на шее сына, плача от радости. Тарас Охримович тоже крепко поцеловал Петра, похлопал его по плечу и сказал: „Ничего, в жизни все встречается. Все хорошо, что хорошо кончается“. Охрим Пантелеевич, целуя внука, только и мог сказать: „Ич, басурман!“ Федька, как репях вцепился обеими руками за брюки Петра, старался перекрычать всех, сообщая ему новость, что он уже в школу ходит и даже имеет настоящий новый букварь.

В эту ночь в доме Тараса Кияшко долго не спали. Радость прогнала сон.

ГЛАВА XV.

День Покрова Пресвятой Богородицы почитался в станице не только как престольный праздник, но и как день подведения итогов напряженной летней работы казачков-хлеборобов.

Вторая Ивановская ярмарка, начавшаяся 26 сентября, на Иоанна Богослова, шумела пчелиным роем. Большая площадь в южной части станицы, на которой происходила ярмарка, так и называлась Ярмарковой.

Чего-чего только не было на прилавках временно сооруженных из досок магазинов и торговых палаток! Мануфактура всех сортов, цветов и оттенков, обувь, кухонная посуда, всякий сельско-хозяйственный инвентарь, игрушки, лакомства, напитки...

Весь станичный народ, особенно молодежь, на Покров одевались во все новое и разгуливали в праздничных рядах по ярмарке.

Цыгане-шабаи, с длинными батогами в руках, сновали в толпе на „конской стороне” ярмарки, предлагая менять своих „рысаков” между собой и с казаками, без меры расхваливая своих коней и обязательно требуя придачи хоть в несколько рублей. При этом цыгане, улыбаясь, сами приговаривали: „Цыган за додачею, як собака за маслом”.

Какой-то рыжеусый казак, в пепельного цвета бешмете, уже ударил по-рукам с высоким цыганом и стал доставать из кармана деньги за покупаемого у него коня.

Продавец обрадовался, поспешно перекрестился, достал из под копыта коня горсть земли, посыпал по спине своего серого и уже приготовился получить от казака деньги, как к рыжеусому подошел Савка Корж:

— Да ты, кум, с ума спятил; вздумал у цыгана коня покупать!

— А что, разве плохой конь? Смотри какой ширый! — и рыжеусый казак не успел еще поднять кнут, как лошадь сразу затопала ногами, порываясь бежать.

— Не верь, кум, этому топанью, цыган сделал коня ширым только для ярмарки! - продолжал Корж. - Ширым он сделался вот как: намеченного для продажи коня, цыгане привязывают вечером к столбу или к возу и всю ночь дупят беднягу батогом, то один, то другой цыган, по очереди. К утру кожа у коня стает такой болючей, что чуть батогом прикоснись, как он сразу так и подпрыгнет, только не от ширости, а от боли.

— Ох, козаче, неправду говоришь, напрасно Бога гнешь! Разве это плохой конь? — с обидой за провал уже почти оформленной сделки сказал цыган.

— Бреши, бреши больше! Нашел дураков! В прошлом году я сам купил у вашего брата вот такого же „широго”, заплатил 23 карбованца, а через день он стал хуже вола, и пришлось мне продать его только за 12 рублей. А купили его у меня те же самые цыгане. Это сушая правда, кум.

Кум почесал затылок и спрятал свои деньги обратно в карман.

— А с моим соседом был такой случай, — начал уже „заливать” Корж. — На ярмарке в Канеловке, купил он у цыган полного гладкого коня, привязал к своим дрогам и поехал домой потихоньку. Когда переехали Канеловский бугор, он отдал вожжи своей жене, а сам вздумал проехаться верхом на купленном коне. Только он прыгнул ему на спину, как сзади что-то „бах”, и кукурузный качан отлетел в сторону. И конь стал тонким, как доска, упал на землю под соседом и больше не поднялся. Надули сволочи полудохлого гнедого каким-то насосом, качали ему воздух, пока он стал толстым, потом заткнули сзади кукурузным качаном и продали так, а когда сосед сел, качан выскочил и из коня получился пшик. Так-то, кум...

Сделка с покупкой коня расстроилась. Как цыган ни хвалил своего „широго”, — не помогло. Рыжеусый казак на радостях, что послушал кума и сберег деньги, зашел с ним на „полчасика” в ярмарочный трактир, откуда зывающе неслась песня:

„Гей ну те, хлопці, славі молодці,
Чого смутні невеселі?
Хіба в шинкарьки мало горілки,
Пива і меду не стало?...”

„Полчасика” протянулось до самого вечера, и оба кума из балагана уже не вышли, а выползли на четвереньках, оставив там немало „сбереженных” от рискованной покупки коня денег.

У лотков с различными сладостями толпилась детвора, выбирая лакомства по своему вкусу. Затем шумной оравой бегали среди двух рядов возов с разного сорта виноградом, покупая по полторы копейки фунт крупные грозди.

Игравшую на все лады шарманку окружала не только детвора, но и взрослая молодежь. Приезжий из города музыкант, называемый парубками „шарлатаном”, вертел за ручку свой инструмент, а сверху на ящичке сидел попугай и изогнутым клювом за копеечную монету тянул из небольшого картонного ящика „счастье” (записочки с написанным ответом на задуманное). Во время отдыха, сидя на крыше шарманки, попугай грыз насыпанные подсолнуховые семечки и, умело орудуя клювом, аккуратно отделял и выплевывал шелуху, глотая только чистые зерна.

— Попка, вытяни счастье! — обратился к попугаю мальчуган, стоявший со своим сверстником Федькой Кияшко. Попугай только помотал головой и продолжал щелкать семечки. А когда мальчуган дал хозяину копейку, и он повелительно сказал:

— Попочка, дай одно счастье! — тот сразу бросил семечки, осторожно вытащил одну записочку и передал ее мальчику.

Федька подошел к попугаю и, слегка толкнув эту интересную для него птичку, сказал:

— Попка, а кто дурак?

— Попочка, — отчетливо ответил попугай. Вся детвора засмеялась от людского говора птицы.

В это время пьяный казак подошел к шарманке и долго смотрел на попугая, потом громко спросил его:

— Попка, а ну-ка покажи, как пьяного казака жинка бьет?

Попугай, не любивший, по словам хозяина, вообще пьяных, захлопал крыльями, завизжал, вскочил на голову казаку и принялся бить его крыльями и тыкать клювом по голове. Все до упаду хохотали, и хозяину с трудом удалось унять свою расходившуюся птицу.

Недалеко от шарманки расположился со своим игральным столиком другой „ростовский тип” и, стараясь привлечь к себе побольше публики, неумолкая орал во все горло:

— Эй, навались, у кого деньги завелись! Билет без пустого, товар прибыл с Ростова! Небольшая забота, лишь бы пятак да охота! Тут есть сережки, брошки, чайные ложки, духи, помада... кому чего надо! Эй, давай, давай, давай!..

И казалось не было конца его прибауткам. Любопытные подходили, клали на цветных линиях игального столика медные и серебряные пятаки, колесо с упругой роговой стрелкой вертелось, и почти все пятаки сыпались потом в карман этого ростовского затейщика.

Наглядевшись всех этих забав, Федька бросил своих товарищей и один направился к столикам со всевозможными сладостями. Сновавшая повсюду цыганка-гадалка, заметив, что Федька уверенно направился к лоткам с лакомствами, догадалась, что у него, наверное, есть деньги.

— А ну, красавчик, дай-ка руку, погадаю! Ой, какой счастливый будешь, — обратилась она к нему.

— А ну тебя, иди большим гадай! — ствятил Федька, зажав в руке копейку. На свое „богатство” он предпочитал купить большой кусок белой халвы-тягучки, чем отдать его гадалке, и побежал к качелям.

Толпа парубков и девушек, ощипывая кисти винограда, с насмешками обступила цыганку-гадалку.

— Эй, баламутка, поворожи мне! Скоро ли родит моя жена и кого, мальчика или девочку? — спросил высокий парубок, стоявший рядом с Петром Кияшко.

— Ты смеешься, парубче, надо мной, но я все-таки скажу тебе ширую правду, — отвечала серьезным тоном цыганка. — Твоя непорочная красавица, с которой ты познакомишься за день до свадьбы, на второй день после венчанья родит тебе или мальчика или девочку, а, может, Бог пошлет и сразу двоих.

— Чтож, ты правду сказала, так тоже бывает, — согласился с ней высокий парубок и еще спросил: — а не скажешь ли мне, где сейчас моя красавица находится?

— Скажу. Вон за речкой пасется, стреноженная, видишь? — и цыганка показала на ходившую по противоположному берегу рыжую кобылу.

— Сатана ты брехливая, да что же я на кобыле жениться буду?

— Бывает, что и жинка хуже кобылы, — невозмутимо отрезала цыганка под общий хохот молодежи.

— На, винограду, да скажи мне правду! — сказал другой парубок. — Красивая ли будет моя жинка?

— Позолоти ручку, скажу.

— Нема грошей, гадай так!

— Ну раз ты такой бедный, скажу без позолоты. У тебя будет такая прелестная красавица, каких во всем свете нет. Ножки стройные, тонкие, как стебель подсолнуха. Глазенки, ай-ай, что за глазенки! Так и светятся разноцветными огнями; правда, другой глаз ворона выклевала, когда она на гноищи спала, ну так что ж! Зато на одной руке имеет шесть пальцев, а на другой -- ни одного; тоже ничего. Волоса черные, как сметана, личико белое, как сажа, а носик! Господи, что за носик! Я вчера несла кувшин молока с базара и шла рядом с твоей красавицей. Я что-то ее спросила, а она повернула ко мне голову и своим носиком выбила из моих рук кувшин...

— Да замолчи ты, картавая ворона! — крикнул побежденный таким остроумием парубок и под общий смех отошел в сторону.

— На тебе веточку винограда и погадай мне, да только говори правду! — сказала Даша Костенко и дала цыганке небольшую гроздь.

— За виноград спасибо, а чтобы правду сказать, надо позолотить ручку, — улыбалась цыганка и подставила руку.

— Вот жадная какая, ну ладно, на! -- и Даша положила ей на ладонь две копейки.

— Ой счастливая, счастливая, моя черноокая галочка! — еще даже и не посмотрев на руку Даши, начала гадалка. — Счастье около тебя так и вертится, так и кружится, — она мимолетно глянула на ладонь Даши и продолжала: — Жить ты будешь до самой смерти. Желание твое испол-

нится. Через год ты выйдешь замуж, повенчаешься и будешь жить с своим карооким, почти как с мужем. Чернобровый за тобой так и ходит, так и увивается и напрасно ты его не любишь...

— Брешешь, люблю! — вспыхнула вдруг Даша и, покраснев, отошла от цыганки. Петр засмеялся, взял ее за руку и повел кататься на карусель.

Там они уселись на „тачанку“, ожидая начала вращения. Впереди них, верхом на деревянных „конях“ сидели два подвыпивших парубка, все время били их по „гриве“ и кричали: „Но! Ноо, чертяка, чего стоишь?! Пошел, ну!“, но „кони“ не двигались. Наконец, прозвенел колокольчик, заиграла шарманка, стоявшая за брезентовым занавесом внутри карусели, и все „кони“ и „тачанки“ поплыли, кружась вокруг одной точки вместе с сидевшими на них „пассажирами“.

При сильном круговом вращении карусели у Даши немного закружилась голова, и она, боясь свалиться, прильнула к Петру.

— Слушай, Дашенька, — сказал он прижавшейся к нему девушке. — Как приду домой сегодня, так прямо и скажу батьку и матери, что мол хочу жениться. И не сегодня-завтра, на тройке вороных примчусь к тебе с старостами свататься.

— Правда? Нет, ты шутишь? Аж моторошно стало... А чего, сама не знаю. — Даша смутилась, потом лукаво взглянула на Петра: — А цыганка же сказала, что я не люблю тебя!

— А, может, и правду сказала? Может, в мое отсутствие нашла себе другого? — стараясь не улыбнуться, спросил Петр...

— Вот еще вредный какой, и не грех тебе так думать о мне! — наклонив голову, обиженным тоном сказала Даша.

— Да, нет, не сердись, шучу! Знаю тебя не первый день... А вот, интересно: знают ли ваши о нашем коханьи что-нибудь?

— Еще бы не знали! — засмеялась Даша. — Им еще и раньше соседские девчата говорили об этом, да и сами

не раз видели меня с тобою. А когда ты три дня тому назад прямо со станции зашел ко мне, то и папаша и мама видели, как мы целовались; только мы их тогда не замечали, а они стояли в комнате и смотрели. Когда с тобой случилось несчастье, они сильно ругали меня, говорили, что ты и „сякой и такой” и что ты вообще не вернешься; но мама у меня очень добрая и все понимает. Когда я ей сказала, что никого больше любить не буду и уйду в монастырь на веки вечные, она ласково сказала: „Если любишь, — люби и жди! Ведь любить можно в жизни только раз...” И после этого они уже ничего мне не говорили против тебя. Ну, а теперь, когда ты вернулся, они и подавно против тебя ничего не скажут.

— Ну если так, тогда все хорошо, — сказал Петр, прижимая к себе Дашу.

Карусель остановилась, они спрыгнули с тачанки и, так как солнце уже повернуло к закату, поспешили домой.

**

Дома Даша сейчас же переоделась, сняв с себя праздничное платье; взяла стоявшие у сарая весла с лодки и направилась к речке. Оставив на берегу ботинки, чтобы не замочились в воде, вошла босиком в небольшую лодку и, хорошо управляя „бабайками”, поплыла на противоположный берег, чтобы загнать домой засидевшихся там уток.

На середине реки у ней неожиданно, от легкого порыва ветерка, слетела с головы батистовая косынка и упала за борт. Даша, привстав, наклонилась за нею и только хотела схватить, как небольшая лодка потеряв равновесие в один миг опрокинулась. Падая, девушка громко вскрикнула, в тот же момент скрылась под водой и назад не показалась. Случилось это на самом глубоком месте речки, вблизи высокого камыша, среди которого кое-где виднелись свободные прогалины...

В тот же самый час в доме Кияшко происходил семейный совет.

Предварительно поговорив с дедом Охримом и старшим братом Никифором и заручившись их поддержкой,

Петр вошел в комнату, в которой все сидели, луская семья, и стал около окна.

— Тарасе! — начал Охрим Пантелеевич. — Чи не пора бы тебе женить Петра? Сколько ж ему еще гулять, уже девятнадцатый год наступил!

— Да, батя, я тоже хотел вам про это сказать, — отозвался Никифор и добавил: — Довольно уже Петру байдыкувать, а то сами видели, какой с ним этим летом случай приключился и все от того, что неженатый. Весной я с Наталкой, возможно, отделиюсь от вас на свой новый план на подселке, а кто же у печки варить обед будет, кто матери помогать станет? Девчата только и знают нарядиться, повертеться перед зеркалом, да и бегут на улицу на гулянки!

— Все это суцкая правда, сынку, — насупил брови Тарас Охримович. — Так он же, розбышака, ни за что не хочет жениться! Мы его еще весной, когда ты еще со службы не вернулся, хотели женить, да ничего не вышло. А если бы женился весной, то и кандалов не видел бы. Сам не хочет жениться, что я поделаю?

— Ничего подобного! — отозвался у окна Петр. — То было еще не время, а вот теперь, хоть сейчас посылайте за старостами — буду жениться!

— О! Что это с тобой стряслось, не бабка ли Кононениха пошептала? — даже приподнялся от удивления со скамейки Тарас Охримович. — Наверное, Ейские казематы образумили! Да ты же в „Дарную неделю” говорил, что и девчат подходящих не знаешь!

— То, что говорил, уже прошло. То была весна, а сейчас осень, и за это время много воды утекло и много прибавилось. Знаю теперь хорошую девушку и женюсь на ней и только на ней!

— Кто же эта девушка? — спросил отец.

Петр замаялся, посмотрел на деда, потом на Никифора и, покраснев, молчал.

— Ну, говори! Что же, будешь ехать свататься, а мы и знать не будем, до кого поехал?

— Да что ж вы не знаете? — ответил, наконец, Петр:

— Я поеду сватать Дашу Костенко, Трофима Степановича дочку.

Тарас Охримович почесал затылок и скривился. Вообще-то он осенью не собирался справлять свадьбу, не хотел на зиму прибавлять семью, но, самое главное, названная Петром девушка была из очень небогатой семьи.

— Сколько в станице у богатых и знатных казаков есть девчат, а он наметил себе такую, у которой и приданое, наверное, все в одном узелку, как кот наплакал; голая, как мышь, — сказал он тоном явного неудовольствия.

— Батя! Я же не на приданом женюсь, а на любимой мне девушке. Я же беру Дашу, как подругу жизни, и не на один год, а навсегда.

— Та чего ты ему перечишь, старый? — с досадой отозвалась Ольга Ивановна. — Зачем нам ее богатство? Кажется, ни в чем у нас недостатка нет, лишь бы девка путящая была, а приданое, какое Бог даст, такое пусть и будет. Я рада, что он наконец образумился и хочет утешить на старости свою мать...

В этот момент в комнату влетел, как оглашенный, Федька и, придерживая одной рукой спадавшие штаны, завопил не своим гласом:

— Петро, Никифор, мамо, чуєте?! Даша Костенкова в речке утопилась!

У Петра по спине поползли мурашки, он вскочил и крикнул:

— Брешешь, трепло, уходи отсюда, а то я тебе покажу, как такими шутками дурить нас!

— От „Хрести-Бог”, правда! — и Федька перекрестился. — Я сейчас гнал наших овец от речки и сам своими глазами видел, и люди видели, как она упала с каюка в воду, сразу потонула и больше из воды не показалась. Даже на том месте „бульбы” по воде пошли, — добавил он от себя для вескости своих сообщений.

— Вот так новость! Господи, сохрани и помилуй от таких несчастий! — запричитала Ольга Ивановна, крестясь. — Да что же это такое, Боже мой! Сыночек мой бесталаный!

Петр побледнел и стоял без движения, устремив немигающий взгляд на Федьку. Не верить было нельзя: Федька напрасно не будет „божиться“, да еще при родителях.

В этот момент Приська, подоив в базу коров, шла с редром молока в дом, и Петр услышал, как она, остановившись у порога, громко переспросила бежавших по улице девушек: „Где, когда утопилась?“

Эти слова вывели Петра из оцепенения.

— Где, в каком месте? Беги впереди меня и показывай! — крикнул он Федьке и выскочил из комнаты.

Федька стрелой помчался к речке, и Петр едва успевал бежать за ним.

На берегу речки уже толпился народ. Там же находились только-что прибежавшие убитый горем отец Даши и причитавшая в отчаянии мать.

Петру сразу бросились в глаза стоявшие на берегу ботинки Даши, потом он заметил на середине речки ее косынку. Недалеко от косынки, на большой лодке двое казаков опускали в воду широко расставленный волок и тянули, надеясь обнаружить утопленницу.

В глазах у Петра потемнело, ноги подкашивались; он схватился за волосы: „Так значит, Федька не врал? Ее нет? Зачем же Ты, о Господи, такой жестокий ко мне?..“

Потом он громко закричал:

— До косынки тяните волок, до косынки! Какую еще давайте, какую!

Он кинулся бежать вдоль речки и сажен через пятьдесят наткнулся на чью-то запертую цепью лодку. Разбив камнем замок, он схватил тут же лежавший длинный шест, столкнул лодку в воду и, сам не соображая зачем, поплыл к противоположному берегу реки. Не оглядываясь по сторонам, он гнал лодку по прямой линии, пока высокий камыш не скрыл его от стоявших на берегу людей.

По водной дорожке, лежавшей между двух стен камыша, лодка двигалась медленнее, но Петр теперь уже и не спешил. „Что толку, если и достанут теперь ее в воде? Полчаса уже прошло!“, думал он. Он уселся на корме

и только слегка толкал шестом о кочки камыша, но делал это машинально, сам же всматривался в воду, как будто надеясь увидеть там родное лицо. Но сквозь рябившуюся от ветерка гладь ничего не было видно.

Так бесцельно и тихо продвигаясь, лодка незаметно причалила к другому берегу.

Петр вышел из лодки и, словно пьяный, тяжело побрел вдоль берега мимо шумевшего сухого камыша.

Неожиданное страшное горе вдруг привело его в иступление. Зарыдав, он то рвал на себе рубашку и бросал куски под ноги, то бил себя кулаками в грудь, и неизвестно, до чего бы он дошел, если бы, подняв случайно голову, нечаянно не глянул в сторону реки...

На сухой прибрежной траве, под кручей, возле зарослей густого высокого камыша, полураздетая, с мокрыми распущенными волосами, словно русалка, сидела... Даша и выжимала снятую с себя мокрую одежду.

Петр чуть не рехнулся от такого видения. Протер глаза, не веря тому, что видел; но „привидение” не исчезало. С минуту он смотрел на ее обнаженные груди, не шевелясь и, казалось, перестав дышать, но грудь его порывисто вздымалась, и сердце колотилось, как барабан. Потом прыжками бросился к ней, обнял ее плечи и начал, не отрываясь, целовать лицо.

Даша вначале испугалась такого внезапного появления парубка, закрывала схваченной с травы мокрой кофточкой грудь и старалась отпихнуть от себя Петра другой рукой.

— Да ты с ума спятил? И часа не прошло, как расстались, а ты как будто десять лет не видал! — опомнившись, сказала она, поспешно натягивая на себя мокрую кофточку и верхнюю юбку. — Чего здесь появился? Три месяца не виделась, да и то, так не волновался? Чего ты в такой разорванной рубашке? В чем дело?..

— Так ты, значит, живая, не утонула? Миленькая моя, жизнь моя! — не переставая целовать, бормотал Петр.

— Что ты, Бог с тобой! Откуда ты выдумал, что я утонула?

— Ой, Дашенька, да ты посмотри, что на том берегу делается?! Тебя ищут в воде волоком! — и он вкратце рассказал ей, что происходит.

— Я, верно, упала с лодки в воду, — сказала она. — но ты же знаешь, как я ныряю и плаваю; меня и рыба под водой не догонит! Очутившись в воде, я сразу пошла на дно, потом вынырнула, но в другом месте, среди высокого камыша и, проплыв немного, вышла на этот берег, он был ближе, чем тот. Поэтому, Федька прав, я из воды не показалась в том месте, где упала. Неужели, правда, меня там ищут?

— Ну, а почему бы я здесь оказался? — вопросом ответил Петр.

— Бедная мама, она еще, может, заболит от страха за меня... — заволновалась Даша и сама начала дрожать от вечерней прохлады. — Вода теперь холодная, я прозябла, идем скорее отсюда!

— Да, да! Идем скорее, идем! — скороговоркой ответил Петр.

Взявшись за руки, они бегом кинулись к лодке, вскочили в нее и поплыли обратно к своему берегу.

— Плывут, плывут! Вон на каюке едут! — закричали стоявшие на берегу подростки.

Трофим Степанович, услышав крик мальчуганов, подумал, что везут его мертвую дочь, в ужасе закрыл лицо руками и отвернулся. Но, услышав вслед радостно-удивленные возгласы, открыл глаза и увидел в быстро скользящей по чистоводью лодке Петра и Дашу.

Бесконечным распросам не было конца. Недавние рыдания сменились веселым смехом. У девчат нашлась для „утопленницы” сухая одежда, так как все они, по станичной моде, носили на себе по несколько юбок; и она тут же, в высоком бурьяне, и переделалась. Василиса Григорьевна со слезами радости обнимала и целовала не только Дашу, а заодно и Петра, который так неожиданно-негаданно доставил ее дочь живую.

Веселой гурьбой семья Костенко и подруги Даши отправились домой. О злосчастной косынке никто и не вспомнил. А утки, за которыми поехала было на лодке

Даша, тем временем сами приплыли к своему берегу, вышли из воды, и, кивая в такт своему „кахканью” головами, тоже мирно заковыляли следом за хозяевами.

Петр постоял еще немного на берегу, посмотрел вслед Даше и медленно побрел к себе домой, то вздрагивая, то улыбаясь, вспоминая только-что случившееся...

Пришедший тоже к берегу, чтобы посмотреть на такое происшествие, Тарас Охримович уходя махнул рукой и пробормотал про себя:

— А Бог с ними! Наверное, уж судьба его такая! Пускай женится на ней! Дивчина хорошая. А то и я почувствовал, как мое сердце заволновалось, когда услышал такую страшную весть...

Тарас Охримович вошел в комнату и, увидев, что Петр надевает другую рубашку взамен им же изорванной, хлопнул его по плечу и ласково сказал:

— Что, перетрусил? Ну ничего, слава Богу, что все сошло благополучно. Напрасно только тревожились. Молодец! Ты без ошибки выбрал себе невесту. Хоть завтра езжай сватать, ничего не имею против. Пусть будет по-твоему, согласен!

Петр улыбнулся и, не поднимая головы, только и сказал:

— Спасибо, батя.

Уже смеркалось. Надо было собираться итти на улицу к парубкам и девушкам...

ГЛАВА XVI.

На третий день после Покрова, хотя еще не успело смеркнуться, а собравшиеся на улице недалеко от двора Костенко Трофима девушки уже распевали свои песни про „коханье” и разлуку.

Даша, одевшись по-праздничному еще перед заходом солнца, к удивлению родителей, совсем не спешила к подругам. Она поминутно подходила к окну и глядела на дорогу, стараясь что-то там рассмотреть; а то несколько раз хватала веник и начинала подметать комнату, хотя в этом не было никакой надобности.

Вдруг к воротам Костенко примчалась новая двухрессорная линейка, запряженная парой гнедых коней. С линейки соскочили и вошли в калитку одетые в парадную казачью форму — Петр с „ципком” в руках, рядом с ним Савка Корж с паляницей хлеба, прикрытой белым вышитым полотенцем, и немного сзади, в черной черкеске, усатый казак Кононенко Денис осторожно придерживал одной рукой торчавшую из кармана бутылку водки для „могарыча”, если сватовство состоится, а другой махал батогом, отгоняя собак.

Только теперь родители Даши поняли, почему она так сегодня приодевшись нервничала и не шла гулять.

— Добрый вечер, Трофим Степанович, и вы, Василиса Григорьевна! Принимайте гостей, хоть и непрошенных! — снимая шапку и подавая руку хозяевам, сказал Савка Корж.

— Здравствуйте! — сказал Петр и стал у порога, не здороваясь за руку. Кононенко тоже вошел, поздоровался и стал рядом с Коржом.

— Здравствуйте, здравствуйте! Проходите, милости просим, садитесь! — ответила Василиса Григорьевна, любезно пододвигая гостям стулья. Оба старосты сели, но Петр продолжал стоять, только отошел немного дальше от порога к середине комнаты.

Из-за полуоткрытой двери в другую комнату выглянула Даша и сейчас же скрылась, но Корж успел заметить ее.

— А ну, канареечка бескрылая, иди, иди сюда, не убегай! — позвал он, заглядывая в дверь.

Даша молча вошла, тихо сказала „добрый вечер”, отошла к стенке возле плиты и, опустив голову, начала зубами теревить краешек своей косынки, изредка мельком поглядывая на Петра.

— А мы ехали мимо, смотрим у окна птичка сидит, как синичка в клетке, — начал, усмехаясь, Корж, — ехали по другим делам, да, увидев, решили украсть эту пташку, а воряга с нами приехал добрячий! — подмигнул он Петру, а потом обратился к родителям Даши:

— Ну, сваточки, вы, наверное, догадываетесь, зачем мы остановились возле ваших ворот и вошли незванными гостями в ваш дом?

— А кто же его знает, что за нужда заставила вас сегодня прибыть к нам? Скажите, что за дело? — якобы ничего не догадавшись, спросил Трофим Степанович.

— Знаете что, сваточки, зачем долго попусту рассоливать? — сказал Кононенко, вставая со стула. — Вы хорошо знаете, что приехали мы сватать вашу дочку, Одарку, за Кияшко Петра. Этого парубка вы, наверное, тоже знаете. Так что, не откажите в нашей просьбе, отдайте свою дочку за Петра!

— Ой, мои же дорогие сваточки! — вздохнув, ответила Василиса Григорьевна. — Знаем мы и парубка вашего, знаем его родителей и вас тоже: хорошие люди, грех что и сказать, да не в этом дело. Молодая она еще, ей только семнадцать на Покрову стукнуло, я еще и не посмотрелась на нее, не налюбовалась. Она у нас одна, кто же мне помогать будет в доме? Не отдадим, пусть еще поживет с нами!

— Э, свахо! Это уж девичья натура такая: пока маленькая, и мать и отец нужны, а выросла — улетает, как птичка, и за хвост не удержишь, — заметил Корж. — Не сегодня — завтра, не в этом году — в следующем, не за Петра, так за другого, а все равно не миновать вам этой разлуки. Так что напрасно вы утруждаете себя оттяжкой того, чего не миновать.

— Все это правда, Савва Андреевич, — сказал Трофим Степанович, — да не хотелось все же так рано завязывать дочке голову замужеством. Пусть еще побудет на воле. Не гневайтесь, но пока мы ничего вам не обещаем. Мы еще об этом и не подумали хорошенько...

Конечно, родители Даши с доводами старост были вполне согласны и лучшего зятя, чем Петр Кияшко, они и не желали; но считали, что в первый же приезд жениха им давать свое согласие просто неудобно. И поэтому, как старосты ни уговаривали их, на этот раз отказали им.

Обратной дорогой Петр, насупившись, сказал:

— Чего они упираются так? Да если они еще раз от-

кажут, я украду Дашу по-черкесски, поедем в Ивановку, обвенчаемся и все...

— Не горячись, Петька, — улыбаясь успокоил его Корж. — Они отдадут Дашу, ты же должен понимать, что с первого разу никто не дает согласия. Поедем еще и завтра. Я вижу, они не против тебя...

И на второй день сваты уехали ни с чем.

Но когда Петр с старостами приехал в третий раз, родители Даши уже не противоречили. Как только все зашли в комнату, Трофим Степанович, любезно поздоровавшись, объявил:

— Чтож, дорогие сваточки, наверное, чему быть суждено, того не миновать. Мы-то с бабкой, ничего, а вот как дочка? Может, она не хочет замуж; может, совсем не любит Петра? Я ведь обещал никогда ее не принуждать к этому. Как ты, Даша, а?

— А вы, папаша, как будто и не знаете? — улыбнулась Даша и подошла к Петру. — Я его вот как „не люблю”, — и, не стыдясь, она крепко обвила руками его шею и несколько раз поцеловала, повторяя за каждым поцелуем: „не люблю, не люблю!” — И ни за кого другого не хочу замуж, кроме как за Петьку! Я уже вам об этом говорила...

— Ну, тогда помолимся Есгу, и хай Господь вас благословит, — сказала, всхлипнув, Василиса Григорьевна.

Ставши перед иконами, все кратко помолились и пошли в зал, к уже заранее приготовленному столу.

Кононенко Денис с удовольствием вынул, наконец, из кармана бутылку „могарыча”, которую он возил уже третий день за собою.

Трофим Степанович взял у Коржа паляницу хлеба, поцеловал и положил на покуть.

Кроме привезенной Кононенком водки, на столе стоял большой графин с таким же зельем, поставленный хозяином.

Первый раз в жизни сидел Петр с Дашей за одним столом в присутствии ее родителей и своих двух старост, но пить после первой рюмки вежливо отказался, просто стеснялся, да и не хотел показать себя пьяницей. Но оба

старосты, да и родители Даши, весело праздновали удачное сватовство.

Василиса Григорьевна завела старинную Черноморскую песню, которую все подхватили:

„Ой сяду я край віконця
Проти ясного сонця,
Проти ясного сонця
Виглядати черноморця...”

Девушки, собравшиеся вблизи двора Костенко, всем своим нутром чуяли, что помолвка состоялась, и уже начали по этому случаю распевать „весільние” (свадебные) напевы:

„Ой шош тобі та, Дашечка, буде,
Як підешь ти між чужії люди?
А там усе не по нашему...”

Подошли парубки и перебили им эту песню в самом начале, но девушки сейчас же запели другую:

„Та заміж іти та треба знати:
Пізно лягти, та рано встати,
Ділечко робити,
Ой свекрусі годити,
До милого говорити...”

Уже давно смерклось, когда Тарас Охримович, управившись со скотом и поужинав, вышел к воротам и тут, наконец, услышал стук колес возвращавшейся с пьяными старостами, Коржом и Кононенко, линейки. Петра с ними не было. Открыв ворота, он даже не стал спрашивать о результатах сватовства — все было ясно. С этого дня Петр каждый вечер приходил на ночь к Даше на дом и уходил только утром, и так до самой свадьбы. Такой был обычай.

**
**

Через несколько дней, Трофим Степанович, забрав с собой все имевшиеся дома в наличности деньги, семь рублей, отправился в магазин Смыслова за покупками для дочери.

Когда он зашел в лавку, хозяин с приказчиком терпеливо возились с капризным покупателем, уговаривая его купить хотя бы аршин какого-либо „материала” из лежавшей на полках и на прилавках в многочисленных тюках мануфактуры. Костенко остановился у дверей и стал ожидать.

— Нет, мне это сукно что-то не нравится, подайте вон с той полки! — говорил покупатель в синей черкеске и насунутой на лоб серой бараньей шапке. Смыслов раскладывал перед ним все новые и новые тюки разных сортов, но покупатель все указывал на другие. Целый час провозился с ним хозяин, но тот так-таки ничего и не выбрал и, направляясь к выходу, сказал:

— Не показывайте больше, ничего сегодня не хочу у вас брать. Пойду приценюсь еще в лавку к Туманову.

— Почему же? Разве у нас не из чего выбрать, или товар у меня хуже и дороже? — обиженным тоном спросил Смыслов.

-- Да, нет, товар, конечно, хороший, но, по правде сказать, у меня и денег сейчас нет.

— Да берите без денег, пожалуйста, после отдадите!

— Так ведь я живу на хуторе и редко бываю в станице.

— Но вы же еще когда-нибудь приедете в станицу на базар и привезете долг, берите, пожалуйста.

Не в меру привередливый казак махнул рукой и вышел из магазина.

Другой приказчик был занят с другим усатым казаком, который тоже все требовал показать ему новые и новые килы материй и все время спрашивал: „почем аршин? А сколько стоит три аршина? А сколько пять?” Ему на все вопросы отвечали и без конца подавали и разворачивали на прилавке „штуки” ситца, бумазеи, сукна и т. д.

-- Ну, ладно, — сказал, наконец, покупатель, — дайте мне на верх, на шапку, вот этого серого сукна, — и сам наметил пальцем, сколько именно ему нужно. Хозяин отрезал кусок менее четверти аршина и любезно подал.

После этого, обернувшись к двери, Смыслов заметил спокойно стоявшего там Трофима Костенко.

— А, доброго здоровячка, Трофим Степанович! Наборов для дочурки требуется прикупить? Пожалуйста, приходите сюда, милости просим, присаживайтесь! — и любезный хозяин пододвинул ему стул.

— Розового шелка на платье дочке возьмите; 63 копейки аршин, но для вас по 60 посчитаю, пожалуйста! — и, не ожидая согласия, поспешно отмерил семь аршин шелковой материи и положил на прилавок.

— Да таких платьев-то она и не носила никогда; все спидницы та кофточка, — нерешительно сказал Трофим Степанович.

— Дам и этого, пожалуйста. У меня все есть, — и Смыслов достал с верхней полки, целую не раскрытую еще кипу кашемира, по 30 копеек аршин, и отмерил на одну „парочку” (юбку и кофту) девять аршин.

Затем достал мадаполама по 28 копеек аршин, несколько цветов сатина, батиста и других материалов и почти от каждого куска, что-нибудь приговаривая, отрезал — то на юбку, то на кофточку, то на платье... и все складывал на прилавок в одну кучу. Трофим Степанович молча и как будто бессознательно смотрел на растущую перед ним кучу покупок и не возражал.

— А такой подарочек для дочки обязательно возьмите! Стоит всего два рубля 78 копеек! — и хозяин лавки поставил поверх отложенного товара, изящной выделки, модные лайковые туфли. — Если не подойдут по размеру, пожалуйста, принесите; я всегда обменяю, у меня такие всяких размеров есть. Да, чуть не забыл, есть ли у вашей дочери хорошая кровать? — озабоченным тоном спросил он все время молчавшего Трофима Степановича.

Тот немного замаялся и, не глядя в его сторону, сказал:

— Кровать, конечно, имеется... деревянная, хотя и старенькая и ее немного шашли поточили, но, ничего, сойдет...

— Ну, что вы! Одну дочь и с такой кроватью замуж отдавать? Нет, нет! Утрите-ка нос всем станичникам! Пусть позавидуют, какое приданое справил для дочки небогатый казак! — и Смыслов, спустившись в подвал,

вынес оттуда и поставил к прилавку новую никелированную, с пружинной сеткой, кровать.

Трофим Степанович глаза вытаращил:

— Что вы, Бог с вами! Да таких кроватей ни у кого из моих соседей нет! Разве это для хлеборобов? Это только паны на таких спят!

— А вот и у вашей дочки будет, а 9 рублей 70 копеек отдадите, когда захотите.

Трофим Степанович молча разглядывал дорогую и редкую в станице вещь.

Наконец, откладывание товара закончилось, и Смыслов подсчитал: — всего 25 рублей 74 копейки вместе с кроватью.

— О, нет! Я не могу все это взять, у меня всего только семь рублей денег! — вспомнив, наконец, о своем кармане, сказал Костенко.

— Помилуйте! И не беспокойтесь, Трофим Степанович; не надо ни копейки сейчас платить! Разве я не знаю, что для свадьбы вам сейчас позарез деньги нужны? Отдадите, когда найдете возможным; я вполне могу ждать до новых колосков, мне все равно. Берите все, пусть ваша дочь пользуется всем на доброе здоровячко...

Трофим Степанович, в отличие от других станичников, никогда не брал в долг, но, желая дать получше приданое своей единственной дочери, послушался доброго совета купца Смылова и взял все, что тот ему предложил. Он сейчас же пошел домой, чтобы взять лошадей и на подводе перевезти покупки из лавки к себе.

Никаких расписок на такой, почти навязанный, кредит не давалось. Все было на „честное слово”. Но и не было тоже случая, чтобы кто-нибудь из купивших товар без денег не возвращал бы полностью долга.

С этого дня в доме Костенко Трофима, с утра и до поздней ночи, кроили и шили новые юбки, кофточки, платья, пополняя справленное родителями раньше приданое молодой невесты. В этой работе участвовали не только „виновница” всего этого, Даша, и ее мать, но вечерами приходили и ее подруги, и тогда работа шла еще веселее.

Приходивший к Даше поздним вечером Петр иногда заставал еще в доме Костенко девушек, помогавших ей шить. И как только он появлялся, девушки одна за другой уходили домой или шли гулять к девчатам и парубкам на „досвітки”, втайне завидуя остававшейся дома подруге и не без ехидства желая ей „спокойной ночи”.

В доме Тараса Кияшко особой предсвадебной суеты не замечалось: все было готово заранее. Приданого парубку справлять не требовалось. Есть чистая хорошая одежда и ладно! В комнатах заново убрали, приукрасили стены, двор подмели, водки заготовили достаточно, а на счет еды тоже никто не беспокоился — было всего достаточно в своем хозяйстве...

**

Через неделю после помолвки дочери Трофим Степанович и Василиса Григорьевна пошли к свату Кияшко, „на розглядыны”. Согласившись выдать дочь замуж, родители ее должны знать, в каком доме и хозяйстве она будет жить.

Это была, конечно, просто традиционная формальность: родители Даши прекрасно знали и семью и хозяйство Тараса Кияшко, и в „проверке” не было нужды. Но их ждали, и в доме все было аккуратно прибрано.

Когда они пришли, Тарас Охримович, первым делом, повел их показать все хозяйство: лошадей, скот, птицу, строения. После осмотра все направились в дом, чтобы „посидеть” у стола и договориться о дне свадьбы.

Петр вертелся около дома и от нечего делать подметал метлой у порога.

Когда стали подходить к порогу, лежавший вблизи Рябка вдруг угрожающе зарычал.

— Берегитесь, дядько, а то он „знышку” кусается! — предупредительно крикнул Трофиму Степановичу Петр.

— Как ты сказал? Как ты сказал? А ну повтори! — придрался к нему Тарас Охримович. Петр смутился и молчал.

— Как твоя Даша называет своих батька и матерь?

— Папаша и мама, — ответил тихо Петр и, покраснев, сердито отогнал Рябка прочь.

— Вот так и ты должен называть! А то, „дядько“; у, бессовестный! Ведь это теперь твои вторые родители!

Трофим Степанович и Василиса Григорьевна смеялись, видя замешательство своего будущего зятя.

Затем все вошли в комнату, прямо к столу. К ним присоединились Ольга Ивановна и Охрим Пантелеевич. Остальные в семье в этой застольной беседе не участвовали. Через несколько часов, сваты, слегка пошатываясь после „розглядын“, ушли домой, расхваливая и хозяйство и семью Кияшко.

Первая предсвадебная вечеринка состоялась в доме невесты.

Вечером, в праздник „Осенней Казанской“, едва стемнело, Петр со своими „боярами“ из лучших друзей и гармонистом Гаврилом Литовка пришел в дом Костенко, где уже все было приготовлено к торжеству.

Старшим „боярином“ Петр выбрал Николая, а поэтому все на вечеринке должны были подчиняться ему беспрекословно. Он же слушал только Петра. И в коридоре и в комнате молодежи собралось полно.

Петр не танцевал, а сидел с правой стороны Даши, надевшей сегодня в первый раз фату. (Обычно невеста надевала фату только перед самым днем свадьбы, на вечеринке в доме жениха, но некоторые семьи держались обычая, чтобы невеста была в фате и на предварительной вечеринке в доме своих родителей).

Дальше, справа от Петра, сидел старший боярин, а слева от Даши — старшая дружка, Катерина Приходько. Катерина приходилась родственницей Костенкам и поэтому удостоилась такого почетного звания на предстоящих свадебных церемониях.

Николай, взглянув на Катерину, что-то тихонько шепнул Петру на ухо и улынулся. Петр что-то тихо ответил ему, и оба засмеялись.

— Чего они смеются? — слегка толкнула „молодую“ Катерина.

— А и пусть себе смеются, не плакать же им сегодня? — ответила Даша и ущипнула своего „голуба“.

Катерина хорошо знала, что, по обычаю, после вечеринки старшая дружка должна итти „ночевать” со старшим боярином, а не с каким-либо другим парубком, и, сама не зная почему, — радовалась этому. (Конечно, если старшая дружка была „занучевана”, то-есть, имела парубка, с которым постоянно проводила время, тогда этот „закон” отменялся, но Катерина никем не была занята). После „Ивановой” ночи у ней появилось какое-то влечение к Николаю, но она эту тайну никому не высказывала, с Николаем никогда не ходила вместе, хотя на улице они встречались часто. Если у Катерины душа тянулась к Николаю, то у последнего к ней такого расположения совсем не чувствовалось, хотя она девушка была неплохая. Он, наоборот, сидел и обдумывал план, как бы сегодня вечером повторить маневр „лукавого”, как было в конопле Кислого в ночь под Ивана Купалу.

Двухрядная гармошка в руках Гаврила Литовки без умолку визжала, наигрывая всевозможные танцы. Девушки одна за другой подходили к музыканту, заказывали их по своему вкусу и попарно, то с одним, то с другим парубком, кружились по комнате, без усталости топая каблучками по „долівці”. При таком непрерывном топании от намазанного желтой глиной земляного пола поднималась пыль, и дружки, по предложению Николая, несколько раз усердно брызгали „долівку” водою и посыпали поволою.

По углам комнаты приютились парочки влюбленных. Некоторые девчата сидели на коленях у своих парубков и шептались с ними.

Парубки, выйдя в коридор покурить, затягивали песни:

„Зібралися всі бурлаки
До рідної хати.
Тут нам мило, тут нам любо
З журби заспівати...”

или:

„Ревут, стогнут гори,
Хвиля воду гоне.
Плачут, тужать козаченьки
В Турецкой неволі...”

Иногда к ним присоединялись и девчата, и тогда почти всегда пели хором: „Рече та стогне Дніпр широкий...”

Покурив, парубки опять возвращались в комнату, и танцы продолжались.

В перерывах между танцами устраивались всевозможные игры.

Ставили, например, посреди комнаты два стула, спинками один к другому. На одном садился парубок, а на другом девушка. По сигналу старшего боярина, девушка должна была повернуться лицом в ту сторону, в которую в тот момент поворачивался парубок, и поцеловаться с ним. Если девушка не угадывала, и поцелуй состояться не мог, — смущенная девушка уступала место другой. Если же оба поворачивались одновременно в одну и ту же сторону, то после поцелуя вставал парубок, а на его место садился другой.

Располагали стулья так, чтобы одному парубку и одной девушке из числа играющих нехватало бы места сесть. Равное число парубков и девушек брались попарно за руки, ходили полукругом по комнате и напевали кем-то выдуманную бессмыслицу:

„А в Адама семь сынов,
А в Адама семь сынов.
Сыны ели, сыны пели,
Сыны знали про любовь.

Сидела ли так, так, так...”

При третьем слове „так” пары бросались к стульям и старались захватить место. Одна же пара всегда оказывалась без места и выходила на середину комнаты. Их заставляли три раза поцеловаться, а потом все начинали снова ходить по комнате и петь „про Адама”.

Самой забавной была игра в „наказания”.

Шесть-семь пар, взявшись за руки, ходили кругом по комнате, а в середине этого круга стояли неподвижно парубок и девушка. Музыкант в это время что-нибудь играл на гармошке. Внезапно на полуноте он прерывал игру. В этот момент стоявшая посреди круга пара выкидывала какой-нибудь неожиданный „фокус”. Все игравшие должны были в тот же момент повторить этот номер. „Но-

мера” были самые разнообразные, например: одновременное подпрыгивание, поднятие парубком над своей головой стоявшей с ним девушки, какой-нибудь „акробатический” поцелуй, быстрое проскальзывание парубка на корячках между ног у девушки, или девушки между ног у парубка и т. п. Кто не смог или не успел повторить его, подлежал „наказанию” и выходил на середину комнаты.

„Наказания” назначались той парой, которая стояла в кругу и выкидывала очередной шуточный „фокус”. „Наказания” были:

„Поцеловать самого себя!” Наказуемый в недоумении стоял, не понимая — как же это можно; но более смекалистые брали в руки зеркало и целовали свое изображение в нем.

„Достать ногами до потолка!” Брали стул, поднимали верх и касались потолка его ножками.

„Залаять по-собачьи, захрюкать свиньей, закукурекать по-петушиному” и т. д. Наказуемый становился на четвереньки и тявкал, или хрюкал как свинья, или взбирался на стул и, взмахнув руками, „кукурекал”.

Кто-нибудь выходил на середину комнаты с пустой бутылкой, клал на пол и, крутнув ее, ждал пока она остановится. Та девушка, против которой остановится горлышко бутылки, выходила и целовалась с игравшим. А потом сама вертела бутылку.

Много было и других игр, и все они сопровождалось поцелуями.

После игр, молодежь обычно становилась, взявшись за руки, в пары, медленно двигалась, пара за парой, по комнате и хором пела:

„Ой не ходи Грицю
Та й на вечерниці,
Бо на тій улиці
Дівки чарівниці.
Одна дівка Галя
Много чарів знала,
Вона того Грицю
Та й причарувала...”

а потом внезапно меняла ритм заунывного напева на быстрый танцевальный припев:

„Та було б, та було б не ходити,
Та було б, та було б не любити,
Та було б, та було б не кохати
Як тепер, як тепер забувати...”

Гармошка подхватывала этот мотив, и все пускались в общую пляску, с „присядкой” и другими выкрутасами.

Было далеко за полночь, когда молодежь стала расходиться из дома Костенко. Кто шел в одиночку домой, а „припытани”, или „загуляни” шли парами „ночевать” на заранее договоренную „квартиру”.

Петр и Даша никуда не уходили и остались по обыкновению дома. Катерина помогла Даше переодеться и пошла с Николаем Шевченко.

Николай, шагая рядом с ничего не подозревавшей девушкой, уже предчувствовал свой „полный успех” сегодня. Он решил рассказать ей, именно теперь, всю правду про „навождение” в конопле Кислого в ночь под Ивана Купалу. Но, когда они подошли к дверям той хаты, где рассчитывали провести ночь, то увидели висевший снаружи замок. „Вот досада”, — подумал с огорчением Николай, так как „без места” — все его планы рушились. Что делать? Не поведет же Катерина парубка в свой дом? До помолвки девчата никогда не делали этого, и об этой возможности даже и думать нечего было!

Потоптавшись несколько минут на месте, они подошли под стоявшую во дворе большую скирду соломы, надергали ее на землю и присели.

„Посидим часик, да и по домам, а может скоро хозяева придут!” — так думала Катерина, но не то задумал Николай.

Поцелуи, конечно, не возбранялись, но когда Николай позволил посягнуть на нечто большее, Катерина возмущенно вскочила и сурово на него накричала:

— Пошел к чорту отсюда! Кто я тебе такая? За кого ты меня принимаешь? Я тебе не Катерина Филько, а Катерина Приходько! Понимаешь?

— Слушай, Катенька, сядь, не горячись! Подумаешь, стала выкрикивать, как будто это тебе в первый раз!

— Это еще что значит, что это за слова: „в первый раз”? Да я сейчас закричу и осрамлю тебя на всю станицу! А еще старшим боярином называется; и не стыдно тебе с старшей дружкой так обращаться?

Николаю в самом деле стало неловко, хотя об отступлении он и не думал; и более ласковым голосом он, как бы извиняясь, сказал:

— Вот едят его мухи с комарами, ну ладно, не буду. Садись, Катя, я пошутил. Я тебе сейчас что-то очень интересное расскажу.

Катерина с некоторым недоверием села рядом с ним на солому:

— Ну расскажи, что ты такое интересное знаешь? Ты же всегда был таким смирным, спокойным парубком, а сегодня вздумал дурачиться.

— Да то я так, шутя. А ... вот, едят его мухи, что же я собирался рассказать? Ага, вспомнил, нет ли при тебе цветка папоротника?

— Какого цветка? Ты что сегодня, пьяный или дурной? Как будто ни на то, ни на другое не похож, а „як не-самовытый"! Ну и выбрал же Петро себе такого боярина! — и она хотела встать и уйти домой, но Николай остановил ее.

— Слушай, Катя! Будем откровенны! Не притворяйся и не строй из себя невинную девушку! Я еще никому об этом не рассказывал и дальше буду молчать; но, если будешь сейчас „выкаблучиваться як порося на бичовці”, завтра же всем расскажу вот о чем... Слушай и вспомни! То „назождение”, которое приходило к тебе в ночь под Ивана Купалу в коноплю Кислого, помнишь? Так то был я! У Оксаны Кислой „лукавым” был Петр, а у тебя вот этот „смирный и спокойный” парубок... — И он подробно рассказал ей, как они подходили к ним, что говорила Катерина и Оксана при появлении и проделках „лукавых” и все другие подробности.

После такого рассказа Николая, бедная Катерина,

стыдливо опустив голову, молчала и больше уже не сопротивлялась...

ГЛАВА XVII.

Вскоре после праздника Казанской Иконы Божьей Матери, 22 октября, в полдень, во дворе Тараса Кияшко собрались человек двадцать парубков, одетых в полную казачью форму, верхом на оседланных строевых конях. Это были „бояре” Петра.

На шапке каждого боярина была приколоты „чирвонна квітка”, с голубой, синей или красной ленточкой. В кольцах уздечек, в гривах коней и даже в хвостах пестрели яркие бумажные цветы. Плеть каждого тоже имела у рукоятки красный или розовый цветок и была обвита голубой лентой. У старшего боярина Николая Шевченко, кроме того, на груди красовались две широких и длинных ленты. На кавказском поясе у каждого был кинжал с ярко блестящей на солнце рукояткой, на груди — газыри, за плечами на шелковом шнурке — башлык с серебряной китыцей на конце.

На Петре ни цветков ни лент не было, но его вороной конь был весь покрыт ярко-красной попоной, висевшей с обеих сторон коня почти до земли. Открыта была только морда лошади, и хвост выходил наружу через специально проделанное в попоне отверстие. На Петре была синяя черкеска, в вырезе которой на груди виднелся треугольником красный бешмет. Через плечо за спину перекинут на позолоченной тесьме „перевес” — знак „княжеского достоинства”. (В свадебные дни жениха называли „князем”). Из под высокой черной каракулевой шапки выглядывал намащенный чуб. Блестевшие лакированные чоботы были вдеты в посеребренные стремена.

Рядом с Петром сидел на своем коне старший боярин Николай Шевченко, позади них гармонист Гаврило Литовка с гармошкой на ремне через плечо. За ними были песельники, а сзади остальные бояре — друзья кончавшейся юности Петра.

Такой отряд парубков должен был сопровождать сегодняя Петра по всей станице. „Князю” Петру со своей „дружиной” — боярами предстояло объехать всех родственников, близких и далеких, и позвать их к себе на свадьбу, для чего у него сбоку на седле, в белом платочке была привязана „шишка”. (Небольшая, с вылепленными узорами, булочка хлеба).

Церемония приглашения на свадьбу носила особый торжественный характер...

Когда все было готово к выезду, Тарас Охримович вышел во двор с графином водки и налил каждому боярину по доброй чарке, кроме Петра, которого он еще раз предупредил: „нигде не пить ни в коем случае” и подал ему заранее составленный список родственников, которых надо объехать. Потом он открыл широко ворота и сказал:

— Ну, езжайте, хлопцы, с Богом! Вечером когда вернетесь, тогда опорожните не один графин, а сейчас довольно! Смотри же, Петро, никого не пропусти наших родичей!

Литовка растянул меха своей трехрядки и заиграл марш „Галоп”.

Выехав за ворота, „хлопцы” запели походную песню:

„С Богом, Кубанцы, не робейте,
Смело в бой пойдем, друзья!
Бейте, режьте, не жалейте
Басурмана...”

Группа молодых всадников, ехавших строем на украшенных цветами конях по широким улицам станицы, представляла собой полное интереса для всех зрелище. И хотя такие отряды бояр появлялись на улицах станицы довольно часто, при каждой казачьей свадьбе, все же они вызывали всегда у многих любопытство. Так и сейчас, — увидев бояр Петра, многие бросали возиться со скотом и бежали к воротам посмотреть: „чий же то молодой, а чий ж з ним хлопці?” Особенно девушки. Они стояли у ворот, пока бояре не скрывались с глаз.

Подъехав ко двору дяди Ивана, Петр остановился, слез с коня вместе с Николаем, и оба направились в дом. Иван

Охримович, завидев молодого, встретил их в дверях.

— Здравствуйте! — и Петр низко, до самого пояса, поклонился. Подавая вынутую из платочка белую шишку, он сказал:— Просили батя и мама, и я прошу вас: приходите к нам завтра на свадьбу! — И еще раз сделал поясной поклон.

— Спасибо, спасибо, племянничек! Уж я-то, наверняка, приду и, может, даже сегодня вечером, — и он, поцеловав шишку, отдал ее обратно Петру, добавив: — Может, присели бы на минутку, да клокнули хотя бы по чарочке!

— Нет, нет! Ни в коем случае, дядя, нельзя! Мы только начали ездить, а уже солнце с обеда свернуло, да и батя не велели. Прощайтесь! — и Петр, еще раз поклонившись, вышел с Николаем за ворота. Там они вскочили на коней и поехали дальше, к другим родственникам.

Петр, поминутно снимая шапку, кланялся направо и налево всем проходившим и проезжавшим мимо него, старым и малым, знакомым и незнакомым. Такова обязанность жениха. Некоторые подростки, да и взрослые девушки услышав песни бояр, бежали за две-три улицы вперед, наперерез боярам, чтобы посмотреть на чужих парубков и удостоиться поклона молодого.

На „Кириленковой” площади бояре встретились с двухрессорными дрожками. На конях тоже были красные длинные попоны. На дрожках сидела в белоснежной фате, с восковыми цветками впереди, Даша Костенко и, действительно, выглядела, точно молодая „княжна”.

Рядом с ней сидела с „ципком” молодой (специальной металлической тросточкой) в руках старшая дружка Катерина Приходько. На груди у нее был приколот большой цветок и две широкие ленты. На другой стороне дрожек сидели еще две дружки Даши, а спереди один из родственников Трофима Костенко правил лошаадьми.

Они тоже ездили приглашать своих родственников на свадьбу.

Поравнявшись с дрожками молодой, бояре остановились.

Петр и Даша, оставаясь на почтительном расстоянии,

молча поклонились друг другу и сейчас же разъехались в разные стороны.

Как ни отнекивались бояре от предлагаемых чарок у родственников Кияшко, к которым заезжал Петр, но редко отъезжали от них, не выпив хоть маленькой рюмочки горилки. К концу дня некоторые еле держались в седлах, и только Петр с Николаем, категорически отказывавшиеся от всех предлагаемых чарок, были трезвы.

Уже когда начало смеркаться, бояре, наконец, въехали в открытые ворота Тараса Кияшко и, слезая с коней, продолжали петь во весь голос:

„Ой, там за Дунаєм,
Та за тихим Дунаєм
Молодець гуляє,
Молодець гуляє...”

— Довольно, довольно спивать, сыночки! — сказал встретивший их Тарас Охримович. — Пойдемте в хату, подзакусите немножко, а то скоро уже молода дружек приведет, а вы еще и не вечеряли!

Бояре торопливо сошли с коней и, привязав их где попало во дворе, сейчас же пошли следом за Тарасом Охримовичем в дом. За столом они очень стройно пропели ему „Многая лета”, и хозяин в благодарность несколько раз наполнял графин, а Приська все время подкладывала в тарелки жареную гусятину.

Не успели бояре встать от стола, как вдали, за греблей „Веселой”, уже послышалась многоголосая песня дружек:

„Як ішли ми лугом, та лугом...”

Федька с другими подростками выбежал за ворота и прислушался. Пение приближалось:

„Ой брязнули ключи,
Ой брязнули ключи,
До свекорка йдучи,
До свекорка йдучи,
До свекорка в гості
Дружки на погості...”*)

*) Погост — в данном случае „близко от двора”, у ворот.

— Молода с дружками уже идет! — вбежав в комнату, крикнул боярам Федька.

— Да, в самом деле, уже идут, — сказал Николай прислушавшись и приказал боярам: — Хлопцы, отводите по домам коней и сейчас же возвращайтесь сюда!

Едва успели они выехать со двора, как многочисленная свита дружек, сопровождавшая шедшую впереди молодую „княжну”, вошла в открытые ворота.

„Ой матінко ютко
Ворочайся прутко,
Сонечко низенько
Дружечки близенько,
Сонечко у лузі,
Дружки на порозі...”

С этим напевом дружки подошли к порогу дома. Когда же Даша входила в двери, они громко запели:

„Добрий вечер дому,
Добрий вечер дому,
Старому й малому,
Старому й малому,
Князю молодому...”

И повалили вслед за невестой в комнату.

В дверях молодую встретила Ольга Ивановна. Даша поклонилась свекрухе в пояс и три раза поцеловалась с ней. После этого ее вместе со всеми дружками провели в зал и усадили за приготовленные для них столы. Ни бояр, ни самого Петра здесь не было. Им не полагалось быть за „вечерей” дружек.

Едва притрагиваясь к расставленным на столах различным легким кушаньям и запивая их сладким вином, дружки все время пели „весільні” песни. Когда Даше подавали стопку вина, она вставала, кланялась в пояс, прикасалась слегка губами к рюмке и возвращала тому, кто подал, с новым поклоном.

Посредине стола, за которым сидела молодая, стоял графин с вишневою настойкой. В горлышко был воткнут пучек лозы.

Когда ужин подходил к концу, дружки запели:

„Брала Даша льон,
Вигоняля дружечек вон.
Нащо було брати
Як нас вигоняти?
Ми от тебе не самі йдемо,
Найди нам цимбали,
Щоб за нами грали, грали...”

Даша встала, низким поклоном поблагодарила Ольгу Ивановну за „вечерю” и дала знак дружкам выходить из-за столов. Вставая, те запели: „Ломайти лозину, ломайте лозину...” и с этими словами переломили пучек лозы, воткнутый в горлышко графина, и вышли в другую комнату, а некоторые во двор, пока уберут зал. В другой комнате Дашу встретил Петр и сел с нею рядом. Литовка растянул „басы”, и наиболее нетерпеливые девушки тут же начали танцевать „страдание”, „польку-бабочку” и другие танцы.

В зале быстро убрали столы, поставили у глухой стены стулья, все туда перешли и началась предсвадебная вечеринка. Бояре все уже возвратились и начали кружиться с дружками по залу в „метелице” или усердно выбивали гопака. Топот на новом деревянном полу отдавался очень отчетливо; не то, что у Костенка на „долівці”. Петр и Даша все время сидели на особо поставленных для них стульях и только смотрели, как другие пляшут, но сами не танцевали. Не полагалось. Если невеста в фате будет танцевать, тогда всю жизнь у нее в доме будет биться посуда. Так говорили старшие. Молодые, хотя и не верили этому, но наставления старших слушали беспрекословно. По бокам у Петра и Даши было два свободных стула для старшего боярина — Николая и для старшей дружки — Катерины, но те редко садились на них: все время ходили и наблюдали за порядком.

Примерно через час в зале стало так тесно, что и свободного „круга” для танцев не оставалось. Пришло много иногородних и других парубков, которых не приглашали на вечер.

Михаил Гноевой тоже пришел и выбивал гопака не хуже других. Потом он пошел танцевать с Приськой „Во саду ли в огороде“. В это время в зал заглянул Тарас Охримович. Он недовольно поморщился и пальцем позвал Петра.

— Что это у тебя здесь делается? Казачий это вечер или городовицкий? Поналезло иногородних так, что и своим боярам негде повернуться!

Петр ничего не ответил и позвал Николая. Указав на посторонних, он попросил очистить от них зал.

Накинулся Тарас Охримович и на Николая:

— Эй, ты, старший боярин! Порядка не вижу! — и стал ему что-то шептать на ухо, показывая на Гноевого и других. Николай кивнул в знак согласия головой и сейчас же объявил: „Неприглашенные, выйдите!“ Но никто не хотел уходить. Тогда он с помощью нескольких бояр, просто за шиворот через порог, выпроводил из комнаты всех иногородних и в первую очередь Гноевого.

Петр посмотрел на оставшуюся без своего кавалера старшую сестру и улыбнулся. Приська, сердито взглянув на брата, сейчас же демонстративно вышла из комнаты и не показывалась до конца вечеринки.

Танцы и игры продолжались далеко за полночь.

Когда у Даши от усталости стали смыкаться глаза, и она что-то шепнула Петру, он позвал к себе Николая.

Николай приказал музыканту прекратить игру и громко объявил:

— Прошу всех расходиться, вечер закончен!

Петр с несколькими боярами и дружками проводил Дашу в ее дом и оставил одну провести последнюю девичью ночь, а сам возвратился домой. Следующую ночь она будет уже с ним в его доме. Возвратившись, он сейчас же лег спать. Завтра предстоял самый торжественный день в его жизни -- венчание и свадьба...

ГЛАВА XVIII.

На следующий день после вечеринки у жениха, в воскресенье, едва отзвучал благовест к обедне, как со двора Кияшко Тараса выехали две тройки украшенных цветами и попонами лошадей, запряженных в две двухрессорные „линейки”. На передней сидел Петр одетый так же, как и накануне, когда он ездил с боярами по станице „кликать” на свадьбу родственников; рядом с ним старший боярин Шевченко Николай. На другой стороне линейки находился Иван Охримович, который на свадьбе являлся „дружком”-распорядителем и доверенным Тараса Охримовича, и Никифор, правивший лошадьми. На другой линейке сидели Приська, Гашка, одна теть Петра и один родственник в качестве кучера. В руках Петра небольшая икона — благословение его родителей на вступление в брак.

Кони быстро понеслись вдоль улицы, потом завернули за угол и остановились у ворот Костенко Трофима.

В доме Костенко все было готово для выезда к церкви. Даша под белоснежной фатой, с восковой „квіткой” на голове и в белом, как снег, венчальном платье дожидалась жениха. При ней неотлучно находилась старшая дружка Катерина.

Когда Петр, с иконой в руках, вошел в горницу, стоявший рядом с Василисой Григорьевной и поджидавший его Трофим Степанович снял со стены икону Божьей Матери и сказал молодым:

— Ну, дети, подойдите к нам и примите наше родительское благословение!

Петр и Даша стали перед ним на колени, слегка наклонив головы.

— Бог вас благословит, мси дети, и я благословляю тебя, моя доченька, на принятие таинств законного брака! Да хранит вас Господь и Пресвятая Богородица по гроб нерушимой вами, вашей жизни! — и, осенив их иконой, предложил встать.

Поднявшись с колен, молодые приложились к иконе, поклонились в пояс Трофиму Степановичу, поцеловали

его и снова опустились на колени перед матерью. Василиса Григорьевна, растроганная до слез, также благословила иконой дочь и зятя, сказав несколько напутственных слов. После материнского благословения, Петр и Даша поднялись, приложились опять к иконе и троекратно поцеловали мать.

Даша с иконой в руках и Петр вышли из дома, уселись на передней линейке, на которой ожидали Николай и Катерина, и легкой рысью поехали к Христо-Рождественской церкви. Никифор погонял лошадей и все время поучал Петра, как вести себя перед аналоем. Некоторые гости Костенко на дополнительной третьей линейке ехали сзади.

Когда они подъехали к ограде, в церкви еще не кончилась литургия, и им пришлось зайти в „сторожку”, чтобы там обождать конца Богослужения.

Обручальные кольца хранились у Никифора, но, когда он захотел на них посмотреть, — к ужасу всех их у него в кармане не оказалось; где-то дорогой, вероятно, потерял. Что делать? Запасных ни у кого не было.

— Я сейчас помчусь на линейке в лавку к Гноевому, — сказал он Петру, — потому что ни у кого их сейчас так быстро не достанешь!

— Ох, боюсь, если Михаил узнает для кого перстни, то не продаст! — покачал головой Петр. — Лучше бы поехал к Настюкову, у него, кроме аптекарского товара, есть и такие вещи!

— Ничего, попробую, — и Никифор, вскочив на линейку, быстро погнал лошадей к Гноевому, брату полицейского урядника станицы.

Вскоре он вернулся и не сам, а вместе с Михаилом Гноевым.

— Что, Петрусь, перстни потерял? — вежливо спросил он молодого.

— Да это Никифор гаву поймал. У меня были приготовлены и без тебя, — смущенно ответил Петр.

— Как на грех, сегодня отца дома нет, и все у него заперто. Но я у своего дяди Настюкова выпросил сейчас пару перстней. На, возьми! По моему, они вполне подой-

дут на ваши пальцы...— и Михаил подал Петру два золотых кольца.

— Вот спасибо, Миша, что не обижаешься на меня, а еще так добре услужил! — поблагодарил радостно Петр, пробуя кольца на свою и на Дашину руку. — Сколько хочешь, или Никифор уже заплатил?

— Ничего не надо! Это я для вас, для вашего счастья подарок принес. Носите, не снимая с пальцев, не меньше ста лет! — улыбнулся Михаил и, перемигнувшись с Приськой, сейчас же вышел из сторожки.

Приська с укором посмотрела на Петра, как бы хотела сказать: „Вот видишь, ты его ненавидишь, гонишь отовсюду, а он какой добрый и как пригодился тебе! И не стыдно тебе?”

Петр хорошо понял ее взгляд и, как бы про себя, проормотал:

— Да, конечно, из городовиков тоже могут быть люди. Это я в Ейске сам видел. Мне-то что ж, ничего, но батя наш, наверное, не продаст своей нелюбви к иногородним за кольцо.

По окончании литургии псаломщик вышел из-за клироса, развернул лист бумаги и громко прочитал:

— Желают в брак вступить: казак станицы Старо-Минской Кияшко, Петр Тарасович, с казачкой Костенко, Дарьей Трофимовной! Имеются ли какие-либо законные препятствия для их вступления в брак?

Это было уже третье оглашение в церкви о предстоящем венчании Петра и Даши. Молящиеся молча выходили из храма и уже за оградой начинали обсуждать: „А чей это сын, а чья это дочка?”, расхваливая или осуждая жениха и невесту.

Посредине церкви, против Царских Врат, стоял аналой, с ярко горевшими перед ним свечами. Рядом низенький столик, на котором лежали два медных позолоченных венца. На полу перед аналоем разостлано широкое белое полотенце — место для молодых.

Даша вошла в церковь одновременно с Петром и стала слева от него, в задней части церкви, в притворе, шагах в шести-семи от аналая.

Хор певчих, под управлением Ивана Ивановича Сердюк, при появлении в церкви молодых, грянул концерт невесте:

„Гряди, гряди от Ливана невеста...”

(В станицах бывшего Черноморского Войска жених и невеста ехали к церкви вместе и входили в притвор одновременно, то-есть, совсем не так, как в других местах, где первым входил в храм жених, а потом уже появлялась невеста. Кроме того, в некоторых станицах вошла в обычай и та особенность, что шаферами не были только мужчины, а старший боярин и старшая дружка).

Началось обручение. Молодым надели на пальцы правой руки кольца, которыми затем Петр и Даша три раза обменялись.

Священник обратился к ним с обычным вопросом:

— По доброму ли согласию вступаете в законный брак?

— Согласны, согласны, согласны! — в один голос троекратно ответили Петр и Даша.

Взяв концом епитрахили правые руки обрученных, священник повел их к аналою.

Приська настойчиво шептала Петру:

— Становись на полотенце первым! Кто станет первым, тот и будет командовать всю жизнь! Спеши! Ставай, ну!..

Тетушки невесты то же самое шептали Даше.

Под впечатлением слов Приськи, Петр было шагнул вперед, потом приостановился и стал на полотенце одновременно с Дашей.

— „Вот и хорошо, никто никем командовать не будет...” подумал он и шепнул свою мысль Даше. Та улыбнулась и ничего не ответила.

— Господи Боже мой, славою и честью венчаю вас! — произнес священник, осеняя Петра венцом, потом поднял его над головой жениха. Николай сразу же взял от священника венец правой рукой и держал его над головою Петра все время. Другой венец над головою Даши держала Катерина.

„Положил еси на главах их венцы..”, красивой мелодией пел хор, и затем последовало чтение „Послания Апостола Павла”, содержание которого относилось исключительно к мужьям и женам.

Связав белым платком правые руки Петра и Даши, священник, при пении „Исаия ликуй”, обвел их три раза вокруг аналая, снял венцы и положил их опять на столик.

Петр и Даша выпили три раза поочередно по глотку кисло-сладкого церковного вина из поднесенной священником чашицы и обряд был закончен провозглашением „многолетия” новобрачным.

Подведя их к Царским Вратам, священник приказал Петру поцеловать небольшую икону Иисуса Христа, находившуюся с правой стороны, а Даше — такую же икону Богородицы — с левой. Потом негромко, обращаясь только к бракосочетавшимся, священник сказал краткую проповедь:

— „Тайна сия велика есть”! Так вы слышали сейчас из чтения Апостола, и, если вы свято будете блюсти законы Божьи, супружескую верность и незыблемо исполнять то, что слышали поучительного при сем обряде, то Господь вас тоже будет хранить от всяких бед и напастей. Вам надели на руки кольца. Это символ вашей бесконечной жизни. Кольцо — круглое и не имеет конца, так и жизнь ваша должна быть круглой, неразрывной и бесконечной, как кольцо, до последних дней жизни на земле. Вы пили сейчас кисло-сладкое вино; это означает, что в вашей жизни не всегда может быть сладко; может случиться и кислое, то-есть, плохое, но вы и хорошее и плохое должны пить из одной чаши всю жизнь поровну так же, как вы пили при венчании из одной чаши кисло-сладкое вино...

— Поцелуйтесь! — сказал священник в заключение. Петр и Даша поцеловались, сошли с амвона и направились к выходу, сопровождаемые громогласным пением хора „Многая лета”!

С сиявшими радостью и счастьем лицами сходили они с паперти. Теперь они были уже не влюбленные парубок и девушка, не жених и невеста, а законные муж и жена.

В церковной ограде их встретили и поздравляли многочисленные знакомые и родственники.

От церкви все поехали в дом Кияшко. Приняв поздравление от всех находившихся в доме, новобрачные сели на несколько минут за стол.

Тарас Охримович налил вина только себе и молодым и, приподнимая свой бокал, поздравил их с принятием таинства законного брака и выпил за их благополучие. Петр и Даша отвечали отцу низким поклоном.

В день венчания молодым до окончания обряда не разрешалось ни есть, ни пить. Таинство брака считалось таким же, как и принятие Святого Причастия, поэтому Петр и Даша сильно проголодались.

Петр сразу же начал уплетать за обе щки горячие пирожки с мясом, обмакивая их в сметану, куски жареной утки, сдобные крендели с пчелиный медом и все, что стояло на столе. Даша с удовольствием последовала бы его примеру, но сидевшая рядом тетка наставительно шептала племяннице:

— Смотри, Даша! Ничего не ешь сейчас у свекрови! А то свекруха всю жизнь будет грызть твою голову!

И Даша, слушая тетю, на приглашение Петра: „ешь, ты же проголодалась”, отрицательно качала головою и к пище не притронулась.

Обед этот продолжался не больше десяти-пятнадцати минут, Даша встала и, простившись, уехала к себе домой, сопровождаемая своими родственниками.

**

Сейчас же после отъезда Даши во дворе Тараса Охримовича начали готовить свадебный поезд. Предстоял самый интересный момент свадьбы — поездка в дом невесты, чтобы забрать ее и ее приданое...

Пока ближайшие родственники Кияшко снаряжали свадебный поезд, ничем не занятые женатые казаки и старики, собравшись в отдельной комнате, выбивали „камаринскую” под скрипку поселившегося недавно в Старо-Минской жестянщика, которого они наняли исключительно для себя, чтобы не отвлекать главного музыканта, Литовку.

Скрипач Калугин был уже немолод, с рыжей реденькой бородкой и такими же давно нестриженными, как у монаха, волосами. От него не отходили: Охрим Пантелевич, его сослуживец Горобец и Софрон Падалка. Все трое уже изрядно выпили.

— Вот у нас-то, во Саратове, такие свадьбы не играли, — перестал водить смычком Калугин.

— А ты что, голубчик, из Саратова? — спросил его Горобец.

-- Так точно, из града Саратова, с берегов Волги-Матушки! Лет этак пяток тому, как заехал я на вашу Кабань белого пшаничного хлеба отведать, да так и остался тут.

— А я знаю песню про ваш Саратов. Ты ее никогда не слыхал? Вот послушай! — и Горобец хриплым тенорком запел на церковный мотив:

„А в городі у Саратові
Случилася война кочережная,
Не побили никого не поранили,
Тільки паляницям боки повиламували.
А вареники догадалися,
В закапелки поховалися.
Ой ви, свині неуковирние,
Задирайте хвости...”

— Нет, нет! Такой „войны” у нас не было! -- перебил его Калугин и недовольно поморщился. — И с таким напевом только под церковь итти. А вы наверное уже забыли, как у вас в старину женились, этак сто лет тому назад, а я вот знаю.

— Чия б скавчала, а твоя молчала! -- так же недовольно сказал Горобец. - - Это ты-то знаешь, как у нас раньше женились?

— Знаю, хотите расскажу про один известный у нас случай.

— А ну, расскажи, как же по-твоему у нас женились в старину! — попросил Охрим Пантелеевич.

— У вас раньше кавалеры, или, как вы называете, парубки, — начал Калугин, — до двадцати лет ходили в длинной рубашке и совсем без штанов. Таких до этого

возраста считали детьми. Ни кальсон, ничего, одна полотняная сорочка до колен и все...

— Бреешь! — не утерпел Охрим Пантелеевич и преврал рассказчика. — Это в вашей там Рассеюшке ходят до сих пор в лаптях и полотняных рубашках, как святые на небе, а у нас в штанах и черкеске все казаки и родились! Тебя наняли поиграть, со своей пискалкой, так и играй по-хорошему, а не выдумывай насмешек против казаков, а то и по мордасям получишь!

— Ну чего вы, Евфремий, так гневаетесь? Мне так рассказывали, и ругаться незачем! Хотя я немного сомневаюсь в том, чтобы у вас в штанах и черкеске родились, а впрочем, возможно, пусть будет по-вашему. Ну, буду играть, — и Калугин поднял смычок для игры.

— Стой, обожди, не пищи! — крикнул ему Софрон Падалка. — Этот лапотник мне, так сказать, одну песню напомнил, которую я слышал на ярмарке от бурлачан. Вот послушайте! — и Падалка один затянул скорым ритмом:

„Як би я був Полтавський сотський,
Багацько де чого зробив,
Зробив-би добре всьому світу,
Жилося б краще, ніж тепер.
Насадив би я дерева,
З медових ягідків садків,
І ніжки стужені свинячи
І з часничком на їх росли б.
Замість лози росли б ковбаси,
Замість листків росли б блинці,
Росли б варенички на сливах,
Тикла б сметанка із верби.
А в Чорнім морі запіканка,
Горілка б добрая була,
В Дунай би напустив слівянки,
Сивуха повсюду б пішла.
Земля була б з самої каші,
З свинячих добрих потрошків.
Дівчата гарні круглолиці,
Хто з ким хотів би, з тим і жив.

Тоді панам було б не треба
Оцих коротких піджачків,
Ходили б, як святі на небі,
В одні сорочці без штанів.
Эх був би я Полтавський сотський,
Багацько де чого б зробив,
А за тим часом прощайте,
Бо коли б хто мене не бив...”

Все смеялись до слез.

— Добре, добре спиваешь, Софрон Капитонович, жаль, что ты не „полтавский сотский”! За эту песню и выпить можно, — сказал Охрим Пантелеевич, достал под лавкой еще один наполовину опорожненный графин и налил всем по чарке, а после всех и себе. Он уже еле держался на ногах. Горобец сидел под стенкой прямо на полу. Прислонившись к нему и откашлявшись, Охрим Пантелеевич затянул свою любимую песню:

„Чорна хмара наступає,
Дрібний дощик з неба...”

Горобец с усердием стал помогать ему, хотя дуэт у них получался неважный, но они на это не обращали внимания. После слов:

„Їдуть, їдуть чорноморці,
Назад ноги гнуться,
Ой як гляну в рідний край,
З очей сльози льються...”

оба „певца” вдруг начали плакать, и чем дальше, тем больше. Ставя графин, Охрим Пантелеевич упал, попробовал встать и опять упал, тогда он подложил кулак под голову и примостился спать на полу.

В это время к старикам вошла Приська.

— Дедушка! Ну чего вы тут лежите? Все смеются над вами, идите в спальню и проспите немного! — и начала его поднимать.

Охрим Пантелеевич открыл глаза, сначала непонимающе посмотрел на всех, потом сказал:

— Г-м, а и правда, внучка, нехорошо. Ну, иду, иду отсюда, немножко подремаю; только как привезут с приданым Дашуню, сразу же меня разбудите, обязательно

разбудите! — и, вслихпнув неизвестно отчего, он и Горобец, при помощи Приськи, придерживаясь руками за стенку, поковыляли в спальню и, не раздеваясь, повалились на застланные рядом доски кровати, обнялись и вскоре уснули.

Оставшиеся вышли во двор смотреть на готовый к отправке свадебный поезд...

ГЛАВА XIX.

Косые осенние лучи солнца достигли полудневной точки. Голубая лазурь была чиста, лишь кое-где у горизонта „висели” небольшими параллельными грядами слоисто-кучевые облака, типа вечерних „растекавшихся”, издали казавшиеся изорванной и растянутой бараньей шапкой. В камышах и плавнях дикие утки, вспугнутые охотниками, со свистом проносились над головами и скрывались за станицей. Иногда, высоко в небе, дикие гуси и утки, выстроившись правильным треугольником, летели в южную сторону.

Хотя стояли уже последние дни октября, было тепло, и молодежь днем щеголяла еще в летних нарядах.

На улице, у забора и во дворе Тараса Кияшко царило большое оживление. Ворота раскрыты настежь. Вдруг подростки лавиной хлынули от ворот к середине двора, падая на ходу, кувыркаясь и ползая по земле. Это Ольга Ивановна вышла из дома с полным передником орехов, конфет и медных монет, и начала осыпать приготовленный к выезду свадебный поезд. Все это попадало в руки шумной детворы, которая старалась уже на лету схватить то, что сыпалось сверху. Иногда хватали и взрослые.

Грянули песню бояре, заиграла „галоп” гармошка, из ворот намстом вылетели три двухрессорные линейки, запряженные каждая парой украшенных цветами и лентами коней, и понеслись вдоль улицы. Следом за ними мчалась „во всю ивановскую” запряженная тройкой добрых коней большая гарба для приданого невесты. На передней линейке сидел Петр, старший боярин, Литовка с гармош-

кой, дружко*) Кияшко Иван и Никифор, погонявший лошадей. На задних линейках сидели остальные бояре и родственники Кияшко.

Лошади свадебного поезда летели, как на пожар, да, пожалуй, еще быстрее и отчаянней. Прохожие, завидев издали поезд, шарахались в сторону, боясь быть смятыми.

Подкатив к воротам Костенко Трофима, за которыми суетилась толпа мужчин, лошади внезапно остановились. Въехать во двор оказалось невозможным. Ворота были не только закрыты, но и заперты с обеих сторон на несколько больших висячих замков. Сверху на воротах было установлено „орудие” (колесо с гарбы или тягалки), в „жерло” которого (маточину) один за другим быстро вставлялись „снаряды” — короткие деревянные палки и при „выстреле” — от удара широкой дощечкой летели прямо на лошадей подъехавшего поезда. Кони испуганно шарахались назад, и немалого труда стоило их удерживать на месте.

— Могарыч давайте, могарыч! Иначе во двор не пустим! — кричали родственники и соседи Трофима Костенко, угрожающе стоя за воротами.

— Нет у нас могарыча, сваточки, забыли дома, — встав с линейки и подойдя к „пушкарям”, уверял дружкó Иван Охримович, притворно стараясь перехитрить „противную” сторону.

— Нет могарыча, значит, не пустим! Огонь!!! — и „снаряды” опять полетели прямо на лошадей и головы сидевших на линейке людей.

Пришлось Ивану Охримовичу достать из под сидения две бутылки водки, взятые в предвидении такой встречи у двора невесты, и передать их „артиллеристам”. Едва

*) Не следует смешивать слова: „дружка” и „дружко”. Дружки (ударение на „у”) девчата подруги и родственницы невесты, и их может быть неограниченное число. „Дружко” (ударение на „о”) — мужчина из старших родственников жениха, являющийся как бы распорядителем свадебной церемонии, поверенный отца молодого „князя”. Дружко бывает только один.

„противники” получили от дружка горилку, в тот же момент все замки слетели, и ворота широко распахнулись.

Поезд въехал во двор, и Петр со старшим боярином и дружкой, сейчас же направились в дом. За ними шли и другие бояре.

Еще когда мужчины у ворот торговались относительно могоарыча и не пускали поезд во двор, десятка два дружек сидели с Дашей за столами в большой комнате и пели:

„А вже, ненько, нераненько,
Вже смеркає,
А Петічка у батеньки не гуляє,
До Дашечки старостоньків посилає.
Ой яка ж ти, Дашечка,
Дуже пишна,
Присилав я старостоньків,
Ти не вийшла.
Не великий ты, Петічка,
Не великий пан,
Осідлаєшь конеченька
Та й приїдєшь сам.
Я виходив і виїздив
Усі города,
Та не найшов паняночки
Як ти, молода...”

Увидев Петра и бояр в дверях комнаты, дружки во весь голос запели очередную „весільну” песню :

„У сінечках голубок гуде,
А в кімнатку голосок іде,
Тож не голубок сизесенький,
То Петічка молодесенький.
Там Петічка наряжаєця
Із батеньком споряжаєця,
Порадь мене, ти мій батенько,
Кого міні у бояре брати?
Кого міні у сваточки сажати?
Бери, синку,
Всю свою родинку
І вбогую і багатую...”

Даша встала и поклонилась в пояс вошедшим. Петр ответил ей таким же поясным поклоном.

Девушки-дружки сидели за длинным столом все в один ряд, спиной к окнам, выходящим на улицу, и лицом к входным дверям. Бояре уселись тоже в один ряд с противоположной стороны стола напротив дружек. Из мужчин только Петр сел в ряду дружек, рядом с Дашей.

Дружкó Иван Охримович начал „частувать” всех, наливая и боярам и дрúжкам рюмки горилки, которую они привезли от Тараса Кияшко.

Бояре пили до дна, а дружки только прикасались губами к чарке и сейчас же возвращали ее дружку.

Бояре все время наблюдали: какая дружка как пьет, как ест, как при этом раскрывает рот... и, подмигивая друг другу, втихомолку высмеивали. Поэтому девушки и хотели бы попробовать соблазнительных яств, которыми был уставлен весь стол, но воздерживались или, как говорились, „пышались”.

После первой рюмки дружки опять запели:

„Ой загули голубоньки,
В гору литучи,
А за ними та Дашечка
Слізно плачучи:
Ой перейми, ненько моя,
Тії голубці,
Шо понесли дівування
На правім крильці.
Не перейму, дитя мое,
Вони дикі,
Взяли твоє дівування
Вже на віки.
Та й понесли дівування
В гору високо,
Та вкинули дівування
В Дунай глибоко.
Уже тому дівуванню
Та й не виринать,
А вже ж тобі, та Дашечка,
Більш не дівувать”.

Когда один раз Петр и Даша, после очередного поклона подававшему им чарку Ивану Охримовичу, уселись как-то неудачно, дружки подметили и пропели:

„Ой не сиди, та Дашечка, боком,
Це ж тобі ненароком,
Присунься близенько,
Коли любишь вірненько...”

То же самое пропели и Петру, заменив только слово „Дашечка”, на „Петічка”.

Но вот к молодой „княжне” подошли „свашки-світлки” и ее девятилетний братик Коля. „Світлка” стала возле Даши с зажженной свечкой. Дружки знали, что это означает, и запели соответствующую песню:

„Ой вишенька-черешенька хиляється,
Даші роскіш-воля міняється.
Міняється роскіш-воля, сама бачу,
Не раз, не два, по роскоші тай заплачу.
По роскоші, по роскоші,
По русій косі,
По батькові, по матері,
По своїй красі...
Ой коса, коса русая...”

Во время пения старшая дружка, свашка и другие дружки расплели красную ленту в косе Даши и этой лентой перевязали ногу ее брату Коле повыше колена. Потом отделили от фаты молодой восковую „квітку” и обратились к тут же стоящим ее родителям и другим родственникам:

— Сваты и свашечки, дружки и дріжочко, дозвольте молодому квітку пришить!

— Пришивайте, хай Бог благословит! -- отвечало несколько голосов.

— И в другой раз!

— Бог благословит!

— И в третий раз!

— Бог благословит все три раза! — после этого белую восковую „квітку” пришили к шапке Петра, и ее на

хранение взял старший боярин. С этого момента девичья покорность Даши своим родителям перешла в мягкую, как воск, и безоговорочную покорность мужу.

Заметив, что Николай вдруг почему-то нахмурился, Катерина шепнула что-то друзьям, и те не замедлили этот факт отметить куплетом:

„Старший боярин патлатый,
До стола припятый,
Гвоздиком прибитый
Шоб не був сердитий...”

Николай сразу же оживился и погрозил друзьям.

Потом Иван Охримович принес к столу свадебный „коровай” и обратился в сторону стоявших в комнате мужчин:

— Старосты, паны старосты!

Ему ответило несколько голосов:

— Раді слухать!

— Благословите цей Божий дар на мир раздать!

— Бог благословит!

— И в другой раз!

— Бог благословит!

— И в третий раз!

— Бог благословит все три раза!

Дружко перекрестился, потом осенил ножом крестообразно коровай, начал его резать на кусочки и раздавать.

На середине стола, между друзьями и боярами, стояла „колосовка” — бутылка водки, в горлышко которой был воткнут пучек колосьев ржи. Теперь старший боярин сосредоточил все свое внимание на том, чтобы не прозевать и в нужный момент, опередив старшую дружку, схватить эту бутылку.

Как только свашки и прочие ответили в третий раз Ивану Охримовичу: „Бог благословит все три раза”, в тот момент Николай схватил колосовку. Катерина почти одновременно тоже протянула руку, но опоздала на какую-то долю секунды и, как говорили, „обожглась”. Если бы старшая дружка успела схватить колосовку первой, это было бы большим позором не только для самого стар-

шого боярина, но и для всех бояр. Пришлось бы тогда им за деньги выкупать у дружек колосовку, а последние при „торговле” насмехались бы и немилосердно стыдили бы бояр за нерасторопность их старшего боярина.

Николай, вынув из бутылки пучек колосьев жита, тут же прямо из горлышка попробовал сам, а потом начал потчевать всех бояр.

Девушки-певуньи не забыли и дружка „угостить” особой песенкой:

„Дружко коровай крає,
Він семеро дітей має,
Та всі с кошелями
Увесь коровай забрали...”

— Хватит, хватит и вам, канарейки неугомонные, — улыбался Иван Охримович, подавая и дружкам по куску коровай. — А что семеро детей имею, то это вы наврали. Только шестеро...

Все прятали кусочки коровай в платочки, чтобы понести домой, как доказательство, что они были на свадьбе.

Многочисленные свадебные церемонии в доме невесты подходили к концу. Дружки запели:

„Шо Дашечка у батеньки на отході,
Посадила трояндочку на городі.
Рости, рости, трояндочко, не хилися,
Живи, живи, мій батенько, не журися.
„Ой, як мені не хилиться,
Вітер повіває,
Ой як мені не журиться,
Дитя покидає...”

Дружки поочередно подходили к Даше и крепко целовали ее. При этом прощании многие не могли сдержать слез. Даше тоже стало грустно, жаль расставаться с подругами. Она горячо обнимала всех, целовала и едва сдерживалась, чтобы не разрыдаться.

Петр сначала пытался успокоить ее всякими шутками и лаской, но потом решил не мешать прощанью и стоял

молча, вежливо пропуская мимо себя подходивших к Даше дружек.

Во время прощання пели грустним напевом:

„Шкода було хорошого дому,
Та нікому ходити по йому.
Тільки було Дашечці ходити,
Пішла вона свекрусі годити.
Годити старому й малому
І Петічке князю молодому...”

„Ой гомін, гомін, Дашечка,
В битое віконечко
Либонь же тебе
Твої сестриці кличуть
Та й на вечерниці.
Сестриці мої, гуляйте самі,
Вже мені неволенька
Біля пороженька
Стоїть стороженька
Біля боку неволенька.
Петічка сидить
За рученьки держить
Не може й попустити:
„Дашечка моя, не воля твоя,
Не підеш ні ти, ні я...”

Из-за столов все встали, и бояре пошли сложить на гарбу приданое Даши. Но это было не так просто...

На кровати, на сундуке и на стульях понаселo больше десятка казаков-соседей и родственников Трофима Костенко, требуя „могарыча”; иначе грозили не вставать до ночи и не дать увезти приданое. Ивану Охримовичу ничего не оставалось, как „откупать” все это водкой, и он налил каждому сидевшему на кровати и на стульях по две чарки. Получив „откуп”, те сразу же освободили кровать. Все восхищались новой никелированной кроватью, какой не было даже у богатых казаков. Увидев такую кровать, дружок не стал долго „торговаться” и угостил всех „противников” водкой. Для таких непредвиденных

сюрпризов, могарычей и прочего, он взял из дому Кияшко десять бутылок водки, но после всех свадебных церемоний у Костенко у него оставалось только две. Когда же он увидел, что и на сундуке сидят еще пять человек, то он мигнул боярам, и те схватили тяжелый сундук вместе с сидевшими на нем и так потащили на гарбу. Пришлось сидевшим на сундуке сойти с гарбы несолоно хлебавши, и под градом шуток и остроумия остаться без могарыча. Оставшуюся водку дружно обещал отдать боярам.

Какая-то из близких родственниц Трофима Степановича вышла во двор с узелком орехов и конфет и обсыпала всех отъезжавших на гарбе, после чего приданое увезли.

Оставшиеся вернулись опять в ту же комнату, где стояли столы.

У некоторых казаков в станице был обычай дарить молодых на следующее утро после свадьбы, но семьи Костенко и Кияшко уговорились провести эту церемонию в день свадьбы.

Петр и Даша стояли посреди комнаты и держали по металлическому подносу с чаркой водки.

Каждому подходившему дружок наполнял непрерывно опоражниваемые две чарки. Водка и здесь шла со стороны жениха. Для этого случая Никифор, который почти все время находился возле дружка, внес в комнату привезенный с собой сундучек с бутылками и, по мере надобности, подавал одну за другой Ивану Охримовичу, а тот наливал в рюмки.

Трофим Степанович подошел к молодым первый, взял с подносов в обе руки по чарке и сказал краткую речь:

— Живите, дети, в мире, любви и покое; живите счастливо, на радость нам и всему нашему роду! Слушайте и почитайте родителей, никого не обижайте, не укоряйте друг друга лишними ненужными словами; не смейтесь над несчастьем других, помогайте им по силе возможности; не забывайте нас с матерью; не забывайте церковь, молитесь Богу, и Он пошлет вам спокойную и счастливую жизнь на многие лета! Дарю я тебе, дочко, корову! —

после этого он выпил обе рюмки. Молодые одновременно низко поклонились отцу.

После него подошла Василиса Григорьевна, взяла рюмки в обе руки, с умилением посмотрела в глаза дочери, и, вероятно, собиралась сказать много, но слезы показались на ее ресницах, и она только и смогла вымолвить:

— Пусть будет так, как сказал сейчас батько! Не забывай меня, дочко, приходи почаще в гости! Дарю тебе пару овец! — Она прикоснулась губами к рюмкам, но не пила, и так, почти полными и поставила их обратно на поднос. Петр и Даша поклонились матери в пояс.

Молодым, Петру и Даше, приходилось в этот день кланяться сотни раз — за каждой рюмкой, за каждой прибауткой. Они должны были одновременно, как по сигналу, скланяться до самого пояса. Они незаметно потихоньку в нужный момент толкали в бок друг друга, и тогда получалось удачно.

Василиса Григорьевна отошла, утирая глаза концом платка. Жаль ей было расставаться с дочерью... Так мило она тешилась Дашей, пока та была маленькой... Вырастила, выхолила ее, столько ночей недосыпала. А теперь она, едва расцвела, уже улетает от матери, как молодая птичка с только-что отросшими крыльями; улетает в чужую семью... И хотя все это было тут же, в своей станице... всего несколько улиц будет отделять ее от прежнего дома, а все же у чужих... И она, как и всякая мать, не могла удержать слез.

После родителей, к молодым подошла тетя Даши, приехавшая на свадьбу с хутора „Жовті Копані“, еще не старая, круглолицая Поддубная Мотря. Она взяла чарки с подноса и, еле прикоснувшись к ним, поморщилась и с сердитым видом поставила обратно:

— Ой, какая горькая! Да разве можно такую горилку пить?

Петр и Даша поняли намек тети и улыбнувшись поцеловались.

Мотря сразу же схватила обе рюмки и одну за другой опрокинула в рот:

— Вот сладкая какая стала, вот добрая горилка, — и, в заключение, она поцеловала еще рюмку в донышко. Потом она положила на один поднос несколько медных монет, а на другой две серебряные, приговаривая:

— Сюди мідні, щоб не були бідні, а сюди сребро, щоб було добро!”

Кроме того, она подарила племяннице еще двух гусей.

Так один за другим, подходили к молодым все присутствующие, с прибаутками опоражничали стоявшие на подносах рюмки и дарили молодых денежными и другими подарками. Каждому подходившему молодые кланялись в пояс, иногда по два и три раза.

После Поддубной Мотри, почти все начали кричать: „горькая, горькая!”, заставляя молодых целоваться без конца. Как только Петр и Даша целовались, водка в рюмках сразу превращалась в „сладкую”, и ее выпивали до дна.

Дружко уже устал наливать водку в рюмки, мысленно ругая тех, кто своими прибаутками задерживают ход этой утомительной процедуры.

Кучи серебряных и медных монет увеличивались на обоих подносах. Много было подарено гусей, уток, овец, кур и всяких домашних вещей, но их не давали здесь, а после свадьбы молодые должны были забрать эти подарки у родственников. Бывало, однако, и так, что дарившие сами через несколько дней привозили свои подарки в дом жениха.

Во время одаривания молодых все шутили, смеялись, но как только кончилась эта часть свадебного обычая, некоторые опустили головы. Даша стала прощаться с отцом, матерью, близкими родственниками, соседями. Потом взяла в руки икону — родительское благословение, вышла вместе с Петром и всеми участниками его поезда во двор и села рядом с ним на передней линейке.

Все дружки ее сгрудились у порога и пропели последнюю прощальную песню:

„Ой прощай, прощай,
Та Дашечка, сестро наша,

Ми не твої подружечки,
Ти не наша.
Оставайся та, Дашечка,
Між старими,
А ми підемо погуляєм
З молодими...”

Василиса Григорьевна стояла и плакала...

Осыпанный мелкими орехами, цветами и монетами, свадебный поезд Петра, в котором прибавился теперь еще один „пассажир” — Даша, с громкими песнями бояр и визгом гармошки, вылетел галопом из ворот Трофима Костенко и во весь дух помчался к дому Тараса Кияшко. Лошадей умышленно направили кружным путем: не по той дороге, по которой ехал поезд к Даше, а по другой. Не полагалось свадебному поезду ехать туда и обратно одной и той же дорогой.

Даша сидела, опустив голову, и ни на кого не глядела. При выезде из отчего дома, по щекам у нее покатались, как росинки, две слезы и задержались на верхней губке. Но вот еще две слезы скатились по той же влажной „дорожке”, подтолкнули первые и большой каплей упали на икону, которую она держала, прислонив к груди.

Как ни любила Даша Петра, но в этот момент ей стало больно расставаться с отцом и матерью, так горячо любившими ее; с домом, в котором она выросла; с вольной девичьей жизнью среди веселых подруг. Ей казалось, что она переносится в совершенно иной мир...

Когда Петр начал ее ласково утешать, она перестала плакать и даже устыдилась своих напрасных слез. Чувствуя рядом с собой того, о совместной жизни с кем много лет мечтала, она вскоре совсем успокоилась, и прежняя счастливая улыбка появилась на ее лице.

Три линейки свадебного поезда галопом влетели в открытые ворота Кияшко, и от резко натянутых вожжей лошади стали „на дыбки”, на всем ходу остановившись посреди двора. Молодых и всех приехавших на линейках снова осыпали орехами, конфетами, цветами и мелкими монетами. Ждавшая этого момента многочисленная де-

творя и подростки, собравшиеся из соседних дворов, снова забегали по двору, вертясь под ногами у взрослых и стараясь нахватать побольше орехов и конфет.

Тарас Охримович, с паляницей в руках, вышел навстречу молодым. Петр и Даша подошли к нему, остановились и молча поклонились в пояс. Батько пригласил их войти в дом. На пороге стояла Ольга Ивановна; молодые остановились и поклонились ей также в пояс. Мать всыпала за пазуху и сыну и невестке по щепотке зерен жита, как пожелание хорошей жизни. Войдя в дом, новобрачные низко поклонились встретившим их родственникам, во все четыре стороны по одному разу, и прошли за столы, густо уставленные едой и напитками. Гости уселись за этими столами, но тут уж дружек не было и никаких свадебных песен не исполнялось.

Бояре, немного посидев, встали из за стола, простились с Петром и Дашей, получили от Ивана Охримовича обещанные две бутылки водки и ушли. Только старший боярин Николай оставался в доме Кияшко и дальше.

Дарить молодых в доме Тараса Охримовича хотели на следующий день утром, как это практиковалось иногда, но некоторые родственники настояли, чтобы дарить сейчас же, потому что, дескать, до утра они не могут тут оставаться, и должны ехать домой.

Дружкú, Ивану Охримовичу, предстояло и тут еще потрудиться немало.

Петр и Даша встали из-за стола, вышли на середину зала с двумя серебряными подносами в руках, на которых стояли рюмки, и приготовились кланяться еще сотни раз. Гости сидели за столом и, соблюдая старшинство, поочередно подходили к молодым и дарили. Дружко все время наполнял быстро опоражнимые рюмки.

Тарас Охримович подошел к молодым первым, взял обе рюмки с подносов и сказал:

— Живите так, как жили ваши родители, слушайте старших, любите друг друга, и все будет хорошо. Дарить я тебе, сынок, сейчас не буду ни денег, ничего. Все мое хозяйство принадлежит полностью тебе и Никифору, которое я и дарю вам поровну. А когда „оперится”

Федька, не забывайте и его, он хоть еще и маленький, но тоже ваш равноправный брат. Теперь вас два женатых, и вы полностью можете заменить меня, хотя голову в доме все-таки буду я до смерти. Поздравляю вас с законным браком и рад вашему супружеству.

Молодые низко поклонились отцу.

Ольга Ивановна подошла, взяла рюмки, напомнила молодым о пережитом ими в этом году горе и добавила, что терпением, надеждой и молитвой можно всегда достигнуть желаемого счастья. Она просила невестку любить ее сыночка всю жизнь, слушаться „вторых родителей” — свекра и свекруху; тогда и она тоже будет любить ее, как свою родную дочь.

Вошел только что проснувшийся с похмелья Охрим Пантелеевич, разбуженный Приськой, подошел к молодым и, улыбаясь широко раскрытым беззубым ртом, сказал:

— Очень рад бачить вас, мои внучата, в таком виде. Слава Богу, что все пережитое этим летом осталось позади, как страшный сон, который ты, внучек, видел весной, в „Дарную Неделю”. И этот сон, пожалуй, сбылся. И красные цветочки полевого мака, которыми тогда, во сне, осыпала тебя Даша, возвели тебя на вершину твоего земного счастья. Красный мак стоит теперь вот, рядом с тобою, люби его!

Молодые низко поклонились дедушке. Охрим Пантелеевич хотел по примеру других сказать „горькая”, с какой-нибудь шуточной прибауткой, но у него как-то не вышло, и он просто предложил им поцеловаться. Петр и Даша с удовольствием исполнили желание деда.

Охрим Пантелеевич в такт их поцелую чмокнул, широко улыбнулся, потом чего-то задумался, глаза его увлажнились, и он поспешно вышел. Некоторые подумали, что старый козак, вероятно, что-то вспомнил старое, или что у него в голове еще бродит хмель с того времени, как они с Горобцем здорово потянули из графина в обед под музыку скрипача Калугина. Но через минуту он вернулся с серебряной турецкой шашкой в руках и стал перед молодыми:

— Дарю тебе, внучек, свою шашку, которую я в честном бою добыл в Карсе, еще в 78 году. Она освячена нашим священником, и на ней стоит мое имя. Храни ее, как символ чести и геройства Черноморского Казачества, на веки вечные! А мне уже скоро, наверное, придет час уйти на вечный покой...

Он сам прицепил Петру ножны и португую, перекрестился, поцеловал обнаженную шашку и торжественно передал ее внуку. Петр стоял в положении „смирно”, принимая подарок дедушки; он вложил шашку в ножны и крепко поцеловал старого Черноморца. После этого Охрим Пантелеевич поцеловал Дашу, прослезился, отошел в угол, уселся за стол и молча наблюдал за церемонией поднесения подарков.

Крестный отец Петра, Савва Корж, подошел к молодым, вынул из платочка два золотых крестика с золотыми печочками и надел их на Петра и Дашу:

— Пусть это служит вам, как символ по гроб нерушимой вами жизни! Свято храните верность друг другу, крепите вашу любовь еще больше, почитайте старших, посещайте церковь, и Господь всегда оградит вас от всяких напастей! — в заключение он подарил им по серебряному рублю.

Федор Куш подошел и, вместо обычных наставлений, сказал:

— Когда есть время, не играй в карты, не пьянствуй, не проводи праздно свой отдых, а читай книжки! Книги много дадут тебе полезного, читай в каждую свободную минуту, — и подарил ему „Кобзаря” Шевченко, „Тараса Бульбу”: и „Вечера на хуторе близ Диканьки” Гоголя.

О таких „подарках” никто не думал, и гости недовольно морщились, но Петр низким поклоном искренне поблагодарил Куша и обещал читать его книги. Куша многие уважали в станице, как очень толкового и грамотного казака, а Петр особенно полюбил его за то, что он один приехал к нему в Ейск в „лихую годину”.

Кроме денег, дарили молодым ульи пчел, овец, мешки пшеницы и все, что кому взбрело в голову. Только позд-

но вечером, уже при свете лампы, закончили одаривание молодых.

Большинство гостей никуда не пошло, а осталось тут же в доме на „всенощную”, как они говорили, то-есть на попойку, рассчитанную на всю ночь до утра, — для чего был задержан и Литовка со своей гармошкой. Петр и Даша ушли в отдельную комнату, запираемую на крючок, сняли с себя все „княжеские” наряды и пошли в спальню, на специально приготовленную для них постель — брачное ложе. К ним в спальню зашел дружок и две близкие родственницы Петра, проверили положенные на кровать белоснежные ночные рубашки, которые молодожены должны были надеть на себя в эту первую после венчания ночь.

Несмотря на многолетнюю любовь, несмотря на то, что они уже более двух лет, как называлось, „ночевали” вдвоем — Даша, как и большинство других девушек в станице, сохранила свою девичью честь до этой брачной ночи.

Положенные для молодых на постели чистые белые рубашки перед рассветом будут проверены...

Хотя эти порядки неписанного закона старины в станицах бывшего Черноморского Войска применялись теперь редко, но упрямый дружок Иван Охримович, подержанный любопытными тетушками, настоял на обязательном проведении и этого заключительного номера свадебных обрядов. На том заканчивал он свое „командование” на свадьбе у брата Тараса.

Конечно, Петр мог бы послать дядю „ко всем чертям” с его старомодными и глупыми требованиями, и за это никто его не осудил бы, но молодые супруги, зная друг друга во всех отношениях, не стали противоречить и, хотя им совестно было слушать подобные намеки, согласились на последнюю причуду полупьяного дружка.

Старшему боярину, Николаю Шевченко, предстояло выдержать еще одну бессонную ночь. Взяв красный флажок и револьвер в руки, он влез на крышу дома, сел над тем местом, где было брачное ложе молодых, и внимательно смотрел во все стороны. Некоторые из разгуляв-

шихся родственников Кияшко несколько раз незаметно лезли на крышу, стараясь похитить красный флажок, но выстрелы Николая вверх прогоняли их. Некоторые, спускаясь с лестницы, падали на землю и потом охали от ушибов. Николай крепко защищал от похитителей флажок, как символ чести молодых, и все время бодрствовал, чтобы его не застали врасплох.

Кроме молодой четы, никто в доме спать не ложился. Все пили и веселились. После полуночи захмелевшие гуляки начали долбить в кухне земляной пол („долівку”), непрерывно гудели, подражая жужжанию пчел, и настойчиво требовали „меду”.

— Меду, батько, меду давай! Долго ли будем ждать меду? — гудели и мужчины и женщины.

— Будет, детки, будет мед, не спешите! — успокаивал их Тарас Охримович. Настоящий пчелинный мед в сотах, действительно, стоял в шкафу на кухне, но к столу его пока не подавали, ожидая определенного момента.

Наконец, дверь спальни молодых открылась. Петр вышел на порог дома и позвал старшего боярина. Николай в эту ночь подчинялся только ему и поэтому сразу же спрыгнул с крыши. Петр взял у него флажок и револьвер и, стоя на пороге у открытых дверей дома, три раза выстрелил.

Услыхав сигнал, дружок, свашки, тетушки и другие любопытные сразу же ринулись в спальню молодых. Они бесцеремонно осмотрели ночные рубашки Петра и Даши и, увидев то, чего и ожидали, немедленно пошли обратно, распевая во весь голос:

„Не бійся, матінко, не бійся,
В червоні чобітки одінся!
Топчи вороги під ноги,
А супостати під п'яти,
Щоб перестали брехати...”

Петр вошел и воткнул красный флажок в горлышко графина водки, стоявшего до сих пор нетронутым посредине стола.

Сразу же на столе появились тарелки с пчелинным ме-

дом в сотах и „жужжанье пчел”, долбивших „долівку” прекратилось...

В доме Костенко в эту ночь тоже никто не спал. На рассвете, гулявшие там всю ночь родственники и соседи Трофима Степановича, с громкими песнями и своим музыкантом, ввалились в дом Кияшко. Они принесли для Даши „сніданья” (завтрак), потому что она-де, мол, еще не заработала у свекра позавтракать. Конечно, никто в этом „завтраке” не нуждался; на столах стояло наготовленного на сотни завтраков и обедов, но таков был обычай.

Через несколько минут после их прихода, молодые супруги тоже вышли к ним в зал, уже не в свадебной, а в обычной праздничной одежде.

Легкая бледность сменила еще только вчера ярко горевший румянец на щеках Даши. Она как-то смешно семенила ногами и, не ожидая приглашений, сразу же села у стола рядом с Петром. Пришедшие от ее родителей гости подходили к ней, восторженно здоровались, целовали ее, как будто бы давным-давно не видели.

После завтрака, молодые супруги, в сопровождении многочисленной свиты родственников обеих сторон, с двумя музыкантами, направились в гости „к сильно соскучившейся за ночь” матери Даши.

Графин водки, перевязанный лентой, с воткнутым в горлышко красным флажком, был в руках старшей тети Даши, Мотри Поддубной, но она из этого графина никому не наливала в чарки. Всем родственникам Костенко, приносившим „сніданье”, дали в руки красные флажки и бутылки водки.

Пьяная толпа мужчин и женщин, в большинстве одетых, точно на маскараде, в смехотворные костюмы, шумно и разгульно двигалась по улице. Некоторые казаки еще во дворе Кияшко поменялись одеждой со своими женами: надели на себя их юбки, а жены — их штаны, прикрепив себе усы из шерсти козуха. У других были вывернуты козухи шерстью наружу, а на голове торчали нацепленные коровьи рога. Разноголосые и нестройные песни, игра двух гармошек и танцы на ходу не прекращались ни на

минуту. Процессия не шла, а двигалась в каком-то беспрерывном танце. Поминутно останавливались, наливали в чарки горилку и во всю мочь орали:

„ ... Повнії чари, всім наливайте,
Шоб через вінця лилося!
Шоб наша доля нас не кидала,
Шоб краще в світі жилося...”

Всех встречных, спокойно проходивших мимо незнакомых людей, грубо останавливали и заставляли пить. В результате, некоторые из случайно встретившихся незнакомых казаков тоже приставали к этой пьяной толпе и становились ее участниками. Только Петр и Даша, шедшие впереди всех, держали себя прилично, хотя Петру тоже пришлось выпить несколько рюмок. Молодые смущены были такой разнузданностью шедших с ними гостей, но зная, что они ведь веселятся в их честь, с улыбкой смотрели и молчали.

Трофим Степанович ничуть не огорчился прибытием такой многочисленной и пьяной ватаги. Наоборот, он был весьма рад такой веселой компании. У ворот Костенко Мотря Поддубная, держа высоко графин с лентой и флажком, вместе с другими женщинами голосно запела снова:

„Не бійся, матінко, не бійся,
В червоні чобітки одінься,
Топчи вороги під ноги,
А супостати під п'яти,
Щоб перестали брехати...”

и передала графин с красным флажком в руки матери, а та передала Трофиму Степановичу. Василиса Григорьевна радостно встретила свою дочь и, заглядывая ей в глаза, крепко поцеловала, как будто много дней не видала ее.

Всех пригласили в дом, где уже стояли приготовленные для такого „нашествия орды” несколько столов с напитками и закусками.

Послесвадебное веселье вступило в новую фазу. Тут уже не было ни парубков, ни девушек, а только женатые

семейные пары. Николай из дома Кияшко ушел еще после того, как Петр, взяв у него револьвер, три раза выстрелил.

Петр и Даша, простившись перед вечером со всеми, ушли домой, а пришедшие с ними утром оставались в доме Костенко Трофима и продолжали пить и гулять, позабыв о своих домах и хозяйствах.

ГЛАВА XX.

Круглые сутки шла попойка в доме Трофима Костенко. Никто не собирался уходить, поручив в своем хозяйстве присмотр за скотом детям или соседям. Вино и водка лились рекой. Одни уже находились в „третьей стадии” опьянения, ползая на четвереньках. Других хмель окончательно свалил с ног, и они засыпали, где попало, в доме и во дворе.

Софрон Падалка спал под столом. Проснувшись, стукнулся головой о крышку и, вставая, опрокинул стол вместе с посудой. Не обратив на это внимания, шатаясь и не видя перед собой ничего, он хотел выйти во двор, но вместо двери наткнулся на большой сундук. Открыв крышку сундука и предполагая, что это дверь дома, бил кулаками о стенки его и кричал:

— Да где же та проклятая дверь? Почему она закрыта?

Потом влез туда с ногами и не найдя двери, так и загнулся на дне сундука.

Две бабы, с распущенными волосами, выбежали с графином к воротам и, приплясывая, орала во все горло:

„І пить будем, і гулять будем,
А смерть прийде, помірать будем...”

Увидев шедшего по улице парубка, они подбежали к нему и тыча графин в рот, заставляли пить прямо из гор-

лышка. Парубок отказался. Тогда они схватили его за руки и стали лить ему водку на голову, пока тот, ругаясь, не убежал прочь.

В одной из комнат, возле печи, у небольшого столика, при тусклом свете небольшой жестяной лампы, сидели трое мужчин и одна женщина и повторяли раз за разом одну и ту же песню:

„Іванович наливай,
Гаврилович випивай!
На многая літа.
На многая літа.
Многая літо,
Та посієм жито,
Та сожнем у снопи,
Та складем у копи,
Та вдаримо гоп,
Та вдаримо гоп!
Горілочку хлоп, хлоп, хлоп!”

Рюмка у них была одна, и за последним словом „хлоп” державший ее опрокидывал в рот и одним залпом выпивал. Потом рюмка наливалась другому и опять тот же самый припев, с изменением лишь отчества на того, кому она подана. И так, переходя по кругу из рук в руки, рюмка не знала отдыха. Сидевшие здесь три казака и баба до того „нахлопались”, что двое, свалившись, там же — возле печи и заснули. Один из них был муж сидевшей в этой компании женщины, которая держалась крепко, хотя „хлопала” чарки не реже других. Ее кум еще сидел около стола, боясь подняться со скамейки, потому что ноги отказывались ему повиноваться.

Разгулявшаяся кума, подмигнув ему, встала и, пританцовывая вокруг, пристально глядела на него и, улыбаясь, напевала:

„Ой ти, кумчику-чику, ти, голубчику-чику
Ти до мене іди, та нікому не кажи...”

Осоловелый „кумчик” сидел, молча лупал глазами, не понимая, что от него хочет кума? Потом ему стало казаться, что танцует возле него не кума, а печь, столы, сту-

ля, стены, а лампа пошла даже вприсядку. Потолок запрыгал и в глазах кумы, но она не сдавалась, пританцовывая подошла к своему „кумчику” и, обняв, хотела поцеловать, но тот свалился со скамейки на пол; кума упала на него, и так вскоре заснули и они.

Два, уже престарелых, казака ползали на четвереньках в базу возле мирно лежавшего коня, обнимали его за шею, целовали в губы, приговаривая самые нежные слова, и неутешно рыдали. Но если бы их кто спросил, отчего они плачут, чего, собственно, им жаль, то они ни за что не смогли бы ответить.

Жена Кононенко Дениса, Настя, была трезвее других и, собравшись итти домой, тщетно искала своего мужа, обшарив все закоулки двора, но бывшего второго старосты Петра при сватовстве нигде не оказалось. Она уже хотела итти домой одна, как вдруг возле забора случайно заметила его в грязном свинарнике, спавшего в обнимку с большой свиньей. Денис, вероятно, представлял сейчас, что с ним не свинья, а его Настя. Обхватив ногами шею „хавроньи”, а лицом прильнув к толстому заду, он спросонья мотал пьяной головой и изредка бормотал:

— Не дыши на меня, моя голубко, а то мне и так тошно!...

Послесвадебное веселье продолжалось две недели. Разгулявшиеся казаки-хлеборобы, не связанные в это время года спешными сельско-хозяйственными работами, по несколько дней не являлись к себе домой, ходили гурьбой от „батька” до „батька”, от Кияшко Тараса до Костенко Трофима, а иногда заходили просто один к другому...

Потом пришла неделя перед „заговенами” на „Пылыпку” -- Рождественский пост. И опять на несколько дней собирались группами у родственников или знакомых „заговлять”, пили, ели и веселились...

Нигде земледелец так обильно и весело не проводил свой осенне-зимний досуг, как в казачьих станицах Кубани...

**
*

На третий день после свадьбы Куш Федор не захотел больше „водить козу” с пьяной гурьбой казаков и, после их ухода из дома Кияшко, остался посидеть-поговорить с кумом Тарасом Охримовичем.

Они сидели возле еще неубранного стола, когда Петр зашел к ним с двумя небольшими, но тяжелыми узелками и сказал:

— Вот, батя, это то, что нам с Дашей надарили на свадьбе. В этом узелке деньги, надаренные у Костенко, а в этом — у нас; и Петр высыпал на стол две большие кучи серебряных и медных монет.

Тарас Охримович с удовлетворением посмотрел на деньги, потом быстро взглянул на Куша, задумался и, немного помолчав, спросил:

— Считал?

— Считал. В Дашином узелке было 16 рублей 84 копейки, а в моем 28 рублей 40 копеек.

— Так вот что, сынок, — сказал Тарас Охримович, — когда я женился, то батько у меня все деньги надаренные на свадьбе забрал до одной копейки, и помню, как я тогда недоволен был этим. Поэтому я так не делал и с Никифором, и с тобой тоже не буду делать. Дашины деньги заberi обратно все, а из своей кучки дай мне половину, и добре будет. Ты теперь уже не парубок, а разве удобно будет женатому казаку просить у батька копейки то на свечку, то на стакан квасу? Верно, куманек? — спросил он Куша.

— Верно, кум! Женатый хоть и молодой, должен всегда иметь при себе кошелек и не пустой. Мало ли на что могут понадобиться деньги, а не девчат он теперь тратить не будет.

Получив одобрение кума, Тарас Охримович отсчитал от большей кучки 14 рублей 20 копеек, спрятал в карман, а остальное предложил Петру забрать себе и уходить.

Петр был доволен, не стал отнекиваться, забрал все Дашины и половину своих денег и ушел. Он решил, что причиной такой щедрости батька было присутствие Куша, которого все уважали, и, поступи Тарас Охримович ина-

че, Куш тут бы его так отчитал, что он и деньгам бы был не рад.

Потом Петр с Дашей зашли в комнату дедушки. Кроме Охрима Пантелеевича, там сидел еще дед Горобец, старый его сослуживец, и старики, редко какой день, не сходились вместе. Поздоровавшись, Петр положил перед своим дедушкой восемь рублей.

— Это вам, дедушка, на ведро водки.

— За что так даришь, басурман?

— А, помните, дедушка, когда еще весной в „Дарную Неделю” вы мне поясняли мое сновиденье, я тогда обещал вам, что если все кончится так, как вы предсказали, то из надаренных на свадьбе денег дам вам на ведро водки?

— Ич, басурман, не забыл. Молодец, что у тебя слово с делом не расходится. А почему же ты не отдал денег батьку?

— Батя взяли только половину моих денег, а другую половину и все надаренные родственниками Даши вернули мне.

— Тарас не в меня, — подмигнул он Горобцу, — ну, тогда, басурман, и я так сделаю: возьму половину того, что ты даешь, и хватит. Зачем мне на целое ведро? Хватит мне и четыре рубля. Спасибо, спасибо и за это, мои голубочки, да постарайтесь, чтобы мне довелось через год потешиться вашим сыночком... — и, спохватившись, что сказал лишнее при Даше, он замолчал.

Даша, слегка покраснев, взглянула на Петра, улыбнулась и сейчас же вышла.

Для Охрима Пантелеевича дома в шкафу всегда стоял графин настоящей на корице, гвоздике и разных корешках горилки, и ему нечего было покупать это зелье. Но иногда ему хотелось посидеть в „духане” с оставшимися в живых сослуживцами, покалякать о былых днях и славе Войска Черноморского, и он с благодарностью принял четыре рубля от внука. Сейчас он и Горобец тоже сидели возле такой крепкой настойки и, когда Даша вышла, предложили Петру выпить одну, а потом и другую чарку.

Петр почему-то мало стеснялся говорить со своим дедушкой о всяких интимных вещах, о которых никогда бы не заговорил с отцом. Они иногда говорили между собой, как ровесники, и, осмелев после двух рюмок еще больше, Петр спросил:

— Дедушка, что за комедию строил с нами дядя Иван в первую ночь после венца? Николая загнал на крышу с револьвером, нам надели белые рубашки на ночь, а потом проверяли, и вообще всякие там причуды вытворяли. Неужели так и раньше было?

— Ич, басурман, захотел еще знать, как раньше было? Это еще ничего, что сейчас делают, да и то многие и этого не хотят. Раньше не то было. - Откашлявшись, Охрим Пантелеевич продолжал: — В старину еще и не так было. Помню... когда я повенчался, так в первую ночь меня и твою покойную бабушку заперли в спальне... вместе с дружкой, который стоял возле нас, пока мы... Да, да, точно. Потом он тут же предложил снять свои белые рубашки, которые он сам давал нам перед тем.

— Неужели вы были согласны, чтобы дружка стоял возле вас в это время и смотрел?.. Не понимаю, что за бесстыдство! — возмутился Петр.

— Что же делать, раз такой обычай был? Надо было подчиняться и делать то, что говорят старшие; а если бы стал противиться, могли подумать о невесте, Бог знает что...

— И еще и не поэтому, — улыбнувшись, отозвался Горобец и что-то стал шептать Петру на ухо.

— Да неужели же парубок, женившись, не знал, что и как там надо...?

— Вот именно, были такие парубки, что и не понимали этого совершенно, и тогда дружка показывал, что и как надо...

Все громко захохотали.

— Ну, вы уж совсем разошлись, продолжайте сами, а я пойду на двор, - - сказал Охрим Пантелеевич и вышел.

-- Скажите, дедусь, — обратился Петр к Горобцу, ко-

гда они остались вдвоем, — были раньше случаи, чтобы девушка прогулялась с парубком до венца?

— Нет! Вернее, почти нет! — не задумываясь, ответил Горобец. — Помню, в моей молодости в нашей станице был один единственный случай, всем известный тогда, что девушка до венца с кем-то прогулялась.

— Ну и что же потом делали дружкó и родственники молодого?

— С невестой особенного ничего не сделали. Заперли ее дома и никуда не выпускали. А когда на рассвете ее родственники принесли „сніданья” для молодой, то им на столе поставили не меду, а кислого квашенного молока и черного хлеба. А графин водки перевязали не красной, а рогожной лентой, и поставили возле него рюмку с выбитым дном. Когда потом все гулявшие направились в дом ее родитслей, и без молодых, то ее родичам дали в руки не красные флажки, а привязали к палкам отрепья из старой рогожи и так заставили нести всю дорогу. Когда подошли к дому ее отца, то стали петь:

„Скакав горобец по дрючку,

„Матері твої страм за дочку...”

— Но и этого мало. Родичи жениха надели на ее отца и мать конские хомуты, привязали сзади по целой рогоже и в таком виде провели по нескольким улицам станицы. Так было. Потому что не было в старину большего позора в станице, чем того, когда родители выдалут замуж дочь, прогулявшейся до замужества. И все левки отлично понимали это. Теперь не то стало. Теперь понаплывшие на Кубань со всех сторон иногородние своим поведением стали и наших девок-казачек развращать. Раньше этого не было...

Горобец замолчал и задумался, но Петр так заинтересовался его рассказом, что спросил еще:

— Что же муж тогда сделал с этой прогулявшейся девкой, попавшей ему в жены?

— Муж? А ничего. Сначала поколотил ее добре, а потом забыл, привык к ней, и они жили не плохо. Притом

он был не из красивых парубков и уже в летах, так что на хорошую девку и рассчитывать не мог. Она же, наоборот, была красивой, и в доме оказалась очень хозяйственной женщиной.

— Все же я с этими старыми порядками не согласен, — заявил Петр. — Ну, а если какая девушка много лет гуляет с парубком, и у них случится грех... до венчания, и они потом поженятся... Как тогда?

Горобец, немного подумав, с неуверенностью ответил:

— В таких случаях я точно и не знаю, как поступают. Кажется, молодой предупреждал об этом дружкѣ и некоторых родственников, присягал перед иконой, что никто другой, а он лично в этом виновен. Тогда ее родственникам, приносившим завтрак для молодой, не давали никаких флажков, ни красных, ни рогожных, и не позорили ее родителей, но объясняли им все. Но это тоже считалось поведением, недостойным хорошей и порядочной девушки...

В это время возвратился Охрим Пантелеевич:

— Ну, что, басурман, много наслушался от старого Горобца? — обратился он к Петру. Петр молча кивнул головой и засмеялся.

— Понимаю, — улыбнулся Охрим Пантелеевич, — а вот и я вспомнил еще одно дело, про которое тебе, наверное, этот старикайло не рассказывал.

— У, молодой обозвался! — обиделся Горобец. — Не вместе ли с тобой Карс у турка брали?

— Да, то верно, но я не про Карс. Мне Майкоп вспомнился, — сказал, присаживаясь на свою кровать, Охрим Пантелеевич. — Когда я был на действительной службе, то одно время наш полк стоял в Майкопе, за Кубанью. В одном черкесском ауле вблизи Майкопа произошел тогда такой случай... Одна черкешенка вышла замуж за джигита-черкеса и... о, ужас, оказалась обесчещенной. Несомненно, это наши казаки с ней так „пошутили“, больше никто. Так что же вы думаете!? Ее джигит тут же на брач-

ной постели пронзил кинжалом и в бешенстве исколол ее тело еще в нескольких местах. Затем, вскочив на коня, помчался в саклю ее родителей и порубил обоих, и отца и мать, за то, что отдали ему такую дочь. Все черкесы не только не осуждали его, но открыто одобряли, потому что такой у них закон гор. Однако наши русские власти были против таких кровавых жестокостей и хотели арестовать джигита, но он успел убежать в горы к абрекам, которые не мало вреда делали нашим... Вот еще как было у других народов...

— Ну я пойду, — сказал, поднимаясь со стула, Горобец, — прощайте! Заходи, Охрим, вечером!

— Прощай, зайду.

Горобец ушел. Охрим Пантелеевич начал возиться с какой-то рыболовной снастью, и Петр вышел из его спальни.

После завтрака Петр и Даша вышли во двор управиться со скотиной. Петр рассказал ей все, что слышал сегодня от двух стариков, и они долго смеялись и дивились жестоким старым порядкам...

ЧАСТЬ Ш.

ГЛАВА I.

С 14-го ноября начался шестинедельный Рождественский пост — „Пылыпивка”. Прекратились послесвадебные казачьи гулянья с хмельными бессонными ночами. В эти дни, по укладу церкви, запрещалось есть не только мясо, но и все молочные продукты и яйца. Только больным и маленьким детям иногда можно было употреблять в пищу молоко и яйца, да и то не всегда.

В начале поста Тарас Охримович купил в магазине Смылова трехпудовый боченок астраханских сельдей, и этого было достаточно на всю Филипповку. Свежей рыбы, как речной, так и „красной” морской, тоже можно было достать на базаре сколько угодно и по баснословно-дешевой цене.

Река Сосыка покрылась тонким слоем льда, и Охрим Пантелеевич, соорудив „крутилку”, занялся ловлей рыбы, хотя в ее результатах и теперь никто не нуждался и рыбальством в доме даже не интересовались. Дед просто любил „порыбалить”, считая это лучшим развлечением в зимнее время.

„Крутилка” состояла из длинного деревянного шеста, на один конец которого набивались толстые длинные гвозди или острые короткие прутья, а на другой прикреплялась крепкая деревянная ручка. Такой шест опускался в речную прорубь до самого дна, и рыболлов, держась обеими руками за деревянную ручку, начинал вертеть его в одну сторону — медленно, но без остановки. На опущенный в воду конец шеста, с набитыми гвоздями и прутьями, наматывалась густая и мягкая речная тра-



Екатеринодар. Кубанский Войсковой Собор.

ва-„кушир”. Когда кушира наматывалось уже так много, что чувствовалось в руках, — деревянный шест быстро вынимали на лед, и вместе с куширом попадалась запутавшаяся в нем небольшая рыбешка: караси, лины, краснопирки, вьюны, раки и прочее. Иногда до десятка, а иногда и ничего.

Тонкий прозрачный лед, слегка покрытый падавшим снежком, трещал под тяжестью ходивших по нему людей, но смельчаки не обращали на это внимания.

В первых числах декабря Охрим Пантелеевич пошел по такому льду со своей „крутилкой” и стал на самой середине речки делать топором „ополонку” (прорубь). Только он хотел опустить в прорубь крутилку, как лед треснул, и старик провалился по самую шею в воду. Находившиеся невдалеке два казака, кинув концы веревки, с трудом вытащили его на более прочную часть льда и помогли выбраться на берег. Пока Охрим Пантелеевич доковылял домой, промокшая одежда на нем смерзлась. Не простудиться от такого „купанья” в ледяной воде было нельзя. На второй день он уже не мог встать с постели. Началась горячка. Станичный фельдшер определил воспаление легких, давал какие-то пилюли, от которых больной гневно отмахивался. Он уже дня три ничего не ел, только пил воду.

— Вот видишь, Тарас, — говорил с трудом Охрим Пантелеевич своему сыну, почти не отлучавшемуся от его постели, — вот оно, как получается. Батько мой, Пантелей, 98 лет прожил... и четыре мои дяди умерли почти в том же возрасте, а я... я, наверное, уже... отжил. Ты бы попа домой привез... причаститься надо!

Ежегодно он говел на Николаевских Святках. Три дня праздников — Варвары, Саввы и Николая Чудотворца (4-го, 5-го и 6-го декабря) — он проводил в церкви утром и вечером, а вот теперь, в эти дни, он не мог даже подняться с кровати.

Вечером, в праздник Саввы Освященного, в дом привезли священника. Охрим Пантелеевич исповедывался и приобщился.

Все в доме притихли, разговаривали шепотом, даже посуды не мыли, чтобы не беспокоить больного.

После обеда, в день Николы Зимнего, Охрим Пантелеевич пожелал, чтобы вся семья собралась у его постели. Собрались не только жившие в его доме сын с невесткой, внуки и правнуки, но и Иван Кияшко с женою, которые зашли из церкви проведать батька.

Больной обвел всех туманным взглядом, потом, полукрыв глаза, тихо сказал:

— Сыны мои, дочки и внучата! Мабуть, нагостевалась уже моя душа на грешной земле и хочет расстаться с телом... Чтож, на все Божья воля, пусть будет и так...

Он прижал к себе стоявшего впереди всех плакавшего Федьку и в то же время пристально смотрел на Петра.

-- Петька! -- сказал он, оживившись, — шашку мою турецкую береги, чтобы не заржавела, и храни ее как символ казачьей славы, немеркнувшей славы сынов привольных степей Кубанских... Чтобы никто не разрушил нашу Кубань так, как когда-то разрушили нашу Запорожскую Сечь. А все оттого, что шаблюки ржавые были, и... потеряли Сечь. Так и теперь...

Его дыхание то совсем прерывалось, то опять сильно вздымалась грудь. Глаза снова мутно глядели на всех и, казалось, затухали, как последняя искра в потухавшем костре.

-- Мабуть... умираю... Тарасе, Иване... похороните меня рядом с покойной бабусей, моей Настей, с вашей мамой... и... и... я хочу поцеловать всех...

Никто не проронил ни слова. Молча все по очереди подошли и поцеловали его в синюющие губы. Женщины тихо всхлипывали.

Охрим Пантелеевич перевел пристальный взгляд на потолок, и вдруг странная улыбка скользнула по его лицу.

-- Андруша, ты тут?.. К тебе?.. иду... иду... сейчас.

И, закрыв глаза, Охрим Пантелеевич стал „засыпать“.

Он не стонал, не мучился в агонии, как это бывает с многими умирающими, а угасал, словно догоравшая перед киотом свеча.

Трудно верилось, что он умер, но это было именно так...

Федька, видя, что все крестятся, и слыша слово „помер”, разрыдался на всю комнату, уткнувшись головой в подушку, лежавшую на другой кровати. Сколько раз „дидусь” делал ему из бузины сопилки, на которых он весело потом наигрывал, а теперь вот его нет...

— Дедушка умер? Зачем? — всхлипывал Федька. — Разве можно таким добрым дедушкам умирать?

Но эти детские жалобы никто не слушал, потому что все были огорчены не меньше Федьки. Все осуждали страсть покойного к рыбной ловле, из-за которой он провалился сквозь тонкий лед, и так напрасно кончилась его жизнь. Ведь семьдесят пять лет, которые прожил Охрим Пантелеевич были слишком коротким сроком. Многие станичники жили гораздо дольше, иногда до ста и более лет.

На второй день, при большом стечении всех родственников и знакомых, состоялись похороны старого казака.

Одетый в Кубанскую казачью форму, со сложенными крестом на груди руками, лежал в деревянном гробу герой Турецкой кампании 1877-78 гг. В головах усопшего горели толстые восковые свечи.

Пришел его сослуживец Горобец, опираясь на толстую и длинную бамбуковую палку, которую он привез из Турции, и долго смотрел в восковое лицо своего друга. Потом отвернулся, отошел к порогу, склонился на свою палку и сам про себя сказал:

— Нэма! Нэма уже черноморских казаков... умирают. И мне, наверно, скоро надо собираться в дальнюю дорогу: туда, откуда никто не приходит. Что будет после нас с нашими детьми, с нашим казачеством, с нашей Матерью Кубанью?

Он долго стоял так без движения, потом несколько слезинок, одна за другой, упало на его палку. Он опять

вернулся к гробу, перекрестился, крепко поцеловал в губы покойного, промолвив: „прощай, Охрим!” Молча вышел во двор, сел на камень под водосточной трубой и, склонив голову, сидел и сидел, не шевелясь...

Несмотря на большое число приходивших людей, в доме Кияшко в этот день было тихо. Ходили все на „цыпочках”, говорили полупшепотом, как бы боясь разбудить уснувшего навеки старого хозяина дома. Один только старый, без одной руки, сосед Ермолай Береза, читавший все время по складам псалтирь перед горевшей лампадой, нарушал эту печально-торжественную тишину.

Принесли из церкви хоругви и большой крест с Распятием и поставили у окон наружной стены дома.

Хоронили Охрима Пантелеевича „с выносом”, то-есть, от самого дома к церкви и от церкви на кладбище гроб сопровождал священник. Он прибыл в дом Кияшко после полудня с диаконом и псаломщиком. Запахло ладаном, и раздались слова печальных погребальных песнопений.

Оба сына, Тарас и Иван, и два внука, Никифор и Петр, подняли гроб и положили на принесенные из церкви специальные носилки. Потом вчетвером подняли носилки с гробом на плечи и вынесли во двор. Старый хозяин последний раз перешел порог собственного дома.

За гробом шли не только все домашние и родственники, но и большая толпа малознакомых станичников, пожелавших отдать последний долг прощания уходящему в другой мир.

Священнослужители останавливались на каждом перекрестке улицы, кадили вокруг гроба, читали Евангелие и потом медленно двигались дальше.

„Житейское море, вздвизаемое зря напастей бурей, к Тихому Пристанищу Твоему притек...”, воспевались ирмосы погребального канона, и Охрим Пантелеевич, действительно, оставил навсегда „море житейских забот” и уплыл к „Вечному Тихому Пристанищу”.

Декабрьское сумрачное небо, с низко нависшими темно-серыми тучами, еще более усиливало печаль людей, шедших в погребальной процессии. Снежные звездочки, как редкие белые мотыльки, медленно падали и плавно

опускались на открытое охладевшее лицо Охрима Пантелеевича.

Вот и церковь. Редкий протяжный похоронный звон колоколов встретил покойника.

Когда пели „Со святыми упокой...” и „Надгробное рыдание творяще песнь...”, многие плакали. Но вот дьячек запел: „Приидите последнее целование дадим...”

Тарас Охримович подошел первым и, перекрестившись, поцеловал отца не в венчик, лежавший на лбу, а прямо в холодные губы. Как ни крепок он был, но все же слезы блеснули на ресницах его уже стареющих глаз. После него стали подходить все домашние и родственники, а затем и все присутствовавшие в церкви...

Пропели троекратно „Вечная память” и стали закрывать крышкой гроб. Петр не выдержал и зарыдал, как ребенок. Да и не только он. Многие женщины громко всхлипывали, а мужчины втихомолку утирали кулаком слезы.

Все те же, Тарас Охримович с братом Иваном впереди, и Петр и Никифор сзади, медленно подняли на свои плечи носилки с гробом и тихо, под звуки редкого погребального звона колоколов, вышли из церкви. От ограды, по улице Красной, все направились к старому, самому большому в станице кладбищу, находившемуся возле базара.

Все, кто ехал или шел по дороге, по которой несли покойника, немедленно останавливались и, сняв головные уборы, набожно крестились, не сходя с места. Никто не смел переходить или переезжать дорогу, впереди гроба с „святосцями” (хоругвями). Все останавливались и ждали, пока похоронная процессия не пройдет мимо. Смотреть на проносимого по улице покойника через окно тоже считалось грешно. Все выходили к воротам и крестились, повторяя: „Царство Небесное пошли ему Господи...”

Рядом с заросшей кустарником могилой Анастасии Кияшко, жены Охрима Пантелеевича, умершей на десять лет раньше его, была приготовлена новая.

На длинных двух полотенцах гроб медленно опустили на дно продолговатой ямы. Каждый сначала кинул рукой по кому земли, потом стали засыпать лопатами.

Падающие комья замерзшей земли, глухо ударяясь о крышку гроба, печальным эхом отзывались в душе близких и знакомых, стоявших тесным кольцом вокруг.

Вскоре на фоне редко падавшего снега зачернела свеже-насыпанная могила, с новым большим деревянным крестом, на котором Петр аккуратно вывел короткую надпись:

„Здесь покоится прах
казака станицы Староминской
КИЯШКО ЕФРЕМА ПАНТЕЛЕЕВИЧА.
Родился 25 апреля 1838 г.
Умер 6 декабря 1913 года”.

После похорон, Тарас Охримович пригласил всех родственников и соседей к себе на поминальную вечерю. Почти половина присутствовавших на похоронах последовала за хозяином, чтобы помянуть усопшего по обычаям предков. Остальные, поклонившись до земли могиле Охрима Пантелеевича, разошлись по домам, ссылаясь на позднее время и собственные житейские заботы.

Кладбище опустело, и только высокий новый крест далеко виднелся среди окружавших его старых могил.

Несколько недель еще молчание и печаль царили в доме Тараса Кияшко, но затем понемногу все стали успокаиваться, печаль стала помалу выветриваться у всех и жизнь в осиротевшем без Охрима Пантелеевича доме становилась прежней. Но долго еще не было того дня, того обеда, чтобы кто-нибудь, крестьясь, не вспоминал старого черноморца...

ГЛАВА II

Недели за две до Рождества, во всех домах станицы начались приготовления к этому великому празднику.

Ранним утром, в сотнях и тысячах дворов одновременно, визжали „закалываемые” свиньи, нарочито откормленные к празднику Рождества. Не было казака-хлебороба, который не откормил бы к этому зимнему

празднику „кабанчика” пудов на восемь — десять. Свя-
зав крепко задние ноги, борова опрокидывали набок
крепко держали, кололи длинным узким ножом или кин-
жалом под переднюю левую ногу, стараясь попасть в
сердце; потом смалили среди двора, соломой обжигая
всю щетину; скребли, поливая водой; сами разделявали
и сами же приготавливали домашним способом вкуснейшие
в мире колбасы.

Мальчики школьного возраста, собираясь где-нибудь
по четыре-пять душ, разучивали тропарь и кондак праз-
дника, тесали из акации большие „кййки“ от собак — го-
товились итти „рожествувать”.

Женщинам хлопот было по горло: шили всей семье
„обновки”, белили стены, всшали на окнах новые занавески,
убирали чистыми полотенцами и цветами иконы
и т. д.

Во всех лавках станицы толпились женщины, закупа
конфет, пряников, орехов и прочих лакомств для христо-
славов. Мужчины то и дело, входя и выходя, хлопали
дверьми „монопольки”, запасаясь водкой.

Елки в станицах устраивались редко. Не было у ка-
заков такого обычая.

Елку можно было видеть только у торговцев, зача-
стую не из казаков; у духовенства и учителей; иногда в
школах, гимназии; у некоторых должностных лиц в ста-
нице...

Дня за четыре до Рождества Тарас Охримович „колол”
своего кабана, тот настолько был откормлен, что поды-
мался уже только на передние ноги, а зад даже припод-
нять не мог. Его с трудом вытолкали на середину двора,
потом Никифор и Петр, схватив за ножки, перевернули
и сели один на голову, другой на зад. Тарас Охримович
вонзил кинжал под левый бок так удачно, что кабан,
как-то глухо захрапел, сразу же смолк.

Потом его начали смалить соломой, пока вся щетина
не обгорела, и даже кожа стала местами трескаться. Тогда
отгребли в сторону жар, смочили тушу со всех сторон
водою, накрыли еще раз соломой, а сверху положили
рядно и усадили верхом, от головы до хвоста, ожидавших

этого „сидения” Федьку и Гришку. Около них сели Гашка и Приська, и даже Петру еще нашлось место. Это называлось: „душить кабана”. Так сидели минут двадцать.

— Батя! Долго еще будем сидеть? — спросил Федька.

— Сидите, пока в заду не припечет, — засмеялся Тарас Охримович.

— Уже припекло! — пожаловалась Гашка, которой было совсем неудобно сидеть верхом на таком толстом кабане.

— Ну, если припекло, то можно и вставать.

Все встали, откинули солому и поливая водой спину и бока кабана, начали длинными ножами скрести его. Оттого что на прикрытом соломой кабане сидели, вся грязь отстала, и теперь при чистке кожа становилась чистая, белая с легкой желтизной. Почистив, кабана разрезали на четыре части, внесли в комнату и начали разделять. Сняли сало, вершка два толщиной, и Тарас Охримович, отрезая четвертные квадратные куски и делая крестообразный надрез сверху на каждом куске, начал засаливать его и складывать в обыкновенный простой мешок.

Женщины делали колбасы и одновременно растапливали весь внутренний жир на смалец. Обжарив колбасы, опускали их в макитру с еще незастывшим смальцем. Смалец застывал вместе с колбасами, и в таком виде они могли сохраняться целый год.

Запах обжариваемых в печи колбас наполнял всю комнату и нестерпимо раздражал аппетит всех, но нельзя было есть ничего, пост...

24 декабря, рано утром, Никифор внес со двора охалку чисто отобранного зеленого сена и положил на „покути” (столлик в святом углу). Ольга Ивановна усадила всех в ряд на деревянной лавке, взяла макитру с готовой кутьей и поставила на сено. При этом она подражала квохтанью наседки:

— Кво, кво, кво, кутя на покути, узвар пишов на базар, кво, кво, кво.

Федька и маленький Гришка, сидя в общем ряду, издавали звуки, подобные писку маленьких цыплят. Потом мать подошла и подергала каждого за чуб, приговаривая: „Держитесь матері, як курчата квочки”.

В зале, на убранных празднично столах и подоконниках, лежали в глиняных блюдах и на металлических подносах зажаренные целиком гуси, пироги с мясом или с творогом и яйцами, обваренные в смальце вергуны и „оришки” и другие разжигавшие аппетит кушанья, но есть их сегодня было запрещено.

Но вот наступил и „Свят-вечер” — канун Рождества. Вечером службы в церкви не было. Великое Повечерие, заутреня и литургия происходили ночью, после полуночи.

Перед заходом солнца дети, мальчики и девочки, начали носить завязанную в платок „вечерю” — мисочки с сладкой кутьей, смоченной взваром. Целый год дети ждали этого важного и радостного для них момента. Во всех направлениях по улицам станицы двигались такие „вечерники”. Кому было далеко, ехали на санях; если близко, пешком. Шли к крестному отцу, к крестной матери, к дедушке и бабушке, к близким родственникам, к соседям. В этот вечер детей везде ждали, встречали их у калитки и, прогоняя собак, вводили в хату....

Возле ворот Кияшко залаяли собаки и Петр, „поравшийся” со скотом, быстро пошел к калитке и впустил во двор Колю Костенко, брата Даши, с узелком в руках.

Коля вошел и сняв шапку сказал:

— Драстуйте! Та с святым вечером!

— Драстуй, драстуй, сваточек! — ответил ласково Тарас Охримович.

— Прислали папаша и мама, нате вам святу вечерю! — и Коля, развязав узелок, вынул мисочку с кутьей и передал Тарасу Кияшко.

— Спасибо, спасибо за вечерю! Сейчас попробуем.

Все подошли и по одной-две ложки попробовали кутьи, потом добавили в мисочку своей, потому что Коле предстояло еще носить „вечерю” и другим род-

ственникам. Ольга Ивановна одарила „вечерника” двумя пригоршнями маковых, орехов и конфет, прибавив еще свежее яблоко и копейку. Коля спрятал все это в карманы; поблагодарил, как умел, и, провожаемый Дашей, вышел из дому. Во дворе Даша сунула ему еще копейку и сказала, что завтра обязательно будет с Петром у них в гостях.

Федька тоже собрался носить „вечерю”, но его, к его величайшему огорчению, стали отговаривать: везде, мол, злые собаки; на дворе холодно и т. п. За него вступился Петр. Он даже согласился быть провожатым, чем доставил большую радость брату.

Федька быстро одел колушек, шапку, рукавицы, взял завязанную в белый платок мисочку с кутьей и вместе с Петром направился сначала до „хрещеного батька”, Куца.

Федор Куц встретил и крестника и Петра очень любезно. Одарив „вечерника”, как полагается, он налил для провожатого рюмку водки и попросил на минутку к столу. Петр и Куц чокнулись и выпили, поздравив друг друга с преддверием праздника.

— Ты чув, что атаман Ейского отдела, генерал Кокунько отстранил Кислого Терентия от обязанностей помощника станичного атамана?

— Да я немного слыхал, но за что же его так? — спросил Петр.

— Дело очень скандальное, да только не захотели его раздувать, — сказал Куц. — То заявление с подписями станичников, которое я передал ему для отсылки в Ейский суд, в твою защиту, он порвал и не послал. А знаешь почему? Оказывается с Боцановским он какой-то родственник, и тот дал ему 50 рублей за то, чтобы он не пересылал этого прошения. Понял?

— Вот сволочь же какая! Не думал я, что и Кислый такой! — вспыхнул от гнева Петр. — А как же это узнали?

— Сам Боцановский написал об этом нашему атаману Емельяну Ус. Атаман припер Кислого к стенке, и тот сознался, что получил взятку 50 рублей. Но он очень стал

просить атамана не разглашать этого и якобы под видом „болезни” отказался быть помощником атамана. Емельян Иванович Ус очень мягкий человек; надо бы под суд отдать за это Кислого, но он пожалел его детей, семью; однако атаману Отдела доложил. Временно назначили помощником теперь Якименко Карпа, что каменный дом против базара. Такие-то дела, Петрусь. Только ты об этом никому не рассказывай. Это я только тебе поведал сие. Да, а книжки ты читаешь, которые я тебе дал? — спросил вдруг Куш.

— Читаю. Уже прочитал „Тараса Бульбу”, и „Гайдамаков” Шевченко.

— Молодец, правильно ты выбрал первое чтение.

— Ну, прощайте, Федор Иванович, — сказал Петр, поднимаясь и надевая шапку, — бо вечерник, наверное, еще куда-то хочет итти.

— Прощавай, Петр Тарасович, желаю хорошо встретить и весело провести святки.

Петр и Федька вышли на улицу. Федька начал просить брата, чтобы понести вечерю еще до Костенка. Петр долго отказывался: ведь завтра он будет там в гостях, а сегодня даже неудобно было ему заходить, но потом, уступая просьбам малого братика, согласился.

— Ага, вот и еще одни добрые „вечерники” пришли! — радостно встретил в дверях Петра и Федьку Трофим Степанович. — Милости просим, проходите в комнату!

К своему удивлению и неудовольствию, Петр увидел сидевшего у его тестя за столом Гноевого Михаила. Он тоже был „провожатым” своего десятилетнего братика Петьки и девятилетней сестренки Дуси, которая оказалась крестницей Трофима Степановича. Он и не знал до этого, что его тесть является кумом городовика. В другом месте Петр ни за что бы не сел рядом с иногородним, но у тестя постеснялся скандалить и молча сел у стола, предупреждая тестя:

— Только по одной чарочке, папаша, а завтра, в праздник, тогда уже будем по-настоящему веселиться.

— По единой, по единой, зятек, — согласился смеясь тесть, и налил всем по чарке. — Ну, зятек, и ты, Миша,

с преддверием праздника! — и все трое, чокнувшись, выпили.

Петр с удивлением посмотрел на Михаила, когда тот одним глотком осушил чарку:

— Я думал, что городовики только анапское да кахетинское вино пьют, а этот и горилку хлещет не хуже нас! — пробормотал он тихо.

— Ну, еще по единой, — и Трофим Степанович налил снова все три чарки. Опять выпили. Закуска только была неважная, постная, и все сожалели об этом. Пирожки с фасолью, огурчики да помидоры соленые; к ним Василиса Григорьевна прибавила оставшуюся от поста селедку, и это сразу улучшило настроение. Теща Петра тоже присела к „святой вечере”. Выпили еще по рюмке. Стало веселее. Разговоры оживились, и уже никому не хотелось вставать из-за стола, хотя все отлично сознавали, что в „свят-вечер” много пить вообще нельзя, но многие в станице напивались, не дождавшись праздника.

Как раз в это время по улице проходил мимо дома какой-то пьяный казак и во все горло орал пародию рождественского тропаря:

„Рождество твое двадцать пятого,
Гроші пропив двадцать четвертого...”

Трофим Степанович хотел было зазвать и его в комнату, но Василиса Григорьевна запротестовала. Ведь в этот вечер пьянствовать грешно!

Вскоре песни полились у них и без содействия того пьяного казака, потому что графин на столе был уже почти пустой. Петр очень расхвалил хороший тенор Михаила, которым он умело „выводил” в песне „Реве та стогне Дніпр широкий...”

Когда Трофим Степанович отошел от стола и о чем-то шептался с женою, Михаил подсел к Петру и спросил:

— Петя, скажи по совести, за что ты меня так ненавидишь?

Петр замаялся и не знал, что ответить. Михаила он не любил только потому, что тот был иногородний, а не казак; других причин не было. Не желая сознаваться в

этом, Петр вдруг, неожиданно для самого себя, обнял Михаила:

— Откуда ты взял, что я тебя ненавижу? Наоборот, люблю !

— Нет , нет! Ты не ерунди, Петрусь, разве я не вижу? Ты и на „Проводы”, когда дрались на базаре, меня первого навернул, а в начале минувшего лета прогнал от своего токовища в степи, как собаку, и с вечеринки на твоей свадьбе меня выпроводили и все только потому, что я иногородний. Ведь правда, что это так?

— Пожалуй, правда, — нехотя согласился Петр. — А это потому, что все вы, понаплывшие к нам городовики, не сеете, не молотите, а едите готовый наш казачий хлеб. Конечно, и среди городовиков есть порядочные люди. Когда я отсиживался в Ейском каземате, то многие мои сотоварищи по несчастью из иногородних относились ко мне очень хорошо, по дружески обращались со мною, утешали в минуту отчаяния, и обижаться на них я не имею никакого права. По-моему, ты тоже человек не поганый; с тобой я тоже готов помириться, и вот мое слово: от этого часа я твой друг! Хорошо?

— А за это давай клокнем еще по чарочке! — и они чокнувшись выпили.

Игравшие в соседней комнате Федька и Петька с Дусей вдруг подняли громкую перебранку.

— Если не отдашь моего пряника, буду дразнить; думаешь я не знаю как? -- верещал Петька Гноевой.

— Как? Меня никак никогда не дразнят! — возражал Федька.

— Никак? А вот слушай!

„Федір-медір кукургуз,
Продав батька за гарбуз,
А матір за швайку,
Купив балабайку.
Балабайка запуська
Нема хліба не куска...

— Брешешь, городовик, это у тебя нет хлеба ни куска! У казаков всегда есть!

— Куркуль, куркуль!

— Ах ты, кацап! Так еще будешь дразниться? На тебе!
— и Федька залепил мальчику Гноевого прямо в переносицу.

Петька вцепился ему в волосы.

— Эй, вы, вояки, что вы тут не поделили? — и Трофим Степанович разнял дравшихся ребят.

— Что там такое? — спросил Петр.

-- Та городовик с казаком задрался, — смеясь, ответил тесть.

— Вот видишь, — подмигнул Михаилу Петр, — даже дети не могут мириться с вами. Ну да, ладно, мы, кажется, уже не дети...

Видя, что ни Михаил, ни Петр и не думают еще итти домой, Василиса Григорьевна оделась и отвела вечерников по домам.

Когда она вернулась, трое мужчин продолжали сидеть у стола и о чем-то спорили. Заслышав скрип двери, Трофим Степанович вышел в сени. Пользуясь его отсутствием, Михаил взял Петра за плечи и обратился к нему просительным тоном.

— Петя! Тебе, конечно, известно, что я и Приська давно любимся. Она уже выходит из круга молодых девиц, но мне это нипочем; я люблю ее и хочу после Рождества жениться на ней. Прошу тебя, не становись мне поперек дороги, а, если ты в самом деле хочешь быть другом, то лучше помоги мне в этом. Воздействуй на своего батька!

— Ой, ты уж слишком много захотел, а впрочем.. За муж ей, конечно, давно уже надо выйти, а то совсем останется в старых девах. Вот только батько навряд согласится на твое сватовство. А, может, и Приська тебя ненавидит так же, как и я тебя до сего дня?

— Нет, нет, -- уверенно сказал Михаил, — она любит меня всей душой, это я насквозь вижу.

— Ну тогда чтож, согласен. Когда придешь сватать, я буду на твоей стороне. — Он немного помолчал, потом, посмотрев на Михаила, вдруг громко захохотал:

— Городовик зятем будет! Ха-ха-ха! Ну да чорт с тобой, ты и вправду парень не плохой. Давай еще споем! — и не дожидаясь согласия затянул:

Де згода в сімействі,
Там мир і тишина.
Щасливі там люди,
Блаженна сторона.
Їх Бог благословляє,
Добро їм посилає
И з ними вік живе...

— Вы, голубчики, кончали бы уже! — сказала вошедшая Василиса Григорьевна. — Уже десять раз в церкви ударили в колокол, скоро рожествувальныки начнут ходить, а вы все за рюмкой сидите. Завтра — дело другое, хоть целые сутки можно.

— Да пожалуй, мамаша, пора, — и Петр, поднявшись, простился и ушел. Следом за ним, в другую сторону пошел и Михаил Гноевой.

Заслышав возню у дверей, Даша сразу же проснулась и не очень приветливо встретила еле стоявшего на ногах Петра.

— Ах ты, „ярыжник”, нализался против такой Святой Ночи. Не мог дождать до завтра, хоть бы Бога побоялся, греховодник! -- и, впустив в комнату, начала снимать с него верхнюю одежду.

— Да... это же твой папаша, — пробурчал Петр и, больше ничего не говоря, повалился на кровать и сразу уснул..

ГЛАВА III.

„Слава в Вышних Богу и на земли
мир, в человецех благоволение..”

Часа в три ночи раздался Рождественский благовест. Большой колокол Христо-Рождественской церкви первый возвестил всем о начале великого торжественного праздника в память Рожденного „нашего ради спасения”. В двух других церквях, стоявших в других частях ста-

ницы, Покрово-Николаевской и Св. Целителя Пантелеимона тотчас же ответили тоже звоном больших колоколов. Мощные удары звенящей меди с трех церковных колоколен чудесно разливались в ночной тишине, призывая всех к ранней заутрени.

В домах все сразу проснулись и зашевелились.

Тарас Охримович с женою и дочерьми стал собираться в церковь. Даша и Наталка затопили печь и начали праздничную стряпню. Все из церкви возвратятся до восхода солнца, и к их приходу должен быть уже приготовлен горячий борщ с мясом (все шесть недель до этого готовили только постный, без мяса); надо успеть поджарить колбасы, сварить что-нибудь молочное и т. д.

В этот момент у ворот раздался отчаянный собачий лай, и во дворе послышался топот бегущих ног.

— Пустите рожествовать! — слышались у окна детские голоса.

— Батя, батя! Рожествовальники пришли! Уже можно впускать? — засуетившись и заглядывая в зал, спросила Даша.

— Да, конечно, впускай! Раз уже звонят во всех церквях, значит время. Пусти, нэхай рожествовают, — сказал Тарас Охримович, оправляя фитилек у всю ночь горевшей лампы.

Даша открыла дверь и впустила первых христославов.

Четыре мальчика школьного возраста, сбив у порога прилипший к сапогам снег, поставили в коридоре свои „кййки“, которыми отбивались от „скаженных“ собак, вошли в комнату, сняли бараньи шапки, стали в ряд перед образами. Один из них начал декламировать:

„Торжествуйте, веселитесь,
Люди добрые, со мной,
Все душевно отзовитесь,
Близко к радости моей!

Нынче Христос родился!
Не в порфире, не в короне,
Не в одежде золотой,
И не так, как царь земной!

Звезда ясна возсияла,
Волхвам путь показала.

Три волхва приходили,
Три дара приносили,
На колени припадали,
Иисуса величали.

Когда Христос родился,
Тогда Ирод возмутился,
Он войскам начал кричать:
„Всех младенцев избивать!”

— ... Я рано встал, взглянул на восток; три ангела слетели и запели...

И мальчики, все в один момент, громко начали:

„Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия миру
Свет Разума. В нем бо звездам служащий и звездю
учахуся. Тебе кланяться, Солнце правды, и Тебе веди
с высоты востока. Господи, слава Тебе”.

Пение было не таким стройным, как в церкви, но какая величественная торжественность звучала в этих, поистине ангельских, детских голосах! И все в доме сосредоточенно внимали, как эти дети, подобно ангелам небесным, восторженно славословили рожденного в яслях Младенца. После тропаря они пропели еще и кондак „Дева днесь...”, потом повернулись лицом к хозяевам и хором поздравили:

— Драстуйте! С праздником Рождества Христового!

— Драстуйте, драстуйте, мои анголята! Молодцы ребята! Спасибо за первое поздравление! — и Тарас Охримович начал одаривать христославов конфетами, пряниками с начинкой („житняками”) и дал две копейки на всех.

— Чиї ж вы, хлопчики, будете? — спросил Тарас Охримович.

— Я Кожушного Трохым!

— Я Муцкого Алеха!

— Я Сизонец Лука!

— А кто же из вас так рассказывал?

— Я! — и десятилетний мальчуган выступил вперед.

— Молодец, молодец, хорошо рассказывал! Чей же ты будешь?

— Тymoхи Бирюка сын, знаете? А зовут меня Алеша.

— Тимофея Гордеевича? Знаю, знаю, добрый козак. Ну, вот тебе, как рассказчику, одному, на! -- и Тарас Охримович сунул ему отдельно двухкопеечный медяк.

Пока христославы „рожестували” и разговаривали, Федька успел одеться и присоединился к ним. Они с удовольствием приняли его в свою компанию, хотя и малолетнего, но хорошего певца; притом Федька умел рассказывать еще лучше.

Нахлобучив шапки, ребята вышли, забрали свои кийки и, выбежав за ворота, направились по ближайшим дворам. Стараясь не пропустить ни одного дома, вбегали в калитку или в ворота в каждый двор, лупцевали кийками нападавших на них собак, подбегали к окнам и кричали: „Отчинить! Пустить рожестувать!” — „Да еще рано”, отзывался кто-нибудь. — „Нет, уже не рано, уже в церквах давно перезвонили, уже волосожар и чипиги заходят...” — „Ну, если уже в церкви звонили, то заходите!”

После этого „рожестувальники” заходили и христославили.

В одном доме они увидели, что двери не заперты. Не спрашивая разрешения под окном, зашли в комнату, но тут же, не переходя порога, в нерешительности остановились: лампада не горела и в комнате не видно было ни души. В это время случайно залезший в промежуток между кроватью и печью маленький теленок затопал ногами и пронзительно замычал: „Ме-ээ, мээ...”

— Ведьма, ведьма! — закричал в ужасе один из христославов, и все пять „рожестувальников” рванулись назад, падая и кувыркаясь один через другого у порога. Как оглашенные выскочили они в ворота и во весь дух долго еще бежали по улице, все время оглядываясь: не гонится ли за ними „ведьма”. Возвращавшийся в это время из хлева хозяин, куда он ходил посмотреть „не окотилась ли овца”, видя паническое бегство ребят со

двора, никак не мог понять причины. Когда он поспешно вошел в комнату с потухшей почему-то лампадой и увидел запутавшегося у кровати и мычащего теленка, он догадался в чем дело, зажег лампаду, выплутал теленка из под кровати и лег опять спать.*)

Возле забора другого двора росли высокие тополя, из-за которых, из трубы дома валил густой черный дым. Слыша часто рассказы старших о проказах „нечистой силы” в Рождественскую ночь, Федька долго пристально всматривался в клубы этого дыма и вдруг громко закричал:

— Смотрите, ведьма с лопатой на дымаре сидит! — и всем его коллегам тоже показалось в этом дыме что-то „бесподобное”, и они, рванувшись, побежали вдоль улицы, пока стало невидно ни тополей, ни трубы, на которой „сидела ведьма с лопатой”.

Если ватаге христославов, с которой ходил и Федька, доводилось в эту предрассветную пору Рождественской ночи увидеть пробегавшую через улицу кошку, то это была для них безусловно „ведьма”, и они, как угорелые, бежали прочь. Хрюкнувшая в расположенном у забора свинарнике мирно почивавшая свинья или притаившаяся на снегу у ворот черная собака были обернувшимися в собак и свиней „ведьмами”, и уж в эти дворы они ни за что не заходили христославить. Встречавшиеся с ними другие компании христославов рассказывали тоже самые невероятные приключения, случившиеся с ними в эту ночь: и как через забор прыгала кошка, потом обернулась свиньей и гналась за ними несколько улиц, и как с тополя упала ведьма, потом залаяла по-собачьи и скрылась во дворе, и как под темной тучкой плясали черти, потом все свалились в речку и утонули и т. д. и т. п. Наслышавшись

*) В зимний холод новорожденных телят и ягнят многие хлеборобы вносили на первые несколько дней в жилую теплую комнату, чтобы они не замерзли в почти открытом хлеву. Подстлав где-нибудь в уголку комнаты соломы, оставляли их там, пока они не окрепнут, то-есть смогут уже твердо стоять на ногах. Были, конечно, у некоторых утепленные помещения не только для лошадей, но и для другого скота, но не у каждого.

в зимние вечера страшных рассказов старших, дети игрой своего воображения искажали случившееся с ними в эту ночь до неузнаваемости, прибавляли много своих выдумок; в результате самым невероятным „волшебным” рассказам не было конца...

**

Ярко освещенная Христо-Рождественская церковь была полна народом. Еще за оградой слышно было громогласное пение церковного хора „С нами Бог...” В церкви совершалось „Великое Повечерие”.

Приська и Гашка Кияшковы вошли в переднюю часть храма и дальше не собирались проталкиваться, чтобы иметь возможность выйти в ограду в любое время. Здесь можно будет и не так заметно пошептать „кое о чем” с другими девушками. Тарас Охримович хотел пройти в правый придел, поближе к клиросу, где он всегда стоял, но это было не так легко. Он уже пробрался к середине церкви и только хотел свернуть вправо, как хор, прямо над его головой, запел: „Ликуют ангелы на небе, и радуются люди на земли...”. Царские Врата открылись, священнослужители вышли на середину церкви служить „Литию”, и толпа людей, образуя для духовенства проход, оттиснула Тараса Охримовича на левую сторону. Так он и остался стоять среди женщин, чего он очень не любил.

На всех блестящих позолотой паникадилах и подсвечниках горели восковые свечи. Не только на иконостасе, но и на всех многочисленных иконах, у боковых входов, под колокольной, везде — были новые матерчатые и цветные украшения.

Более четырех часов продолжалось богослужение в Рождественскую Ночь, и никто не чувствовал усталости. Всё это время стояли и с благоговением внимали чудесному Рождественскому пению мощного церковного хора.

Около двенадцати, различной величины, колоколов несколько раз трезвонили, создавая гармоничную мелодию в умелых руках звонаря - сторожа Поддубного Ивана.

„Христос раждается, славите... пойте Господеви вся земля...”, пел хор слова первого ирмоса канона праздника,

и казалось, что, действительно, вся земля в ту ночь славила и воспевала родшагося Богочеловека. „Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение”, неоднократно воспевал хор, и это ангельское песнопение, прозвучавшее над Вифлеемской землей более девятнадцати столетий тому назад, действительно, соответствовало той благословенной и мирной жизни, которой жила Россия в 1913 году...

После Великого Повечерия шла торжественная заупреция и затем Божественная Литургия, которая закончилась на рассвете.

В доме Кияшко еще горели лампы, когда ходившие в церковь возвратились. Никифор успел к этому времени уже управиться со скотом, задав сегодня лошадям двойную порцию дерти и ячменя, коровам высыпал в ясли мешок кукурузы в початках; даже для курей, гусей, уток и индюков, вместо ячменя, сыпал чистой пшеницы и в гораздо большем количестве, чем в обыкновенные дни. — „Пусть и скотина и птица чувствуют праздник”, — думал добродушный молодой хозяин.

Федька тоже уже вернулся с христославства, уселся отдельно в углу на деревянной лавке, выложил из карманов целую кучу пряников и конфет и принялся считать медяки, которые ему надарили во многих домах станицы.

Прежде чем сесть за праздничный ранний стол, все стали перед святым углом и кратко помолились. Потом вошли в зал и уселись за большой стол, а не у „сырна” в кухне, как это делалось в обычное время, и начали разговляться.

Тарас Охримович налил себе, обоим сынам, Ольге Ивановне и невесткам по рюмке водки, а меньшим и девчатам по стопке сладкого вина и сказал:

— Царство Небесное пошли, Господи, моему батьку, вашему дедушке Охриму, бабушке, погибшему в Тифлисе Андрею и всем помершим нашим родичам! — и он, а потом и все набожно перекрестились. - - Поздравляю вас, дорогая моя семья, с великим праздником Рождества Христова. Слава Богу, что нам удалось дожить до этого ве-

ликого дня; дай Бог дождать и красного яичка! — Тарас Охримович выпил свою чарку, благословил стоявшую на столе и разрешенную с этого дня скоромную пищу, и все, выпив за ним свои рюмки, принялись за мясной борщ.

После такого раннего обеда старики собрались отдыхать. Приська и Гашка тоже улеглись спать, потому что в эту ночь они „недоспали”, а Никифор и Петр с женами стали собираться в гости к тестю и теще.

В это время в комнату вошли три подростка, в возрасте 15-16 лет. В руках у среднего была укреплена на длинной палке „Звезда”, в центре которой было прикреплено миниатюрное изображение Младенца, лежавшего на сене в яслях, и склонившейся над Ним Богоматери. Такие христорославы из иногородних ходили по домам днем, а не ночью, как это делали казачата.

Став перед образами, один христорослав начал декламировать посвященное празднику стихотворение:

„В небе звездочка блеснула,
Через нее узнали мы,
Что Христос родился в яслях,
Не гнушаясь нищеты.
Ясли эти указали,
Что искать должны все мы
Не богатства и не славы,
Не мирские суеты.
Ясли эти указали,
Что пред Богом все равны,
Все должны служить друг другу,
Чтоб быть Божьими детьми.
И молю я Всеблагого
Дать вам честь любви святой,
Чтоб завет Господня слова
Был бы с вашей семьей.”

После этого вступления они очень стройно запели: „Рождество Твое, Христе Боже наш...”

Ребята хорошо подготовились и спелись. После тропаря пропели еще „Христос раждается, славите...” и „Таинство странное”. После ирмосов пропели „Дева днесь”

и, поздравив хозяев с праздником, отошли к дверям в ожидании подарков.

Всем понравилось пение трех юношей и красиво сделанная „Звезда”. Наталка поднесла каждому по два больших пряника с начинкой и по две шоколадных конфетки. Тарас Охримович спустился с печи, где он отдыхал, и подарил каждому по две копейки, а рассказчику, сверх того, еще дал пятак. Христославы поблагодарили и вышли на улицу, высоко подняв над головой Звезду...

Над одстой в снежный саван станицей разливался непрерываемый трезвон колоколов со всех трех церквей. Десятки различной величины и тона „дзвонов” в искусных руках любителей-звонарей вызванивали очень сложные и разнообразные мелодии. „Хоть танцуй”, говорили некоторые, слыша красивый трезвон церковный. Трезвонить начали на рассвете, сейчас же после литургии, по выходе молящихся из церкви, и этот трезвон будет продолжаться три дня, с перерывами лишь в часы богослужений.

По широкому улицам, с накатанной снежной дорогой, во всех направлениях скользили легкие сани с нарядными „визитерами”. Зятя ехали к тещам и тестям, замужние дочки к матерям, брат к брату и т. д. Из под копыт мчавшихся рысью коней во все стороны разлетались комья снега, осыпая стоявших по углам парубков и девушек.

Во многих домах, через оттаявшие стекла окон, виднелись веселившиеся вокруг заставленных едой и напитками столов мужчины и женщины, и их шумный говор и песни доносились на улицу.

Хотя у казаков почти ни у кого не устраивались елки, но в некоторых богатых домах и у представителей власти, они все же красовались в главной комнате или зале.

По домам представителей станичной администрации и наиболее богатых жителей ходил церковный хор в полном составе и поздравлял хозяев с днем праздника Рождества.

Никифор, с Наталкой и сынишкой, и Петр с Дашей выехали на санях из дому вместе. У ворот Костенка Петр и Даша сошли и радостно встреченные матерью направи-

лись в дом, а Никифор с женой и Гришуткой поехал дальше к своим, ожидавшим его тестю и теще.

Проезжая мимо стоявшего на углу Красной большого кирпичного дома, Никифор почти перестал править лошадьми, а засмотрелся, вернее заслушался пением, слышавшимся через полуоткрытую форточку. В просторном зале дома атамана, выходящем тремя окнами на улицу, стояла чудесно убранная елка, которой почти ни у кого из казаков-хлеборобов не было, а сбоку стоял хор Христо-Рождественской церкви, с регентом Сердюк во главе, и исполнял по просьбе хозяина концерт „Слава в Вышних Богу” Бортнянского.

Увлечшись и ни на что другое не обращая внимания, Никифор зацепился своими санями за сани ехавшего навстречу незнакомого казака. Оба сошли на дорогу и никак не могли расцепить застрявшие под дышлом барки. Сначала тихо, потом все громче и громче, они стали ругаться между собой, и уже дело стало доходить до драки. Они и не заметили, как к ним подошел Атаман.

— Это что еще за спор возле моего двора затеяли? Что за ругань, когда в доме исполняются святые песнопения? По какому праву вы нарушаете торжественность и святость праздника?

Оба казака вытянулись в струнку и молчали, мысленно проклиная себя за то, что возле дома хозяина станицы подняли такой крик.

— Это так оставить нельзя. Марш за мной, я вас сейчас проучу! — строго приказал атаман, и оба послушно последовали за ним.

„Вот досада”, думал Никифор, „попасть в немилость атаману, да еще в такой день Лучше бы дал раздва по морде, да и отпустил бы с миром”.

Атаман привел их в комнату, где никого не было, отвернулся от них к какому-то шкафу; потом грозно командовал:

— Смирно! — Оба, щелкнув каблуками, застыли в неподвижности. Никифор подумал, что сейчас атаман заедет одного и другого в морду и даже зажмурил глаза в ожидании удара.

— За нарушение казачьего взаимного уважения, с оскорблением друг друга в день великого праздника, приказываю... - - И Никифор почувствовал прикосновение к своей руке чего-то холодного. Он открыл глаза и удивился: атаман протягивал им обоим по полному чайному стакану... — Приказываю выпить без отрыва все содержимое этих стаканов!

Оба казака подняли поданные атаманом стаканы водки и за здоровье хозяина станицы залпом осушили их.

— Молодцы! Теперь поцелуйтесь! — а когда они „почеломкались”, приказал: — идите к саням, к своим бабам, и больше не спорьте по пустякам! — а сам вернулся в зал к хору и всех певчих тоже „почастував” горилкой и вином.

Пока оба казака принимали „наказание” в доме атамана, их жены спокойно расцепили сани, выплутали барки из под дышла и, отъехав немного в разные стороны, с тревогой поджидали своих мужей. Вышедши из дома Емельяна Ус и видя, что без них все уже спокойно сделано, Никифор и другой казак уселись каждый в свои сани и молча разъехались в разные стороны, даже не познакомившись.

**

Две недели, до самого Крещения праздновались Рождественские святки, и в эти дни никакие работы в хозяйствах хлеборобов не производились, кроме приготовления пищи и дачи корма скоту. И богатые и бедные, старые и молодые, все в станице без исключения, широко и весело проводили дни великих зимних святок.

Парубки и девушки устраивали для себя „складку”-складчину и веселились, без женатых, сами. Парубки закупали горилки, девушки таскали из дому кур, колбас, масла, сала, муки и сами, где-нибудь в нанятом доме, приготавливали всевозможные закуски. Потом, с наступлением ночи, все участники складчины собирались, приглашали гармониста и веселились чуть ли не до утра.

В день перед Новым Годом шумное веселье немного затихало, потому что наступал такой же торжественный для всех день, как Рождество...

ГЛАВА IV.

На „Меланку”, вечером 31-го декабря, в станицах бывшего Черноморского Войска по существу проводилось то, что на Украине делалось в ночь перед Рождеством.

Группы девушек, сопровождаемые иногда парубками, ходили под окна домов и „щедровали”, то-есть, колядовали. Почти все их щедрилки были взяты из украинских колядок, с небольшими изменениями.

Старики говорили, что эти щедрилки девчат и парубков были перенесены на неделю позже от „Свят-Вечора”, потому что с ними было связано много проказ, выпивок, веселья, — против чего протестовало духовенство. Да и сами казаки понимали, что против великих праздников веселиться негоже: забавляться можно только в день самого праздника, а не перед его наступлением! Свят-Вечер, перед Рождеством, поэтому все старались провести в святости и в духовно-радостном ожидании грядущего торжества и веселья. В Предрождественскую ночь поэтому ходили только подростки: вечером „со святой вечерей”, а ночью благопристойно „рожестували”.

**

Незадолго до захода солнца в последний день Старого Года Даша, выглянув из окна на яростный лай собак у ворот, увидела, что Петр впустил во двор соседского подростка Васю. Хлопчик подбежал к окну и заверещал полураспевом:

„Щедрик, ведрик,
Дайте вареник,
Грудочку кашки,
Кінчик ковбаски!
А ще й мало! Дайте сало!
А ще й донесу! Дайте ковбасу!
А ще й кишку,
Здїм у затишку...”

— Молодец, Вася! — похвалила вышедшая к нему Даша. — Только ты слишком много потребовал; наверное тебе достаточно будет и этого, — и она сунула ему

в руку горсть орехов и двухкопеечный медяк. Васе больше ничего и не требовалось. Спрятав подарок в карман, он побежал за ворота, и вскоре его щедривка слышалась уже под окном другого дома..

Вечером, по закате солнца, девушки, группами по четыре-пять душ, пошли по дворам „щедрувать”. Хотя от Рождества прошла уже неделя, но в большинстве щедривок девушки славословили рожденного Христа. Этого вечера девушки ждут с нетерпением целый год..

Приська и Гашка тоже собрались в поход и с нетерпением поджидали трех подруг, которые обещали зайти за ними.

И вот, наконец, у окна появились три девичьи головы, и послышались голоса:

— Благословить щедровать!

- - Бог благословит, щедруйте, щедруйте! — отвечала Наталка, стоявшая ближе всех к окну. Сейчас же за окном послышалось пение:

„А в Єрусалимі рано задзвонили,
Щедрий вечір, щедрий вечір
Добрим людям на здоровья.
А Діва Марія по саду ходила,
По саду ходила, Сина породила,
Щедрий вечір, щедрий вечір
Добрим людям на здоровья.
Ой та сів же Христос,
Та і вечеряти,
Щедрий вечір...”

Вирши эти были очень длинные, малосодержательные и не совсем соответствовали написанному в Евангелии. Составлены они, очевидно, простым народом, неизвестно кем и когда. После каждого куплета следовал один и тот же припев: „Щедрий вечир, добрым людям на здоровья”.

Окончив петь, одна из щедрувальниц заглянула в окно и затараторила:

„Щедрівочка щедрувала, до віконця припадала,
Що ти, тітка, напекла, неси сюди до вікна!

— Несу, несу, — засмеялась Наталка и вынесла небольшую паляницу хлеба и пятак на всех.

Приська и Гашка, обутые в теплые валенки, присоединились к девушкам и вместе с ними выбежали гурьбой со двора. Даша с некоторым сожалением и завистью посмотрела вслед им и тихонько вздохнула. Еще год тому назад, в этот самый вечер, она имела право проказничать и веселиться с этими девушками, а теперь должна сидеть дома с мужем и не смеет участвовать ни в щедривах, ни в предстоящих в эту ночь гаданьях. Но она ведь уже не девушка, а замужняя, и все так и должно быть...

За воротами к девушкам присоединились и парубки, которые, окончив в наступающих сумерках „пораться” со скотом и лошадьми, вышли сопровождать своих девчат и оградить их от возможных приставаний со стороны парубков „с другого краю”. Иногда они подпевали девчатам.

Не успели свои девчата скрыться со двора, как в закрытые ворота ввалилась другая группа щедрувальников, девушек и парубков, которые также подошли к окну и, испросив разрешения, запели:

„А в Єрусалимі рано задзвонили,
Радуйся! Ой радуйся, земле,
Син Божий народився...”

Они пели гораздо слаженнее, чем первые, а на другой мотив; и припев у них был другой: не „Щедрый вечер, добрым людям на здоровья”, а „Радуйся, ой радуйся, земле, Син Божий народився...”

Потом один из парубков, подделываясь под девичий голос, продекламировал требование:

„Коляд, коляд, колядниця,
Добра з маком паляниця,
А пісна не така,
Дайте, тітко, пирога.
Як не дасте пирога,
Візьму бика за рога,
Та поведу на базар...”

— Ой, парубче, стой, стой! Не бери нашего быка за рога! Лучше на, чарочку выпей! — предложила смеясь показавшаяся на пороге дома с графином в руках Ольга Ивановна. Она налила каждому парубку по чарке и дала по небольшому мясному пирожку закусить. Следом за свекрухой вышла Даша и дала девушкам по прянику-житняку с начинкой, а в мешок „михоноши” кинула целое кольцо колбасы. Выкрикивая слова благодарности и эта гурьба выбежала за ворота.

Со всех сторон на улицах станицы слышалось громкое пение щедрувальников, эхом отзывавшееся в этот тихий морозный вечер за речкой и в общественной роще. Повсюду раздавался девичий смех, визг и выкрики парубков. Сколько беспокойства было причинено в этот вечер собачьей „армии” станицы! В каждом дворе имелось по одной, две, а то и больше, злых собак. Встревоженные щедрувальниками, они подняли такой неумолкаемый лай и визг, что, казалось, станица стала каким-то адом. Десятки тысяч псов, на разные голоса, тявкали и тявкали без конца..

Группы девушек, обойдя намеченные ими дворы, несли наполненные паляницами, кусками сала, колбасами и прочим мешки, но только не домой. У большинства из них дома этого добра было в избытке, и никто там их добычей не интересовался. Были, однако, хаты, где в нем нуждались: бездетные, небогатые казаки и иногородние, предоставлявшие у себя „приют” девчатам, когда те приходили к ним после вечеринок с парубками „ночевать”. Девушка никогда не приводила парубка в свой дом, а только к так называемой „второй маме”. Все это делалось якобы втайне от родителей, и надо было что-то платить тем хозяевам, где они обычно „ночевали”. Вот девушки и несли теперь эту плату в виде паляниц хлеба, колбас, сала и прочего, нащедрованного под окнами таких же казачьих домов, как и у них самих.

Освободившись от своих мешков, девушки приступали к самой главной части программы этой ночи — новогоднему гаданью. При этом девушки стремились проводить его не в присутствии парубков. Последние не

очень верили в эти гаданья и часто, то в одном, то в другом месте, подстерегали девушек и мешали им всевозможными проказами...

В глухом переулке Приська и Гашка Кияшковы со своими подругами подошли к забору, наметили каждая без выбора себе один столб в изгороди, и от него начали считать все столбы до сорока. Какой столб по счету сороковым попадется, таким по внешнему облику будет и суженый делавшей счет девушки.

Гашка первая отсчитала сорок столбов вдоль заборов нескольких дворов, и ей попался высокий, сучковатый и корявый столб. Все девушки долго хохотали над такой фигурой будущего мужа подруги. Приське, наоборот, попался низкий и очень толстый, уже подгнивший столб, совсем непохожий на фигуру Михаила Гноевого, и она со злостью пнула его ногою.

Затем все зашли во двор к одной из участвовавших в их компании девушек, открыли настежь ворота и начали по одной выходить от середины двора на улицу, предварительно завязав платком глаза, чтобы ничего не было видно. Если какой-нибудь девушке удавалось свободно пройти в ворота и нигде не зацепиться, это было хорошей приметой: она в этом году „обязательно” выйдет замуж. Две девушки удачно прошли в ворота не зацепившись и весьма довольные, сорвав повязку с глаз, вернулись обратно на середину двора.

Гашке и тут не повезло. Завязав глаза и расставив в стороны руки, она медленно, ощупью, направилась к раскрытым воротам. Проходившие в это время по улице парубки заметили гадалок и незаметно притаились у ворот. Один из них в белом кожухе лег прямо в снег, как раз на пути Гашки. Не видя ничего, Гашка уже радовалась, что по ее расчетам она уже прошла ворота, как в этот самый момент споткнулась и упала прямо на лежавшего парубка. Тот довольно непристойно обнял ее...

— Ой Боже! Кто тут? — взвизгнула Гашка, сорвав повязку, но неизвестный „демон” уже исчез в ночной полутьме.

Страхнув с себя снег, Гашка вернулась во двор. Напу-

ганные остальные девушки отказались выходить за ворота с завязанными глазами, а перешли в другой двор, где у хозяина-казака почему-то не было собак, и они могли без страха заняться более сложным гаданьем.

По одну сторону невысокой хаты девушки начертили на снегу круг аршина два в диаметре, потом перешли на другую сторону и начали через крышу кидать обувь, снятую с правой ноги. Если она упадет в центр круга, то бросившая девушка „обязательно” в этом году выйдет замуж и за того, за кого хочет. Если же сапог или валенок упадет на черте круга, то-есть не в центре и не снаружи, то девушка, может быть, и выйдет замуж, но не за того, за кого хотела бы. И наконец, если обувь упадет совсем в стороне от черты круга, то девушка замуж в наступавшем году не выйдет.

Одна из подруг сняла сапог и так сильно размахнулась, что он, перелетев через крышу, упал далеко от намеченного круга. Следующей была Приська. Она сняла валенок с правой ноги вместе с шерстяным носком и, не желая повторить ошибки первой девушки-гадальщицы, слегка размахнулась и не очень быстро подкинула свой валенок. Валенок, не перелетев на другую сторону, упал на крышу хаты и так там и остался. Как потом ни старались его сбить оттуда комьями снега, ничего не получалось. Вскрабкаться на крышу без лестницы - тоже не могли, и Приська стала в отчаянии громко ругаться, прыгая по снегу на одной ноге и поджав под себя другую босую.

На такой шум и гвалт из хаты вышел хозяин и, узнав в чем дело, долго смеялся. Потом вынес лестницу и снял с крыши злополучный валенок.

После этого приключения девушки пошли под окна подслушивать разговоры ложившихся спать людей. Если в комнате послышится голос, приказывающий кому-либо из своей семьи пойти куда-нибудь или сделать что-нибудь, то подслушавшая такой разговор выйдет замуж в наступающем году. Если же она услышит слова вроде: „сидите” или „ложитесь спать”, то ей еще не суждено жить с милым в его доме в новом году.

В некоторых домах уже потухли огни, и ходить туда под окна не было никакого смысла. В доме Кияшко еще светилось, и девушки направились туда, тем более, что Приська и Гашка могли хорошо защитить компанию от своих собак, и можно было тихо и незаметно пройти по двору.

Петр уже разделся и собирался лечь спать, как вдруг услышал за окном легкий скрип снега, сразу таинственно затихший. Он сообразил, что этот шорох означает, и нарочито громко сказал:

— Ложитесь все спать! Зачем зря керосин палите?

Девушки разочарованно переглянулись, но все же продолжали стоять на месте. Даша вопросительно взглянула на Петра, и, заметив его улыбку, догадалась и решила не огорчать гадалщицу, сказав:

— А ты лучше встань, да пойди, посмотри, как ярко горят костры в садах!

Сейчас же после этих слов у окна послышался топот убежавших девушек и их веселый смех.

Одна из девушек, изменив голос, подошла под освещенное окно в соседнем доме и громко спросила:

— Как моего мужа будет звать?

— Солопий Черевык, -- после некоторой паузы послышался ответ из комнаты. Девушки засмеялись, догадавшись, что хозяин нарочно назвал такое имя.

— А как моего будет звать? — пропищала Гашка.

— Стратон Задрыпа, — ответил тот же голос.

— А моего как?

— Ярема Занюханний.

— Ну, а як мого чоловіка буде звать? — басом спросила четвертая.

— Капитон Гололупенко.

Наконец, последней подошла к окну Приська.

— Ну, а как же моего мужа будет звать? — жалобно спросила она.

— Та сколько вас там есть? У меня уже и в святцах подходящих имен нет! — и хозяин, слегка приподняв занавеску, узнал прильнувшую к открытой ставне Приську

Кияшко. Он знал, с кем она проводит время, и важно ответил: — Михайло!

Приська так и подпрыгнула от радости: одной ей хозяин сказал серьезно и назвал то имя, которое она хотела. Девушки побежали дальше и подходили к окнам еще нескольких домов, повторяя везде одни и те же вопросы, но получая совершенно различные ответы.

В некоторых домах, если подойти к слабо освещенным окнам и присмотреться, можно было заметить склонившихся перед закопченным зеркалом девушек, которые в одиночку пристально всматривались в затуманенное дыханием стекло, надеясь увидеть в нем лицо суженого.

Мирно дремавшей в хлеву скотине тоже не давали покоя. Закрыв глаза платком, девушки входили в хлев, ощупью приближались к быкам и коровам, и хватали их руками. Если рука хватала вола за рога, то девушка должна выйти замуж в этом году, а если попадался хвост, то ей нечего было и надеяться на замужество до следующего года.

И хотя подобные гадания под Новый Год ничего не имели общего с действительностью, редко и совершенно случайно оправдывались, — все равно большинство девушек слепо верили в подобные приметы, а занимались гаданьем все без исключения.

В приусадебных садках, у межи, во многих дворах горели в эту ночь костры. Всю неделю от Рождества из дома не выносился подметаемый в комнатах сор и только в новогоднюю ночь его собирали, выносили в заднюю часть двора и зажигали, чтобы вся нечисть минувшего года исчезла бесследно вместе с мусором.

В полночь Приська и Гашка, уставшие от гаданий, вернулись домой.

Прежде чем идти спать, они умыли лицо холодной водой и, не утираясь, легли прямо на ряднушке на полу перед образами, а полотенце положили в головы под подушку. Во сне должен явиться суженый и этим полотенцем вытереть девичье лицо. С этой мыслью они вскоре и уснули крепким сном.

После полуночи по домам стали ходить „посевальники”, подростки школьного возраста, с надетыми через плечо сумками с зерном, — первые поздравители с Новым Годом. В Рождественскую ночь таких хлопчиков называли „рожестувальниками”, теперь „посыпальныками”, или „посівальниками”.

Зашли они и в дом Кияшко, стали перед образами, где на полу спали Приська и Гашка, пропели „Спаси Господи люди Твоя...” и, после того как один продекламировал:

„Ой у полі, полі, сам плужок оре,
А за ним Сам Господь іде.

Діва Марія Сина просила:

Роди, Боже, жито, пшеницю, всяку пашницю...”

достали из сумок пригоршни зерна и начали в такт своего пения осыпать иконы, повторяя хором:

„На щастя, на здоровья, на Новый Год,

Роди, Боже, жито, пшеницю, всяку пашницю!

Драстуйте з Новым Годом, з празником, та

З Васи́лієм...”

Хлопчиков, поздравивших дом первыми, одаривали всегда щедро.

Зерно, насыпанное на полу и на столе у икон, утром тщательно собирали и кормили им домашнюю птицу, чтобы не было падежа, и курочки побольше несли бы яиц. По несколько этих зерен бросали также в закрома с пшеницей и ячменем.

Не только в первый день Нового Года, но и до самого Крещения, все ходили друг к другу в гости, поздравляя с наступившим Новым Годом, и за „новое счастье” выпораживали графины с горилкой. Весь день слышался трезвон во всех церквях и раздавались песни и музыка. И так до самой „Голодной Кути” (Крещенского сочельника)...

ГЛАВА V.

Через два дня после Нового Года, вечером, когда все в доме Тараса Охримовича сидели и безмятежно лузгали

семячки, у ворот неожиданно залаяли собаки, и семья Кияшко увидела входивших в калитку трех мужчин, одетых по-праздничному. Впереди шел незнакомый человек с небольшой бородкой и коротко подстриженными усами. В руках у него была паляница хлеба, накрытая белым полотенцем. За ним шел с „ципком” в руках Гноевой Михаил, а еще сзади маленький и всем известный в станции плотник из иногородних Семеняк Афанасий, выходец из Харьковской губернии и живший в Старо-Минской уже лет двадцать.

Всем стало ясно, что пришли „старосты” сватать Приську. Гашка была еще слишком молода.

Для Приськи тоже этот визит был неожиданным: она ждала старост, как обещал Михаил, только после Крещения... Она вбежала в зал и стала поспешно переодеваться в праздничную одежду, вертеться во все стороны перед большим стоявшим у стены зеркалом. Следом за ней в зал вошла Гашка и начала подтрунивать над сестрой:

— Напрасно прихорашиваешься, раз твой валенок остался на крыше, все равно замуж не выйдешь!

— Чья б мычала, а твоя молчала, отойди к „греццу”!*) и, желая чем-нибудь уязвить меньшую сестру, Приська добавила: — На губах еще мамино молоко не обсохло, а в воротах, с завязанными глазами, парубки целуют...

— Тебя завидки берут, что тебя уже казаки не целуют, а только... — Гашка, не закончив фразы, застыдилась.

— Иди отсюда, не галди, начинаешь мне указывать, с кем да что! Твое какое дело? „Не твой чемодан; кому хочу, тому и...” Вот еще посмотрим, за кого ты выйдешь; за того ли, за кого сейчас мечтаешь.

— Выйдешь, выйдешь, — передразнила ее Гашка, — я ни за кого еще не думаю выходить, а если надумаю, то уж не буду так, как ты: „хочь за старця, як бы не остаться”, на городовиков не буду пялить глаза! — она присела на корточки сзади Приськи и, скривив рот, пропищала: —

*) к чорту.

Возьми меня, мой москалик, ржаного кваску отведать на Московщине!

— Ты долго будешь выкаблучиваться, як порося на бичовці? — и Приська повела по комнате взглядом, выискивая чем бы потянуть глупую цокотуху. Гашка отскочила к дверям и уже на пороге еще раз спросила:

— Ты в лаптях тамбовских и венчаться будешь? — и после этого убежала в другую комнату.

Пока сестры без всякой причины высмеивали одна другую, старосты, сбив в коридоре веником прилипший к сапогам снег, вошли в комнату, где сидела вся семья, налускавши на пол кучи шелухи от семечек.

Тарас Охримович и в мыслях не допускал иметь зятя из иногородних. Встретил он вошедших старост молчаливым и легким рукопожатием.

После предварительных фраз, вроде: „одлыга началась; заметно потеплело, но снега еще много; только липнет к сапогам, как клей”; „для озимой пшеницы плохо, если в январе оттепель будет...” и тому подобных не относящихся к делу слов, Семеняк начал:

— Так вот что, Тарас Охримович! Нашему парубку приглянулась ваша старшая дочка, и мы покорно к вам обращаемся: отдайте Фросю за нашего Мишу! Батька его вы добре знаете, люди не плохие...

В это время вошла к ним в комнату Приська; не подавая руки, сказала всем „драстуйте” и стала у дверей напротив Михаила.

— Ага, вот и наша красавица появилась! — улыбнулся Семеняк и продолжал расхваливать жениха.

— Что ж, люди, может, вы и не плохие; против этого я ничего не говорю, — сказал, не поднимая головы, Тарас Охримович, — да, по совести сказать, за городовика я не собирался отдавать свою дочку. Пусть хоть сто лет сидит в девках, но нарушать чистоту своего казачьего рода я не буду!

— То напрасно вы такое подразделение делаете, Тарас Охримович, — сказал другой, с бородой, староста. — У него отец, со своим родственником Настюковым, какую большую аптеку на базарной площади построили,

людей снабжают всякими лекарствами и другой торговлей занимаются. Живут хорошо, не хуже казака — хлебобороба. А дядя нашего Миши, как вы знаете, служит полицейским урядником нашей станицы. Как же можно отказываться от таких сватов?

— Да не в этом дело, — сурово сказал Тарас Охримович, — и я, и вся станица уважает Гноевых, как купца, так и другого, полицейского. И все, что вы сейчас говорили, сушая правда. Но я ни за что не отдам свою дочку за городовика, хотя бы это был генерал, адмирал, миллионер. Я лучше отдам за хромого, рябого, старого, бедного, но только за козака! И больше об этом не хочу и говорить...

— Чем же я вас так обидел? — расстроено спросил Михаил.

— При чем тут обида? Одно то, что ты иногородний, это уже обида для козака. Мало того, что вы понаплыли сюда со всей Рассеюшки-матушки, мало того, что начали коверкать по-своему наш быт и вековые казачьи обычаи, да еще и жениться на козачках захотели? Нет и нет! Добра от вас не жди!

Приська, стоявшая у дверей, начала слегка всхлипывать.

— А ты чога, бисового собаки дочка, хнычешь? Що, может, за городовика замуж хочешь?

Он совершенно не знал, что Приська и Михаил давно уже „кохаются”.

— Мне все равно, кто он. Я люблю Мишку и пойду за него! — неожиданно выпалила Приська.

— Шо?! Та чи ты не сказывалась? — и, повернувшись к старостам, строго сказал: — Идите с хаты подобра-поздорову, я говорить с вами больше не хочу. Все!

— Старый! Ну для чего ты гонишь людей с хаты? — вмешалась все время молчавшая мать.

— Ничего, ничего, Ольга Ивановна, мы еще вернемся, — успокоил ее Семеняк, и все трое вышли из дома.

На второй день Тарас Охримович пошел пешком на

базар. Он и не догадывался, что уже многие знают о сватовстве Гноевого.

Навстречу ехал на дрожках Савва Корж.

— Шо, кум, за городовика дочку выдаешь? — спросил он, немного придерживая лошадей.

— Кто вам сказал? — рассердился Тарас Охримович.

— Да говорить, что вчера Гноевой был у вас со старостами.

— Мало что был, не говела их бабушка, — и он молча пошел дальше, не оглядываясь и не простившись с Коржом.

Не успел он пройти и десяти шагов, как шедший по другой стороне Падалка Софрон крикнул на все горло:

— Драстуйте, кум! Шо, Тарас Охримович, с городовиками родычаться надумал?

— И ты еще, бисова душа, гавкаешь!? — грубо выругался Тарас Охримович и, сердито надвинув на лоб папаху, пошел дальше. Проходил мимо двух мирно беседовавших между собою казаков и слышал, как один из них, кивнув головой в его сторону, проговорил:

— Вот и он, как будто и добрый казак, а иногородних сватами хочет иметь...

Этого уже Тарас Охримович выдержать не мог. Он переломил на колене деревянный ципок, с которым шел, выругался на чем свет стоит и почти бегом пустился назад домой.

В это время Приська вынесла свиньям помой и с порожним ведром возвращалась в хату. Тарас Охримович догнал ее у порога, грубо схватил за волосы и потащил в конюшню.

— Ты, что, паскуда, позорить меня вздумала? Со двора выйти нельзя, с городовиком поганиться вздумала? Вот тебе, на! на! -- и он, схватив висевшие на стенке ременные вожжи, начал бить ее по чем попало.

— Ой, батя! Ой, за что бьете? Ой, батя, простите! Ой, ой...

-- Вся станица смеется! Весь род наш запаскудила, сукина дочь! Убью стерву такую!...

— Что вы, батя, делаете? — крикнул откуда-то взявшийся Петр и выхватил у отца вожжи.

— Как, на батька руку подымаешь, сукин сын!?

— Нет, батя, я не подымаю на вас руку, но Приська же не коняка, чтобы ее так лупцевать.

— Не твое дело! Хочешь и ты получить?!

— Батя! Я уже не парубок, а женатый; и поэтому и в хозяйстве, и в доме тоже мое дело.

Тарас Охримович вытаращил глаза и с минуту не знал, на что и решиться. Приська тем временем скрылась в хату, залезла под кровать и притаилась.

— Давай сюда вожжи!

— Натe, хотите, бейте меня! Я мужчина, и мне не так больно будет!

— И не посмотрю, что ты женатый. Смеешь мне еще указывать? Своего г... еще буду бояться? На, тебе! — и Тарас Охримович стеганул Петра по плечу — раз, потом второй раз, третий. Петр стоял, не шевелясь и ничего не говоря. Тарас Охримович кинул вожжи на землю и быстро пошел в хату.

— Шо ты, старый, делаешь? Зачем свою родную дочь так избиваешь? — плача встретила его Ольга Ивановна.

— Иди ты в...! — выругался, как почти никогда при жене не ругался, он. — И ты против меня?

— И шоб ты ему облупився, зачем так говоришь? Тридцать пять лет прожила с тобою и не была никогда против, но как же мне не жаль свою „рідну дытynu“? Зачем так ей перечишь? Вспомни, что поп в церкви говорил: „все люди братья, все одинаковы, все христиане...“

— А поп, что, казак? Тоже иногородний, москаль! Почему нет у нас священников из казаков?

— Может ты станешь попом?

— Ты что, смеяться вздумала? Мое дело хвосты коням крутить, да хлеб сеять и басурманам башку рубить, если полезут к нам. А в ризу не нам, казакам, одеваться. Посмотри в святцы, ни одного казака святого нет!

— То-то же! Ты сам себе противоречишь, но не быть же нам казакам без церкви и священника?

— То так, но за городовика дочку не отдам. Ни за

что! Ты бы слыхала, как все надо мной смеются, со двора выйти стыдно теперь. Не отдам! В могилу загоню, а не отдам!

— Воля твоя, но...

Ольга Ивановна не договорила и глубоко вздохнула.

Вечером у ворот Кияшко опять показались те же старые старосты, но Петр, выскочив за ворота, предупредил их, чтобы сейчас не заходили в дом, и рассказал, что было в конюшне с Приськой. Михаил, зло сверкнув глазами, сказал:

— Ну, что же мне делать? Ты же обещал мне поддержку в этом!

— Обещал и не отказываюсь, но немножко обожди, несколько дней, — и Петр отвел Михаила в сторону, начал с ним разговор полупрошепотом.

Решено было притти снова после Крещения и с другими старостами. Петр сам назвал двух, против которых вряд ли батько устоит, и сам обещал поговорить с отцом по-хорошему. Михаил ухватился за эту идею, все трое сейчас же вернулись восвояси, не заходя в дом Кияшко.

**
*

Накануне Крещения, на „голодную кутью“, с утра никто ничего не ел, а взрослым в этот день даже и воды не разрешалось пить. Только вечером возвратилась Гашка из церкви и принесла в эмалированном чайнике „священной воды“. Лишь испив ее, люди могли есть кутью.

Но раньше Тарас Охримович влил часть святой воды в миску, взял кропило, вышел во двор и первым делом окропил все четыре угла двора, затем сад; весь скот, кроме свиней и собак; все строения и колодец. Вернувшись в дом, он окропил стены и окна, иконы, одежду и каждому в семье помочил лоб. Тем временем Никифор тоже был во дворе и писал везде, где только можно написать, мелом большие белые кресты: на всех ставнях окон, на дверях, воротах, закромах и т. д.

После этого, собравшись в зале, все стали перед иконами, кратко помолились и тогда лишь уселись за

стол, на котором стояла сладкая кутья с узваром и постные с фруктами пирожки. Однако есть никто еще не начинал, а, приставив все ложки к одной общей большой миске, молча ждали, пока отец „договорится” с морозом.

— Мороз, мороз, иди кутью есть! — нарочито заглядывая в окно, начал Тарас Охримович неизвестно кем выдуманное зазыванье мороза. — Мороз, мороз, иди кутью есть! — повторил он опять после небольшой паузы. — Мороз, мороз, иди кутью есть! — повторил он в третий раз. — Не идешь? Ну и не ходи! И не морозь ни нас, ни пшеницы, ни телят, ни лошадей, ни ягнят, ни гусей, ни курчат, ни качат, ни саду, ни огороду! Никого и ничего не морозь и больше не ходи к нам! — и перекрестившись, выпил немного святой воды из стакана и дал другим. Все выпили по глотку принесенной из церкви освященной воды и начали есть кутью.

Во время этой постной вечери Федька вдруг громко чихнул. Все с завистью взглянули на него.

— Э, сынок, значит, будешь самым счастливым у нас! — сказал улыбаясь Тарас Охримович. — Что же тебе подарить? Ведь у нас всегда так водилось, кто чихнет за вечерей на голодную кутью, что-то надо подарить. Ну вот: дарю тебе того лысомордого гнедого жеребчика, что летом рыжа кобыла привела, теперь он твой собственный, расти вместе с ним, не отставай! Ну и на тебе еще четвертак! — и он вынул из кошелька и дал счастливицу 25 копеек.

Увидя такую небывалую щедрость батька, Гашка тоже хотела подделывать чиханье, но у ней ничего не получилось; она только поперхнулась набранной в рот кутьей, под смех всех сидевших за столом.

После ужина, из всех домов станицы мужчины выходили во двор и стреляли из охотничьих ружей вверх, а у кого не было ружья, те стучали изо всей силы палками или кусками досок о ворота и заборы, изображая выстрелы. В наступавших сумерках поднимался такой грохот и стрельба, что казалось, будто происходит на широком фронте большой бой. Это называлось: „кутью про-

вожать”, потому что от самого Рождественского сочельника, кутья в макитре на столике в святом углу не убывала.

Гулять молодежи на улице против такого праздника не разрешалось, но крещенские гадания над миской с водой и у зеркал продолжались у девушек до полуночи.

Когда все в доме легли спать и потушили лампу, оставив гореть лишь слабо освещавшую комнату лампаду, Ольга Ивановна прислонила к стоявшей на покути миске с кутьей деревянные ложки всей семьи, заметив предварительно кому какая ложка принадлежит, и потом накрыла эту миску паляницей хлеба. Было поверье: чья ложка ночью перевернется, тот в этом году умрет...

Когда все спали, Петр встал напиться воды, тихонько подошел к миске с кутьей и перевернул все ложки. Он вообще мало верил разным гаданьям и суевериям. Через несколько минут проснулась Приська и тоже захотела посмотреть на ложки под миской с кутьей. Она в ужасе всплеснула руками, увидев, что все ложки перевернуты. Со страхом и трепетом она поставила ложки опять так, как их ставила мать с вечера, и перекрестившись отошла, прошептав: „не дай Бог такой напасти, всем сразу помереть...”

В таком виде все ложки и оказались прислоненными к миске на следующее утро, к удовольствию всей семьи и к большому удивлению Петра.

— В Крещенскую ночь, на какой-то неувимый момент, вся вода превращается в вино; надо только успеть ее зачерпнуть в тот момент, — говорили в доме перед праздником.

Но никто никогда не мог поймать такого момента превращения воды в вино, хотя любопытные пробовали в ту ночь воду десятки раз.

Часа в три ночи, после церковного звона в большой колокол, началось так же, как и на Рождество, Великое Повечерие, а следом заутреня и литургия, закончившаяся на рассвете. После литургии все духовенство и люди с хоругвями, крестами, хором певчих, при многозвучном

трезвоне колоколов, вышли из церкви в ограду и стали служить крещенский молебен с таким же освящением воды, как и накануне вечером...

У стен большой цементной, с железным частоколом ограды, в несколько рядов, стояли шеренги людей, выставив впереди разные сосуды с водою для освящения. Позади этих мирно стоявших с обнаженными головами людей, переминались с ноги на ногу сотни мужчин с заряженными ружьями в руках. Между ними сновали сотни подростков, держа в руках и за пазухой по несколько голубей.

При начале третьяго пения тропаря праздника „Во Иордане крещающеся Тебе, Господи...“, смолкший было трезвон грянул снова, сразу во все колокола. От стоявшей на колокольне группы мужчин поднялся белый голубь и взвился над толпой молящихся. Увидев первого белого голубя, подростки выпустили сотни голубей, взвившихся над оградой церкви со всех сторон. Тотчас же открылась ураганная стрельба из охотничьих ружей, заглушая и трезвон и пение хора. Мальчишки с визгом и криком бегали вокруг ограды, присвистывая на выпущенных голубей и с интересом следя: „полетит ли мой голубь или голубка домой, или заблудится?“

Священники во главе крестного хода с хоругвями стали обходить и кропилом освящать расставленную вокруг церкви впереди людей посуду с водою. По мере прохождения крестного хода толпа уменьшалась: все, забирая посуду с освященной водою, спешили домой. Стрельба начала утихать и потом совсем прекратилась. Голуби частью разлетелись в разные стороны, частью садились на высоких куполах церкви. Только трезвон с прежней силой звучно разносился с высокой колокольни.

Стрельба из ружей, — а в городах палили даже из пушек, — и пуск возле церкви домашних голубей, являлись символом того, что пришел в мир Богочеловек, Который будет крестить людей не только водою, но Огнем и Духом Святым. Духовенство не очень одобрительно относилось к стрельбе, но и не запрещало этого старинного обычая.

Когда случалось, что на Крещение стояли сильные морозы, и лед на речке был толстый и крепкий, то воду освящали прямо на речке. Это называлось: „хождение на Иордань”. Из вырубленных квадратных плит льда сооружали на речке алтарь, возле которого делали широкую прорубь во льду. Со всех церквей станицы духовенство, с хоругвями, своими певчими, со всем народом, шло крестным ходом одновременно к реке и там совершало общее Крещенское молебствие. Освящали воду в проруби, оттуда все черпали освященную воду для себя. На берегу стояла полусотня казаков с винтовками и во время пуска голубей давала вверх троекратный залп. Были смельчаки, которые, несмотря на мороз, раздевались догола, бросались в отдельную прорубь и окунались по три раза в момент троекратного пения тропаря, а затем бежали к своим саням по льду, укутывались в овечьи шубы и катили домой. Особенно прославился своим ежегодным купаньем „во Иордане” восьмидесятилетний казак Белый, бывший гвардейцем еще в самом начале царствования Александра II и в честь Царя-Освободителя носивший все время белые бакенбарды, с гладко -выбритым подбородком. И здоровее его в станице человека не было.

В 1914 году на Крещенье как раз была оттепель, и поэтому воду освящали в церковных оградах, а не на речке.

Из дома Кияшко воду осталась святить Наталка и поэтому она позже всех пришла из церкви. Тарас Охримович пришел первым и, пока все возвратились, взял сено, которое еще с Рождественского сочельника лежало на „покути” вокруг макитры с кутьей, вынес его во двор и роздал понемножку всем коровам, лошадям и быкам.

Когда все собрались в комнату, он, как и накануне, окропил всем лбы „иорданской” водой, налил бутылку и закупорил, чтобы святая вода была в доме круглый год, а остаток из миски, в которой лежало кропило, вылил в колодец. Помолившись Богу, все сели за ранний обед, но первым долгом съели понемножку кутьи, а потом уже начали борщ с мясом и другие блюда.

В праздник Крещения так же, как и на Рождество, весь день гудели колокола во всех церквях, и под звуки этого трезвона казаки заканчивали веселые святки. У большинства хмель не выходил из головы от самого Рождества.

Но и после Крещения работа не очень шла на ум, так как началась пора веселых свадеб — у родственников, соседей и знакомых. А свадьбы в станице справлялись недели две подряд.

* * *

В первое же воскресенье после Крещения, после обеда, Ольга Ивановна, выглянув в окно, озабоченно сказала:

— Смотри, Тарасе, кто к нам опять прибыл; и не пешком, а на линейке!

Тарас Охримович подошел и остолбенел. Возле ворот стояла запряженная парой рысаков линейка, а в ворота опять входил Гноевой Михаил со старостами, но, с кем?! Впереди шел его, Тараса, кум Федор Куц с паляницей в руках, а сзади Михаила шел всеми уважаемый в станице торговец Аркадий Бородин. Все почувствовали, что против таких „старостів” отец выступать грубо не будет, это не то, что Семеняк, с которым Михаил приходил первый раз. Тарас Охримович побледнев и молча сел на лавку и, метнув острый взгляд на Приську, опустил голову.

— Ну, принимай гостей, кум — снимая шапку и вежливо кланяясь, сказал Федор Куц. Следом за ним вошли Бородин и Гноевой.

Тарас Охримович молча поздоровался со всеми за руку.

После обычного в таких случаях вступления, Куц прямо начал:

— Верите вы мне, что я казак, и зла вам не желаю?

— Кто против вас, кум, что говорит, но ведь вы же пришли сватать не за себя мою дочку, а привели с собой городовика, — сказал Тарас Охримович, не поднимая головы.

— Выходить, что я тоже не человек, — сказал смущенно Бородин, — ведь я тоже не казак.

— Что вы, Аркадий Аркадьевич! — разом ответили и Тарас Охримович и его жена. — Вы очень даже добрый и нужный человек! Как можно говорить плохое против вас?

— Так в чем же дело, что вы уперлись и не хотите иметь зятем такого хорошего парубка, как наш Михаил?

— Уважать можно всякого доброго человека, но родичаться — это дело другое. Посудите сами: я казак, вся семья и весь род наш казачий, а отдам дочку за иногороднего! Появятся внучата, придут до меня в гости, будут называть меня дедушкой, а сами будут по-казапськи „чтокать”, одетые в какис-то полосатые штанишки, с не нашей, не казачьей фамилией, и до семнадцати лет будут бояться к лошади и подойти... Вот моего Никифора Гришка, еще только пять лет исполнилось, а уже на буланом маштаке едет сам, и даже без уздечки, лишь придерживается за гриву и не боится. Вот этот — мой внучек, чистокровный казак, а то будет ни то ни се. Не хочу я, чтобы казачья кровь смешалась с городовицкой. Я, по правде скажу, во всей станице я никого так не уважаю, как вас, Аркадий Аркадьевич, и вас кум, Федор Иванович, но... Приську за городовика не отдам. Лучше пусть за нашего Рябка выходит, чем за иногороднего. Вся семья моя этого мнения, спросите вон его! — и Тарас Охримович кивнул в сторону Петра.

— Что ж, я скажу и без спроса, — ответил Петр, — и вот я что скажу вам, батя. И прошу вас, не обижайте Приську, не отказывайте Гноевому Михаилу, я знаю, они кохаются уже давно, и лучшего жениха для моей сестры я и не желаю.

— Что!? — с удивлением воскликнул батько. -- Или ты шутишь, или тоже потерял десятую клепку с головы? Давно ли ты клял всех городовиков, а теперь что?

— То правда, клял и ненавидел, но все по глупости. В Ейске все городовики со мной обращались хорошо и, пожалуй, лучше козаков... Притом многие иногородние те же люди, что и мы. Например, у меня в Ейске был добрый дядько по фамилии Корж, он городовик с Полтавщины, а у меня батько хрещеный — Савва Корж, казак. Кто его знает, может, мы когда-то все были одни-

ми и теми же людьми. А разве все казаки хорошие? Забыли, что со мною хотели сделать Боцановский и Кавардак?

— Здорово ты умничать стал, сынок. Смотри, чтобы твое умничанье через „одно место” не вышло. Смотри, чтобы городовики не оседлали казаков и не стали ездить, как на лошадях! Забыл, что покойный дидусь твой, царство ему Небесное, перед своей смертью тебе говорил: „не посрами казачье достоинство”, шашку свою, добытую кровью у турка, тебе подарил, как знак казачей гордости и незапятнанности. А ты что?

— То так, — Петр немного замялся и поморщился, — но ведь мы же все-таки остаемся казаками, никто у нас этого звания не отбирает, а бабам разве не все равно у кого ложки мыть и пеленки стирать?

— Я от тебя, Петр, этого не ожидал. Пропало казачество, пропало! — и Тарас Охримович ухватился за голову. Потом взглянул в сторону старшего сына. — А ты, Никифор, тоже за городовиков стоишь?

— Я не стою за них, но не сидеть же Приське всю жизнь в девках? Раз она любит Михаила, то что ж, пускай выходит за него. Она будет жить у Гноевых, а не вы, или мы...

В этот момент Приська подошла и грохнулась перед отцом на колени:

— Батя! Родненький! Не обижайте меня! Я люблю Мишу, он мое счастье! Батя, я умоляю вас, не отказывайте ему!... — и она залилась слезами. Ольга Ивановна стояла у печи и тоже вытирала слезы, но молчала.

Куц подошел к куму и взял его за руку, но тот выдернул ее и молча стал шагать по комнате. Его морщины еще больше сдвинулись, и левая щека подергивалась.

— Что, кум, вы уже и против меня, против всех?! Опомнитесь, Тарас Охримович! Я вам плохого никогда не собирался делать, — и Куц гневно отошел от него.

— Встань! — вдруг громко сказал Тарас Охримович все стоявшей на коленях Приське. — Закрутили вы мне голову, бисовы души. Выходи хоть за китайца, хоть

за нашего Рябка, только, дочко, предупреждаю, не приходи потом ко мне с жалобами на свою судьбу!

Приська вскочила и радостно поцеловала отца в щеку.

Тарас Охримович молча подошел и взял у Куца паляницу. И молча же передал жене. Ольга Ивановна перекрестилась, поцеловала хлеб и, наконец, промолвила:

— Ну что ж, сваточки, помолимся Богу и прошу к столу!

Все сели и, по обычаю, запили могарыч. Тарас Охримович хотя попрержнему был не в духе, но за столом чокнулся с Михаилом и выпил разом с ним...

После этого, каждый вечер Михаил приходил в дом Кияшко, но „спать” с Приськой не оставался, как это было в обычае у всех казаков, посватавших девушку, и, к удивлению всех, говорил, что у них до венца не разрешается спать с невестой.

Петр однажды заметил ему:

— А все-таки вы, городовики, глуповатые... Ваши думают, что, если лег с какой дивчиной, пусть даже и просватанной, то, это значит, все дозволяется. Я со своей Дашей два года „спал”, но до самого венца у нас ничего не было недозволенного...

Каждый вечер Михаил приносил мужчинам бутылку горилки, женщинам сладкого вина, а ребятам Федьке и Гришке разных пряников и конфет. Скоро все в доме его полюбили и не говорили больше, что он сякой-такой городовик, к великому удовольствию Приськи. Только Тарас Охримович, хотя и выпивал принесенную водку, еще ни разу ему не улыбнулся и ничего не спрашивал...

Перед самой свадьбой, когда Гноевой в сумерках шел к Приське, парубки подкараулили его у забора Тараса Кияшко, набросились и, схватив за горло, потребовали могарыча.

— Так, даром, хочешь заграбастать нашу казачку? Давай сейчас же нам на полведра водки! Девка наша, и мы ее так не отдадим! Давай, иначе не видать тебе не только Приськи, но и света белого!

Михаил знал, что хлопцы не шутят. Даже когда казак брал себе девушку с другого края станицы, то должен

был парубкам ее края дать на могоарыч, а с городовиком, тем более, они не будут считаться.

— Пустите! — попросил он. Парубки выпустили его из рук, но стояли тесным кольцом вокруг него. — Конечно, вы, хлопцы, неправы, — примирительным тоном сказал Михаил, встав на ноги. — Была вашей Приська, надо было сватать, а теперь она будет моя. Но, по правде сказать, чего мы будем ссориться. Натe, пейте на здоровье! — и он вынул и дал им на полведра водки четыре рубля.

Парубки больше его не трогали, и он свободно ходил до Приськи в любое время дня и ночи.

В конце января Тарас Кияшко и отец Гноевого сыграли свадьбу, но по-разному. У Кияшко в доме было все по казачьему порядку, а у Гноевого по-иному. Михаил не ездил с боярами, как казаки, а разослал специальные приглашения на свадьбу. Однако свадьба у него тоже была на широкую ногу, и после свадьбы родственники обеих сторон, казаки и не казаки, соединились вместе и тоже почти две недели „водили козу”: пили, ели и веселились.

ГЛАВА VI.

Недели две спустя, Тарас Охримович и его кум Падалка Софрон, немного расстроенные, шли через базар домой. Настроение они себе испортили сами. Когда проходили мимо казенки, оба не прочь были выпить, но купить, хоть „сороковку”, никто не решался. Тарас Охримович надеялся на Софрона, а тот — на кума Тараса. Уже вечерело.

Проходя мимо большого магазина с подвалом Бородин Аркадия, они увидели, как Бородин сам стаскивает с подводы тяжелые ящики, привезенные им с вокзала.

— Аркадий Аркадьевич! — обратился к нему Тарас Охримович. — Чего вы один так надрыгаетесь, давайте мы вам поможем, нам спешить некуда!

— Да, помощь бы, конечно, не помешала, — отвечал с неохотой Бородин, — да вас как-то неловко просить, а рабочих в этот поздний час нигде не видно.

— Э, чего там „неловко“! Давайте мы, так сказать, сразу перетащим все эти ящики в подвал. Свои люди, чего там, — сказал Падалка, и оба кума подошли и начали перетаскивать ящики.

После сватовства Гноевого, Тарас Охримович некоторое время дулся на Бородина, но потом стал опять относиться к нему с уважением, как и прежде. Втроем они очень быстро и без особых усилий перенесли все ящики в склад, находившийся под магазином.

— Вот спасибо, что помогли, а то бы я с этими проклятыми ящиками часа три мучился, — сказал Бородин после разгрузки подводы. — Но, дорогие козаченьки, даром никто не работает. Ни я, ни вы. Пойдемте-ка теперь ко мне в дом!

Кумовья не упрямились. Бородин вынул из шкафа и поставил на стол полный графин водки, настоящей на корице, гвоздике и другом зельи, и пригласил гостей не церемониться с этой „жидкостью“. Казаков долго уговаривать не пришлось...

Аркадий Бородин, кроме своей лично торговой деятельности, состоял еще членом правления кредитного товарищества, организованного в станице Старо-Минской несколько лет тому назад. Это товарищество выдавало денежные ссуды жителям станицы, снабжало хлеборобов новейшими сельско-хозяйственными орудиями и всячески способствовало укреплению их хозяйств.

Когда все уже добре подвыпили, Бородин вдруг сказал:

— Знаете, друзья, что я сейчас надумал: послезавтра мне надо съездить в Екатеринодар по делам кредитного товарищества, и одновременно я хочу там проверить и кое-что по своей торговле. Мне там нужны будут свои люди. Может, придется помочь так же, как сегодня вам пришлось... Поедьте все вместе! Дорогу я оплачу, а вы посмотрите столицу Кубанского войска и мне можете! Идет!?

Ни Падалка, ни Тарас Кияшко никогда не были в Екатеринодаре, и им такое предложение сначала показалось просто смешным. Падалка, несмотря на свой почтен-

ный возраст, еще ни разу не ездил поездом по железной дороге. Он прошел только предварительное военное обучение в станице и месяц был на лагерном сборе в Уманской, а действительной службы не проходил, по причине какой-то бывшей у него тогда болезни. Его называли „дымарь”, как дразнили всех казаков, не отбывших положенного срока действительной военной службы. Тарас Охримович свой срок в четыре года отслужил полностью, два раза потом ездил поездом в Ейск, но в Екатеринодаре тоже ни разу не был: просто не было никакой надобности в этом.

Падалка даже захохотал, услышав предложение Бородин, но Тарас Охримович, покручивая усы, призадумался:

— Кум! А почему бы нам не побывать в столице своего родного Кубанского Войска? Что мы хуже других? Или кто нам мешает? Ей-Богу, кум, я согласен. Поедем в Катырындар!

— Та ты шо, кум, чи ты не сказывся? Да я отроду на тому чортовому поезду не ездил! Моя Варька очи мне заплует, если я скажу ей про такое намерение!

— Софрон Капитонович, та вы напрасно так пугаетесь! — сказал улыбаясь Бородин, — что же вы так и помрете, не повидав своей родной реки Матери-Кубани? Я буду с вами, и ничего особенного в этом нет; а вашей жене, Варере, пообещайте привезти какой-нибудь интересный городской гостинец: платок, гребешок, материи на спидницу и т. д.

Падалка начал сдаваться:

— Да мне-то что, работ особых в хозяйстве, так сказать, пока нет; не мешало бы и поразвлечься, только как-то... страшно...

Как бы там ни было, а через день Бородин, Кияшко и Падалка сидели в вагоне пассажирского поезда „Ейск-Сосыка” и смотрели в окна на мелькавшие мимо телеграфные столбы.

Можно было ехать до Екатеринодара через Тимошевку по новой Черноморской дороге, но Бородин собирался в Тихорецкой сделать часа на два остановку и зайти

к одному знакомому торговцу по делу. Однако в дороге он передумал. Возможно, потому, что был не один. Таким образом, крюк, который он делал поездкой через Сосыку и Тихорецкую, оказался ненужным.

Поезд шел только до станции Сосыка. Дальше шла уже главная линия Владикавказской железной дороги, и ехавшим дальше пассажирам надо было пересаживаться на другой поезд, совершавший маршрут из Ростова до Новороссийска через Тихорецкую и Екатеринодар. Поэтому, как только поезд остановился на станции Сосыка, все трое староминчан вышли из вагона, подошли к платформе, от которой должен был отойти нужный поезд, и стали ждать.

Рядом было здание вокзала, через большие окна которого был виден буфет с толпившимися возле него пассажирами. И даже видно было, как армянин-хозяин буфета цедил в стаканы прямо из бочки темно-красное кахетинское вино.

Так как поезда еще не было, то Падалка не удержался от соблазна и незаметно для Бородина и Кияшко проскользнул в двери к буфету. Темно-красное кахетинское, отпускаемое прямо из боченка, прельстило его, и он попросил один стакан. Довольно чмокая губами и мысленно похваливая вино, он совсем не заметил, как к станции подошел ожидаемый поезд, останавливавшийся всего на несколько минут. Увидев, что народ чего-то засуетился и кинулся на перрон, он допил вино, не спеша расплатился с буфетчиком-армянином, медленно вышел на платформу и направился к тому месту, где оставил своих станичников. К его удивлению, их там не оказалось, а поезд, стукнув тарелками буферов, на его глазах, тронулся. Но ему казалось, что это не тот поезд и пошел он совсем не на Екатеринодар. Однако он все-таки решил спросить проходившего мимо железнодорожника:

— Скажите, пожалуйста, скоро будет поезд до Катырьндара?

— На Екатеринодар? — переспросил железнодорожник.

ник. — Да вон этот же поезд что сейчас тронулся, видишь, вон пошел! Эх ты, зевака!

— Что-о! Как это он успел? Где же кум?

Он рванулся и со всех ног побежал между путями железнодорожного полотна вслед отходившему поезду, крича во все горло:

— Эй, чуеете, остановите! Да что же это такое, да что же я буду делать? Да обожди же ты, сатана огнедышащая!

Сновавшие по перрону люди от души хохотали над отчаявшимся казаком. Но не даром говорится: „Бог не без милости, казак не без счастья”, и редко случающееся событие произошло в этот момент и как раз на станции Сосыка. Машинист вдруг затормозил поезд на выходной стрелке и, высунувшись в окошко паровоза и крича что-то в сторону вокзала, размахивал какой-то бумажкой.

А к паровозу уже бежал с другой бумажкой дежурный по станции и грубо сам себя ругал. Оказывается, он перепутал в спешке путевки и дал машинисту ту, что приготовил для поезда на Ейск. Машинист, принимая первую путевку, о чем-то заговорился с помощником и, только теперь рассмотрев, резко остановил поезд. А на подножках одного вагона стоял нервничая Бородин и кричал бежавшему к поезду Падалке:

- - Сюда, сюда скорей, давайте! Где это вы пропадали так, Софрон Капитонович? Давайте руку, лезьте сюда, вот так...

Пока машинист и дежурный по станции обменивались путевками и пререканиями, Падалка вскочил на подножку, на которой стоял Бородин, вместе с ним прошел на указанное ему место, важно уселся и, обводя всех взглядом, с гордостью заметил:

— Вот видите, люди добрые, что значит казак? Для казака не то что поезд, сам сатана остановится! А то, нечистые души, хотели оставить меня одного в чужой станции, ишь ироды! Теперь пусть катит себе на здоровье сколько влезет!

И как бы в подтверждение его слов, поезд в тот момент резко дернул, тронулся и пошел, мерно ускоряя посту-

кивание колес на стыках рельсов. Некоторые улыбались хвостовству зазевавшегося на станции казака; другие, не зная причины остановки поезда, и впрямь поверили, что остановка произошла для того, чтобы подобрать отставшего пассажира. Сам Падалка тоже верил этому и сиял от удовольствия.

Но недолго Софрон Падалка сохранял довольный вид. Теперь, чтобы не отстать от поезда, он не только не выходил из вагона на остановках, но даже не вставал с места. Когда отъехали от станции Старолеушковская, Падалка начал чего-то ерзать на месте, с немой мольбой поглядывая на кума и Бородину. Терпению его подходил конец, и, наклонившись к уху Тараса Охримовича, он жалобно спросил:

— Кум! Ну что мне делать? Есть ли тут такое место, чтобы... И он шепнул ему на ухо что-то, болезненно улыбаясь. --- Как выйти отсюда? Ей-Богу, так сказать хоть караул кричи, уже дальше терпеть не могу!...

Бородин понял в чем дело и тихо сказал ему:

— Пройдите, Софрон Капитонович, в конец вагона, там с правой стороны увидите неширокую дверь, смело заходите туда.

Падалка сразу же встал и, хватаясь за живот, быстро направился в указанном направлении. Дверь-то он нашел скоро, но открыть ее никак не мог. Не зная, что же с ней делать, а идти назад к Бородину за помощью уже не было времени, он хотел было воспользоваться тем, что на площадке было пусто, да на ту пору проходил кондуктор и, заподозрив неладное, остановился. Падалка строго закрычал на него:

— Эй ты, служака! Зачем смотришь? Что же, по твоему, я должен в штаны...? Давай мне галопом место, или я...

— Так вот же дверь, пожалуйста, проходите туда! — засмеялся кондуктор и, едва повернув ручку, совершенно свободно открыл дверь. Падалка „галопом” вскочил туда и... облегченно вздохнул.

Но выйти из уборной для Падалки оказалось невозможным. Как он ни дергал ручку, но проклятая дверь

не открывалась. Он слегка постучал в нее, но никто мимо не проходил и никто не слышал этого стука, а кричать или сильнее стучать он побоялся. Уже проехали какую-то станцию и полустанок, а он все еще находился в этом неприличном помещении, не имея возможности выбраться.

Поезд остановился на большой станции Тихорецкая. На железнодорожных путях рядами стояли составы товарных и пассажирских поездов, отовсюду раздавались свистки паровозов, слышался говор сновавших по перрону людей. Падалка подумал, что они уже приехали в самый „Катырындар” и застучал в окно со всей силы. Пассажиры непонимающе смотрели в сторону стука, но за вспотевшим стеклом окна не могли видеть впавшего в полное отчаяние Софрона Падалку и проходили мимо.

Бородин только теперь вспомнил, что Падалка ушел еще при отхода поезда от станции Старолеушковская и до сих пор не возвращался. Встревожась не на шутку, он кинулся его отыскивать. В конце вагона, он случайно повернул ручку двери уборной и, к своему удивлению, обнаружил там рассвирепевшего станичника. Падалка, как угорелый, выскочил оттуда и яростно набросился на Бородина, считая его главным виновником такого неприличного с ним случая. Аркадию Аркадьевичу пришлось доказывать ему свою невиновность, и Падалка, немного успокоившись, вернулся на свое место. Он долго еще имел сердитый вид и сидел, насупившись, как сын, ни с кем не разговаривая.

Со станции Тихорецкая поезд пошел вправо от главной линии Владикавказской железной дороги, на юго-запад, и к вечеру прибыл в Екатеринодар.

Три староминчанина сейчас же вышли из вагона, прошли в ворота мимо станционного здания и очутились на привокзальной площади.

Суматоха и шум спешащей во всех направлениях толпы пассажиров на вокзале, громкие крики извозчиков, звонки и грохот трамвайных вагонов на площади, — все это сразу ошарашило наших староминских казаков. Падалка шел, боязливо озираясь вокруг, и все время дер-

жался за руку Бородина, чтобы не затеряться в этой невиданной им никогда сутолоке.

— Аркадий Аркадьевич! — обратился он к Бородину. — Вы же нам с кумом „трайван” обязательно покажите!

— А вон же, с левой стороны, и трамвай стоит, смотрите! — и Бородин указал на сцепку двух трамвайных вагонов, отходивших на главную городскую улицу, Красную. — Но мы поедем другим трамваем, который без пересадки отвезет нас прямо в станицу Пашковскую. Там у меня есть добрый приятель, и мы у него остановимся на ночь.

— Вот он какой трайван! — мотнул головой Падалка с удивлением и еще раз спросил: — Не понимаю, как же так? Ни лошадей в него не запряжено, ни паровоза не прицеплено; кто же его тащит? Нечистая сила, наверное!

— Никакой нечистой силы нет здесь, — объяснял Бородин, — пойдет он без лошадей и паровоза, а потянет его электричество, да еще как быстро!

— Листричество? Ну это же и есть нечистая сила. Что же это от Бога, что ли? И вы говорите, в казачью станицу, в эту самую Пашковку пойдет?

— Точно пойдет! Через полчаса мы будем уже в Пашковской, будем сидеть у моего приятеля за столом и вино пить.

— Вот чудасия, кум! Чего только на белом свете не творится? Нам и не снилось даже такое бесподобное тягло увидеть!

Тарас Охримович только промычал что-то на замечание кума.

В это время на площади показался трамвай со светящимся транспарантом „Вокзал-Пашковская”, тут же у вокзала повернулся на закруглении и остановился. Бородин толкнул локтем своих станичников и вошел с ними в вагон. Найдя свободное место, сел сам и усадил обоих спутников, все еще боязливо озирававшихся по сторонам. Через минуту трамвай тронулся и пошел по назначению.

Пройдя небольшой туннель, над которым проходил железнодорожный путь от Екатеринодара до Тимашовской и Ахтарей, трамвай вышел на восточную окраину го-

рода, называемую Дубинка, с широкими улицами и небольшими красивыми домиками. После Дубинки трамвай уже шел в открытой степи, раскинувшейся между городом Екатеринодаром и станицей Пашковской.

Был еще февраль, но поля были уже без снега, стояла такая теплая погода, что кое-где уже показалась молодая травка, а озимая пшеница зеленела стройными рядами. Зима в этих краях вообще бывает непродолжительной и мягкой, а в этом году дыхание весны почувствовалось слишком рано.

Подъезжая к станице, казаки увидели небольшие отары овец, бродивших по полю и с жадностью щипавших едва вылезавшую из почвы зеленую травку. На севере области, — в частности, в станице Староминской, — в это время лежал еще снег.

Тарас Охримович, видя овец, спокойно пасущихся у самой трамвайной линии, с тревогой зашептал куму:

— Этот их трайван так прет, что, того и гляди, всех овец под собой передавит! И как это казаки терпят такую бездыханную чертяку? Оно-то, конечно, проезжаешь быстро эти восемь-десять верст, но все же, во-первых, это же нечистая чертовская штуkenция, а во-вторых, ущерб скотине может принести, а то и детишек может передать, покалечить. Нет, на лошадях все же сподручней...

Софрон Падалка кивал в знак согласия и молчал.

Прошло, может быть, полчаса с того момента, как трамвай отошел от вокзала, а три староминчанина уже сидели в уютном домике в центре станицы Пашковской у богатого мужика, лет пятидесяти от роду и приятной наружности, Василия Ивановича Литовченко.

Литовченко считался в станице богатым человеком, и, хотя он был и не из казаков, но являлся коренным жителем Кубанской области, все его уважали, и о нем знали не только в Пашковской. У него был большой участок земли, виноградник с собственной выработкой вина, около трех десятин фруктового сада и кожевенный завод. Бородин давно был с ним знаком и часто закупал у него большими партиями кожевенный товар и бочки недорогого, но высококачественного виноградного вина.

Литовченко встретил гостей очень приветливо, предложил им снять башлыки и черкески и чувствовать себя, как дома. Потом пригласил всех к столу, на котором, вероятно, постоянно стояли большие графины вина собственной выработки. Через несколько минут, зная казачьи вкусы, хозяин присовокупил к графинам вина еще и две бутылки чистой водки.

Василий Иванович оказался не только гостеприимным хозяином, но и забавным собеседником в компании за чаркой горилки. Когда все изрядно выпили и закусили, начались посторонние, не деловые разговоры. Литовченко спросил староминчан:

— Ну как, господа козаченьки, понравилась вам поездка в свою столицу?

— Нет, приятного мало было, — ответил Падалка, вспомнив, вероятно, свои приключения в вагоне возле Тихорецкой, — а горилка и у вас такая же, как и у нас.

— Горилка это что, ничего! Но какая же это столица, когда в ней царя нет? — заметил Тарас Охримович. — По-моему, „столица” обозначает тот город, в котором царь живет. Да, да! А правда, говорили люди, будто бы царь все-таки приезжал в Катырындар?

— Нет, Николай Второй в Екатеринодаре не был, а вот его покойный Батюшка, Александр Александрович, действительно, приезжал. Я лично его видел, и не только видел, но и на охоту с ним ходил в заповедник, находившийся за Кубанью! — с гордостью сказал Василий Иванович, и, желая подшутить над наивными слушателями, добавил: — Вот охота была, да! Как выстрелишь, так и бутылка шампанского к тебе летит! Сколько там было произведено выстрелов, столько и бутылок шампанского выпито...

В это время к ним зашел сын Василия Ивановича, тоже Василий, молодой человек лет двадцати пяти. Он не хотел работать в хозяйстве отца, а ездил помощником машиниста на станции Екатеринодар и, кроме того, пел в церковном хоре Войскового собора в городе. Он часто навещал отца и пришел рассказать ему, как венчали сегодня в церкви одну богатую пару. Шутил он или правду

говорил, но будто бы, когда чтец громоподобным басом читал Апостола и гаркнул последние слова „жена же да боится своего мужа” таким сильным аккордом, что невеста упала в обморок, и на несколько минут был нарушен торжественный чин бракосочетания..

Выслушав рассказ молодого Литовченка, гости обратились к хозяину с просьбой досказать начатую историю о Царской охоте.

— Да охота, что? это ничего, а вот вы, наверное, еще и не знаете, каким я приятелем был с покойным Александром Александровичем!

Бородин с удивлением посмотрел на Василия Ивановича, но сын шепнул ему что-то на ухо, и оба, улыбнувшись, начали слушать.

— В каком году это было, точно не помню, но во всяком случае больше двадцати лет тому назад. В то время как раз была окончена постройка железной дороги между Тихорецкой через наш Екатеринодар до самого Новороссийска, а построена она была точно в 1888 году, вот и считайте сколько этому уже прошло лет. Да, так вот после постройки, Император Александр Александрович и приезжал в Екатеринодар по новой железной дороге. Меня, как главнейшего охотника Его Величества, отправили навстречу царскому поезду в Тихорецкую, и оттуда я сехал в одном вагоне с Царем-Миротворцем.

На станции Кореновская наш поезд задержали по чему-то. И вот стоим час, два... в чем дело? Потом выяснили: оказалось, что навстречу нашему из соседней станции вышел балластный поезд, платформы с песком и гравием, ну вот и ждали, пока он не прибудет на Кореновскую, задержав тем самым наш поезд..

— Что вы мелете, Василий Иванович? -- не вытерпев такой выдумки, перебил его Бородин. — Я не железнодорожник, но точно знаю, да и всем это известно, что, если ожидается проследование царского поезда, то за четыре часа до его прибытия, все станционные стрелки не только запираются на ключ, но зашиваются костылями

намертво. Никакого движения все эти четыре часа не производится, ни по станционным путям, ни по ближайшим трем-четырем перегонам. А вы говорите, что грузовой балластный поезд вышел навстречу царскому...

Сын Литовченка толкнул в бок Бородина и опять шепнул что-то. Тот замолчал, качая головой.

— Перебиваете меня, Аркадий Аркадьевич, а сами в этом деле ничего не понимаете, — стараясь говорить серьезно, продолжал Василий Иванович: — на чем я остановился? Да! Так вот, когда мы узнали, что вынуждены будем ждать прибытия балластного поезда, я и говорю тогда Александру Александровичу: „Ваше Величество! Здесь рядышком есть лесок и речушка, пойдемте поохотимся немножко!” — „Пойдем, пойдем, дорогой Василий Иванович”, радостно согласился Государь наш. И мы с ним сейчас же пошли, все время оглядываясь, боясь, чтобы поезд не ушел без нас.

У него ружьишко было маленькое, легонькое, а мне он вручил специально изготовленное для меня громадное ружьище, одно дуло было аршина три длиною и такое широкое, что мой кулак в него свободно пролезал. Я такое ружьище, прямо таки, через силу тащил на себе.

Я сел покурить, а Александр Александрович один прошел к речушке и спугнул там большую стаю диких уток, не убив, конечно, ни одной, потому что его пукалкой и комаря нельзя было убить. Утки, словно туча, полетели в мою сторону, аж темно стало. Я тогда как бабахнул из своего ружьища, да еще и дулом повел вокруг себя, так утки со всех сторон, словно град посыпались на землю. Только это мы начали собирать их в большой рогожный мешок, радуясь, что теперь-то ужин у нас обеспечен, как вдруг слышим свисток нашего паровоза к отправке поезда. Батюшки мои! Государь с рогожным мешком уток пустился во весь дух к станции, да так быстро, что я со своей пушкой едва поспевал за ним. Видим, а поезд уже набирает ход; едва мы успели уже почти на полном ходу вскочить на тормозную площадку последнего товарного

вагона и в таком положении ночью благополучно прибыли в Екатеринодар.

Наохотившись вдоволь в нашем Закубанском заповеднике и погостив с недельку в нашем городе, он любезно распрощался со мною и уехал назад в свою хату.

Через год или два после этой охоты, мне самому пришлось поехать в Петербург. Расхаживаю там по улицам, гляжу от нечего делать по сторонам и вижу, из небольшого двухэтажного домика, стоявшего на берегу какой-то речушки, вроде нашей Кубани, только поменьше, из открытого настежь окошка машет мне рукой какой-то человек, зовет к себе. Я из любопытства зашел в узенькую калитку, прошел в низенькую дверь. Такую низкую, что мне пришлось даже пригнуться. Вошел в первую комнату этого дома, и первое, что мне бросилось в глаза, было то громадное ружьище, из которого я в Кореновской уток стрелял с Царем-Миротворцем. Засмотрелся я на свое ружье, а в это время подходит ко мне тот человек, что звал меня из окошка, подает руку и, вижу, от радости даже прослезился и говорит мне: „Что же”, говорит он, всхлипывая, „Василий Иванович, совсем забыл про меня и проведать даже не зайдешь?”

Тут только я рассмотрел, что этот человек никто иной, как мой знакомый по охоте на Кубани Император Александр Александрович. Я извинился перед ним и оправдался тем, что мол адрес его потерял, а никто больше не знает, и что теперь, мол, очень рад такой неожиданной встрече.

Ну, уселись мы на деревянной лавке, разговариваем о том, о сем. В комнату вбежал в поношенной форме гимназиста юноша.

„Коля!” – обратился к нему Александр Александрович. (Я сразу догадался, что был это никто иной, как Великий Князь и Наследник Цесаревич Николай Александрович). „Коля! Возьми пятак и сбегай на угол к армянину лимончик купи! Мы вот, с Василием Ивановичем, по старой дружбе, чайку бы выпили!” и начал рыться в кармане, шукая пятак, но карман оказался продырявленным, и он с досадою заметил, что потерял последние пять копеек.

„Пойди у него в долг возьми лимончик!” — сказал он гимназисту.

„Папа!” — ответил Наследник Николай, — „ведь мы армянину уже десять рублей задолжали, и он теперь в долг ничего не дает, а другие тоже в долг не доверяют!”

„Ну что ж, ничего не поделаешь”, — с досадой сказал Александр Александрович, — „придется без лимончика чай пить, присаживайтесь, чем богаты, тем и рады. Эх, бедность, бедность!” — вздохнул он, наливая кипяток в жестяную самодельную кружку. Ну, я..

— Довольно тебе врать! — прервал рассказчика Бородин. — Ты просто кощунствуешь, нельзя на имя покойного Государя сказки сочинять! Все тут, в городе, наверное, такие пустомели! Ты лучше, Василий Иванович, положи-ка в тарелку еще моченого винограду. По-моему, это самая лучшая закуска, да и горилки еще поставь на стол, а то мои станичники скоро уснут, убаюканные твоими сказками!

Литовченко засмеялся, встал, наложил в две тарелки фунтов пять моченого, кисло-сладкого винограда, поставил еще бутылку водки и опять сел. Только когда его рассказ прервал Бородин, староминчане поняли, что хозяин просто выдумал подобную сказку.

— От же, бисова душа, вот так городовики всегда нас дурят! — мотнув головой сказал Тарас Охримович. — А я-то, дуралей, рот разинул, думал и правда. Да и ломаю голову, как же это все говорят, что у царя имеются миллионы золотых рублей и всякого другого добра, а тут вдруг такую небылицу слышу: пятак на лимончик не было! Ну и надул же нас, забавник, — он взял большую кисть винограда, ущипнул несколько ягод и спросил Литовченка: — А вы все-таки, наверное, были у Государя и черпанули там немало золота, что так здорово разжились на кубанской земле?

— Нет! Не был я „там” и ни у кого ни одного золотого не взял, — сказал серьезно Василий Иванович. — Я свой клад сам нашел на своей земле.

— Клад нашел?! — почти выкрикнул Падалка Софрон,

очнувшись. — Чорта два его найдешь, я пробовал уже, хватит! — и он, почему-то с недовольным видом повернулся в сторону и смотрел на портрет какого-то генерала.

— А расскажите, пожалуйста, Софрон Капитонович, как же вы искали клад? Очень интересно! — оживился снова Литовченко.

— Не хочу, не стоит! Да еще против ночи такое нечистое вспоминать. Цур ему!

— Да расскажи им, кум, чего там, нехай послушают, — с улыбкой стал настаивать Тарас Охримович.

-- Ничего не случится, Софрон Капитонович, моя хата освячена, — сказал Литовченко, — а после вас, я расскажу о нахождении своего клада.

Падалка мотнул раза два головою, как будто отгоняя назойливых мух, молча взял и выпил стопку водки и, почмокав губами, начал:

-- Ничего, так сказать, интересного нет. Просто, когда я был еще хлопчиком, то однажды в нашей хате слышал, как дедусь говорил, что на первом от нашего хутора Сосыка бугру, с левой стороны от дороги по направлению к Староминской, между двух больших закругленных вверх, как печерица, могил, находится глубоко в земле большой клад — погреб с золотом. Место это до сих пор называется „Чорна Могила”, и ночами и теперь туда страшно ходить. Эти сундуки с золотом были там якобы зарыты турками-янычарами еще тогда, когда вся Кубанщина была под турком. Я, так сказать, добре запомнил сказ своего дедушки и никому про это не сказал.

Когда я стал уже парубком, то вспомнил про этот рассказ деда и решил, во чтобы то ни стало, достать клад, вырыть сундуки с золотом, запрятанные между двух „Чорных Могил”! Ведь сами знаете, какие у парубка деньги, а там лежит целая гора золота без всякой пользы, почему же не попробовать счастья? Ну и начал я действовать.

Когда я был в трезвом виде, то несколько раз, бывало, едва стемнеет, возьму лопату и смело иду на тот бугор, но как только стану подходить к Чорной Могиле, то на

меня сразу же такой страх нападает, что не дай Бог. И всегда казалось, что будто там кругом кургана сидят черти и поджидают меня. Может там тогда и не было чертей, но сам вид Черных Могил, заросших всегда густым высоким бурьяном, в ночной темноте, сам по себе, навел страх. Могилы эти находились саженях в сорока от дороги, ночью у нас по дороге никто и не ездил, а до первой хаты нашего хутора было не меньше версты полторы, и одному в степи, среди зловеще шелестевшего бурьяна было просто страшно. Да...

Однажды поздно ночью я пошел туда и только стал подходить к могиле, как вдруг что-то мелькнуло впереди меня, и я увидел, как две пары чертячих глазищ, как угольки, блестят в темноте, не мигая. Наверное поджидали меня. Я сразу же, с перепугу, как закричу: „Да воскреснет Бог и расточатся врази Его...” и бросился бежать на дорогу. Так что же вы думаете? Эти два чертенка, эти стражники дьявола, на моих глазах превратились в обыкновенных зайцев, стрелой проскочили мимо меня и скрылись в темноте. Но ясно, что это были не зайцы, а бесы.

Через несколько дней после этого, изрядно выпив, даже сверх меры, когда стемнело, я взял приготовленную днем лопату и опять направился к Черным Могилам. И что же?! В ту ночь чертяка даже с хутора меня не выпустил, а втаскал сатанище в большую грязную лужу и так меня вымазал, что я сам стал похож на чорта. Так мне дома и сказали.

Раз в майский вечер я твердо решил пойти и достать этот невзятый до сих пор клад золота. Еще днем перед этим вечером я положил в карман огарок свечки, которую мать принесла от церкви в Страстной четверг, приготовил острую железную лопату и стал ждать наступления ночи.

Вечером к моему батьку Капитону Стратоновичу, царство ему Небесное, приехали из станицы гости. (Когда мой батько был жив, мы жили на хуторе Западный Сосык и только после его смерти, лет двенадцать тому назад, перешли в построенный в станице дом).

Да. Ну и когда гости, то понятно и горилка в хате. И

я так нализался сивухи, что еле на ногах держался, однако не забыл своего дневного намерения и, на чем бы то ни стало, решил итти к Чорной Могиле.

Выкарабкавшись почти на четвереньках из хаты, и хотя от сивухи все у меня перед глазами вертелось и прыгало, я взял лопату и, не помню сам как, пошел, но никак не мог попасть в ворота, чтобы выйти на улицу и долго блукал по двору.

Потом, — как это случилось, до сих пор не понимаю, — я вдруг очутился как раз среди тех двух Чорных Могили и, вероятно, над тем самым местом, где, по рассказу покойного дедуся, должен быть в земле клад. В ту ночь я ничего и никого не боялся.

Я обрадовался и хотел сейчас же приступить к тому делу, за которым пришел, но едва копнул лопатой, как в тот же момент вокруг меня раздался многочисленный дикий хохот. Я оглянулся... и о, батюшки! Со всех сторон чертей видимо-невидимо, и все так страшно глазеют на меня! Ну, думаю, началось, но ничуть не испугался.

Еще раньше я слышал, что место, где зарыт клад, нечестивое, и чтобы достать это богатство, креститься нельзя, а отгонять бесов надо чем-нибудь другим. Я достал из кармана огарок страстной свечки, воткнул ее в землю и только хотел зажечь, как один высокий чорт внезапно подпрыгнул ко мне и задул в моих руках спичку. Я стал второй раз зажигать, он опять, несмотря на то, что был от меня сажня два, дунул своим бесовским дыхалом и второй раз потушил в моих руках спичку. Тут уж я совсем рассердился, подскочил к нему и так саданул его ногою, что он несколько раз перевернулся на земле и пока кряхтя поднимался, я успел зажечь свечку. В тот же момент я вдруг почувствовал, что медленно проваливаюсь в глубокое подземелье, а все черти, как были с поднятыми вилами вокруг меня, так и остались стоять на поверхности, разинув от удивления рты и не смея шевельнуться. Это потому, что горела неприступная для нечистых страстная свечка, которая по мере того, как я опускался вниз, оставалась висеть неподвижно в воздухе, прямо над моей головой.

Не успел я понять, что со мной происходит, как очутился глубоко под землей, в громадном пустующем зале. Вокруг меня была тьма кромешная. Пробираясь ощупью вдоль стены, я заметил вдали слабый, все время усиливавшийся свет.

Я пошел прямо на этот свет и вскоре впереди себя, в полумраке, различил два больших сундука, возле которых стоял очень похожий на престарелого турка высокий длинноносый с бараньими рогами чорт. В одной руке он держал два больших ключа, в другой светлый серпик луны, от которой исходил свет. Вокруг него, с приподнятыми головами, как стража, лежало множество крылатых змей.

Мне стало страшно, и я уже хотел бежать назад, но он, увидев меня, вложил ключи в оба замка сундуков и, улынувшись, сказал: „Не бойся, раз сумел пробраться сюда, теперь иди ко мне”!

Змеи сейчас же почтительно расступились, и я смело подошел к нему.

„Вот в этих сундуках”, сказал он, „находится золото нашего султана, которое я охранял пятьсот лет. Теперь оно может перейти к тебе, если сумеешь поднять. Бери, будешь богачем на весь мир!”

Я подполз под один сундук и, напрягая все силы, силился поднять его, но сундук и с места не двинулся. А турецкий чорт, вместо того, чтобы помочь мне, взял, да еще и другой сундук положил на меня и говорит: „Поднимай!” Он этот сундук брал очень легко, а я, не то, чтобы поднять их, но уже и плечами шевельнуть не могу, и рад бы, хотя выкарабкаться из под его золота, так и это было невозможно. А чорт, в образе турка, стоит возле сундуков и хохочет во все горло.

Я стал задыхаться и в отчаянии тоже закричал изо всей силы, и...

Как вы думаете, что дальше было? Оказалось, что я находился в своем дворе, в базу, лежал прислонившись к спине спавшей в соломе коровы, а другая рябомордая корова в это время вздумала тоже лечь, и как раз своей

спиной вплотную к первой, то-есть, почти прямо на меня. И они меня без мала не задушили.

Соседский парубок в это время пришел выгонять на пашу наш скот. А было уже утро. Заметив мое положение, он стоял рядом и хохотал во все горло. И, спасибо ему, как раз во время согнал проклятуших тварей, а то бы я задохнулся в навозе, прижатый спинами двух коров.

После этого я, так сказать, навсегда закаялся искать какие-бы то ни было клады. Из бесовских рук ничего не получишь.

Падалка замолчал и стал набивать турецким табаком свою трубку.

Все долго смеялись над таким приключением Софрона Капитоновича.

— Значит, вы плохо искали свой клад и не там, где нужно, — сказал Василий Иванович. — А я совсем не так искал: без особо больших затрат развел хороший сад, виноградник; затем построил небольшой кожевенный завод. Вначале работал очень много, ночей не спал, не пил, не курил и, в результате, теперь владею настоящим кладом. Все у меня есть! И такие „клады” может достать каждый проживающий на нашей богатой и прекрасной Кубанской земле, без страстной свечки, не знакомясь с бесами...

Падалка ничего на это не ответил и, выпустив из рта целое облако табачного дыма, задумался.

Тарас Охримович молча выпил стакан холодного хлебного кваса и, почесав затылок, сказал:

— Н-да, то, пожалуй, и правда, но... но спать меня уже клонит.

С трудом передвигая ноги, все встали от стола, и через несколько минут уже раздавался в комнате храп староминчан, почивавших мирно на постланных им пуховиках.

ГЛАВА VII.

На другой день утром, староминчанам пришлось основательно поработать на узкоколейке, проходившей от Екатеринодара до Пашковской. Бородин, договорив

у начальника станции двухосный вагон до Староминской, погрузил тюки кожи, купленной им на заводе Литовченко.

Хотя рабочих для погрузки можно было найти сколько угодно, Бородин предпочел использовать для этого своих людей. На заводе грузил кожу на подводу с одним хозяйским рабочим сам Бородин, Падалка сопровождал ее до станции, а Тарас Охримович находился возле вагона и смотрел, как грузчики клали товар в него. Такой метод устранял всякую возможность пропажи. Бородин говорил, что прошлым летом он все доверил рабочим, а когда стали разгружать вагон в Старо-Минской, нескольких тюков подошвенной и хромовой кожи нехватало.

Погрузка была закончена до обеда. После работы, сытно пообедав, староминчане решили посмотреть столицу Кубанского Войска.

Бородин охотно согласился сопровождать казаков, и они втроем снова покатали среди полей трамваем в Екатеринодар. Проехав Дубинку, на улице Красной сошли с трамвая и направились на Старый базар.

Покупки для домашних они решили делать на следующий день, а сейчас просто хотели побродить по городу и посмотреть на всех и на все.

Первое, что им бросилось в глаза, были длинные ряды возов, запряженных волами и лошадьми, на которых стояло по несколько бочек продаваемого „на разлив” вина. У каждого продавца имелись стаканы и приспособления для наливания вина в посуду покупателя.

Между возами сновали не только действительные покупатели, но и любители „пробовать” вино чуть ли не от каждой бочки, и таким способом к вечеру напивавшиеся бесплатно. Один старый казак в поношенной черкеске уже от третьего воза отошел, выпив везде по стакану вина, и шел дальше к четвертому.

— Это он пробует, — сказал Тарас Охримович.

— А давай, кум, и мы попробуем Катырындарского вина! — предложил Падалка.

— Да я-то что ж, можно, а вот Аркадий Аркадьевич, наверное, не захочет с нами „пробовать”.

— Ничего, ничего, вы пробуйте сами, а я тем временем схожу по делам нашего кредитного товарищества и через часик вернусь, — и Бородин ушел.

Оставшись вдвоем, Кияшко и Падалка подошли к первому попавшемуся возу и потребовали вина „для пробы”. Хозяин налил им по целому стакану и любезно подал. Выпив вино и спросив цену, оба мотнули головами и с минуту постояли, якобы раздумывая: покупать или не покупать, потом пошли к следующему возу. Через полчаса оба были уже навеселе.

Какой-то престарелый казак с длинными запорожскими усами, в серой дачковой черкеске и высокой бараньей шапке с полинялыми галунами, подошел к староминчанам:

— Бачу, что вы, хлопцы, — черноморцы, и, мабуть, первый раз приехали в наш Екатеринодар?

— То правда, человиче добрый, что первый раз. И не только в Катерындаре, но и вино „пробуем” впервые по вашему способу, — ответил Тарас Охримович, пристально приглядываясь к казаку. — А вы-то, кто же такой будете, не из черноморцев разве? Пойдемте вместе еще вино пробовать!

— Нет, спасибо, я уже пробовал, — ответил тот, — а что черноморец, то правда. Я из Ирклиевской; то -есть, не из станицы, а из куреня. Живу в городе все время, называюсь Письменный Ярема Степанович. А вы?

— Мы оба из Староминской, из станицы, не из куреня, — ответил Тарас Охримович, — в куренях у нас небогатые казаки летом от дождя прячутся на степи.

— А как прозываетесь?

— Я, Кияшко Тарас, а то Падалка Софрон, мой станичник.

— О, у нас в Войсковом штабе теперь служит Кияшко. Умная голова! Может, родственник?

— Не знаю, какой там Кияшко. Куда нам до войсковых штабов! Наше дело хлеб сеять, та хвосты коням крутить.

— То так, но наши прапрадеды знали и еще кое-что. Вот и я...

И Письменный рассказал им много интересного. Он оказался из рода славной запорожской старшины. Его прапрадед Семен Письменный был атаманом Иркиевско-го куреня в Запорожской Сечи перед самым ее разрушением в 1775 году. После основания черноморцами Екатеринодара, то-есть с 1794 года, его прадед, дед и отец жили в этом городе. Несмотря на простой внешний вид, он оказался образованным казаком и знал много того, чего совсем не знали оба староминца. Он жил в своем домике на берегу Кубани с сыном, который занимался садоводством, а другой сын служил в армии.

В это время к ним подошел и вернувшийся Бородин.

— Э, да у вас уже и знакомства завелись! И, кажется, вы уже добре напробовались вина? — пшутил он.

— Это добрый черноморец, — отвечал Тарас Охримович, — он много кое-чего знает про наше казачество, а вот выпить с нами не хочет.

— Выпить я успею, когда угодно, — сказал Ярема Степанович, — пойдёмте, лучше я вам покажу памятник Екатерине Великой!

— Да у нас время ограничено, хотя это, кажется, недалеко отсюда? — спросил Бородин.

— Не больше, чем двести сажен отсюда, почти рядом!

— Пошли, чего там! — серьезно сказал Тарас Охримович, и все направились следом за Письменным.

Когда вошли в Екатерининский сквер, в центре которого находился большой красивый памятник, Ярема Письменный с почтением остановился, выправился, прошел ровным строевым шагом к ограде памятника и сел потом на деревянную лавку.

Памятник этот был поставлен в 1896 году, в ознаменование двухсотлетия Кубанского Войска. Высокая бронзовая статуя Екатерины Второй была обращена лицом на север. С левой стороны, ниже Императрицы стояли фигуры кошевых атаманов Черноморского Войска: Сидора Белого, Захара Чепиги и Антона Головатого. Направо, лицом к ним светлейший князь Потемкин-Таврический. Сзади, на том же пьедестале, было изображение



Екатеринодар. Памятник Императрице Екатерине Второй,
сооруженный в 1896 году.

слепого кобзаря с бандурою в руках, а возле него подросток-поводырь.

Трое староминчан уселись на лавке рядом с Письменным и долго смотрели на памятник.

— А чего эти запорожцы вроде как бы зажурены стоят? — спросил Тарас Охримович, показывая рукой на фигуры кошевых атаманов.

— Это изгнанные с Запорожской Сечи атаманы, не зная куда податься, пришли у ног царицы, изгнавшей их, просить защиты и правды. Долго эти бидолаги горемыкали, но потом все же нашли свою правду, — ответил грустным тоном Письменный.

— Правду, говорите, нашли? А где же она, эта правда? Понаплывшие со всех концов Рассеи-Матушки иногородние скоро не только командовать нами будут, но и в бою запрягать нас станут! Ведь земля эта наша! Для ее завоевания много было пролито казачьей крови, а теперь городовики лучше нас живут на нашей земле! Вот и правда... — и Тарас Охримович почему-то сердито взглянул на Бородина.

— Совершенно верно! — сказал Ярема Письменный. — Когда наши прадеды строили Екатеринодар, то тогда на всей земле Кубанской не было ни одного иногороднего. Тогда им просто запрещалось въезжать в наш обетованный край, а тем более приобретать нашу землю. Да они не очень и настаивали, потому что тогда еще шла упорная борьба с горцами. Тогда только одни сыны славных запорожцев, Черноморские казаки, были полными хозяевами богатой Кубанской равнины. Но не долго так было. Покорение Кавказа было закончено, и с казаками опять стали не очень считаться. Еще при жизни моего батька, в 1868 году, последовал высочайший указ, разрешающий иногородним поселяться не только в городах нашего края, — в том числе и в Екатеринодаре, — но и по всей области. И иногородние со всех концов Российского государства, как саранча, хлынули в наш край, завоеванный кровью наших дедов и прадедов и особой грамотой Екатерины Второй подаренный черноморцам в собственность на веки вечные. А получилось так, что мы своим

„собственным” краем уже не распоряжаемся. Кого вы теперь здесь только не встретите? И полтавские галушники, и тамбовские лапотники, и московские корзинщики, которые, кроме кваску и житнего хлеба, ничего больше не видали, и армяне, и кого только нет! Они наводнили не только наши города, но и чистокровные прежде казачьи станицы, коверкая наш родной язык, развращая народ, соблазняя наших девчат и нарушая узаконенный веками наш казачий быт. Наши города первыми почувствовали такой чужеродный наплыв, и казаки, жившие в Екатеринодаре до этого Петербургского указа, в большинстве вынуждены были выехать в разраставшиеся станицы области. Но мой отец остался, и я тоже. И в наших привольных черноморских станицах, истинные потомки Запорожской Сечи и теперь свято хранят традиции своих предков и казачью честь. Пока это будет, наши привольные степи Кубанские будут процветать, и люди благоденствовать. Нарушим священные традиции наших предков, поколеблем так долго хранимую казачью честь, и от наших вольностей останутся одни воспоминания...

Письменный умолк и задумался. Оба староминчанина внимательно слушали старого черноморца и полностью разделяли его взгляды. Бородин от слов Письменного почувствовал себя немножко неловко, но своего смущения не показывал. Ведь он тоже был в числе „наплывших на Кубань” иногородних и всего только лет двадцать тому назад, как поселился в Староминской, и теперь благодаря своим торговым занятиям разжился так, как ни один казак-хлебобор в станице. Кияшко, уже немного примирившийся с тем, что его родная дочь вышла замуж за иногороднего, опять стал сожалеть, что это случилось в его роду, и немало обвинял за случившееся как раз Бородина...

Они долго сидели еще у памятника и говорили о былой славе Черноморских казаков и теперешней жизни в Кубанской области.

Вечерело. Медленно подкрадывалась ночь, как бы боясь застигнуть врасплох сидевших в сквере потомков запорожцев.

— Завтра утром приходите опять сюда, я поведу вас посмотреть наши дедовские святыни! -- предложил, поднимаясь со скамейки, Письменный. — Я покажу вам войсковые регалии Запорожского Войска, Войска Верных Казаков, Черноморского и Кубанского! Добре?

— Добре, обязательно придем! — ответил, не раздумывая много, Тарас Охримович, который теперь почему-то мало обращал внимания на Бородин, а всецело подпал под влияние усача Письменного.

— У меня еще дел много завтра, не смогу пойти с вами, — заметил Бородин.

— Ну и делайте свои дела, а нам что до этого? — не совсем вежливо ответил Тарас Охримович. — Мы посмотрим наши святыни, которых никогда не видели и может больше и не увидим, а потом Ярема Степанович посадит нас на „трайван“, и мы после обеда будем в Пашковке.

Вокруг памятника зажглись электрические фонари, отчего он сделался еще красивее.

Все встали со скамейки, несколько минут любовались памятником, обошли его кругом. Тарас Охримович шагнул ближе, снял шапку и поклонился; но кому, — царице или трем атаманам, — трудно было понять, так как его поклон пришелся между фигурами Черноморских Кошевых и статуей Императрицы..

Выйдя из Екатерининского сквера и простившись с Яремой Письменным на трамвайной остановке, староминчане поехали по улице Красной до Дмитровской, сделали пересадку в другой трамвай, направлявшийся прямо в станицу Пашковскую, и через полчаса уже сидели за столом у гостеприимного Василия Ивановича Литовченко, пили вино и горилку и рассказывали о всем, что видели и слышали за день в Екатеринодаре...

**

На следующий день, после завтрака, Кияшко, Падалка и Бородин опять поехали к памятнику Екатерины Второй, где их уже поджидал Ярема Письменный и весьма обрадовался их появлению.

Бородин, как предупредил накануне, ушел от них по своим делам, а трое черноморцев направились к зданию

Войскового Штаба, в котором хранились Кубанские Войсковые регалии.

Помещение было не слишком велико, но вполне достаточно для размещения всех войсковых святынь — Запорожского, Верных Казаков, Задунайского, Азовского, Черноморского и Кубанского казачьих войск — фактически же, одного и того же Войска, существовавшего в разное время и в разных местах под разными наименованиями...

Вот большое белое знамя с черными орлами и надписью: „**За веру и верность**”, данное Войску Верных Казаков в 1788 году за героическое участие бывших запорожцев в упорных боях с турками под Очаковым. Тяжелое горе выпало там на долю казаков: они потеряли в этих боях под Очаковым и своего Кошевого Атамана Сидора Белого, который был смертельно ранен и на второй день скончался. Но за этот же подвиг Войско было названо Черноморским.

Георгиевское голубое знамя с надписью: „**ЗА ХРАБРОСТЬ, ПРИМЕРНУЮ СЛУЖБУ В ВОЙНУ ПРОТИВ ФРАНЦУЗОВ, АНГЛИЧАН И ТУРОК В 1853-1855 ГОДАХ**”, пожаловано было Черноморскому Войску в 1856 году. Георгиевское белое знамя с надписью: „**ЗА ОТЛИЧИЕ В ТУРЕЦКУЮ ВОЙНУ 1877-1878 ГОДОВ**”...

Объяснения давал Письменный, который был здесь, конечно, не в первый раз, и его все в Штабе хорошо знали. Тарас Охримович вспомнил, что в Турецкую войну 1877-78 годов воевал его родной отец, покойный Охрим Пантелеевич, и сказал об этом Письменному.

— Да, наши отцы принимали деятельное участие в этой войне, подтвердил Письменный.

Затем подошли к малым куренным знаменам и значкам, бывшим еще в Запорожской Сечи, и Письменный с гордостью показал на светло-зеленый значек с изображением Св. Георгия Победоносца, на котором была надпись: „**СЕЙ РАПИР СДЕЛАН КУРЕНЕМ ИРКЛИЕВСЬКИМ ЗА АТАМАНА СЕМЕНА ПИСЬМЕННОГО В 1770 ГОДУ**”.

— Это реликвия моего прапрадеда, — сказал Ярема

Письменный, набожно перекрестился и поцеловал значек своего куреня.

Рядом был голубой с узорами и тоже изображением Св. Георгия Победоносца, с крестом, полумесяцем, звездой и надписью: „СДЕЛАН РАПИР СЕЙ ЗА АТАМАНА ПРОКОПА КАБАНЬЦЯ, КУРЕНЯ БРЮХОВЕЦЬКОГО В 1770 ГОДУ.“

— Вот теперь эти бывшие курени называются станицами Ирклиевской, Брюховецкой и т. д., — сказал Письменный. — А вот и вашей станицы, Старо-Минской! — и он указал на значек из зеленой шелковой материи, на котором стояло: „СЕЙ РАПИР СДЕЛАН АТАМАНОМ МИНСКОГО КУРЕНЯ АНТОНОМ ВЕЛИКИМ В 17...“, а дальше было вырвано, по пояснению Письменного, возможно и турецкой картечью.

Тарас Охримович стоял и молча смотрел на этот старый значек и вспомнил многое, о чем часто дома читал вслух его сын Петр в тех книгах, которые подарил ему Куш.

Письменный выпрямился, сдвинул сурово брови, протянул руку к значкам и, повысив голос, начал речь:

— Видите эти простые матерчатые значки и малые знамена тридцати восьми куреней, бывших в Запорожской Сечи?! Простые, немые и молчаливые, но знаете ли вы, сколько боевой славы, доблести и геройства видели они за свою многовековую историю? Сколько легендарных рыцарей с острова Хортица держало их в руках и сражалось под этими „простыми“ реликвиями? Запорожцы с этими знаменами гуляли и по Босфору, нагоняя страх на могущественных турецких султанов; от них трепетали крымские татарские ханы; от них бежали ясновельможные польские паны; падали, как под серпом колосья, ляхи-униаты! С этими знаменами, малыми куренными и большими войсковыми, Галайда носился на байдарках по Черному морю, у стен Константинополя, Гамалий выручал попавших в турецкую неволю запорожцев; погиб Наливайко, но не посрамил чести казачьей; Тарас Трясило бился с ляхами дни и ночи, пока не побил их; кошевый Сирко вызволял своих братьев из крымской татарской

неволи; Дорошенко и Сагайдачный „по під горою” вели „свое військо”, Войско Запорожское..

Около Письменного собралось человек десять и, точно окаменев, слушали его слова, а он, не обращая внимания, продолжал:

— Великие тайны хранят в себе эти свидетели былых подвигов! Не с этими ли значками, перначами и клейнодами гайдамаки гуляли по всей Украине, освобождая ее от ляхов-униятов, не с ними ли Тарас Бульба справлял „поминки” по Остапе, не во имя ли их он сгорел живьем на костре, но не посрамил чести казачьей, не нарушил веры православной?..

Письменный умолк и опустил голову.

Тарас Охримович подошел, перекрестился и три раза поцеловал край зеленого значка Минского куреня, еще раз пристально посмотрел на него и сурово глянул на Падалку. Тот тоже поспешно перекрестился и поцеловал значек.

Дальше было еще много знамен, подаренных русскими царями в различное время, и на всех стояло: „ЗА ВЕРУ И ХРАБРОСТЬ”. Тут же стояло большое серебряное, вызолоченное блюдо с надписью: „ДАР ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ ВОЙСКУ ЧЕРНОМОРСКОМУ 1792 ГОДА ИЮЛЯ 13-ГО В ЦАРСКОМ СЕЛЕ ЧЕРЕЗ ВОЙСКОВОГО СУДЬЮ АНТОНА ГОЛОВАТОГО”.

— Это царица Катерина подарила черноморцам тогда, как дала и грамоту, в которой она жаловала наших прадедов землю Кубанской, -- сказал Письменный.

Тут же лежали и подлинники грамот Екатерины Второй и Павла Первого, являвшиеся основными документами на право казаков пользоваться землей и всеми угодьями Кубанского края. В особых витринах помещались мундиры императора Александра Второго и великого князя Михаила Николаевича. Были десятки полковых знамен, куренные печати, войсковые малые и большие печати, литавры, около тридцати грамот и рескриптов Павла I, Александра I, Николая I, Александра II, Александра III, Николая II..

Часа три осматривали староминцы эти реликвии Ку-

банского Войска и не жалели, что вчера случайно завели знакомство с Яремой Письменным. Все трое медленно, как бы с сожалением, покинули здание, в котором хранились такие сокровища истории их предков.

— Да, было у нас на земле Черноморского Войска! Вначале не разрешали даже жениться казакам на неказачках, а казачкам невольно было выходить замуж за иногородних. А теперь что! — и Письменный безнадежно развел руками.

— Да, проклятые городовики испортили наши семьи, — со злостью сказал Тарас Охримович.

— Тише, вон, кажется, ваш городовик стоит, — сказал Письменный, показывая рукой на поджидавшего их на улице Бородина.

— Та то наш, безвредный.

— Ваш-то ваш, но, хлопцы-черноморцы, смотрите, не кладите им пальца в рот, а то откусят. Хороши они до поры до времени, — и Письменный даже пальцем погрозил.

Бородин стоял и ожидал их, боясь, чтобы они без него не заблудились, но в здание Штаба не зашел. Для двух староминчан было еще лучше, что он пришел, а то, как ни как, они очень плохо ориентировались в городе, и все им казалось, что идут они не в ту сторону.

Ярема Письменный по-братски простился с двумя нашими черноморцами и долго еще стоял и смотрел им вслед, то делая прощальный взмах рукой, то вроде как грозя им чего-то, пока они не скрылись за углом соседней улицы.

Все трое пошли теперь по магазинам и купили разных городских подарков и товаров, нужных и ненужных, чтобы было чем похвастаться в Староминской.

Потом Тарас Охримович захотел еще посмотреть на реку Кубань. Они подошли к невысокому крутому обрыву и долго искали спуска к берегу. Наконец, это им удалось. Все подошли к слегка мутноватой воде.

— Так вот она, наша река Мать-Кубань, — восторженно сказал Тарас Охримович и зачерпнул ладонью глоток мутной воды, потом умылся, утерся полою черкески,

приговаривая: — Пусть не говорят теперь, что я никогда не пил воды с Кубани!

То же самое сделал и Падалка. Бородин только улыбнулся. По реке шел небольшой пароход. Постояв пока он пройдет мимо, староминчане вскарабкались по тропинке наверх, вышли на Красную улицу и поехали в Пашковскую.

Как ни интересно и ни приятно было пребывание в Екатеринодаре, но Тарас Охримович, несмотря на уговоры Литовченка „остаться еще на денек”, категорически заявил, что пора ехать домой.

— У вас, не спорю, добре жить, но у нас все же лучше, — сказал он.

— Да, вы, конечно, правы, — согласился Литовченко, — каждому свой куток милей и уютней кажется. Не даром есть пословица: „как ни хорошо в гостях, а дома лучше!”

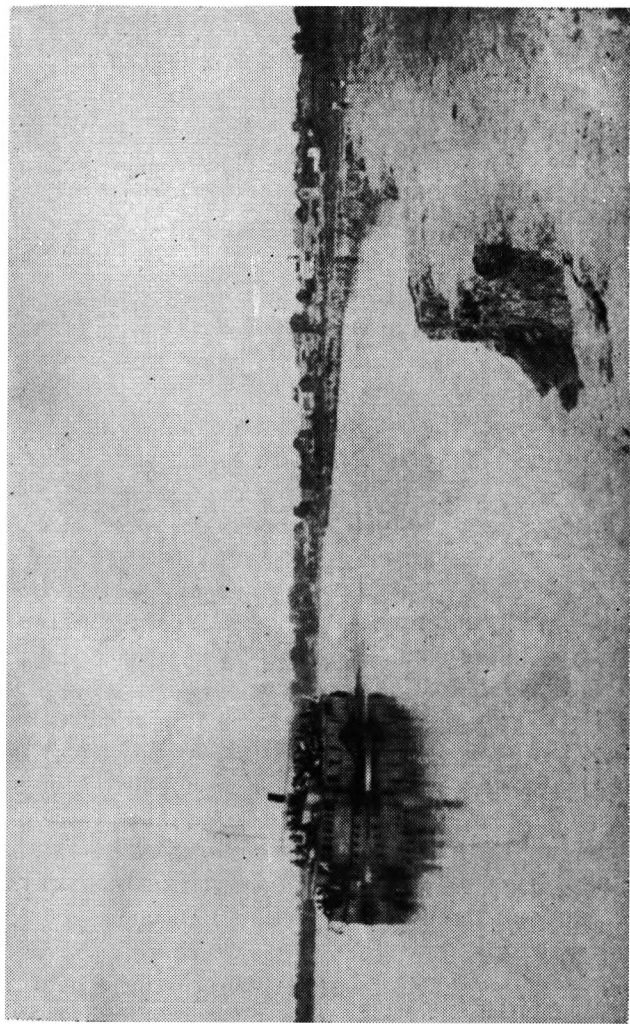
У Бородина Аркадия тоже все дела, ради которых он приезжал в Екатеринодар, были закончены, и он не возражал против возвращения.

На следующий день, рано утром, они простились с гостеприимным Василием Ивановичем, сели на трамвай и поехали на Черноморский вокзал.

Через полчаса после прибытия на вокзал староминчане простились с Екатеринодаром, и поезд повез их через густые сады и покрытую терновником равнину в сторону Тимошевки. Он шел на Ахтари, поэтому в Тимошевской они сделали пересадку на другой поезд, шедший до Куцевки через Староминскую, и к ночи прибыли уже в родную станицу. Обратный путь прошел для них без особых приключений, и вечером Тарас Охримович и Софрон Падалка сидели уже в кругу своих семейств, одаривая всех разными обновками и гостинцами и рассказывая о виденных ими чудесах и диковинках в городе Екатеринодаре...

ГЛАВА VIII.

После поездки в Екатеринодар, в следующее воскресенье, Тарас Охримович первым пришел из церкви, разделся и первым же сел к столу.



По реке Кубань идет пароход. Вдали виднеется Екатеринодар.

— Батя! — сказала Наталка. — Недавно приходил „тыжневый” казак и говорил, чтобы вы после обеда шли в правление на сходку. Он всем дворам загадывал, атаман зачем-то собирает...

— Знаю, это в церкви и поп объявлял, — с неудовольствием пробурчал Тарас Охримович. — Чего это Емельяну Ивановичу вздумалось будоражить добрых людей? К посеvu надо готовиться, а он сходки собирает! Не выдумал ли чего нового?

— Я слышал, казаки такое говорят, — сказал, присаживаясь к столу Никифор; — что Черноморку уже построили, так теперь мол еще и трамвай в нашей станице начнут проводить.

— Чего, трайван!? Этого еще не доставало! Всего три дня как я приехал с Катырындара и видел этот их трайван, да он всех свиней наших на улицах передавит. Нет, нет, этого допускать в нашей станице нельзя! — и Тарас Охримович, покачав головой, с усердием принялся за жирный борщ, чтобы поскорее закончить обед и итти на сходку.

— А я чув, -- сказал только-что пришедший из церкви Петр, -- что речку нашу чистить будут.

— Как так, кто ее чистить будет?

— Приехал какой-то немец и говорит, что всю грязь со дна Сосыки вычистит, а ведь ее там аршин пять толщины осело под водой, а, главное, все это сделает бесплатно; только то, что найдет в речке, его будет.

— А что же он там найдет, жаб та черепак?

— Нет, говорят, что в старовину, когда еще этот край был под Турцией, то Сосыка была глубокая и по ней большие корабли ходили. И один корабль, груженный золотом, затонул где-то вблизи нашей станицы и так и остался на дне. Выплывшие трупы турок похоронили в большом кургане, что возле Якуты Петра, недалеко от берега речки, а корабль со временем занесло илом и никто не знает, где он.

— Значит, и рыба, и раки должны пропасть после этого?

— Не знаю, я так слышал; может, то и брехня просто,

— и Петр тоже взял деревянную ложку и прился за борщ.

Тарас Охримович, пообедав и не отдыхая, как это он всегда делал, сейчас же пошел на сходку.

С середины февраля стояла оттепель. Земля почти оголилась от снега, лишь у заборов оставались еще сугробы. Тропинки у заборов попросыхали и ходить по ним было уже легко. Зато посреди улиц образовалась такая грязь, что пара лошадей только двуколку могла тащить, а в обыкновенную подводу, даже порожнюю, надо было впрягать четверню. Даже почки на деревьях разбухли, как в теплые апрельские дни.

Дети и молодежь радовались раннему теплу, позволившему им щеголять не в тяжелых зимних кожухах, а в легких весенних „жакетах”. Старики, наоборот, с неудовольствием говорили, что оттепель может смениться морозами и снегом. Вообще такая погода предсказывала холодную, затяжную весну, и фруктовые сады подвергались опасности: разбухшие уже почки могли погибнуть от весенних заморозков, и, следовательно, ни яблок, ни груш, ни черешен, ни жерделей — ничего в этом году не будет.

Воспользовавшись теплым воскресным днем, атаман станицы Ус, Емельян Иванович, решил созвать станичный сход для разрешения некоторых хозяйственных вопросов. По существующему в Кубанских станицях порядку, ни одно мероприятие, имеющее общественное значение, не проводилось в жизнь без общего согласия казаков станицы.

В обширном дворе станичного правления, вблизи длинной кирпичной общественной конюшни, собрались от каждого почти дома и седобородые, и молодые хозяева.

За поставленными в ряд столами сидели в середине: помощники атамана — Якименко и Гавриш, почетные судьи, писаря правления — Бирюк и Горб. Дальше к краям расположились „доверенные” — больше тридцати человек: с рыжими волосами и красной бородой Пасенко Семен, маленький и заиковатый Шека Клим, Дрофа, Мазняк, Галась, Волошка, Пятак, Сербат, Цыгыкало, Калий,

Слынько, Лях, Гагай, Баштовий, Таран, Огиенко и др. Остальные казаки сидели против столов на досках, положенных на кирпичины, или стояли полукругом, ожидая появления хозяина станицы.

Наконец, из дверей показался сам атаман с наскою в сопровождении старшего помощника и главного писаря. Он взошел на специально приготовленный помост, поздоровался со всеми и открыл сход:

— Не обессудьте меня, господа казаки, что я решил сегодня побеспокоить вас немного; но ведь вы знаете, что я только ваш слуга, которому вы доверили хозяйство станичного общества, а настоящими хозяевами являетесь все вы. Необходимость же в этом следующая, — атаман взял в руки лист бумаги, который лежал до этого перед писарем.

— Вам всем известно, — продолжал атаман, — что постройка нашей Черноморской железной дороги уже закончена. Теперь, чтобы проехать в нашу Кубанскую столицу, Екатеринодар, не надо делать круг через Тихорецкую, а есть поезд, на который можно сесть в своей Староминской и через Тимшевку без пересадки прямо в Екатеринодар. Также, кто хочет поехать в Ростов, тоже не нужно объезжать вокруг Павловки, через Сосыку, а прямо через Канеловскую, Кущевку и сразу в Ростов.

Все это вам хорошо известно, польза от этого очевидна, и я повторил только для того, чтобы сказать следующее:

Рядом с железнодорожным мостом, что лежит между Староминской и Канеловской через нашу речку, есть и деревянный мост для гужевого передвижения. Этот деревянный мост построен в облегчение постройки железной дороги, но он и нам не будет лишней. За речкой находится земля нашего юрта, есть общественные пастбища. И хотя там находятся паевые наделы всего нескольких десятков наших казаков, но скотину на пашу гоняют туда сотни хлеборобов; особенно, живущие на подселке, как первого, так и второго, кварталов. Очень удобен он и для поездки на вальцевую мельницу до Ивченка в станицу

Канеловскую. Исходя из этого, я закрепил этот мост за нашим станичным обществом. Железнодорожное начальство с удовольствием уступило его, так как он им больше не нужен; но для того, чтобы на него можно было удобнее подъезжать и чтобы сохранить насыпь от размывания водой, надо к нему с обеих сторон, сажень по тридцать-сорок, подвезти земли, и немало. Тут нужны сотни подвод, так что мы своими общественными лошадьми не в силах это сделать, а требуется и ваша небольшая гужевая помощь. Как вы на это смотрите?

— Чей паевой надел находится за речкой, тот пускай и делает! — слышались отдельные голоса.

— Так рассуждать нельзя, — возразил атаман, -- при следующем переделе земли, там уже будут другие казаки со своими паями; а ездит на мельницу в Канеловку полстаницы! Я предлагаю так: кто имеет четверо лошадей, пусть на этой неделе, на один день, вышлет свою подводу с парой коней и взрослым рабочим. Наш десятник и помощник атамана завтра выйдут туда и покажут все, что и как нужно делать. Согласны?

— Конечно, надо согласиться, никто не полиняет, если один день с лошадьми поработает, — слышалось со всех сторон. Но были и возражавшие. Атаман проголо-совал; за его предложение было большинство, и вопрос этот был решен.

— Теперь, господа казаки, -- продолжал Ус, переходя к другому вопросу, — вы знаете, что нашему станичному обществу принадлежит земля не только та, что мы видим вокруг станицы, но есть еще под городом Ейск 2900 десятин и в нагорной полосе 6661 десятина. Все это — собственность нашего староминского общества. Мы эту землю не можем включать в паевые наделы казаков нашей станицы: очень далеко, и поэтому каждый год сдаем эти участки в аренду. За эти деньги, как вы знаете, в нашей станице за последние года построено следующее: вот это самое лучшее и необходимое здание в станице, — и атаман указал на большое двухэтажное каменное здание Правления с паровым отоплением, — большая

каменная с тремя алтарями церковь Св. Пантелеимона Целителя, две кирпичные школы в станице и одна на хуторе Западный Сосык, ряд небольших деревянных мостов по водопроточных балках нашего юрта и прочее. Но некоторые станичники из подселка первого и второго кварталов жалуются, что их детям очень далеко в школу ходить, также и на втором хуторе Восточный Сосык нет настоящей школы. Поэтому я обращаюсь к вам за разрешением на имеющиеся в нашей казне средства построить еще две школы: одну на подселке второго квартала, на окраине станицы в сторону станции Черноморка, и другую на хуторе Восточный Сосык. Кирпич есть на нашем заводе возле Дурноцапки, а часть обещал дать казак Петренко со своего кирпичного завода в четвертом квартале. Для школы на хуторе Восточный Сосык кирпич обещал дать бесплатно со своего кирпичного завода Сергисенко Иван, который живет отдельным хутором на Канеловской стороне, но как раз напротив наших староминских хуторов, и доставка его туда будет недалекой. Ну, а за дерево, железо, прочий строительный материал и мастеровых рабочих придется заплатить наличными. Этот вопрос обсуждался пока без вас, а как вы на это смотрите? Согласны с нашим мнением или нет?

Начались тихие споры. Один низкорослый седой казак Глушко, с десятого квартала, вышел вперед и попросил слово:

— Сколько теперь у нас уже понастроили этих школ и даже гимназию имеем и все мало. Мы когда-то совсем не ходили в школы, а жили и живем, слава Богу, не хуже разных ученых. Не лучше бы было деревянные тротуары проложить и по другим улицам, а не только по Красной; а то вот и сейчас и поздней дождливой осенью, на окраинах станицы в грязи прямо утопаем! — и он отошел.

— Тротуары, тротуары! Когда грязь, верхом можно на коню просхать! — закричало несколько молодых казаков. — В первую очередь школы надо строить; вам то,

доживавшим свой век, все равно, а детям теперь всем надо учиться!

Высокий стройный казак лет тридцати пяти Фоменко, Мина Андреевич, вышел на середину полукруга и обратился ко всем:

— Господа казаки! Я так предлагаю: если грошей в нашей казне достаточно, то школы, конечно, надо в первую очередь построить, но и негоже то, что тротуары имеются только на главных улицах, а на окраинах, действительно, ранней весной и поздней осенью в грязи утопаем. Поэтому тротуары надо построить еще на некоторых больших улицах! — и он замолчал.

— Правильно, так будет всем хорошо! — закричало большинство.

Атаман поднял насеку, и все стихли.

— Господа казаки! Средства в нашей казне есть, и еще ожидается поступление за прошлогоднюю аренду на землю, что под Ейском. И я вполне согласен с тем, что сейчас сказал уважаемый нами Мина Андреевич. Есть еще какие предложения?

— Нет! — загремели сотни голосов. —

— Тогда голосую!

За предложение Фоменко Мины подано было подавляющее большинство голосов, и оно было принято.

Атаман пошептался еще о чем-то со своими помощниками и сказал:

— Есть еще один скандальный вопрос, который надо разрешить всем казачьим обществом. Наш казначей Михаил Кибер слишком часто стал в духан заглядывать, но не в этом беда: пьют все. Беда в том, что недавняя проверка обнаружила у него недостачу наших общественных денег в сумме 473 рубля 50 копеек. Следовало бы сейчас же его под суд отдать, да жаль жену и детей, и я только отстранил временно его от должности и теперь выношу это на ваш суд. На сегодняшний день он каким-то путем погасил недостающую сумму, однако это не успокаивает меня: допусти его, а он завтра опять начнет тратить казну. Так вот, что мы будем делать с таким казначесом?

— Снять с должности и выбрать другого! — закричало несколько казаков.

— И я, и мои помощники тоже такого мнения, — сказал атаман. — Ненадежный стал человек, а деньги-то ведь всего нашего общества. Я вас попрошу и выдвинуть кандидатуру будущего казначея!

— Юхим Мацало нехай будет казначеем! — раздалось глоса.

— К чорту Мацала! Он — шабай, своих же казаков на базаре надувает, как цыган! — слышались шумные протесты других.

Престарелый казак Сизонец, с ослепшим одним глазом и часто мигая другим зрячим, вышел на средину круга и начал:

— Я, ыы, сказать хочу, ы, ыыы..

— Да что ты „ы, ы”! Кроме „ы”, больше ничего и не скажешь! — засмеялись передние казаки.

— И не скажу, раз смеетесь, — и Сизонец обиженно отошел.

Потом вышел Шека Клим и, краснея от заиканья, сказал:

— Дорогие ба-ба-б-братцы ко-ко-козаченьки! Ка-ка-казначеем нам надо такого человека, который бы вот ка-ка-каким был: чтобы чужих ба-ба-ба-ба-баб не любил и не бегал за ними, як Рябко, второе, чтобы горилки не хлебал, ка-ка-как гусь воду, и, третье, чтобы в карты не играл. Бо где чужая ба-ба-ба-баба, там и чарка, а чарку без грошей не дают. Ярыжники, картежники и бабники — все ненадежные люди для кассы нашего общества. Так вот таким подходящим человеком, братцы-козаченьки, бу-бу-будет Фоменко, Владимир Андреевич. На этого можно смело положиться...

Некоторые смеялись во время его речи, другие с одобрением кричали:

— Правильно, Клим Иванович! Бабников не треба!

— Таран Яков тоже пригодный будет для этого казак,

— отозвалось трое с первого квартала: Кожушный, Лоцман и Сеник.

— Верно, верно, — закричал громко Якута Петр, — этот не то, что к чужим бабам что-нибудь носить, он и свою почти не кормит; на одной кукурузной каше живет и надел на свою жинку тринадцать уздечек, чтоб не разнузданась и не вздумала главенствовать. А живет он побогаче, пожалуй, всех нас, так что на случай нехватит в кассе денег, будет с чего взять на покрытие недостатка...

Такие шуточные замечания переходили в серьезные споры и, таким образом, образовалось две группировки: одни поддерживали Тарана Якова, другие были за Фоменко. Атаман знал обоих с хорошей стороны и поэтому, не решаясь поддерживать какого-либо одного, поставил на голосование.

За Фоменко Владимира было подано 784 голоса, за Тарана Якова -- только 340.

-- Итак, с завтрашнего дня кассу нашей станицы принимает Владимир Андреевич Фоменко! — объявил атаман.

Фоменко Владимир — с серьезным смуглым лицом, ржеватыми большими усами, в новом коричневом бешмете — вышел на середину, снял шапку и искренне поблагодарил станичников за оказанную ему честь.

— И еще один вопрос, — почесав затылок, сказал Ус: — наш помощник атамана Кислый Терентий по болезни отказался исполнять свою должность, и, по предложению доверенных, Атаман Отдела генерал Кокунько временно назначил на его место казака Якименка Карпа, до следующих выборов. Имеете вы какие-либо возражения?

— А чего это Кислый вдруг заболел? Здоровый пузан, как бык! — слышались вопросы.

— Я не доктор, но „болезнь” у него серьезная, — сказал улыбаясь атаман. Никто не понял значения его улыбки, а тем более причины отставки Кислого. Так как Якименко Карп был порядочным, честным и зажиточным казаком, то возражений против него не было. А раз Атаман Ейского Отдела сам утвердил его, то даже и обсуждать этот вопрос как-то неудобно.

После этого атаман распустил сход, а сам с писарями и помощниками ушел в здание станичного правления. Казаки, обсуждая затронутые на сходке вопросы, неспеша расходились по домам.

Тарас Охримович вернулся со сходки домой перед вечером и сразу же упрекнул сыновей за их выдумки, сообщив, что ни одного слова никто на сходке не говорил, ни о „трайване”, ни об очистке речки, ни о турках и их золоте.

— Значит, мы еще не дожили до тех дней, чтобы это было претворено в действительность, — сказал Никифор, — но если и дальше так же хорошо и мирно будем жить, то в ближайшие годы в нашей станице и трамвай будет, и электричество и речку вычистят...

— Жили сколько без этого, проживем и дальше, — сказал Тарас Охримович и, надев старый кожушек, вышел во двор посмотреть скотину.

Через три-четыре дня после сходки, без всякого напоминания, удлиненный и расширенный подъезд к деревянному мосту через реку Сосыку возле железной дороги был сделан по всем правилам.

Тротуары почти на всех главных улицах станицы проложили еще до начала весенней распутицы, а две школы на хуторе Восточный Сосык и в станице под руководством наезжавшего инженера и присмотром самого атамана начали строить в мае месяце...

В день Сорока Мучеников, 9-го марта, женщины в доме Тараса Кияшко готовились отгадать, кто в их семье самый счастливый.

Ольга Ивановна, замесив тесто, бросила в него серебряный пятак, затем опять его размесила и сделала по числу членов семьи девять одинаковых „птичек” из теста и вместе с паляницами хлеба положила в печь. Аккуратно вылепленные из теста фигурки были похожи на сидевших в неподвижности перепелок. Существовало поверье, что тот, кому попадется „птичка” с монетой, и будет самым счастливым.

Когда „птички” испеклись, Ольга Ивановна вынула

их из печи и сейчас же, еще горячими, разделила по одной всем. Все, разламывая их на куски, искали внутри монету.

— Ага! Вот у кого она! — радостно воскликнул Федька. Все с завистью обернулись к нему и увидели, что, действительно, ему достался счастливый пятак.

Особенно удивлялись тому, что уже третий год подряд счастливая птичка с монетой попадаетея ему и никому другому. Поэтому он, несомненно, должен быть самым счастливым из всей семьи в жизни. Насколько это оправдается в будущем, пока никто не знал...

**

... Как и предсказывали старики, оттепель вдруг сменилась резкими холодами. Растаявшая было грязь заскорузла от опять нагрянувших морозов, и ехать по ней стало хуже, чем при распутице. Потом земля покрылась опять снегом, и два дня завывала настоящая метель, несмотря на март месяц. Это было редкостью для Кубанского края.

На третьей неделе поста холода сразу прекратились, зашумела вода, стекавшая ручьями с бугров из быстро таявшего снега. Река Сосыка вышла из берегов и затопила прилежавший к ней большой общественный луг, на котором весной паслась скотина многих казаков.

Как-то утром на высоких тополях появились черневшие небольшие стайки „шпаков“ (скворцов), которые высвистывали свои трели или подражали ржанию молодого жеребенка. Подростки суетились, ставя на деревьях „шпаківници“ (скворешницы), сооружая сами, как умели, из досточек небольшие „домики“, для таких „интересных птичек“.

Появление скворцов указывало, что это оттепель не временная, а наступает настоящая весна, и все принялись деятельно готовиться к посеву.

На четвертой неделе снег уже везде сошел с полей, и почва настолько просохла, что можно было боронить и сеять пшеницу.

Рано утром в среду Крестопоклонной недели Тарас Ох-

римович увидел, что его кум Софрон Падалка уже поехал в степь четвериком, с мешками пшеницы на дрогах и привязанной сзади сажилкой. (Бороны хлебробы оставляли на зиму в степи и домой в станицу не привозили).

Тарас Охримович сам собирался в этот день выезжать в степь, поэтому, увидев поехавшего Падалку, поспешил со сборами и к обеду тоже поехал в поле с Никифором и Петром. Сажилку сошниковую он отвез в степь, когда стояли еще морозы, а сейчас нагрузил мешками пшеницы и ячменя две поводы, запрет в них по трое лошадей и ехал шагом, потому что на дорогах грязь еще не высохла и везти было тяжело.

Проезжая мимо вспаханных осенью полей Софрона Падалки, он увидел, что три лошади, запряженные гуськом, каждая в одну борону, стоят на ниве, а кум, зажав между спицами колеса своего пса „Меделяна”, лупит его палкой без всякого сожаления.

Тарас Охримович приостановился и хотел, по обыкновению, сказать „Бог на помочь”, но к данному случаю это не подходило, и он сказал:

— Доброго здоровья, кум, что это вы так своего собаку наказываете?

— Это не собака, а так сказать сатана: „крест” мой съел, окаянный! — и Софрон, ударив еще раз уже полумертвого пса, подошел к Тарасу Охримовичу.

Оказалось, Меделян, действительно, был виновен. По старинной традиции, если начинали боронить на „сырыдохрестну” (в среду крестопоклонной недели), то дома пекли из теста православный крест, клали его сверху на борону и три раза должны были обойти ниву бороной с этим хлебным крестом. Тогда вся нива должна быть весьма урожайной.

Софрон Падалка тоже это знал. Он запрет своих коней в три бороны, положил на заднюю борону приготовленный дома хлебный „крест” и, взявши переднего гнедка под уздечку, повел его по просыхающей ниве, обратив свой взор вперед, чтобы провести ровную линию. А собака его, Меделян, в это время подкрался сзади и, введенный в соблазн запахом свежееиспеченного хлеба, схватил

лежавший на бороне „крест” и съел. Когда, оглянувшись, Падалка увидел, что креста на бороне больше нет, и заметил облизывающегося и виновато смотрящего на него Медеяна, он понял кощунственный поступок этой твари и тут же немилосердно его наказал...

У Тараса Охримовича тоже был в узелке испеченный из белого теста крест. Он вынул его, посмотрел и, чтобы не случилось того же, что у Падалки, разломал его на трие и вместе с Никифором и Петром съел, промолвив: „так будет меньше греха, чем дать это псам”...

Он запрет в переднюю борону молодого „маштака”, сзади которого Петр привязал „цепком” к деревянной перекладине лысую кобылу, запряженную в другую борону, и сам повел по едва просохшей и еще слегка курящейся от испарений ниве, любуясь раскинувшейся вокруг гладью степи. Необыкновенная радость наполняла его душу при виде разрыхленной боронами почвы, зачерневшей на его собственном поле. Жаворонки в небе неумолкаемым концертом как будто прославляли его труд, а вспугнутые зайцы бежали к меже соседнего поля, но слышав там тоже людей, скрывались в балке среди нескошенного бурьяна.

Обойдя один раз всю намеченную к первой „посадке” ниву, десятин в пять, — Тарас Охримович передал маштака в руки Петру, чтобы он продолжал „волочить” обозначенный им прямоугольник земли, а сам подошел к запряженной четвериком сошниковой сажилке, возле которой суетился Никифор. Всыпав в продолговатый ящик сажилки мешок гарновки, он стал на восток, снял шапку, прочитал „Отче наш”, перекрестился, сел на железное сиденье спереди сажилки, взял в руки вожжи и сказал:

— Ну, Господи благослови! Но-о, Карый! — и, дернув вожжами, поехал по свежевзбороненному полю следом за Петром. Никифор опустил специальным выключателем баклуши, соединенные валом с осью колеса сажилки, и тринадцать сошников, нырнув в рыхлую почву, начали равномерно и ровными, как струна, рядками сеять пшеничное зерно. А сзади, заравнивая след, тянулась на веревках, такой же ширины, как и сажилка, толстая палка.

Начав после обеда, они успели до вечера засеять две десятины пшеницы-гарновки. И только тогда выпрягли из борон и сажилки лошадей, замешали им в больших яслях смоченной водою половы, почти пополам с дертью, и сели засветло поужинать. Не желая тратить время на поездку домой в станицу, все трое остались ночевать в степи, в маленькой однокомнатной хатенке.

Утром рано, на зорьке, едва послышался в небе многоголосый „концерт” жаворонков, они уже были на ногах. И свежими, не заморенными в дороге лошадьми продолжали посев хлебов...

ГЛАВА IX.

Весна 1914 года в северной части Кубанской области была затяжного характера. То начиналась оттепель, полевая травка уже показывала на поверхности почвы свои зеленые иглы, земля просыхала, и хлеборобы приступали к посеву яровых; то вдруг опять холодало, падал мокрый снег и заморозки продолжались почти до Вербного Воскресенья. Рано распустившиеся цветочки у абрикосов и черешен погибли от них почти полностью, но на яблонях и грушах цвет сохранился, и они обещали неплохой урожай.

Большинство хлеборобов станицы Староминской только на последней неделе Великого поста успели покончить с яровыми, а посадка пропашных и бахчевых культур продолжалась до самой Пасхи.

В Чистый Четверг многие казаки на рассвете купали в речке своих лошадей, чтобы они, по старинному поверью, всегда были чистыми от всяких болезней и гладкими. Некоторые смельчаки и сами рисковали окунуться в холодную воду.

К Чистому Четвергу посев яровых злаков, гарновки, белокоры и ячменя у Тараса Кияшко был закончен, но Никифор и Гашка оставались в степи и заканчивали посадку подсолнуха и кукурузы. Баштан же — кавуны, гарбузы и дыни — решили садить уже после Пасхи.

Школьников к Великому Четвергу отпустили на Пасхальные каникулы, и Федька вертелся сейчас вблизи работавших Никифора и Гашки. Он бегал по полю с батоном, шлепая выползавших из нор ящериц и полевых мышей или науськивая Рябка на мчавшегося по меже зайца. Его сначала не хотели пускать в степь, но он так разревелся, что Тарас Охримович, махнув рукой, сказал: „!Иускай едет!”

Под вечер Федьке уже надоело быть в голой степи, и он с нетерпением ждал момента, когда старшие будут готовы ехать домой в станицу. Так бывало у всех подростков: с ранней весны они только и мечтают поехать в степь, но едва в начале лета всей семьей выберутся на свою „царину” и побудут некоторое время, как уже все малыши рвутся назад в станицу.

Закончив к вечеру посадку кукурузы и заволочив ее одной бороной, поехали обратно в станицу. На передних дрогах погоняла лошадей Гашка, а позади нее, на оставшихся от посева двух мешках ячменя, сидел Федька, с любопытством рассматривая окрестные поля. Никифор ехал на порожней бричке за ними.

На узкой „поперечной” дороге, выходящей к столбовой, имелся небольшой самодельковый деревянный мостик через балку Рудого. То ли от ветхости, то ли кто его зацепил чем-то тяжелым, только мостик этот оказался полуразрушенным, и пересезжать по нему было трудно. Хотя воды в балке Рудого было мало, но годами накопившийся жидкий ил в этом месте был такой глубокий и липкий, что в нем было легко увязнуть, что называется, „по самые уши”. Никифор и Гашка сошли с подвод и пошли в разные стороны по балке поискать более подходящего места для переезда, а Федька остался сидеть на мешках на передних дрогах.

Возле карой кобылы, запряженной в передние дроги, все время терся ее двухнедельный жеребенок. Временами он отбегал немного в сторону, но как только карая кобыла заржет призывом, он сейчас же возвращался к ней.

В это время через балку, верхом на лошади с неснятым хомутом, проехал какой-то незнакомый хлебороб.

Глупый жеребенок, видя удалявшуюся лошадь, заржал, перескочил мостик и галопом помчался следом. Карая кобыла пронзительно заржала, отчего жеребенок приостановился, повернул голову назад, заржал, но потом опять-таки побежал за чужим конем. Когда ехали в степь, его привязывали к постромке матери, и тогда он не мог убежать с чужими лошадьми, а теперь Никифор забыл это сделать.

Карая кобыла еще раз заржала вслед удалявшемуся от нее малышу, потом рванула дроги на негодный мостик. Передние колеса сразу же провалились в образовавшуюся сбоку дыру, дроги наклонились набок и перевернулись. Федька не удержался на мешках и кувыркнулся в балку, прямо в липкий ил и сразу же увяз по самый пояс. Но это было бы еще полбеды: следом попадали с дрог мешки с ячменем, и прямо на Федьку, вдавив его в грязь по самую шею. Федька в испуге завопил „не своим глазом”. Услыхав отчаянный крик брата, Никифор подбежал и с трудом вытащил утопавшего в грязи школяра.

— Гашка! Бги скорей сюда, посмотри, как Федька „очистился” в день Чистого Четверга! — смеясь крикнул Никифор, не обращая внимания на всхлипывания еще не пришедшего в себя мальчика.

Гашка подбежала и ужаснулась. Федька по самые уши, и даже выше, был облеплен грязью до неузнаваемости. Он стоял и плакал, и катившиеся слезы, смешиваясь с грязью, попадали в рот, отчего он все всемя сердито отплевывался.

— И смех и горе! — сказала смеясь Гашка и начала дощечкой сгребать с него прилипшую грязь. - - И нужно было тебе ехать с нами в степь. Сидел бы дома спокойно и чистый бы был, а то чуть не утонул и красного яичка не дождал бы! Это потому, что ты убежал от меня в Вербное воскресенье и не дал постегать себя по спине священной вербой. Помнишь, Петр пришел из церкви и, поймав меня, начал бить вербой, приговаривая: „Не я бью, верба бьет; за тыждынь — Вельк День; не вмирай, красного яичка дожидай!”... Вот я и не упала в грязь.

Федька молчал и тихо всхлипывал.

— Ничего, Федюша, не плачь, сейчас приедем домой, вымосься и наденешь все чистое, — успокаивала Гашка. — В прошлом году твой крестный батько Куш Федор говорил, что в Чистый Четверг Бог чистоту смотрит не по одежде, а по душе человеческой. А твоя душа еще ничем не замазана и чище чем у всех нас...

Пока Гашка возилась с Федькой, Никифор вытащил из грязи мешки с ячменем и положил их за мостиком на сухое место. Потом они кое-как подправили мостик, осторожно переехали, положили мешки на дроги, а Федьку в бричку и прикрыли большим рядном, чтобы не видно было посторонним измазанного грязью хлопца.

Поехавший под бугор казак, видя, что чужой жеребенок не отстает, вернулся. Никифор поймал лошонка и привязал к сбруе матери.

Поздно вечером, без дальнейших приключений, они приехали домой...

**

В наступавших сумерках Великого Четверга из каждого двора станицы, и молодые и старые, мужчины и женщины направлялись на „Страсти Господни” с чтением двенадцати Евангелий.

Продолжавшийся минут тридцать звон большого колокола умолк, едва стало темнеть; к этому времени церковь уже полна была народом. С сосредоточенными лицами молящиеся внимали печальному песнопению о Тайной Вечери и крестных муках Христа.

В этот день в храме все выглядело печально: и черный занавес на Царских Вратах, и черные облачения у священнослужителей, и горевшие в руках у каждого свечи, и тихое, трогательное пение.

Не только церковь, но и вся обширная ограда, были заполнены народом. В ограде находилась больше молодежь. Пожилые старались попасть в церковь, а за невозможностью войти в нее, стояли сгрудившись на паперти с зажженными свечами, вслушиваясь в доносившееся до них пение и чтение Евангелий. Деревянные лавки в ограде были заняты отдохавшими от слишком долгого стоя-

ния. Горевшие в ограде свечи издали представлялись тысячами красных точек, слегка передвигавшихся с места на место.

В полночь служба Страстей Господних кончилась, и большой колокол пробил двенадцать раз. По улицам замелькало множество огоньков. Каждый старался защитить от слабого ветерка свечу, чтобы донести священный огонь из церкви до самого дома, написать горевшей свечкой три креста на потолке перед киотом или над входными дверьми, потом поставить в подсвечник и помолиться.

Тихое безоблачное полуночное небо с узеньким серпиком луны на востоке. В неосвещенной станице, в теплую безлунную полночь, движение многочисленных пешеходов, растянувшееся от церкви во всех направлениях больше чем на версту, с тысячами светящихся перемещающихся огней, — представляло собой божественно-чарующее зрелище, таящее в себе сверхестественную таинственность. В эту ночь перед каждым христианином стояла живая картина воспоминаний о слышанных им в церкви двенадцати Евангелиях.

В домах перед иконами мигали лампы, которых в эти дни не тушили ни днем, ни ночью. У всех верующих — строгий пост. Нельзя есть ни рыбы, ни даже „олии” — постного масла.

В пятницу, часа в два дня, вынесут Плащаницу; надо всем к ней приложиться на тощий желудок, и только тогда можно немного закусить хлебом и овощами.

В Великую Субботу, во всех домах, на подоконниках выходящих к улице окон, виднелись высокие светло-коричневые „паски” (куличи), смазанные сверху яичным белком, взбитым с сахаром, и посыпанные разноцветной пасхальной присыпкой. На убранных столах стояли большие подносы или белые миски с крашеными яйцами, вергунами, пирогами; лежали зажаренные окорока, куры, гуси...

В доме Тараса Кияшко, кроме всего этого, на большом подносе стоял целиком зажаренный поросенок, во рту которого было красное яичко. Федька и Гришка все вре-

мя вертелись возле соблазнительно пахнувших пирогов и мяса, часто облизывались, поглядывая на скоромную пищу, но знали, что даже трогать все это — грех: если тронут, то сразу „умрут”. Так им внушали старшие, и они терпеливо ждали Пасхального утра.

Едва начало темнеть и зазвучал колокол, призывая верующих к слушанию Деяний Апостолов, как Петр и Никифор, сложив в корзинку „паску”, куски окорока и сала, десяток крашенных яиц и немного соли, понесли ее к церкви для освящения.

С каждого двора станицы люди спешили в церковь. И хотя Светлая Заутреня начиналась только в полночь, но Пасхальная ночь была, как и всегда, темной, а кое-кто из хлеборобов жил за две-три версты от церкви; поэтому каждый спешил притти засветло, бо чего доброго, в темных улицах еще и „ведьма” повстречается, которой осталось гулять только до того момента, как в церкви раздастся „Христос Воскресе!”, а потом она провалится без оглядки в преисподнюю.

С восьми часов вечера в церкви перед стоящей посредине Плащаницей, шло чтение „Деяний Апостолов”. Все, кто умел, подходили по очереди и читали славянский текст Деяний. К Плащанице продолжали подходить и прикладываться многие, почему-либо не успевшие это сделать раньше. Но прикладываться к Плащанице можно было только на тощий желудок, поэтому среди подходивших почти все были люди пожилые, так как молодые не так строго воздерживались от принятия пищи. Некоторые из набожных казаков и казачек последний раз поели только в четверг, после того как отстояли в церкви Страсти Господни, и теперь будут разговляться только утром в воскресенье, то-есть, выдержат строгий пост в течение более чем двух суток.

Во время чтения Деяний, в церкви заметна была какая-то сонливость. Тихо мигали свечки в руках у каждого, а кое-кто из старых бабушек просто сидели по углам и дремали. Молодежь находилась не в церкви, а в ограде, и некоторые из них — „поганных батьків діти, та городовики” — занимались совсем не религиозными вопросами...

Но вот, ровно в одиннадцать часов ночи, ударили в большой колокол, и сразу все ожило, все зашевелилось. Сонливость исчезла. Молодежь хлынула в церковь, но войти туда теперь было не так легко, и большинство зазевавшихся осталось стоять на паперти.

Звон продолжался полчаса. В половине двенадцатого началась „Полунощница”. Тихо и плавно хор пел „Волною морскою...” — последние протяжно-заунывные песнопения Страстной Седмицы. Священнослужители еще в черных облачениях, Царские Врата под траурным занавесом, на всех больших паникадилах, на всех подсвечниках вставлены толстые восковые свечи, но их пока не зажигают, а только приготовили...

При пении последнего погребального ирмоса „Не рыдай Мене, Мати...”, оба священника и диакон подняли Плащаницу над своими головами, внесли в алтарь и положили прямо на Престол. Царские Врата закрылись.

Минут пять в церкви была мертвая тишина. Потом Царские Врата отворились. Священники с зажженными трехсвечниками, диакон с громадной свечой и кадиллом, все в светлых облачениях, стали вокруг Престола и запели: „Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небеси”. Мужской хор левого клироса, под управлением псаломщика Федора Евграфовича Добрыдень, подхватил: „и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славить”. Зашелестели десятки хоругвей. Все с общим пением „Воскресение Твое, Христе Спасе...” выходят из левого придела храма в ограду. Начался крестный ход вокруг церкви.

В это время в храме не оставалось никого, за исключением прислужников, которые быстро меняли черные траурные украшения на светлые и зажигали свечи на паникадилах. Главный хор певчих, расположившийся наверху, на хорах, тоже не пошел с крестным ходом вокруг церкви, а оставался на месте со своим талантливим регентом Иваном Ивановичем Сердюк.

Крестный ход обошел вокруг церкви три раза, потом все подошли под колокольню и остановились. Дальше идти некуда: главные двери, что ведут из под колокольни в церковь... на большом замке. Их запер старый цер-

ковный прислужник Поддубный Иван, после того как все вышли из церкви, и он обнес ладаном, разведенным на углях прямо в ведре, все углы храма. Так полагалось. Смолкли колокола, на минуту воцарилась тишина. Но вот тишину прервал звонкий голос о. Иоанна Кувиченского: „Слава святей, единосущней, животворящей и нераздельней Троице, всегда, ныне и присно и во веки веков”. И духовенство запело Гимн Воскресения: „Христос Воскресе из мертвых...”

Человек двадцать певчих левого клироса повторили эту дивную Песнь несколько раз. Вновь ударили во все колокола; замок у входных дверей упал; и Поддубный, стоя со связкой ключей, широко распахнул их. Все, следуя за духовенством и хором, толпою входят в ярко-освещенную, убранную теперь в светло-золотистые цвета церковь. В этот момент верхний хор певчих грянул во всю мощь „Христос Воскресе” так, что даже стекла на окнах задрожали.

Началась Светлая Заутрени. Колокола то умолкали, то вновь и вновь звонили. Никогда в другой праздник хор не пел так прекрасно и мощно, как в эту ночь. Куда девалась сонливость и усталость, все чувствовали душевный подъем, и свежестью, и радостью светились глаза каждого...

При пении „Воскресения День, и просветится торжеством и друг друга обьемем...”, все начали подходить друг к другу и целоваться, взаимно приветствуя словами: „Христос Воскресе!”, „Воистину Воскресе!”...

После Светлой Заутрени, начались Царские Часы, которые не читались в эту ночь, а пелись хором по нотам. Потом началась торжественная Литургия.

В ограде, в чёyre ряда вокруг церкви, стояли в узелках паски, куличи, крашеные яйца, окорока... На всех пасках и куличах горели свечи и казалось, что красноогненные нити опоясывают всю ограду церкви.

Чудесная Ночь! Божественная Ночь! Вот взошел на востоке тонкий серпик луны и ныряет в розовеющих обрывках облаков. В ограде то и дело люди подходят к близким и далеким родственникам и знакомым и христосуются.

Петр, поставив корзинку для освящения в общий ряд, сам стоял позади и смотрел на розовеющий постепенно восток. Сзади его кто-то дернул:

— Христос Воскресе! — он оглянулся и увидел Никифора.

— Воистину воскресе! — и три раза поцеловался с братом.

— Иди теперь ты, постоишь немного в церкви, — сказал Никифор, — а то скоро и служба кончится. Я буду тут, пока посвятят, и сам заберу корзинку!

Не успел Петр войти в церковь, как под неумолкаемый трезвон из главного входа опять показались хоругви, вышли священники и при пении „Христос Воскресе“ стали обходить и освящать все расставленные в ограде вокруг церкви яства. Как только священник, проходя с кропилом, освящал их святой водой, каждый сейчас же брал свое и спешил домой, разговляться...

В доме Тараса Кияшко, слышав многозвучный неумолкаемый трезвон и топот ног на улице, женщины стали поспешно накрывать стол, ожидая с минуты на минуту появления Петра и Никифора. Спать в эту ночь считалось грехом, поэтому все бодрствовали, за исключением малышей.

В дверях раздался стук. (Двери в эту ночь запирались на крючек, потому что бесы, со злости, могли натворить много неприятностей).

— Кто там, — спросила Даша, выглядывая через занавеску в окно.

Ответа не было.

В наступавшем рассвете Даша заметила у дверей Никифора с корзинкой в руках, а сзади него пригнувшегося Петра. Хотя она и узнала их, но дверей не открывала, помня наставления старших, что в эту ночь ей могло просто показаться знакомое лицо, а, на самом деле, это может быть нечистый, которому на земле уже нечего делать. Она опять спросила:

— Кто там стучал?

— Да это мы, открывай! — отозвался, наконец, Петр.

— А кто такие, вы? Не знаю!

— Христос Воскресе! — сказал за дверью Петр.

— Вот теперь я знаю, что это, действительно, вы, потому что против таких слов ни один нечистый не устоит, — и она открыла дверь.

— Воистину Воскресе, Петенька! — и Даша крепко поцеловала его, потом похристосовалась с Никифором.

Братья зашли в дом, произнесли на пороге три раза „Христос Воскресе”, выложили из корзинки на стол освященные яства и начали христосоваться со всей семьей, троекратно целуясь с каждым.

Федька и Гришка вскочили с постели и спешили умыться, усердно натирая щеки смоченным водою красным яичком, чтобы быть красивыми, здоровыми и краснощеками. Гашка тоже последовала их примеру, зашла в уголок с мокрым яйцом и терла им щеки, надеясь этим навсегда сохранить свой нежный румянец.

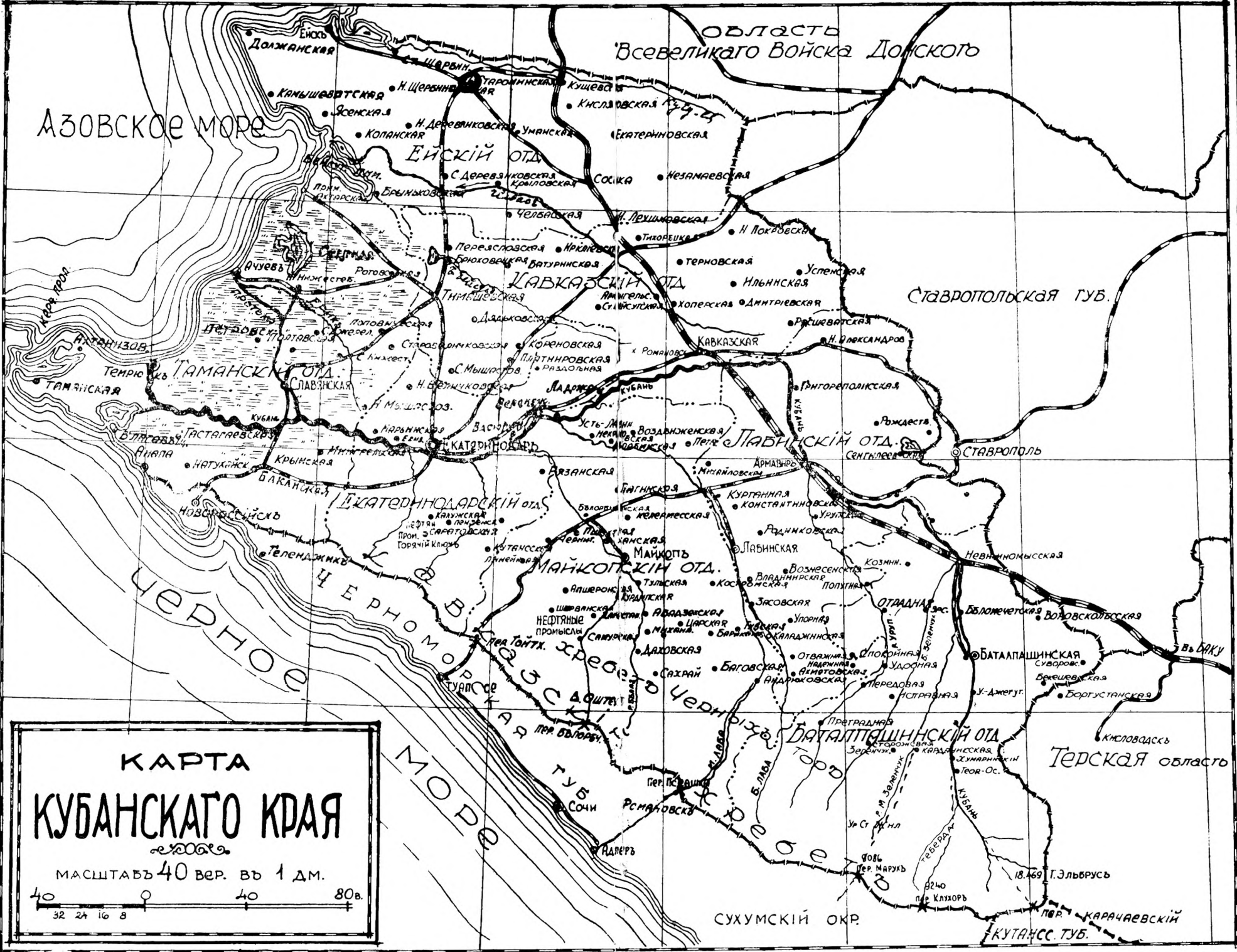
Все стали в ряд перед образами с горевшей всю ночь лампадой, кратко помолились, затем уселись за большой праздничный стол в зале. Тарас Охримович налил всем по стопке красного вина и сказал:

— Ну, Христос Воскресе, дорогая семья! Слава Богу, что мы дожили до этого Светлого Праздника! Царство Небесное помершим, а нам, живым, дай, Боже, и следующую Пасху встретить так же мирно и счастливо!

Он благословил стаявшую на столе скоромную пищу, разрешенную с этого момента после семинедельного воздержания, и выпил. Вначале все отведали освященной паски, окорока и яиц, а потом принялись с аппетитом разговляться.

После еды все пошли спать, а Федька и Гришка сейчас же побежали на улицу играть с чужими ребятами в „крашенки”.

Около полудня, Никифор и Наталка, а следом за ними — Петр и Даша, пошли в гости к своим „другим родителям”. Они завернули в платок по одной паске и яиц по числу членов той семьи, куда шли. По улице то и дело встречались знакомые, останавливались и христосовались, обмениваясь при этом крашеным яичком.



Азовское море

Область Всевеликаго Войска Донского

Ейскій отд.

Кавказскій отд.

Таманскій отд.

Ставропольскій отд.

Ставропольская губ.

Черное море

Катеринодарскій отд.

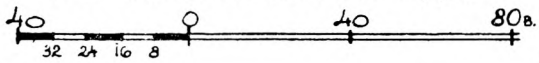
Майкопскій отд.

Батаалпашинскій отд.

Терская область

КАРТА
КУБАНСКАГО КРАЯ

МАСШТАБЪ 40 вер. въ 1 дм.



СУХУМСКІЙ ОКР.

Кубанскій туб.

Колокола во всех трех церквях неумолчно трезвонили три дня.

А все, без исключения, в станице — и богатые и бедные — веселились, празднуя самый великий праздник целую неделю, даже больше, до самого вторника Фоминой недели (Радоницы).

И Небо и Земля в эти дни торжествовали, славословя воскресшего Христа, знаменующего победу Жизни над Смертью. Света над Тьмой...

ГЛАВА X.

В субботу на Пасхальной неделе Петр ехал на бидарке от Белозорового ветряка, куда возил смолоть на дерть два мешка ячменя. На Красной улице ему указали на растегнувшуюся сунюнь у хомута; он, остановив коня, слез, чтобы привести в порядок упряжь. По дороге шел Николай Шевченко и подошел к Петру:

— Христос Воскресе, Петр Тарасович! Мы с тобой еще и не христосовались — и он поцеловался с другом юности.

— Воистину воскресе! — отвечал Петр, — а чего это ты меня по отчеству величаешь?

— А так надо! Батько говорил, что раз человек женатый, то его уже нельзя называть Гришка, Петька, Васька, Колька, а только по отчеству или кум, сват...

— Ерунда, как будто мы не одногодки; вот когда и тебя по той же причине будут величать по отчеству, тогда другое дело!

— Можешь и меня скоро величать по отчеству!

— Что, неужели женишься?

— Да, решил обабиться.

— На ком же, а?

— Угадай!

— Да откуда же я знаю. Девоч-сотни хороших. Скажи, а то и на свадьбу не приду!

— На Катерине Приходько.

— Что!? Да неужели? Ха-ха-ха! — Петр захохотал на всю улицу.

— Чего так смеешься?! Что, разве плохая девка?

— Да нет, дивчина она не плохая: и красивая и хозяйственного батька, а только... ха-ха-ха! Как-то чудно получилось. А впрочем, ты молодец, поступил справедливо, и... не я ли виновник тому?

— А кто же другой? Не повел бы ты меня в прошлом году в прядево до Кислого, когда Оксана и Катерина цветка дожидались, так я и не знал бы бедной Катрюси. После того как ты обабился, мне скучно стало, я стал ходить до Катерины, сначала редко, потом все чаще. Она же узнав, еще перед твоей свадьбой, кто был тогда в прядеве „лукавым”, не сопротивлялась. Постепенно я привык к ней и вот теперь решил покрыть грех...

— А знает она, кто тогда был „лукавым” у Оксаны?

— Конечно, знает; я все рассказал...

— А Оксана знает?

— Вряд ли. Впрочем ей теперь все равно: она тоже выходит замуж за какого-то Токарева, за богатого мужика, что за Еей, на Донской стороне, большой участок земли имеет.

— В общем, обе девки нашли цветки папоротника, только Катя свой, настоящий, а Оксана, чужой, да еще и не казачий.

— Значит, такая судьба. Ну ты же на свадьбу придешь?

— Конечно, приду. Да, наверное, Катерина и кликать будет на свадьбу, ведь Даша ей доводится родычкой. А когда свадьба?

— Решили девятого мая, в день моих именин венчаться.

— И прекрасно, до свидания! Очень рад твоему супружеству, ты не ошибся, — и Петр, сев на свою бидарку, поехал, все время задумчиво улыбаясь...

**

Николай Шевченко сначала совсем не думал жениться на Катерине Приходько. Он увивался возле Гашки Кияшкиной, хотя она была еще молодая, но это еще полбебды.

Но она всегда так грубо и насмешливо обращалась с ним, что ему казалось: она вовсе его не любит. Получая такие шлепки по самолюбию от Гашки, он шел к Катерине, сперва, чтобы „развеять скуку”, а потом, сам того не замечая, стал привязываться к ней все больше и больше.

Катерина никогда ему не грубила, не противоречила. Она боялась разглашения тайны своего падения, о котором Николай мог в любое время раструбить по всей станице. А главное, она, хотя и безнадежно, — любила его. Николай сам чувствовал в душе жалость к им же осмеянной девушке, а потом жалость перешла в любовь.

Не добившись от Гашки даже намека на положительный ответ, он все чаще и чаще задавал себе вопрос: „Да чем же Катерина хуже Гашки? И чернобровая, с нежным личиком и приятным голоском, и ласкает, как мать; да и зналась она только со мной одним, и... по моей же вине. А Гашка, того и гляди, как дикая кошка, глаза выцарапает! Чего мне нужно?...”

Он редко какой вечер не бывал у Катерины, а с Гашкой совсем перестал встречаться.

Однажды, едва только стемнело, — дело было на пятой неделе поста, — Николай пришел к Катерине и уселся с ней на кровати.

— Коленька! — вдруг, с мольбой в голосе, обратилась к нему Катерина. — Коля, зачем ты ходишь ко мне? Я же вижу, что ты только забавляться приходишь, а любишь другую. До чего же может это все довести? Ты уже и так довольно насмеялся надо мной, оставь... Что же дальше может быть? Сейчас я, хотя и опозорена, да одна, а дальше... Оставь меня, пока еще не поздно! Неужели у тебя нет человеческого сердца? Ты же был всегда такой добрый и душевный парубок, неужели тебе ничуть не жалко меня?

Она прильнула к его груди, и слезы, как падающие на небе звездочки, закапали ему на рубаху.

У Николая что-то вдруг в душе перевернулось. Он смотрел молча на ее мягкие русые волосы, на вздрагивавшие плечи, и ему показалось, что он ее только сейчас в первый раз увидел. Он рывком повернул ее лицо к себе:

— Катя, голубушка дорогая, слушай! Ты правду сказала, я ходил к тебе до сегодняшнего дня только ради одного: нечестно и грубо пользовался твоей покорностью. А вот сейчас сам вижу, что люблю тебя, Катенька; люблю и другой жены, не желаю искать, — и он как-то по новому прижал свои губы к ее устам.

— Неправда, ты опять смеешься? — с дрожью счастья шептала Катерина, недоверчиво заглядывая ему в глаза.

— Нет, сейчас не смеюсь, а говорю сухую правду. Я давно уже это чувствовал, да сам себя не понимал. Какая мне надобность обманывать тебя? Ведь ты и так уже обманута мною и... значит, ты-моя, и мне не любить тебя грех. Хочешь, сейчас же после Пасхи женюсь на тебе?! Согласна?

Катерина, вместо ответа, с еще мокрыми от слез глазами крепко обвила руками его шею и быстро заговорила:

— А знаешь, после той злосчастной или, может, счастливой ночи под Ивана Купалу в конопле Кислого, меня почему-то стало тянуть к тебе. Раньше чем ты стал ко мне приставать...

— Тогда я по пьянке, грубо и подло обошелся с тобой, но теперь ты простишь меня? А? — целуя ее, спросил Николай.

- - Да я тебе уже все простила. Ведь ты же был казак-парубок, а я под влиянием пустоголовой Оксаны, сама оказалась глупой девкой и больше ничего. Забудем все. Все хорошо, что хорошо кончается...

И обрадованная девушка сразу повеселела, стала без умолку говорить, делясь с ним всем, что накопилось в ее измученном сердце. У Николая будто тяжелый камень свалился с плеч, и он тоже почувствовал себя счастливым...

Николай сдержал свое слово. На Пасхальной неделе он посватался на Приходько Катерине, о чем и сообщил своему другу Петру, когда тот ехал от Белозорового ветряка.

Свадьба Николая и Катерины состоялась в день его именин, в праздник Николы Весеннего, 9 мая.

Петр с Дашей только к вечеру пришли в дом Шевченко, когда уже кончали дарить молодых.

Увидев Петра, Николай сказал:

— Вот он, главный виновник, и должен быть наказан! — и что-то стал шептать стоявшему рядом дружкѹ. Последний вышел и принес большую эмалированную кружку, налил ее полную водкой и передал Николаю. Тот, подавая кружку Петру, сказал:

— Признаешь себя виновным в том, что я сейчас сказал?

-- Признаю, — смеясь, ответил Петр.

-- Принимай наказание!

Петр поднял кружку и за счастье молодых вытянул залпом до дна.

— По этой же причине и проверки нашей брачной постели не будет, — повернувшись в сторону друга, шепнул Николай. Тот непонимающе посмотрел на него, но не стал настаивать.

У Петра после кружки горилки, в которую вошло больше полбутылки, сразу закружилась голова, и он скоро ушел с Дашей домой...

Так, недуманно — негаданно, Николай связал свою судьбу с Катериной Приходько...

Гашка Кияшко, узнав о женитьбе Николая, пришла в ярость. Ведь она его тоже любила и только теперь поняла свою ошибку. Зачем было нужно ей так нарочито грубо обращаться с Николаем, дразнить его? Почему она не призналась ему в своих чувствах? Но уже было поздно. Она злилась на всех без исключения. На улице ей все стали противными и ненавистными. И хотя еще было много хороших парубков, и она, благодаря своему безупречному поведению, могла найти неплохого спутника жизни, но непоправимость случившегося была для нее трудно переносимой...

**
*

Как и в предыдущие годы, после Троицы, все из дома Кияшко выехали в степь. Дома в станице оставалась только уже стареющая Ольга Ивановна. Перед Петровым

днем вернулась со степи и Наталка, потому что была уже на восьмом месяце беременности, и ей не под силу стали тяжелые полевые работы. Да и нужды в этом не было, так как там оставалось еще пять душ взрослых: Петр, Даша, Никифор, Гашка и батько Тарас Охримович. Когда пололи „баштан, пшинку и сояшныкы” (бахчу, кукурузу и подсолнухи), то батько шел за конной „полілкою”, срезавшей своими острыми лемехами все сорняки между рядами пропашных культур, Федька сидел верхом на лошади и правил, а четверо полощиков — Никифор, Петр, Даша и Гашка шли следом, выпалывая тяпками оставшийся в рядках овсюг, сурепу и другие сорняки. Пятилетний Гришка теперь караулил скотину, чтобы не лезла в „шкоду”.

Захватив четыре рядка с кукурузой или подсолнухом, все шли почти вместе, от края и до края, на сто двадцать саженей. Иногда Гашка отставала; тогда остальные трое полощиков, поворачиваясь в ее сторону, насмешливо пели:

„Ой чие то козиня,
Що задрало хвостиня?
Задрало й кричить,
Підіть підженіть!...”

Гашка сердилась, старалась махать „тяпкой” усерднее, но когда все же не могла догнать передних, кто-нибудь из мужчин захватывал и ее рядок и, таким образом „подгонял козыня”: ее „хвост” укорачивался, и они сравнявшись пололи потом вместе, напевая какие-нибудь песенки...

Подсолнух и кукурузу пропалывали в этом году два раза, а бахчу трижды, поэтому пропашные культуры росли чистыми от сорняков. На этой, хорошо разрыхленной ниве в конце августа или начале сентября сеяли озимую пшеницу или „суржу” (смешанные зерна озимой пшеницы и ржи)...

**

На Петров день возле коша Кияшко оставались только Петр, Даша и пастух Федька, остальные поехали на ярмарку в станицу. Утром в этот день отелилась у них крас-

ная, рябомордая корова. Даша сейчас же подоила ее и из этого удоя сделала молозиво. Из первого и второго удоя после отела всегда делали молозиво, потому что это молоко не годилось для других надобностей. От слабого нагревания оно застывало, хоть „ножом режь”, и, кстати сказать, молозиво в семье Кияшко все любили, особенно подростки.

Перед обедом к ним пришел Николай Шевченко.

— Драстуйте, с праздником! — сказал он, подавая руку Петру и Даше. — Скажите, пожалуйста, хлеб у вас есть?

— Есть, — отвечала Даша.

— Позычьте мне половину паляницы, а то Катя поехала в станицу, там спечет и только вечером привезет на степь.

— Нет, нельзя! Сегодня не можем давать на сторону ничего.

— Почему?

— У нас корова отелилась.

— Аа! Ну тогда другое дело, я не знал! — сказал, почесывая затылок, Николай. — Придется пойти попросить у Цыгикала Макара, у того всегда есть, — и он ушел к другому кошу.

В хозяйствах казаков, если отелилась корова, окотилась овца, ожеребилась кобыла, в этот день не разрешалось кому бы то ни было занимать что бы то не было или отдавать долг. Даже нищим милостыню в этот день не подавали! Иначе плохо будет расти родившееся животное...

Урожай хлебов в этом году был хорошим. Густые ряды больших конусообразных копыц, с тяжеловесными колосьями пшеницы и ячменя, говорили сами за себя, покрывая необзримые пространства Кубанских полей.

Тарас Охримович в этом году решил молотить пшеницу паровой молотилкой, а копыцы ячменя оставил для молотьбы котками.

Паровая молотилка стояла возле коша ее владельца Белозора Фомы, который после обмолота своего хлеба, обещал обмолотить и пшеницу Кияшко. А так как это

было не очень далеко, то молотилку решили не перевозить к кошу Кияшко, а подвезти пшеницу к ней на гарбах и тягалках.

Белозор Фома имел паровую молотилку, ветрянную мельницу, около двадцати лошадей, много другого скота и засевал каждый год пшеницей и ячменем более ста десятин. Таких казачьих хозяйств в станице было много.

Среднему хозяйству было трудно самому обслуживать большую паровую молотилку, поэтому Тарас Охримович „спрягся” с другими тремя такими же хозяйствами и, когда Белозор кончил молотить свой хлеб, начал очищать от копцы свои нивы.

От зари до зари гудела молотилка монотонным гулом и нарушала свою монотонность, только если в барабан попадал толстый пласт пшеницы, и тогда она, как говорили, „гавкала”, пока этот пласт проходил; потом опять гудела и гудела. Четыре раза в день она на десять-пятнадцать минут останавливалась: на снідання, обід, полудень, и вечерю. Затем кочегар опять тянул за веревочку на паровом локомотиве, стоявшем саженей пять от молотилки; раздавался пронзительный свисток, люди бежали каждый к своему месту и работали без передышки.

Тарас Охримович с Никифором, на двух подводах, едва успевал отвозить мешки с чистым зерном от молотилки домой и ссыпал в закрома. Петр все время работал у зерноочистителя впереди молотилки, снимал с крючков полные мешки, в которые с четырех „рукавов” машины сыпалось непрерывно чистое зерно. Он быстро их завязывал, складывал тут же в клетку, а на крючки вешал другие порожние мешки, и так все время. Гашка помогала двум соседкам из участвовавших в этой совместной молотье семейств готовить четыре раза в день пищу для всех работавших у молотилки. И пища эта должна была быть обильная и с рюмочкой для мужчин.

Даша, с граблями в руках, работала все время сзади молотилки, где ниже соломотряса падала на землю полова и сбой (среднее между половой и соломой), непрерывно отгребала их в кучу в сторону, а специальный на-

ездник, с привязанным на веревках к баркам двух лошадей деревянным валком, загребал эту кучу и тянул ее по земле до скидры, где другие бабы аккуратно все складывали. Другим таким же валком отвозили от молотилки солому и складывали в длинную высокую скирду. Паровой локомобиль работал тоже на соломе, которая безпрерывно запихивалась вилами в большую печь „паровыка”. Другие мужчины все время подвозили с нивы Кияшко пшеницу двумя гарбами и тремя тягалками и оставляли ее у элеватора молотилки. Двое мужчин вилами подкидывали ее на элеватор, она плыла потом вверх и падала в барабан.

У Даши уши, нос, глаза — так густо были залеплены половой, сбоями и вообще пылью, что, когда Петр от другого конца молотилки глядел на свою белолицую красавицу, то у ней только зубы сверкали белизной, а все лицо было черное.

В эти горячие дни отдыхали глубокой ночью только два-три часа, и почти все на соломе, на открытом воздухе, под теплым летним небом. Однако такое горячее время продолжалось недолго. На третий день такой страды, после второго упруга (после обеда) Тарас Охримович закончил обмолот своей пшеницы. Не успели Кияшки убрать все свое от молотилки, как от набежавшей грозовой тучи вдруг посыпал крупной дробью дождь. И хотя он прошел скоро, но был таким проливным, что все кругом намокло, и работа у молотилки прервалась на целые сутки.

Тарас Охримович наложил на одни дроги двадцать мешков пшеницы, запряг тройку лошадей, потому что дорога была испорчена дождем, и вместе с Гашкой поехал домой в станицу, с таким расчетом, чтобы она сама назад выгнала порожняк. Сам он решил на Ильин день остаться в станице, зная, что работы в степи из-за дождя вряд ли возобновятся до Ильи.

Петр, Даша и Никифор вернулись к своей степной хате.

— Знаешь что, Петро, мне раков захотелось, — сказал Никифор перед закатом солнца. — Даша, ставь на

плитку чугунок с водой и грей воду, нужно раков на ужин сварить.

— А где же раки? — в недоумении спросила Даша, ставя, однако, на печку чугунок и поджигая напханную в нее солому.

— „Где раки” спрашиваешь? Разумеется, в речке, но сейчас будут здесь. А ну, Петро, по-военному, к речке, за раками, в атаку марш!

Братья в одну минуту переоделись в старую одежду, схватили висевший под крышей хаты волок и бегом пустились к речке. Вскочив в воду до пояса, они расправили волок пошире, придавливая нижний шнур двумя тычками к дну речки. Протянув его так саженей пятнадцать вблизи зарослей камыша, вытянули на берег. Заброд оказался неудачным: в куле волока было всего с десяток раков, несколько мелких рыбешек, несколько лягушек, высоко прыгнувших в разные стороны. Второй раз они побрели в другом направлении, мимо желтевшего на поверхности воды куширя, и когда, пройдя по грудь в воде саженей двадцать, вытащили волок на сухое место, то в нем оказалось ведра два различной величины раков и несколько линков и краснопирок. Отобрав в одно ведро более крупных раков, Петр бегом пустился с ним к хате... Он добежал до печки как раз в тот момент когда вода начала закипать в чугунке, и Петр прямо из ведра бултыхнул туда с полсотни раков, которые в кипятке вмиг покраснели. Подошел Никифор, и все долго смеялись по поводу такой быстрой ловли.

Такие рыболовные набеги они проделывали довольно часто, не тратя на них много времени; раки в речке Сосыке водились в таком изобилии, что ловить их не представляло никакого труда.

Пока Никифор и Петр успели развесить предварительно промытый в речке волок на столбах для просушки и переодеться в сухую одежду, большая миска крупных раков уже краснела на низеньком столике вблизи печки. Все сейчас же принялись за раков, в которых съедобного было процентов двадцать, а все остальное кожа; но эту безкровную мякоть все ели с большим удовольствием.

После ужина Петр сел на деревянный сруб колодца и залюбовался бледневшим заревом вечерней зари, жадно вдыхая посвежевший после дождя воздух. Сумерки медленно опускались над окропленными дождем полями. На смену ушедшему отдыхать дневному светилу не спеша выплывала из-за дальнего восточного бугра луна, большим оранжевым шаром отделилась от земли и побелев стала подниматься все выше и выше.

Даша, подоив коров и управившись с посудой, тихонько подошла к нему и уселась рядом.

— О чем задумался, мой голубочек?

Петр очнулся, молча обнял рукой ее стан.

— А, так, сию, не думаю ни о чем, и ... о многом. Вспоминаю, как год назад злые люди разлучили нас с тобою, но теперь уж никто никогда не посмеет нас разлучить! А ведь луна и тогда так же величаво светила, как и сегодня...

Даша крепко прижалась к нему, и оба молча смотрели на высокое небо.

— Как хорошо жить, чувствуя тебя вблизи себя, — шептала Даша, — мне кажется, что мы, на этих привольных степях Кубани живем так, как и святые в раю. И не смерти, ни ада, нигде нет!

— Да, я тоже думаю так, — согласился Петр, — и знаешь, ведь дальше еще лучше будет, богатство наше растет, станица процветает, и кто может помешать благодати, сущей на наших привольных степях Кубанских? Никто! А после Покрова у тебя... сыночек, наверное, зааукает... так?

Даша с улыбкой взглянула в лицо мужу и склонила голову на его плечо.

Они долго сидели вдвоем у колодца, вспоминали юность, мечтали, строили планы будущей счастливой жизни... Одного они не знали: что такие радостные вечера были последними не только в их личной жизни, но и в жизни всех кубанцев, в жизни всей России; что их мечтам и планам не суждено сбыться. Это был вечер 18-го июля 1914 года, а что происходило в это время за пределами их полей, того они не знали.

Утро 19-го июля началось тихо и спокойно возле коша Тараса Кияшко, и все, казалось, было попрежнему. Солнце было „в снідання”, когда Гашка пригнала из станицы порожние дроги с тройкой лошадей, на которой вчера Тарас Охримович отвез зерно, и сказала:

— Батя сказали, чтобы Никифор немедленно ехал в станицу!

Никифор не стал спрашивать Гашку: „почему, да зачем”. Он подумал, что, наверное, Наталка разрешилась от бремени, поспешно запрет лошадь в легкую „бідарку” (двуколку) и покатил в станицу.

Переехав через бугор, он вдруг увидел одиночных верховых казаков, мчавшихся во весь галоп на строевых оседланных конях во всех направлениях больших дорог, с красными развевавшимися флажками в руках.

Что-то непонятное, страшно-волнующее наполнило его душу. Он смотрел и глазам не верил. Но переехав еще один бугор, после которого открылась вся станица, как на ладони, он вдруг услышал во всех церквях особый звон двух больших колоколов: самого большого и другого, чуть по-меньше, — ударявших очень часто один за одним „Динь-бом, динь-бом”. На пожар звонили также частыми ударами, но в один колокол; а это — двумя. Был полдень, во всех церквях звонили набат-тревогу.

В первых же улицах станицы он увидел, что все люди куда-то спешили, тревожно переговаривались. Возле правления стояли кучами казаки, входили и выходили через главные двери. У заборов люди читали какие-то широкие плакаты-объявления. Слышались слова: „немцы, немцы”. Никифор почувствовал что-то неладное.

Чтобы скорее узнать, в чем дело, он стегнул батогом лошадь и во весь дух подлетел к своему двору. К нему быстро подошел Тарас Охримович и, открывая ворота, взволнованным голосом сказал:

— Война! ...

К О Н Е Ц

КУБАНСКАЯ ВОЙСКОВАЯ ПЕСНЯ.

„Ты, Кубань, Ты наша Родина,
Вековой наш Богатырь,
Многоводная, раздольная,
Разлилась Ты вдоль и вширь.

Из далеких стран полуденных,
Из Турецкой стороны,
Бьем челом Тебе, родимая,
Твои верные сыны.

О Тебе здесь вспоминаючи,
Песню дружно мы пѐем,
Про Твои станицы вольные,
Про родной отцовский дом.

О Тебе здесь вспоминаючи
За Тебя-ль не постоять?
За Твою ли славу старую
Жизнь свою ли не отдать?

О Тебе здесь вспоминаючи,
Как о Матери родной,
На врага на басурманина
Мы идем на смертный бой.

Мы, как дань Тебе покорную,
От прославленных знамен;
Шлем Тебе, Кубань родимая,
До сырой земли поклон”*)

*) Родилась эта песня в Первую Мировую войну 1914-1917 годов на Кавказско-Турецком фронте. Автором ее был священник 1-го Кавказского полка о. Константин Образцов.